

|| 2 ||

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й М И Р

|| 1975 ||

2



1975

---

**У К А З**  
**ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО**  
**СОВЕТА СССР**

**О награждении журнала «Новый мир»  
орденом Трудового Красного Знамени**

За заслуги в развитии советской литературы и в связи с 50-летием со дня основания наградить журнал «Новый мир» орденом Трудового Красного Знамени.

**Председатель Президиума  
Верховного Совета СССР  
Н. ПОДГОРНЫЙ.**

**Секретарь Президиума  
Верховного Совета СССР  
М. ГЕОРГАДЗЕ.**

Москва, Кремль.  
13 февраля 1975 г.





# НОВЫЙ МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 2

Февраль, 1975 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛЕКСЕЙ ЛУКОВЕЦ — Монголия: рождено революцией	5
РАСУЛ ГАМЗАТОВ — Последняя цена, поэма. Перевел с аварского Яков Козловский	12
◊ ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ — Друзья, роман	26
А. Ф. ФЕДОРОВ — Подпольный обком действует. Новые главы. Литературная запись Евг. Босняцкого	98
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
Ю. ЖУКОВ, В. СЕДЫХ — Письма из Рамбуйе	174
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
ГЕНРИХ БОРОВИК — Май в Лиссабоне. Записки о первых днях португальской весны	199
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
ФЕЛИКС КУЗНЕЦОВ — С веком наравне	229
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Владимир Огиев. Один из поколения.— Л. Теракопян. Антанина Граяускене принимает решение.— В. Перцов. Жизнь в литературе.	254
<i>Политика и наука</i>	
Н. Мор. Память ветеранов.— Ксения Бродер. Призыв к духовности.— Валерия Алфеева. Гонки века и зов мыса Горн.	273

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ — Иван Слепнев.— Владимир Мирнев. Скорый поезд. Рассказы и повести. Владимир Мирнев. Крутой месяц. Повесть и рассказы. ✦ Л. Напельбаум.— Тамара Жирмунская. Грибное место. Новые стихи. ✦ С. Сивоконь.— Пыжова О. И. Призвание. ✦ Г. Воробьева.— Вл. Пименов. Продолжение пути. Очерки и статьи о драматургии	284
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	287

---

---

---

АЛЕКСЕЙ ЛУКОВЕЦ



## МОНГОЛИЯ: РОЖДЕНО РЕВОЛЮЦИЕЙ

**Б**ывают в жизни стран события-вехи, которые как бы неподвластны времени и навсегда остаются в памяти народной, в сердцах миллионов людей.

Неделя за неделей проходят после ноябрьских юбилейных торжеств, посвященных пятидесятилетию III съезда Монгольской народно-революционной партии и провозглашения Монгольской Народной Республики. И чем дальше, тем все отчетливее и рельефнее предстают великие революционные свершения на древней монгольской земле.

Да, это были незабываемые торжества. Монголия воочию показала, какие рубежи доступны тем, кто идет счастливой дорогой социализма. Свой золотой юбилей республика встретила в расцвете творческих сил, в обстановке высокого политического подъема и трудового вдохновения.

Праздник братского народа социалистической Монголии стал интернациональным праздником. Особую значимость, особую атмосферу приподнятости и радости придало ему участие в торжествах высоких советских гостей во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем Л. И. Брежневым. Советской партийно-правительственной делегации были оказаны горячая встреча и сердечное гостеприимство, что явилось выражением братских чувств, объединяющих советский и монгольский народы.

Пребывание высоких советских гостей на дружеской монгольской земле, встречи и беседы делегации с руководителями партии и правительства республики, яркая речь товарища Л. И. Брежнева на юбилейном торжественном заседании, присвоение Л. И. Брежневу звания «Почетный гражданин Монгольской Народной Республики», награждение Общества монголо-советской дружбы орденом Дружбы народов — все это вылилось в волнующую демонстрацию нерушимости и братского единения наших народов.

«Участие советской партийно-правительственной делегации и лично Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева в наших юбилейных торжествах служит новым выражением ленинской дружбы монгольского и советского народов, единства и братства МНРП и КПСС, МНР и Советского Союза,— говорил на торжественном заседании товарищ Ю. Цеденбал.— Это волнующее, историческое событие войдет золотой страницей в летопись монголо-советских взаимоотношений».

В истории монгольской народной революции особое место занимает III съезд МНРП. Громадное историческое значение его состоит в том, что он определил марксистско-ленинскую перспективу социального прогресса монгольского народа, выработал генеральный курс развития страны по пути к социализму.

— Это вытекало из теоретических обоснований В. И. Ленина, который в своей исторической беседе с монгольской делегацией конкретизировал самые существенные вопросы развития народной революции в Монголии,— рассказывал в беседе со мной президент Академии наук МНР, видный историк Б. Ширендыб.— Октябрь семнадцатого года пробудил монгольский народ к борьбе и созиданию. Предвидение великого Ленина сбылось. Учение о возможности некапиталистического пути развития ранее отсталых стран в эпоху империализма и пролетарских революций открыло перед нами светлую перспективу строительства новой жизни, и это принесло поистине поражающие воображение результаты. Главное в полувековом развитии республики состоит в том, что страна, по существу, за время жизни одного поколения совершила скачок от феодализма к социализму, минуя капиталистическую стадию развития. Бескорыстная, братская, подлинно интернациональная помощь советского народа явилась решающим условием наших побед. Ныне в соответствии с программой МНРП, принятой XV съездом в шестьдесят шестом году, партия и весь народ борются за достижение полной победы социализма.

Сегодня трудно представить себе пейзаж Монголии без заводских труб, линий электропередач, строительных кранов, современного транспорта. В прошлом страна исключительно скотоводческая, народная Монголия стала аграрно-индустриальным государством. Сейчас в республике за десять минут производится столько продукции, сколько производилось за весь 1922 год. Здесь быстро развиваются многие важнейшие отрасли экономики: топливно-энергетическая, горнорудная, металлообрабатывающая, лесная и деревообрабатывающая, легкая, пищевая, промышленность строительных материалов. Возник и возмужал рабочий класс — основная сила общества в деле социалистических преобразований.

Промышленность республики сосредоточена теперь не только в Улан-Баторе. На карте Монголии появились новые индустриальные города и промышленные комплексы. Уже давно стал символом индустриального расцвета молодой город Дархан. Глухой маленький поселок на трансмонгольской железнодорожной магистрали в считанные годы превратился в благоустроенный красивый социалистический город, второй, после Улан-Батора, индустриальный центр республики. Сегодня страна получает отсюда уголь и электроэнергию, цемент и мясные консервы, силикатный кирпич и кондитерские изделия, железобетонные конструкции и верхнюю одежду.

Теперь воздвигается новый символ советско-монгольского братства — медно-молибденовый комбинат «Эрдэнэт». С первых шагов эта гигантская стройка стала кузницей интернациональной закалки характеров, своеобразным учебным комбинатом по подготовке национальных кадров. Сейчас строители прокладывают к медной горе железную дорогу, уже поставлены опоры высоковольтной линии электропередач, возводится база строительной индустрии и город. По масштабам производства, уровню механизации и автоматизации «Эрдэнэт» не будет иметь себе равных в Азии. В 1978 году первая очередь промышленного гиганта вступит в строй.

Еще полвека назад на древней земле не было ни одного завода, фабрики, мастерской. Теперь их сотни, предприятий самых разных отраслей. Доля промышленности, строительства, транспорта, связи в производстве совокупного общественного продукта составляет три пятых.

В сельском хозяйстве социализм победил полностью. Араты объединились в кооперативы. По всей стране возникли госхозы. Село дает теперь продукции в пять раз больше, чем до революции. Почти в два с

половиной раза выросло поголовье скота. Страна, прежде чисто скотоводческая, стала заниматься земледелием.

Когда-то, лет четырнадцать назад, мне довелось побывать в живописной долине Орхона, раскинувшейся за цепью островерхих перевалов. В ту пору с гордостью говорили о большой победе — завершении кооперирования аратских хозяйств. Говорили и еще об одной важной победе — освоении целинных земель, рождении земледелия: сельскохозяйственное объединение «Улан-Ток» («Красное знамя») вспахало первые 418 гектаров земли и получило с них по 21 центнеру зерна с гектара.

На этот раз мне не удалось попасть в долину Орхона — далеко, не хватало времени. Да теперь и не нужно колесить по проселкам четырехста — пятисот километров. Целинные госхозы возникли и вблизи Улан-Батора, в районе реки Толы. Один из них, кстати, не долинный, а горно-степной, нам и рекомендовали посетить.

— Монгольская целина, — говорил главный редактор газеты «Унэн» Ц. Намсарай, — это в широком смысле вся жизнь страны. Начиналось освоение целины пятнадцать лет назад, когда хлеб в Монголию ввозили, а теперь его хватает и для экспорта. То, что происходит на целине сегодня, вы можете увидеть в госхозе «Баянцогт».

Госхоз находится на северо-западе от Улан-Батора, примерно в ста километрах от столицы. Он возник, когда поднималась монгольская целина. Сейчас это крупное многоотраслевое хозяйство. Здесь одна из самых современных скотоводческих ферм, она представляет собой законченный комплекс производственных построек, жилых помещений, необходимых ветеринарно-медицинских объектов. В госхозе построен комбикормовый завод.

Мы ехали в госхоз по пыльной бесснежной проселочной дороге, и за сто километров наша «Волга» из черной стала пепельно-серой. Но вот показались первые пашни. На высокой сопке нас встречают руководители госхоза.

Отсюда далеко видны владения хозяйства, широко простираются пашни, на которых возделывают пшеницу, ячмень, выращивают горох, картофель, огурцы, капусту, лук. По плану здесь должны были собрать круговую примерно 10 центнеров зерна с гектара, но в 1974 году получено с каждого гектара по 12 центнеров. Это для монгольских условий довольно высокая цифра. Урожайность составила 112 процентов к плану, а сдача хлеба государству — 116 процентов.

Обо всем этом нам рассказал главный агроном Т. Балдан. Это человек широкой эрудиции, он окончил в Улан-Баторе сельскохозяйственный институт и вот уже девять лет работает в госхозе. Кстати сказать, высшее образование и у директора госхоза и у парторга. А всего в хозяйстве свыше 20 специалистов с высшим образованием: агрономы, ветеринары, учителя, врачи, инженеры, механики и т. д.

Спускаемся с сопки и направляемся во второе отделение госхоза. Приехали прямо на ток. Здесь были насыпаны огромные бурты зерна, шла очистка семенного материала, потребность в котором составляет более трех тысяч тонн. Рядом с буртами большое зернохранилище, рассчитанное на тысячу тонн.

Из второго отделения такими же пыльными проселками едем на центральную усадьбу. Дорога идет по широкой равнине, окаймленной справа и слева чуть-чуть припущенными снегом горами. Издалека показывается высокий корпус комбикормового завода.

— Комбикормовые заводы начали создаваться в Монголии совсем недавно, — говорит директор госхоза Х. Чойджылджав. — Они позволяют обеспечить устойчивую и надежную кормовую базу для развивающегося животноводства. Наш завод построен в шестьдесят девятом



году, мы приняли его в декабре, иначе говоря, исполняется как раз его пятилетний юбилей.

Как выразился директор госхоза, завод построен «под ключ», то есть от основания до самого пуска при содействии Советского Союза.

С завода направляемся в дирекцию госхоза. На центральной площади на высоком постаменте возвышается трактор.

— Это тот самый трактор,— говорит директор,— который прокладывал первые борозды на нашей целине.

Пятнадцать лет назад были освоены первые 200 тысяч гектаров целинных земель. Сегодня эта цифра увеличилась до 763 тысяч. Целина составляет основу земледелия Монголии. Но не только зерно производят монгольские земледельцы. Несмотря на суровый климат, они выращивают овощи. Даже в горно-степном районе, в таком, где находится госхоз «Баянцогт», в прошлом году, когда выпадали ранние весенние дожди, собрано картофеля по 150 центнеров с гектара.

Центральная усадьба госхоза скорее напоминает рабочий поселок, чем деревню. Здесь есть центральное отопление, которое обеспечивает контору, больницу, школу, гостиницу, клуб и т. д.

Товарищи рассказывали, с каким воодушевлением была воспринята коллективом госхоза весть о приезде в Монголию на праздник советской делегации во главе с товарищем Л. И. Брежневым.

— Эта весть вызвала всенародное соревнование,— говорила парторг госхоза Ж. Циндаюш.— А соревнование принесло хорошие плоды. Наши передовые скотоводы и земледельцы рапортовали Центральному Комитету МНРП и Леониду Ильичу Брежневу о своих успехах.

...Степи и пустыни занимают значительную часть территории Монголии. Особенно сурова природа Гобийской котловины. Но и здесь многое изменил ветер гигантских социальных преобразований.

Лет десять назад в журнале «Демокраси нувель» три французских журналиста, посетивших Монголию, писали о том, что Гоби — это «край, где человек борется и побеждает, где так же, как и в других районах Монгольской Народной Республики, а может быть еще больше, чем в других, социализм изо дня в день добивается больших успехов».

Минувшее десятилетие подтверждает этот вывод с еще большей убедительностью. В Средне-Гобийском аймаке, в сомонах, где в свое время стояли одни юрты, высятся двух- и трехэтажные жилые дома, административные здания, цехи предприятий. Здесь быстро налаживается специализированное сельскохозяйственное производство.

В прошлом гобийцы испили полную чашу нужды. Три князя были хозяевами всей южной части Гоби. Они чинили суд и расправу.

Как и во всей Монголии, в Южно-Гобийском аймаке кипит созидательный труд.

— В Гоби теперь есть не только скотоводы, не только земледельцы, но и растет свой отряд рабочих. Этим мы обязаны советской помощи,— говорят руководители аймака.— С какой душой, с каким огоньком работают советские специалисты. Все, что они знают сами, передают монгольским рабочим. В труде крепнет наша дружба.

На основе социалистической идеологии обновляется жизнь общества. Повсюду на монгольской земле видишь новых людей, воспитанных революций. Со многими из них я беседовал и в прежние свои поездки и ныне.

Вот машинист Улан-Баторской железной дороги С. Ульзийбаяр. Он говорит:

— Мне посчастливилось в шестьдесят шестом году, когда Леонид Ильич Брежнев приезжал с визитом к нам в республику, вести поезд, в котором ехали наши дорогие гости. Я помню, с какой радостью и

энтузиазмом наш народ встречал тогда посланцев страны Ленина. У нас говорят, что монгольский и советский народы — как одна семья. Я вожу двадцать лет тепловозы по трансмонгольской магистрали. Вижу, какие плоды приносит наша дружба. Встали новые города, заводы, усадьбы госхозов. Памятников дружбы, как зовут в народе объекты, построенные с помощью советских людей, сотни. Один из них — наша дорога. Как и тысячи других рабочих, я брал повышенное обязательство к юбилею и приезду товарища Брежнева. На топливе, сэконоленном мною в нынешней пятилетке, можно от советской границы до Улан-Батора провести пятьдесят железнодорожных составов.

Трудящиеся Монголии оказали С. Ульзийбаяру высокую честь — он избран депутатом Великого Народного хурала.

А вот другой машинист — С. Доржнемжил. В 1966 году он был инструктором, возглавлял тепловозную бригаду, которая вела поезд с советской делегацией от Сухэ-Батора до Улан-Батора. Его биография похожа на биографии многих монгольских рабочих. Родился в семье арата. Учился в начальной школе, затем окончил курсы помощников машиниста и вечерний железнодорожный техникум. Вот уже двадцать лет работает на Улан-Баторской железной дороге. Первым в стране сел на тепловоз, первым стал машинистом первого класса — у него удостоверение № 1. В 1970 году ему присвоено звание Героя Труда МНР.

— Я много водил поездов, — говорит он. — Но это была самая ответственная поездка в моей жизни и самая памятная встреча с дорогим гостем.

— В шестьдесят шестом году я выступала на митинге монголо-советской дружбы, приветствовала Леонида Ильича Брежнева от имени скотоводов республики, — вспоминает доярка сельскохозяйственного объединения «Труд» Центрального аймака Ц. Цэрэннадмид. — Тогда был подписан исторический Договор о дружбе. Этот день стал для меня незабываемым. Что дал монгольскому народу Договор? Я не буду приводить цифр по стране. Скажу о своем сельскохозяйственном объединении. Мы очень конкретно ощущаем помощь, которую Советский Союз оказывает нам в укреплении материально-технической базы сельского хозяйства. поголовье скота в СХО увеличилось с шестидесяти тысяч до восьмидесяти девяти тысяч. Почти на всех пастбищах построены водопойные пункты. Советский Союз прислал технику, и это позволило создать механизированную сенокосную бригаду. Жить араты стали еще лучше. Сегодня мы снова всем сердцем приветствуем советских гостей, и особенно нашего давнего доброго друга товарища Брежнева.

От имени молодого рабочего класса выступал на митинге дружбы в 1966 году Д. Батсух — слесарь столичного промкомбината, первенца монгольской индустрии. И его мы встретили на праздничных улицах Улан-Батора в день приезда советской делегации. Теперь он главный механик крупнейшей в республике шерстемойной фабрики.

— Договор шестьдесят шестого года проверен временем. И как бы злопыхатели — империалистические враги и их пекинские подпевалы — ни старались, им советско-монгольскую дружбу не нарушить, не омрачить. Нельзя не видеть ее великих плодов. Они и в новостройках Улан-Батора, и в совместной работе специалистов двух стран, и в росте числа инженеров, других представителей народной интеллигенции, окончивших советские вузы, и в тех громадных достижениях, которыми мы сейчас гордимся. Все наши успехи связаны со Страной Советов, и поэтому мы принимаем Леонида Ильича Брежнева по-братски, с открытым сердцем.

Старая монгольская пословица гласит: «Имеешь друзей — широк, как степь. Не имеешь — узок, как ладонь». У монгольского народа есть верные, испытанные друзья. Советско-монгольская дружба, наше братское сотрудничество охватывают сегодня все области политической, экономической и культурной жизни. Важным шагом на этом пути явилось создание в 1967 году межправительственной советско-монгольской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ее деятельность позволила поднять экономические связи на новую ступень, перейти к комплексному решению проблем, стоящих перед быстро развивающимся народным хозяйством Монголии.

История сотрудничества наших государств никогда в прошлом не знала таких масштабов. На долю МНР приходится более трети объектов, построенных при содействии Советского Союза в странах — членах СЭВ. Только за последние пятнадцать лет число их составило 232, из них 72 возведено за годы текущей пятилетки. На этих предприятиях производится основная часть промышленной продукции республики. В свою очередь МНР расширила поставки в Советский Союз товаров, имеющих важное значение для народного хозяйства СССР.

— Каждый новый этап развития Монголии открывает одновременно и более высокую ступень сотрудничества с Советским Союзом, — рассказывал в беседе с нами заместитель председателя монгольской части межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, министр МНР М. Чимидорж. — В последние годы родились новые формы сотрудничества. Так, в семьдесят третьем году было создано совместное производственное объединение Монголосовцветмет. Оно ведет большие работы по строительству, реконструкции и эксплуатации предприятий горно-рудной промышленности МНР. Другая новая форма сотрудничества — прямые, непосредственные экономические и научно-технические связи между советскими и монгольскими министерствами и ведомствами. Такие связи — а их имеют сейчас около тридцати монгольских и советских министерств и ведомств — содействуют повышению экономической эффективности целых отраслей и отдельных предприятий Монголии.

Минувшие полвека были периодом неуклонного укрепления братского советско-монгольского союза. Летопись нашей дружбы насчитывает много славных страниц. Большой путь, пройденный советским и монгольским народами плечом к плечу, берет начало с исторической встречи В. И. Ленина с бесстрашным сыном монгольской революции Сухэ-Батором. Как в годы мирного созидательного труда, так и в боях против общих врагов советско-монгольская дружба, наше сотрудничество в самых различных областях неизменно служили и служат коренным интересам наших обеих стран, делу социализма и мира.

«Отношения между Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой, — говорил на торжествах в Улан-Баторе товарищ Л. И. Брежнев, — предстают сегодня перед всем миром как образец отношений социалистического типа, пронизанных общей заинтересованностью в успехах друг друга».

МНР сегодня — полноправный член единой и дружной семьи стран социалистического содружества. Она активно участвует в совместной разработке и осуществлении согласованного внешнеполитического курса социалистических государств. Внешняя политика Советского Союза, народной Монголии, других братских стран — это настойчивая борьба за мир и безопасность, против всех видов империалистической агрессии и диктата, против ущемления прав народов,

за перестройку международных отношений на основе справедливых, демократических принципов.

Юбилейные торжества в Монголии, визит в братскую страну советской партийно-правительственной делегации во главе с товарищем Л. И. Брежневым явились новым выдающимся вкладом в укрепление дружбы и сотрудничества советского и монгольского народов. Они вновь продемонстрировали силу, мощь и растущий авторитет социалистического содружества, идущего в авангарде борьбы за торжество великих марксистско-ленинских идеалов, за торжество мира и коммунизма.

Праздник братского монгольского народа отмечен замечательными трудовыми свершениями на благо социализма. В Центральный Комитет МНРП, в редакции газет поступали тогда многочисленные рапорты трудовых побед, одержанных в соревновании в честь юбилея. В тысячах писем и телеграмм, пришедших в Улан-Батор из разных концов республики, содержатся слова благодарности и признательности великому советскому народу, ленинской КПСС за помощь и поддержку в осуществлении революционных преобразований.

Трудовой народ сегодня говорит словами поэта Д. Пурэвдоржа:

За то я люблю тебя, Монголия,  
Что знала ты столько побед,  
Что тысячелетие пройдено  
Тобою за несколько лет.

В письмах и телеграммах не только рапорты об успехах и достижениях, о том, что завоевано народом в трудной борьбе. В них клятва верности делу социализма и марксизма-ленинизма, новые высокие обязательства в борьбе за досрочное выполнение пятилетнего плана, за дальнейшие рубежи в развитии экономики и культуры.

Приступая к решению очередных задач социалистического строительства, рабочий класс, кооперированное аратство и трудовая интеллигенция страны преисполнены решимости отдать свои силы и энергию, талант и знания, мобилизовать свои созидательные усилия для успешного выполнения планов завершающего года пятилетки, для нового роста сил и мощи своей родины.

У советского и монгольского народов общие цели. И где сегодня в Монголии ни побываешь, с кем ни поговоришь, всюду и везде чувствуешь понимание тех больших и сложных задач, которые предстоит решить, той могучей богатырской силы, которую придают трудящимся республики наша дружба, наше братское единство. Вместе к общей цели — это не просто вдохновенный лозунг, это суть и смысл того, чем живет сегодня трудовой народ Монголии. Как писал выдающийся монгольский поэт Д. Нацагдорж:

С самоотверженным русским товарищем  
В крепком мы спаяны рукопожатье...

...Всадник, сжимая в руке древко с государственным флагом МНР, в стремительном прыжке преодолевает черную пропасть. «Капитализмыг алгасч...» («Минуя капитализм...») — гласит над пропастью надпись. Этот плакат художника Д. Амгалана шагнул с листа на обложки книг, на панно, украшающие сегодня Улан-Батор, аймачные центры, сомоны и худоны. Он отражает то, как уверенно идет монгольский народ по трудному, но верному пути — к вершинам социализма.





Где зорями наполнены тюльпаны  
И куропатки прячутся в траве.

Купить вас заклинает зазывала  
Громкоголосый,  
с бородой густой,  
Когда бедны — хоть четки из сандала,  
А при деньгах — хоть перстень золотой.

— На счастье, уважаемые гости,—  
Кричит другой,  
усердствуя с утра,—  
Слонов купите из слоновой кости,  
Купите амулет из серебра!..—

Слышал я, что такие амулеты  
Под небесами всех на свете стран  
Измены отвращают и наветы,  
Уберегают от сердечных ран.

Готов,  
любуясь тонкостью чекана,  
Признать, что кубачинцев мастерство  
В прямом родстве с искусством Исфагана  
И обладает почерком его.

А вихрь платков тавризовских на базаре  
Напоминает,  
грея зеркала,  
Мне свадебные пляски в Цудахаре  
И женские не руки, а — крыла.

Казалось, все настойчивей и резче,  
Людей встречая каждый раз гуртом,  
Взывают ослепительные вещи:  
«Купите нас, чтоб не жалеть потом!»

Схож исстари с чистилищем и раем  
Базар, где, прозорлива и слепа,  
К товарам льнет и караван-сараям  
Густая разномастная толпа.

Кого в ней нет!  
Бродяги и туристы,  
Хаджи здесь и китайский баламут,  
Газетчики, воры, контрабандисты,  
Ватаги хиппи и посольский люд.

Иду по тегеранскому базару,  
Где свой товар в рассветные часы  
С прошедшим и сегодняшним на пару  
Планета положила на весы.

Все продается, что имеет цену,  
Что спрос имеет в наши времена.



Цена товара возникает  
Не в мастерских, а на торгах.

Она мышей летучих слухом  
Магически наделена  
И обладать собачьим нюхом  
Во все умела времена.

Учует первая, к примеру  
(То взлетит, то упадет),  
Неурожай, войну, холеру  
И на верхах переворот.

Клянусь, когда бы нам в угоду  
Она, держа по ветру нос,  
Взялась предсказывать погоду,  
Всегда бы верным был прогноз.

Играючи людской судьбою,  
Она видала, и не раз,  
Владык склоненных пред собою,  
Как совершающих намаз.

Ее считать канатоходцем  
Мечтатель рыночный привык:  
Вот пошатнется, вот сорвется,  
Вот золотой затмится лик!

И должен я не без досады  
Сказать,  
    слагая этот стих:  
Цена изменчива, как взгляды  
Журнальных критиков иных.

Порою, как пивную пену,  
Чтоб высока была она,  
Они того вздувают цену,  
Чьим сочиненьям грош цена.

Хвала мастерскому дару!  
И честно в каждой стороне  
Цена пусть будет по товару,  
Товар пусть будет по цене!

И там, достойные рутины,  
Плодятся бездари вокруг,  
Где мастера  
    лишь в день кончины  
Цена осознается вдруг.

Ханжи прикинуться хаджами  
Сумели в наши времена —  
И совесть этими ханжами  
В живой товар обращена.



\* \* \*

Театру базар Тегерана  
 Под стать с незапамятных пор,  
 И в драмах не терпит обмана  
 Жизнь — главный его режиссер.

В ее постановках нет места  
 Для щедрых возвышенных чувств,  
 Сильней здесь и слова и жеста  
 Кармана властительный хруст.

И в сценах продажи и купли  
 Здесь призваны разных мастей  
 Играть не бесстрастные куклы,  
 А люди, не пряча страстей.

И, верный речистому дару,  
 Слагает впрямь как на духу  
 Похвальное слово товару  
 Купец, словно сват жениху.

Но вновь покупатель несговорчив.  
 Не веря купцу, как лисе,  
 Он, словно невеста, разборчив,  
 Которую сватают все.

Не станет податливым воском  
 Хозяин товарной орды.  
 Под стать театральным подмосткам  
 Базарных лавчонок ряды.

И нет ни конца им, ни края,  
 И словно сюда на «гастроль»  
 Случайно попал я, играя  
 Статиста носатого роль.

Я просто участник массовки,  
 Для этого мне никакой  
 Не требовалось подготовки  
 Актерской и языковой.

И мною освоена даже  
 Персидская фраза одна —  
 Могу вопрошать:  
 — Какова же  
 Последняя будет цена?

А рядом, порочный и славный,  
 Даруя печаль и восторг,  
 Усердствует в роли заглавной  
 Владыка по имени Торг.

Мир целый держа на примете,  
 Властительней прочих владык.

Что все продается на свете,  
Считать он издревле привык.

Продажны, мол, песня и танец,  
И совесть — товару сродни,  
И нет у любви уже таинств:  
В товар превратились они.

Все сущее в мире  
  он, присный,  
На шумных базарах годин,  
Имея расчет закулисный,  
На собственный мерит аршин.

Мол, все заклинанья бумажны,  
Мол, свет обезумел давно,  
В нем радиоволны продажны  
И схоже со шлюхой кино.

О чести к лицу ль бизнесмену  
Рядить,  
  воспарив к облакам?  
Назнача последнюю цену,  
Ударить пора по рукам!

Не шелк с караваном верблюжьим  
Плывет сквозь пустынную тишь.  
— Чем нынче торгуем?  
  — Оружьем!  
Дает наивысший барыш! —

Там пулей поставили точку,  
Там угнан опять самолет.  
И слышится:  
  — Деньги на бочку! —  
Разбой обретает почет.

Посольская нота — химера,  
Она не страшит никого.  
— Купите, купите премьера  
Со всем кабинетом его! —

И, к новым проделкам готовясь,  
Доволен не зря сатана...  
— Замарана, лорд, ваша совесть,  
За черную нефть продана! —

По воле великого Торга,  
Когда это надо,  
  швырнут  
Живого в объятия морга,  
А мертвого к жизни вернут.

И сердцем придя в сокрушенье,  
Восточный философ исторг:

— Мир грешен, и правит им мненье  
Владыки по имени Торг.

С пером ты по этому миру  
Пройди, неподкупная Честь,  
Каких и не снилось Шекспиру,  
Трагедий в нем нынче не счесть.

\* \* \*

Золото купит четыре жены.

— Война, говорите? — Что делать: война!

— Платите!  
— Последняя ваша цена,  
Но кровь дешевет, учтите! —

За ребра подвешен соперник на крюк:  
— Плати отступного,  
А то, брат, каюк!  
— Чуть сбавьте! — хрип слышится снова.

Старик у молодки, как снег у весны,  
Ночует во славу  
Последней цены,  
Вновь джинов потеша ораву.

Обрел по наследству богатство дурак:  
— Прислуживай, разум,  
Даю четвертак! —  
И разум откликнулся разом!

Как с ясного неба свалившийся вдруг,  
Здоровью последнюю цену  
Недуг  
Дает, не прибегнув к безмену.

— Эй, сколько ты стоишь, вчерашний вешун,  
Что рьяно  
Глаголил с высоких трибун?  
— Не стою теперь ни тумана! —

Ложь Истине шепчет: что хочешь проси,  
Но только за это  
Язык прикуси —  
И в золото будешь одета!

Уродство беснуется с пеной у рта:  
— Последнюю цену  
Скажи, красота!  
— А сколько с меня за измену?

Спросила папаха:  
— Скажи, голова,  
Цена тебе красная впрямь  
Какова?  
— Узнаешь! Сперва дай надену! —

И красную цену лихой голове  
Узнала папаха,  
Оставшись в траве  
На поле кровавом, как плаха.

\* \* \*

Сторговать бы песню на базаре,  
Заплатив лишь стоимость чернил,  
Но опять я,  
будучи в ударе,  
Взял пандур и песню сочинил.

Видно, делать это мне не внове,  
И, клянусь,  
не ягода кизил,  
А зарделась в слове капля крови,  
Словно взял и сердце прострелил.

Легче было б общего напева  
На базаре песню сторговать,  
А не лазить самому на небо,  
Тайных слез в ночи не проливать.

Я страдал, но обреченно кто-то  
Произносит, глядячи во тьму:  
— Ты пиши, когда тебе охота,  
Только, верь, все это ни к чему.

Устарели вздохи на скамейке,  
Глянь: на ней играют в домино.  
Что стихи, брат, если ни копейки  
Жизнь не стоит. То-то и оно!

С той поры, как предок на верблюде  
Путь через пустыню проложил,  
Много сказок выдумали люди,  
А кончалось все на дне могил.

Землепашец, государь и нукер  
Уходили.

Не сочтешь могил.  
Ты пиши, пиши, но знай, что флюгер  
Многих правдолюбцев пережил.

Если лет неодолима память,  
Велика ль цена горючих слез?  
Память, говоришь? Какая память?  
Бабий Яр травой уже зарос.

Жизнелюбы, напрягаем силы,  
Словно на последнем берегу.  
И, как волны, множатся могилы,  
Замерев безмолвно на бегу.

Утверждал один, что смерти нету,  
Искушал лукавицу судьбу

И не знал, что близкой смерти мету  
Носит сам на безрассудном лбу.

Тайно смерть на людях ставит знаки,  
И на жизнь невелика цена.  
Унесли две атомных атаки  
Сонм людской! Прожорлива война!

Вот гляди: на этом камне стертom  
Тень того, кто словно дым исчез.  
В одночасье, если верить мертвым,  
Рухнули на землю шесть небес.

Все века двадцатое столетье  
Затмевает по числу могил.  
А еще в запасе — бомба третья...  
К смерти мир себя приговорил.

Ты пиши стихи, коль есть потреба,  
Только помни, сжав перо в руке,  
Что уже само седьмое небо  
Всякий день висит на волоске.

\* \* \*

Я смерть готов без страха повстречать.

*Хафиз.*

Руками скорбно потрясая,  
Себя жестоко били вновь  
Шииты<sup>1</sup> в день шахсай-вахся<sup>2</sup>  
И лица раздирали в кровь.

— Зачем живем мы в царстве блуда,  
Где не ценнее жизнь, чем прах?  
Будь милосердным

и отсюда  
Скорей нас забери, аллах!..—

И, на могилы взгляд бросая,  
Склоняя голову опять,  
Порою сам шахсай-вахся  
Не мог я в мыслях избежать.

Казалось: вся земля в могилах,  
Куда ни глянь — сплошной содом.  
Был улыбнуться я не в силах,  
И жгли стихи меня стыдом.

Кровоточила грудь, как рана,  
Ударов сыпался черед,  
Но выплывал как из тумана  
Надежды белый пароход.

<sup>1</sup> Представители одного из двух основных подразделений ислама.

<sup>2</sup> Шиитский праздник, сопровождаемый самоистязанием религиозных фанатиков.

И мой шахсай-вахсай кончался,  
И пробивался в сердце свет,  
И я, как мальчик, забывался,  
Что был Айтматовым воспет.

\* \* \*

Был, как шахсай-вахсай, мой сон,  
И на рассвете, встав с постели,  
Я в тегеранском «Парк-отеле»  
Поспешно вышел на балкон.

И свежевывымытое утро  
Меня пленило блеском чар.  
А солнце было рыжекудро  
И направлялось на базар.

Спросил я солнце:  
— Чем торгуешь?  
Быть может, золотом колец?  
— Заезжий гость, о чем толкуешь,  
Не ювелир я, не купец.

И, шествуя по всем базарам,  
Я ничего не продаю,  
А золотые кольца даром  
Хорошим людям раздаю.

И выметаю в час игрений<sup>3</sup>  
С базаров метлами лучей  
Я мусор лживых заверений  
И пыль обманчивых речей.

Пока горю, мир будет вечен!  
— Ах, солнце, лучше бей в набат:  
Мир обезумевший беспечен,  
Доверчив и подслеповат.

Иные вертят им привольно,  
А жизнь его тонка, как нить.—  
Здесь вышел мир вперед:  
— Довольно!  
Меня не смеешь ты хулить.

Я жизни верная основа,  
Опора всех его опор.  
В моих устах бессмертно слово,  
Как на плечах вершины гор.

И знай, что всякого тирана,  
Задумавшего мной вертеть,  
Я на оси своей и впредь  
Смогу подвесить, как барана.

<sup>3</sup> Светло-рыжий.



Через годы, живой и целый,  
Возвратился ковер в Иран.

Не последней цены ль он данник?  
И под небом его страны  
Говорю,  
очарованный странник:  
— Шах-ковер, тебе нет цены!

\* \* \*

Я, в пределы мира вторгшись,  
Где страстей не гаснет пыл,  
Наблюдал за буйством торжищ  
И при этом говорил:

«Пусть становится дешевле  
В мире хлеб из года в год,  
Но дороже и душевней  
Станет слово в свой черед.

Покупается одежда  
Пусть задешево вдвойне,  
Только б вера и надежда  
Не снижались в цене.

В баре девочкам за выход  
Пусть заплатит фирма вновь,  
Лишь бы не искала выгод  
Драгоценная любовь.

Пред купцом мы не ударим  
В грязь лицом,  
не из таких,  
А что женщинам подарим,  
Будет дорого для них!

Пусть умчится сочиненье  
Вдаль, завидно, сквозь года,  
Но дешевле вдохновенья  
Будет рукопись всегда».

\* \* \*

Прекрасна жизнь!..

*Саади.*

Под небом твоим повидавший немало,  
Тебя покидал я, Иран.  
Дымил паровоз у платформы вокзала,  
Словно кутивший кальян.

И солнечным утром  
не жизни ли ради,  
Где яблонь извечен меджлис,  
Меня провожал жизнелюбец Саади  
И женолюбец Хафиз.





И, вставший под ружье,  
Как рядовой солдат,  
Смог заплатить ее  
В бою мой старший брат.

В любые времена,  
Что следует учесть,  
Последняя цена  
У всех в запасе есть.

Суров ты, как гранит,  
Иль ангел во плоти,  
Но если долг велит  
Платить ее —  
плати!

*Перевел ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ.*



---

---

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

★

## ДРУЗЬЯ

Роман

Глава I

Среди многих известий, облетавших в это утро Землю нашу со скоростью света, звука, сверхзвуковых самолетов, было известие местного значения. Его привезла на велосипеде почтальон Клава. Она ехала по деревне, нажимая на педали красными босоножками. У магазина прислонила велосипед к крыльцу, повесила сумку на руль. Еще с вечера шепнула ей продавщица: мол, заходи, резиновые сапожки привезли.

Хотелось Клаве, конечно, лиловые, с перламутровым блеском. Красные тоже неплохо: под зеленое демисезонное пальто. Белые, на худой конец: посверкать в темноте, хоть уже и не по возрасту вроде бы. А привезли одни желтые. Куда их? К чему? Она и в руках подержала и на ногу поглядела, но взять не решилась. При ней завернули их в папиросную бумагу, положили обратно в коробку: кто-то другой будет носить.

Медведевы вставали из-за стола, когда с улицы раздался Клавин голос:

— Эй, дачники-и!

Застегивая рубашку на груди, Андрей вышел во двор, отогнал хозяйскую собаку, рвавшуюся с цепи. Клава, поставив ногу на раму велосипеда, вытягивала из сумки телеграфный бланк.

Фиолетовыми, с зеленым отливом чернилами было написано в телеграмме, что к двенадцати часам Медведева и Анохина ждет у себя товарищ Бородин.

Андрей глянул на часы. Времени в обрез. Судя по цифрам, представленным на бланке, телеграмма была отправлена и получена еще вчера.

— Сын! — крикнул Андрей.

На крыльцо выскочил Митя, вытирая губы: парное молоко допивал.

— Беги, сын, к дяде Виктору, скажи — нас обоих вызывают в город. Срочно!

— Им тоже такая телеграмма, — сказала Клава.

— Отставить, сын!

В высоком небе, никого уже не поражая, пронеслись где-то невидимые спутники, и ширина Атлантического океана измерялась для них одиннадцатью секундами полета. За десять часов пассажирский самолет со всеми удобствами переносил людей из Москвы в Нью-Йорк. Но здесь расстояния все так же измерялись не временем, а километрами. И телеграммы — и простые и молнии — доставляли раз в

сутки. Летом на велосипеде, зимой пешком по снегу Клавиными ногами, обутыми в чесанки.

— Спасибо, Клава,— сказал Андрей, расписываясь в разносной книге у нее на колене.— Вот если повестка будет мне на тот свет, как бы это ее через вашу почту пустить?

— До ста лет жить хочешь? — Клава сверкнула стальным зубом, но больше так, по привычке: что зря время тратить с женатым человеком.

А на крыльцо уже вся семья вышла: и Аня («Здравствуйте, Клава») и Машенька; на нее Клава всякий раз глядела как-то по-особенному.

Сумку за спину, села Клава на велосипед и покатила по улице в сатиновых шароварах.

Четыре года назад, когда Медведевы впервые сняли в этой деревне полдома на лето, Клава только замуж вышла. Муж был моложе ее, недавно из армии вернулся. А прошлой осенью Клава овдовела. Шли они из соседней деревни со свадьбы, дорогой поспорились. Домой Клава пришла одна. До утра проревела, но все же не пошла мужа искать: характер не позволил.

Нашли его под проводами линии передач; один провод, оборванный, лежал на земле. Как уж так получилось, как совпало, что в широком поле именно на этот провод наступил он в темноте?.. А парень был хороший, непьющий. Теперь бегаёт по деревне трехлетний человек с зачерствелыми пятками, точная отцовская копия. И войны нет, и сын без отца.

Аня прочла телеграмму:

— Что это может быть?

— Поглядим.

Дочка не читала телеграммы, но поняла главное:

— Купаться не пойдём, да?

— С мамой пойдёте.

— А ты?

Снизу вверх она смотрела на отца. Хорошо, когда есть в доме вот такое маленькое, говорит тебе «ты» и смотрит на тебя родными глазами.

— А вот вернусь из города, и со мной пойдём. Вечером вода те-оплая...

Здесь же, на крыльце, Аня сливала ему из ковшика. Голый по пояс, он мылся, перевесясь через перила.

-- И все-таки зачем вызывают?

— Шо було — бачили, шо будэ — побачимо.— Андрей отфыркивался под холодной струей, глаза от мыла зажмурены.— Но вообще-то отказывать есть помельче. К мэру нашему, к Бородину, зовут утверждать, одобрять, вручать. «Поощерять», как говорил наш старшина.

— Так ведь утверждено.

— Ну, может, решили вывести нас на орбиту. Придать нужное ускорение.

— Нервов твоих мне жалко.

— Тоже интересный оборот мысли...

У Ани еще не разогрелся утюг, когда пришли Анохины — Виктор и Зина. И с ними Мила в шляпке с широкими полями.

— Старик дает! — говорил Виктор, показывая телеграмму с той же подписью «Немировский». — Дирекция не щадит затрат. Ты вообще что думаешь на этот счет?

— Обсудим по дороге.

Андрей переодевался за шкафом, на открытую дверцу которого

были накинуты его брюки. Видеть он оттуда не мог, но и по голосу чувствовал, как Виктор сейчас помаргивает возбужденно за стеклами своих очков.

— Извини, Зиночка,— сказал он,— я тут несколько без галстука...

Дверца качнулась, когда с нее сдернули брюки, а на их месте повисли матерчатые джинсы. И дважды в зеркале качнулась вся комната: сначала в одну сторону съехала, потом обратно. И Зина увидела себя в зеркале во весь рост, с красными пятнами на шее.

— Я так волнуюсь, так волнуюсь,— говорила она, поглаживая пятна.— Главное, мне вчера такой сон приснился...

В просвете между дверцей шкафа и полом переступали ноги Андрея в брюках.

— Бриться или не бриться? — спросил он. Складки брюк поддернулись вместе и встали остро.

— Дома побреешься,— сказала Аня, тронув зашипевший утюг.— Все равно белая рубашка там.

— Но я же рассказываю!

— Извини, Зиночка.

— Понимаете, как будто мы идем по лесу... Там такая трава, высокая-высокая, холодная-холодная. Ужасно какая холодная. И вдруг чувствую, что-то трогает меня... Людмила, выйди,— сказала она дочери строго.

Мила, оформившаяся четырнадцатилетняя девочка ростом с мать, вздохнула, заведя глаза (мол, с нашей матерью не соскучишься), и вышла.

— ...Вы представляете, трогает меня за грудь. Холодное такое и мерзкое. Даже вспомнить гадко!

— А где Виктор был в это время? — спросил Андрей.

— Да, где я был?

— Отпускаешь одну во сне...

— А он, между прочим, всегда так. Я кричу: «Виктор! Виктор!» Хочу бежать, а ноги отнялись. Ужасная глупость, конечно...— Зина засмеялась, застыдясь, как девочка.— Я лично снам не верю...

— Ключи взял? Деньги? — спрашивала Аня, подавая за шкаф подглаженную рубашку. Она обычно с трудом переносила Зинино кокетство и вообще «Зину в больших количествах».

Одетый, Андрей чмокнул дочку, Аню. Сына потрепал по шее. Дети увязались было провожать, но до станции три километра, до поезда — тридцать пять минут.

— Вы там смотрите, держите высоко! — что-то ей самой неясное желая сказать и чего-то стыдясь, кричала Зина, и смеялась, и оглядывалась.

— Мы выйдем помахать вам! — крикнула вслед Аня.

Через полчаса, гудком оглашая окрестности, промчался внизу поезд. Зина с дочерью, Аня с детьми стояли на высоком песчаном откосе под сосной. Женщины махали вслед, дети прыгали и кричали.

Не война, не на фронт провожают мужчин, но когда замелькали внизу крыши вагонов и гудок раздался, у Ани словно предчувствием дальним сжало сердце. И беспокойно вдруг стало.

## Глава II

В вагон идти не хотелось. Стояли в тамбуре, курили, подрагивая вместе с полом. В подошвы ботинок стучали колеса. В открытую дверь толкался ветер, вышибал искры из сигарет.

— Ты видел пометку на телеграмме? — спросил Виктор.

— «Ночью не вручать»? Ну тут хоть бы и вручать, Клава раз в сутки возит.

— Пометка знаменательная.— Виктор значительно помолчал.

Что знаменательная, Андрей и сам понял. За сорок лет жизни никто еще не заботился о том, вручат ли ему телеграмму утром, днем, ночью. Этим жестом их обоих отнесли к разряду людей, чей покой ценим и оберегаем. Но Андрей знал по опыту и другое: в жизни никакие блага не раздают задаром. И не все, что дают, надо хватать.

— Как думаешь, с чем встретит старик? — спросил Виктор.

— Черт его знает, конечно, но мне кажется, собрались нас с тобою ласкать.

— Думаешь?

— А чего бы так вдруг? Да срочно. Проект-то наш утвержден.

— Знаешь, мне — тоже, — сказал Виктор. — Может, очень хотим, оттого?

— Так ведь тут и хочешь и боишься. Путь от проекта до воплощения — это путь неизбежных потерь. Когда жмут, упираться вроде привычно. А вот если ласкать начнут?

— Да-а... Приедем, а нам как раз по затылку...

Влетели на мост; полный ветра и грохота. Глаза сами щурились от встречного мелькания перекрещенных красных металлических конструкций; все они были в крупных заклепках. Паровоз загудел, гулко отдалось, как в железной бочке.

Внизу сквозь мелькающие шпалы — черная река, плоскодонка в неподвижной воде у берега, в ней горбится рыбац.

Андрей еще мальчишкой был, и вот так же горбился рыбац в тени берега, и такой же на нем был прорезиненный плащ. Может, он вечно сидит под мостом, а над ним проносятся и поезда и времена?

Сорванный ветром клоч белого пара остался таять над черной водой, а поезд вырвался из мелькания и железного грохота, и неподвижными на миг показались поля. Они медленно поворачивались, телеграфные провода над ними взлетали и падали, взлетали и падали.

У переезда перед опущенным шлагбаумом стоял пыльный грузовик. За стеклом кабины смутно угадывалась женщина с младенцем на руках. А на подводе высоко на мешках блестела загорелыми ногами подводчица в белой косынке.

И это тоже мелькнуло.

Поезд пошел по дуге, показывая все подряд спешащие за паровозом вагоны с пассажирами в окнах. Из одного окна плеснули воду, ярко заблестела зеленая краска другого вагона.

А уже вдали из равнины полей, из нагретого дрожащего воздуха возникла распластанная город; серый элеватор, трубы ТЭЦ и химзавода — все это неясно, в бензиновой дымке. Стеклышком, попавшим на солнце, блеснули подновленные главы монастыря. Поезд прибавил скорость, загудел.

Из всего понастроенного за многие годы, что теснило друг друга, заслоняя силуэты, по-прежнему был виден издалика монастырь. Умели архитекторы прошлого выбрать место, знали толк, и был глаз.

На вокзальной площади стелили асфальт. Впрочем, как всегда летом. Грохочущее стадо машин двигалось взад-вперед в сизом чаду. Подъезжали самосвалы, опрокидывали из кузовов черные кучи горячей, маслянисто-рассыпчатой массы. Что-то кричали шофера, но голова их вязла в реве моторов.

И на всех механизмах, на катках, на машинах сидели за рулем мужчины. А женщины, повязанные по брови косынками, закопченные и загорелые, в пудовых башмаках, таскали на лопатах асфальт.

Отвесно жгло полуденное солнце, жаром дышала площадь, жар шел от железа, от перегревшихся моторов, от блестящих коричневым соляровым маслом огромных катков.

Оттесненные к краю пассажиры, с поезда попавшие в эту пышущую духовку, суетились под стеной с чемоданами в руках, боясь соступить с тротуара; след чьей-то туфельки уже отпечатался в свежем асфальте. От грохота лица у людей были напряженные.

Заметив такси на стоянке, Андрей и Виктор кинулись к нему, сели на проваленное заднее сиденье, сказали адрес. Шофер, молодой, з ковбойке, взялся уже за ручку счетчика, но тут увидел настоящего пассажира. Согнутая под тяжестью двух перекинутых через плечо на полотенце ивовых корзин, обшитых сверху материей, красная, умытая потом, женщина озиралась светлыми глазами, держа еще одну корзину с вишней в руке. Такая не на счетчик глядит; достав из-за пазухи, развязывает зубами платок, где у нее влажные от пота рубли и трешницы: отвези только. Но уже другой звал ее. Парень сердито включил счетчик.

В машине условились, как действовать дальше, и Андрей первым вылез у своего дома.

За короткий срок все в квартире приняло пыльный холостяцкий вид. Голые, без штор окна, приклепленные к рамам, желтые от солнца газеты.

Прежде всего Андрей позвонил главному архитектору города, руководителю их архитектурной мастерской Немировскому. Знакомый, с генеральскими нотками бас в трубке — Полина Николаевна, секретарша:

— Андрей Михалыч? Минутку...

Пока докладывалось, пока подымалась другая трубка, Андрей, чтоб времени зря не терять, начал раздеваться. Перенося трубку от уха к уху, стряхнул с себя оба рукава рубашки.

Однажды был у него телефонный разговор, один из тех разговоров, которыми определяется многое, и тут вдруг подошла Машенька — ей года два было тогда, не больше, — подошла и ясным звучным голоском (хорошо, он трубку успел прикрыть вовремя) сообщила о своем сокровенном желании. В доме только они двое, разговор прервать нельзя и ребенка ждать не заставишь. Жестами показывал он дочке, куда пойти, что принести. Усадив ее рядом с собой на горшок, погладил по головке, а важный разговор с важным лицом все длился. Потом Машенька радостно сообщила: «Я уже...» Это хорошо, что в их городе нет видеотелефона, техника пощадила их.

— Андрей Михайлович? Признаться, я уж беспокоиться начал: вдруг не пожелаете отпуск прервать...

После генеральского баса Полины Николаевны голос Немировского был несколько тонковат, требовалось время, чтобы ухо привыкло. Но зато слышалась в нем общая обремененность многими делами и заботами. Андрей разговаривал и видел Немировского: белоснежная рубашка, узко завязанный галстук, длинная кисть руки поигрывает карандашом, вальяжная поза.

— Как только получили вашу телеграмму, Александр Леонидович, в тот же самый миг...

В одних трусах, босиком он топтался на теплом от солнца, пыльном паркете. Немировский вводил его в курс дела:

— Ну что же, общие контуры прорисовываются довольно благоприятные. Сам факт, что мэр хочет видеть вас, сам этот факт надо рассматривать как одобрение.

«Мэр», оттенок легкой иронии — все это новые времена. О чем прежде говорилось с трепетом, теперь — с легкой иронией, с гарниром

вольности. Иначе выглядит неприлично: не может же современный просвещенный человек серьезно говорить о том, о чем нельзя говорить без юмора.

Но в общем, кажется, произошло именно то, что и предполагал. Где-то наверху, на какой-то стадии — где и в связи с чем, пока не вполне ясно, хоть Немировский и делает вид, — решено придать их проекту микрорайона большее значение и вес.

— ...Впрочем, я все расскажу по дороге. Полина Николаевна высылает за вами машину.

Сейчас предстояло еще выслушать маршрут. Это была известная слабость Немировского: всем всегда он объяснял, каким транспортом проехать, где лучше сделать пересадку, где перейти. Никто не знает города лучше, чем он, его маршруты наилучшие. И многие, чтобы сделать приятное Немировскому, спрашивали у него, как проехать или пройти.

— ...следовательно, заедут за вами, а уж вы... Хотя нет, стойте, что я говорю. Анохин ведь живет на Садовой? Так, значит, с него надо начинать. Он подхватит вас по дороге, и вместе вы уже заедете за мной. А чтобы сократить время, езжайте не по улице Гастелло — там сейчас в очередной раз перекрыто, — а по бывшей Солнца Свободы и там через Всехсвятский...

Андрей переступал босыми ногами, ждал. Сейчас должна последовать шутка: «И не забудьте помыть шею!» Он сразу же громко захохотал: шумное одобрение — лучший способ закончить разговор. Это как раз та нота.

От телефона бегом в ванную. Из душа обрушилась на голову холодная, теплая и наконец горячая вода. Стоя в пенных потоках, крепко зажмурясь и растираясь, Андрей пел что-то нечленораздельное. Бетонный потолок глухо резонировал. Ванная наполнялась паром.

Он выскочил значительно посветлевший. Бреясь, соображал: где запонки? где галстук? Когда затягивал узел на горле, со двора раздавался гудок автомобиля: Виктор уже ждал.

В лифте, надевая пиджак, оглядел себя в зеркале. Мелькали вверх зарешеченные двери на площадках этажей. Андрей промакнул ладонью свежий порез на подбородке. Послуживил и снова промакнул. А каким-то другим зрением, словно со стороны, видел все происходящее: и себя, и весь этот помчавшийся день, и суету, в которой он участвовал.

Черная «Волга» стояла у подъезда. Виктор похаживал около нее с сигаретой, хмурился, пробуя строгий взгляд и выражение лица. Он тоже был в сером костюме и белой нейлоновой рубашке.

— Слушай, мы с тобой, как двое в штатском, — рассмеялся Андрей.

Виктор молча указал глазами на женщину с двумя кошелками в руках. Остановясь, она смотрела, как они садятся в черную «Волгу».

Едва сели, машина тронулась с места; мотор мягко работал. Он был на пять лошадиных сил мощнее обычного. Но не столько даже эта скрытая под капотом мощь мотора, как внешние знаки отличия — несколько лишних никелевых пластинок, укрепленных снаружи, и желтые фары — определяли принадлежность этой «Волги» к тому разряду машин, в которых ездят ответственные служащие и еще «Интурист» провозит по центральным улицам города иностранцев, без любопытства взирающих из-за стекол.

Сидя в этой машине, Андрей испытал новое для себя приятное ощущение, словно он вдруг стал значительней в собственных глазах. Звучало радио, включенное едва слышно, позади их затылков — белые прищипанные шелковые занавески, матовый свет сквозь них.



Поставив подошвы ботинок на вычищенные, выбитые серые коврики, они мчались по городу вместе с тихо звучащей музыкой и сигаретным облачком под плафоном — отдельный микромир.

Причесанный с водою, так, что в редких светлых волосах над розовой кожей остались следы расчески, немолодой шофер глянул в зеркальце, дрожавшее впереди, увидел, как Андрей стряхивает пепел в спичечную коробку, и, заведя руку назад, открыл пепельницу в спинке сиденья:

— Курите.

Навстречу неслась булыжная мостовая, рессоры поглощали толчки, сдержанно рокотало под машиной.

Сливались и расходились блестящие трамвайные рельсы, звеня, кастились по ним пустые в этот час трамваи. Телеги с медленно поворачивающимися колесами, лошади, афишные тумбы на тротуарах, прохожие, скапливающиеся у магазинов,— все это мелькало и проносилось мимо.

Придышавшимся к городу легким уже и воздух казался свежим, ветерком обдувало, холодило непросохшие волосы. Взлетели на мост, и по асфальту как по воздуху машина пошла неслышно.

Немировский ждал их у подъезда, прогуливаясь с папочкой в тени старых лип. Он отпустил шофера, сказав, чтобы тот подхватил их «напротив бывшей булочной Филиппова, где в прошлом году самосвал без водителя сбил фонарный столб».

— Ну? — сказал он, когда машина отъехала, а Медведев и Анохин стояли перед ним на тротуаре и он оглядывал их, как бог свое удачное творение.— Я бы, тьфу, тьфу, поздравил вас, но нет более суеверных людей, чем архитекторы и кинематографисты. Покойный Сергей Эйзенштейн никогда заранее не назначал натурную съемку. Его спрашивают, бывало: «Можно давать команду?» «Да нет, все равно погоды не будет. Ну, выезжайте так просто». И на съемочную площадку приезжал, как будто посмотреть зашел. Все с ним хитрил.— Немировский указал на небо.— А потом отснимет и показывает пальцем: «Обманул...»

У Немировского была известная слабость: о знаменитых современниках он рассказывал как о своих личных знакомых. Но только люди бестактные или подобоострастные сверх разума могли спросить: «А вы были знакомы с Эйзенштейном?»

— Так что пока не буду вас поздравлять, на всякий случай воздержусь.

Расправив плечи, они шли по левую и по правую руку, а посередине Немировский свободно нес свой светло-кофейный костюм современной грубой выделки.

Еще не так давно в их городе особенно ценился габардин, бостон, тяжелое дорогое трико. Все это, фундаментальное, неизносное, как бы венчалось определенный этап жизни. Теперь эти вещи наполняли комиссионные магазины, как гардеробы костюмерных. Новый стиль, всемирная демократизация одежды требовали, чтобы шерстяная ткань выглядела как мешковина, и особый шик, высшую элегантность давало костюму то, что он «удобен для работы». Даже вещь, достать которую удалось ценою унижений и просьб, носить следовало небрежно, дескать, не мы для вещей, вещи для нас.

— Ну что, признайтесь, ругали меня не раз?

— Что вы, Александр Леонидович!

— Ругали, ругали. И чертыхали. Надеюсь, только в душе. Чтобы мысль проросла, для нее должна быть подготовлена почва. Удобрена и взрыхлена. Вот этим я и занимался, пока вы, пардон, ругали меня.

— Александр Леонидович!..

— Поспешить — это значит дело погубить. Только тот, у кого хватает мужества ждать.. А в то же время в точно уловленный момент...

Старик был взволнован, немного актерствовал. Надо было дать ему произнести трехминутную речь.

— Голая идея нежизнеспособна. Она должна являться в мир в одежде из слов. Человек рождается голеньким, но его ждут любящие родители. Идеи никто не ждет. Но если есть кому вовремя сказать нужные слова...

Немировский кивнул на ходу, полагая, что отвечает на поклон, и проходившая мимо женщина удивленно посмотрела на него. Он привык и всегда считал, что в городе все его знают, но город сильно разросся в последние годы.

— Так вот, вас вызвали, чтоб лично выдать вам порцию похвал и одобрения. Скромность, скромность и скромность — вот ваша визитная карточка на сегодня. Все еще придет. Потомки узнают, если современники признают. Теперь так: будут вопросы. Пояснения давать надо краткие. Мы хотели, мы стремились, в наши планы входило...— все это для мемуаров. Хорош ответ тот, которым вы одновременно отвечаете и на непоставленный вопрос. Да, да. Многие вопросы не будут вам заданы в силу простой некомпетентности, в силу тысячи причин. Ответьте на них, если они представят вас с выгодной стороны. Сами продиктуйте условия игры. Но этого мало. Вы должны сделать подарок своим слушателям. Какой? Очень просто: несколько живых примеров, несколько удачных фраз, чтоб их потом использовали в выступлениях. Вам понятно? И помните: впечатление, которое вы произведете сейчас, останется. Так кто будет давать пояснения?

Андрей заметил, каким напряженным вдруг стало лицо Виктора; заморгал, заморгал обиженно за очками. Числилась за Витькой эта слабость: очень он любит докладывать в присутствии начальства. Очень будет расстраиваться, если его обойдут сейчас.

— А вот Виктор Петрович пускай,— сказал Андрей.

— Да? — Немировский как бы задумался.— Ну что же, давайте так.

И с удивлением увидел Андрей, что и старика этот вариант устраивает. Что-то даже царапнуло в душе. Он знал — Немировский больше отличает его; с Витькой отношения официальной, словно чувствует в нем чужеродное что-то. Андрей не сомневался. И дома у себя старик иронизирует по поводу Витьки.

Однажды в откровенном разговоре он даже заступался за друга, говорил, что просто не всегда тот умеет себя показать, ну, тугодум немножко. А вот сейчас Немировский обрадовался, что докладывать будет Виктор, явно этого хотел.

Они остались вдвоем — старик деликатно предоставил им эту возможность,— и Виктор сразу сказал:

— Ну, Андрюша, давай мысли, раз уж так получилось.

Обсудили, что говорить. Они и раньше не раз обсуждали, когда думай — придется отстаивать, доказывать, спорить.

— Знаешь, я еще вот что думаю.— Виктор неуверенно глянул на него.— Что, если привести доходчивый пример? Ну, например, про то, что в распоряжении композитора всего семь нот?

— Не надо.

— А чего? Ведь правда.

— Что правда? Чистейшая демагогия. И говорено тысячу раз.

— Думаешь? — Виктор смутился несколько.— Доходчивый пример, вот что жаль.

Они были уже возле машины. Немировский ждал их.

— Ну, бог не выдаст, свинья не съест,— сказал он.— Я вас введу!

И первый полез в открытую для него дверцу. С папкой на коленях, он распрямился на переднем сиденье, лицо приняло то обычное выражение, с каким он ехал по городу: немного грустное (веселы в жизни только глупцы), немного усталое. Думающее выражение человека, обремененного многими заботами.

Ехать оставалось всего метров четыреста. Не ехать — подкатить. Но это следовало сделать с должной торжественностью.

### Глава III

И это было проделано. Черная сверкающая «Волга» описала по площади широкую дугу и стала у подножия ступеней.

Из распахнувшихся на обе стороны задних дверц, жмурясь от яркого солнца, вылезли Андрей и Виктор, вылезли так, будто всякий день вылезали они здесь из машины.

На виду окон они расправляли плечи, застегивали пиджаки, оглядывались особым, поверх голов, взглядом.

Открылась передняя дверца, ища опоры носком ботинка, высунулась нога Немировского, белая и худая из задравшейся штанины. Нога бывшего теннисиста.

Асфальт у подъезда, мягкий на жару, весь до каменных ступеней был истыкан каблучками-шпильками многочисленных секретарш. Как стадо козочек, пробежали они утром на работу и теперь на всех шести этажах стрекотали на пишущих машинках, разговаривали по телефонам и между собой.

Немировский вылез, распрямился, глянул на ступени вверх. Впервые они возникли на ватмане под его рукой. А потом десятки каменщиков зимой в мороз и летом в жару, оседлав каменные плиты, тесали их зубилами и молотками. Многие люди с тех пор взошли по этим ступеням вверх, многие сошли бесследно.

От колонн Немировский глянул на площадь. Привезшая их «Волга» отъезжала; пятясь осторожно, становилась в ряд. В желтые фары ее на миг попало солнце, они сверкнули, как прожектора.

И эта площадь тоже впервые возникла у него на ватмане. Здесь были прежде торговые ряды — кто теперь их помнит? Политая дождями и мочой, жирная от навоза, перемешанная конскими, бычьими, коровьими копытами земля. А горком и горисполком помещались тогда в красном кирпичном здании бывшего Благородного дворянского собрания. Туда и принес Немировский ватманы и макет.

В замысле здание это было иным. Оно должно было стоять на одном из пяти холмов города, как раз против главной улицы, на ее оси. Низкий цоколь из дикого, необработанного камня, неасфальтированные подъезды — каменные плиты и проросшая меж плитами трава, — несколько валунов на травянистом склоне. Здание естественно выросло из природы, оставаясь частью ее. Уже тогда он видел то, что было бы современно сегодня, что смотрелось бы сейчас.

С правой стороны (а если глядеть с холма, то слева), среди дубов и кленов, желтых осенью, он поставил бы в парке драматический театр. А по другую сторону — тоже в парке — памятник героям революции. Вечерами — направленный свет прожекторов. Это мог быть красивейший ансамбль, это была бы его Тамань: «Написать «Тамань» и умереть...»

Он был тогда моложе на тридцать с лишним лет, он принес свои ватманы и развернул на зеленом сукне, как разворачивают дитя из пеленок. И предстало его дитя голым на всеобщее обозрение.

Он еще не знал тогда, что люди редко видят вещи своими собственными глазами, еще реже — глазами тех, кто для них ничего не значит; потому так трудно утверждает себя все новое, непохожее. Но господствующее представление люди охотно делают своим. И потому важно, необходимо, чтобы мнение было подготовлено, чтобы прежде услышали о том, что предстоит увидеть. И даже те слова, которые скажут в итоге, должны быть умело подсказаны.

А он развесил ватманы, поставил макет на сукно и отступил, немой от волнения. И ждал. Потом, когда уже было поздно, он что-то жалко лепетал о законах архитектуры... Что законы архитектуры, когда законы природы переделывались, чтобы утвердить над всем величие и власть человека.

И срыли холм. Тогда еще не было бульдозеров, не было экскаваторов. Его срыли лопатами, увезли на телегах. А позже возникли эти ступени.

Впрочем, Александр Леонидович не раз потом думал с удивлением, что хотя люди, разглядывавшие тогда его проект, в законах архитектуры разбирались слабо, что-то другое понимали лучше него. И здание, которое в конце концов воздвиглось и стало прочно, несло в себе идею и утверждало ее. Со временем он привык даже гордиться: это построил я.

И вот по этим ступеням, которые впервые возникли на ватмане под его рукой, он вел вверх Анохина и Медведева, все нужные слова сказав наперед, все сделав, оговорив и предварив.

#### Глава IV

Их ждали. Едва они вошли в приемную, предводительствуемые Немировским, помощник поднялся навстречу:

— Ждут. Уже ждут.

С достоинством и радушием он лично и в своем лице приветствовал их.

— Александр Никифорович? — тихо спросил Немировский, глазами указав на дверь.

Помощник кивнул вполне утвердительно. Это означало, что заместитель председателя Митрошин там и настроен в их пользу.

В левой руке Немировский держал папку, а правая, когда он входил в учреждение на соответствующие этажи, была свободна для рукопожатий. И теперь он подал ее помощнику. Тот пожал сердечно. Выпущенные белые манжеты, белый воротничок, галстук в косую полоску, закладка с цепочкой, склоненный к плечу седоватый зачес.

— Здравствуйте, Виктор Петрович! Здравствуйте, Андрей Михайлович! — с должным почтением, но и себя не роняя говорил помощник и ответно пожимал руки и ласково взглядывал в лица.

Все, кто ждал в приемной и теперь обречен был ждать долго, тоже встали и отчего-то улыбались.

Даже прожив две недели отпуска в деревне, Андрей и Виктор все еще выглядели там белыми, незагорелыми горожанами. Но здесь они стояли бронзовые от солнца и воздуха. И все смотрели на них. А на столе помощника лежала снятая телефонная трубка, в ней попискивал измененный мембраной голос, но никто не обращал на это внимания. Вот этот царпающий в трубке человеческий голос мешал Андрею в момент торжества. Но он стоял со всеми, улыбался, как все.

Зазвонил другой телефон. Со спокойной улыбкой доброжелательства помощник продолжал разговаривать с ними.

— Дятчин? — спросил Немировский доверительно.

С некоторой грустью, что Дятчин там, помощник прикрыл свои зоркие глаза, но в целом лицо его выражало, что хотя он и там, Дятчин, но мы же с вами знаем: это никакой роли не играет.

Информация, полученная вместе с рукопожатием, была исчерпывающей. Но еще важнее было то, что помощник счел нужным информировать, лично спешил присоединиться к царившему настроению. Значит, в те несколько часов, пока Немировский не держал руку на пульсе событий, ничто не изменилось.

Сделав три шага, словно три раза скакнув, помощник распахнул дверь и вытянулся около нее. Правая его укороченная нога только носком доставала до пола, от этого казалось, что он привстал на цыпочки.

И когда уже проходили мимо, помощник тихо, не для всех и не для разглашения, проинформировал:

— Должен подъехать Игорь Федорович. Большой души человек!

Игорь Федорович Смолеев, уже с полгода первый секретарь горкома, был человек в их городе новый. Если бы Андрей был настроен на ту особую волну служебных отношений, где столько своих тонкостей, сложностей и подводных камней, где ни одно слово зря не говорится, он бы уловил главное, что было понятно этим двум пожилым и послужившим на своем веку людям, из которых один сказал, другой понял, оценил и, чтоб уж не ошибиться, в глаза взглянул. Но Андрея вот это с жаром и поспешностью сказанное «большой души человек» покорило. Никогда он не понимал радостной готовности к самоуничижению. А ведь немолод уже и на фронте был, на верное: нога-то перебитая.

Но Виктор, хоть и не подал виду, оценил услышанное. Докладывать в присутствии обоих руководителей города — это открывало свои возможности. Такие возможности выпадают не часто.

Помощник притворил за ними дверь в темноту междверного пространства — шкафа, — глушившего голоса и звуки. А следующая дверь была в кабинет.

И они уже не видели, как помощник кинулся к телефону: «Приемная!» — схватил трубку со стола: «Минутку!» И, управляясь с двумя телефонами сразу, еще и народу в приемной успевал показывать: мол, теперь ждите, не нам с вами чета.

Те и сами усаживались надолго вдоль стен: да-а, не чета... Это успех прошел перед ними, а успех не ждет в очередях, перед ним сами растворяются двери. Он и разглядеть себя не дал хорошенько, мелькнул, оставив в приемной улыбки и тягучие уважительные размышления. И не последней была тут мысль, что подождать можно, чего не подождать, лишь бы потом войти к начальству под хорошее настроение.

По той невидимой дорожке, что сегодня сама раскатывалась перед ними и вела, вступили они в кабинет. И хоть разлителен был свет после темноты, они увидели сразу, что все тут собрались вокруг их макета, установленного на отдельном столе. Сам Бородин с указкою в руке объяснял. Он положил указку, двинулся навстречу, несколько расставя ноги: был он тучен.

Завесы солнечного света от широких окон делили кабинет поперек, и он шел, первым пересекая их, голая бритая голова его блесла.

— Который же из вас Медведев? Который Анохин? — спрашивал он, оглядывая обоих. И поздоровался с Немировским; с папкою в руке тот имел при нем вид дисциплинированного служащего.

То, что они понравятся, можно было ожидать заранее. Они понравились бы сейчас, будь даже оба косые, кривые или заумные. И это бы простилось. Но перед Бородиным плечо в плечо стояли два рослых человека, такие, что нигде не стыдно показать. И он, довольный, оглядывал их. А они, как в армии перед высоким начальством, расправив груди, безошибочно выставляли то, что нравилось: хорошую выправку и скромное сознание своего места. И даже некоторую свою одинаковость.

— Жены вас не путают?

Бородин победно оглянулся на своих подчиненных. Все заулыбались.

— Не обижаетесь, что прервали ваш отпуск?

— Что вы, что вы, Алексей Филиппович! Как только получили телеграмму...

— Зря беспокоить людей не годится, а для дела... Дело превыше нас всех. Оно не ждет.

Бородин пожимал им руки своей мясистой рукой, внимательно всматривался в лица. Не только хорошей выправкой радовали они, было еще в обоих то, что всегда особо приятно глазу. Никаким другим словом это не определишь как только словом «наши». А много в том слове. Оно еще должно было открывать перед ними закрытые двери.

— Мы тут посоветовались предварительно,— говорил Бородин, пока остальные в очередь пожимали им руки. Он озабоченно взглянул на часы, и наморщилось над бровями, где раньше был лоб; теперь обширный глянцевый лоб простирался до самого затылка.— Так кто, товарищ Немировский, доложит нам? Вы или доверим одному из авторов?

— Пусть уж авторы,— поощрил Немировский, используя предоставленную ему свободу действий именно так, как ожидалось.

И все испытали привычное удовольствие от этой несрепетированной, но так сразу хорошо пошедшей игры, где каждый знал свою роль.

— Вот Андрей Михайлович. Или Виктор Петрович?

— Виктор Петрович,— сказал Андрей.

Все опять окружили макет: белые крошечные здания среди крошечных сосен, такие красивые, какими они бывают только на макете.

— Я думаю, правильной будет начать с основных идей, положенных в основу,— предварил Немировский.— Ведь, в сущности, ни один род искусства не несет в себе идею настолько, насколько несет ее в себе архитектура. Я бы даже сказал, вне идеи архитектуры вообще не существует.

Все кивали, слушая привычные слова в привычном порядке, и на лицах было строгое выражение.

— Это не абстрактные идеи, а непременно идеи своего общества.

— Добро! — сказал Бородин и из своих рук передал указку Анохину.

Для него все происходившее не было ни игрой, ни даже неким необязательным вступлением. Там, где касалось порядка, не могло быть необязательного: все важно, нужно, все значительно и взаимосвязано. Каждый камень держит здание, ни один не должен шататься. Он отдал этому жизнь, и не было зрелища радостней для его глаза, как видеть порядок во всем: и в целом и в частностях. Порядок и незыблемость.

Виктор взял в руки указку, выдвинулся в центр.

— О чем мы думали, когда приступали к работе,— сказал Анохин несколько театрално, от волнения наверное.— Есть один, если так можно выразиться, принципиально важный вопрос: земля. Ее у нас, как известно, не покупают и не продают. И это, я бы сказал, великое благо. Нам не надо заботиться о том, сколько будет стоить участок, в состоянии ли мы его купить. Государство во всех случаях избавило нас от этих нелегких забот. Но иногда некоторые отдельные товарищи не совсем правильно пользуются теми благами, которые государство так щедро предоставило нам.

Они условились, о чем и что говорить. Но уж такие до неловкости прописные истины говорил сейчас Виктор и так он их говорил, как будто помощник повлиял на него. Будь это с кем-то другим, так и наплевать бы, но за Витьку стыдно как за себя. С тем более строгим, непроницаемым лицом стоял Андрей, видом своим как бы исключая возможность происходящего. Все слушали. Только очки Дятчина блестя настороженно. Даже когда Немировский, человек, многократно заслуживший доверие, говорил об идейности архитектуры, даже тогда Дятчин слушал настороженно. Он не выказал неодобрения, он присутствовал, но присутствовал так, что права ссылаться на себя никому не давал.

Менялась обстановка, менялись люди. Дятчин был всегда. И всегда — зам. Даже когда его как бы уже и не было, вот как сейчас, он все равно был и слушал настороженно. Из-за голов и спин блестя его очки, в их толстых стеклах свет слоился кругами, а центры этих кругов — два зрачка, глядевших слепо.

— Под строительство,— продолжал Виктор,— стараются получить земли, которые не требуют дополнительных затрат. А это всегда, как ни печально, лучшие пахотные земли. Если мы проанализируем рост отдельных городов, мы увидим, что они ползут в сторону пахотных земель. К тому же участки отводятся большие, неоправданно большие. Отмечено желание отдельных товарищей прихватить с запасом. А в результате — удлинение коммуникаций. Что в конечном счете оборачивается удорожанием.

Тут ветерком прошелестело веселое оживление. Незваные «отдельные товарищи» — это были их соседи. Про соседнюю с ними область недавно писала в этой связи центральная пресса. Кому ж не приятно услышать правду про соседа?

Но то, что позволительно подчиненным, не могло быть прилично Бородину. И он сказал самокритично и строго:

— Не умеем, не умеем другой раз ценить, что нам дано. Не умеем ценить, не умеем по-хозяйски пользоваться.

Вот тут-то в образовавшейся паузе Андрей и сказал одну из тех цифр, которые они с Виктором приберегали про запас как главные аргументы:

— В целом по стране за один прошлый год ушло под строительство больше трехсот тысяч гектаров пахотных земель.

Сказал и почувствовал: не было услышано. Словно вдруг возникла вокруг него и распространилась пустота. И даже Виктор стоял с указкой, опустив глаза.

— Не умеем ценить, не умеем пользоваться,— еще строже повторил Бородин.

— Вот об этом мы и думали, приступая к работе,— подхватил Виктор.— Это двигало нас. Новый микрорайон должен быть построен не на пахотных землях, составляющих бесценное народное достояние. Это принципиально важный вопрос, который я хотел подчеркнуть.

С того момента, как спросил Бородин: «Так кто нам доложит?» — и дошло по цепочке до Анохина, и указка была ему вручена, что-то как будто переменялось. С привычкой обращаться не ко всем сразу и не всех видеть, а того, кому поручено доложить, Бородин, а за ним и остальные обращались теперь к Анохину как к старшему. Даже Немировский стоял в непривычной для себя роли: молча присутствовал.

Тем временем Виктор после длинного вступления перешел наконец к их проекту. Он говорил о сочетании зданий по горизонтали и вертикали, о том, что их микрорайон не будет распластным по земле и подземные коммуникации не будут растянуты. Это экономия. А для того, чтобы сохранить примыкающий лес («легкие, которыми дышит город», как сказал Виктор), они решили применить повышенную этажность и уплотненную застройку.

И еще Виктор сказал, все же сказал, о музыке. Сказал так:

— Говорят, что строительство из типовых деталей не дает возможности нам, архитекторам, полностью раскрыть свои творческие возможности. Но вот пример «типового строительства»: музыка. В распоряжении композиторов всего семь нот. И при помощи все тех же семи нот, одинаковых во всех случаях, создана и великая музыка и то, что слушать невозможно. Значит, дело не в том, что типовые, а в том, как мы умеем пользоваться.

Виктор говорил волнуясь, и одобрение было полным.

— Вот! — сказал Бородин, назидательно поднял палец и оглянулся на всех. — Всего семь нот. А мы другой раз говорим... Молодежи бы это надо послушать.

Тут как раз в момент общего оживления вошел Смолеев. И получилось вдвойне удачно, потому что Бородин заставил повторить при нем про семь нот, в знак одобрения говоря Виктору «ты». И Виктор скромно, всячески отстраняя не принадлежащий ему успех, повторил. Смолеев слушал, любезно улыбался. И знакомился, так же любезно улыбаясь. Но Андрею казалось, что слушает он и смотрит сквозь какую-то свою, целиком занимающую его мысль. Смотрит и не видит.

Рослый, молодой еще, но с сильной проседью в курчавых волосах, он рядом с Бородиным, в его кабинете держался как приглашенный.

«А что, если сказать при нем?» — думал Андрей. Все это время, пока Виктор представлял их проект и все слушали одобрительно, ему было немного стыдно за то, что они представляют. Ведь если честно признаться, это вчерашний день архитектуры. Можно интересней построить, гораздо лучше.

С непроницаемым лицом он вглядывался в лица: может, сказать, раз уж одобряют? И видел: нельзя. Нельзя вот так, вдруг испытывать судьбу. Это ведь и его и Витькина судьба.

Из-за этих-то мыслей он чуть не проглядел небольшое сражение местного значения. Александр Леонидович Немировский не упустил случая в такой аудитории блеснуть. Выждав момент, он рассказал об одной из гримас капиталистического Запада, с которой приходится сталкиваться архитекторам. В центре крупного города рядом с современными многоэтажными домами он сам видел старую деревянную развалюху, поражающую даже туристов. И никто — ни мэры, ни общественность, целый город не может ничего поделать. Вынуждены терпеть это уродство, не могут построить центр, потому что хозяин дома, видите ли, не желает продать участок.

Людям, привыкшим крупные вопросы решать по-крупному, слушать это было дико. Да уж, порядочки!.. Многие качали головами.



Но когда Александр Леонидович вновь попытался обратить все внимание на себя, Виктор не дал себя прервать. Конфуз этот Андрей заметил уже задним числом: ай да Витька!

Потом им вновь жали руки, еще раз поздравляли и Александра Леонидовича Немировского и их двоих. И закреплялось, закреплялось радостными рукопожатиями то, что есть. И уже этого было не изменить.

## Глава V

А внизу, в прохладном от каменного пола огромном вестибюле, все так же сидел у столика милиционер, поставив ноги на деревянную подставку. Пожилой, солидный, домовитый. Стол его покрыт обрезком зеленого сукна, толстое стекло сверху, бумажки по ранжиру разложены под стеклом, так что каждая перед глазами. И телефон по правую руку.

Когда входили сюда, милиционер беседовал с гардеробщицей, а она вязала на спицах за барьером. И сейчас они по-семейному беседовали, она вязала. Ничто не изменилось здесь. Только пахло в вестибюле щами: значит, пришло и прошло время обеда, вершина дня. Дальше день покатится с горочки.

Милиционер встал, отдал честь Немировскому, человеку, уважаемому руководством. И гардеробщица закивала. На уходящих вглубь рядях никелированных вешалок висело с краю несколько шляп, и она дежурила при них.

Преодолев сопротивление тугой пружины и тяжелой дубовой двери, окованной понизу медной пластиной, они вышли из сумрака вестибюля на режущий белый свет солнца.

Для большинства людей эти двери ничем не отличались от многих подобного рода: двери и двери. Но у Немировского столько было связано с ними. Как раз тогда чистили реку, случайно со всем мусором выволокли на берег мореный дуб, бог весть сколько пролежавший на дне. И Александра Леонидовича осенило: а что, если сделать двери из этого дуба? Как он потом жалел, что его осенило. Ведь даже ручки для дверей — а они сразу потребовались совсем особенные, мореный дуб диктовал и форму и массивность, — ручки эти несчастные едва не довели его до инфаркта, до разрыва сердца, как тогда еще говорили. Зато теперь, когда он брался за них рукой, он испытывал особое чувство общения.

Проходят годы, и каждый камень, положенный тобою, обрастает столькими воспоминаниями. Смотришь на него, а видишь все, что за ним стоит, что было тогда, когда его клали, что с этим связано. И уже все оно дорого на отдалении: ведь это часть твоей жизни.

Мы все торопим будущее. Едва начав что-либо, скорей хотим увидеть завершение. Но завершения нет, потому что оно же и начало. Да и мы сами приходим к завершению другими и смотрим иными глазами. Александр Леонидович с годами стал замечать особую над собой власть минувшего. Оно все больше и больше говорило ему. Будущее будет, минувшее не повторится.

Он шел рядом с людьми, перед которыми открылось будущее, которым он сам открыл его, но было ему как-то грустно. словно издали смотрел он сейчас на них и на себя.

Дубовая дверь из прохладного вестибюля отворилась с усилием в полуденный зной, в жару и сушь. Город отдаленно гудел, пахло бензином и асфальтом.

Вокруг площади на фонарных столбах в очередной раз меняли светильники. Ставили что-то приближающееся к современности: овальное и вытянутое.

Как только они трое появились под массивными колоннами на каменных ступенях, ожидавшая на другой стороне черная «Волга» выехала из ряда машин.

— А он проявил хорошее понимание обстановки.— Немировский ревниво оглядел Анохина.— Психолог. Откуда что взялось?

Виктор помаргивал.

— Я очень волновался. Не знаю даже, что наговорил.

— Да-да...— Покачивая в пальцах папочку, Немировский тонко улыбался, пожевывая губами: в них обкатывалась готовая шутка.— Ибо велик не тот, кто родит мысль, а кто сумеет прижить с ней детей.

И он сбежал вниз по ступеням к машине, которая, совершив круг, уже стояла внизу.

— Ну что же вы?

Они поблагодарили. Им хотелось вдвоем сейчас пройти пешком по городу, поговорить.

— Слушай, старик ревнует,— сказал Андрей, взглядом провожая черную «Волгу».— Ты заметил? Чего-то вдруг расстроился сразу.

— Нельзя, Андрюша, быть женихом на всех свадьбах одновременно.— Виктор говорил без всякой ученической скромности, строго и твердо.— Не он один.

— Ну, старика тоже не надо. Каков бы он ни был, но он сделал для нас. И вообще мне что-то сегодня жаль его.

— Вот-вот. Пусть привыкает.

— К чему привыкает?

Он не узнавал Витьку. Тон этот твердый, покровительственный. Опять что-то зацарапало в душе, как там, в кабинете, когда все стали обращаться к Виктору как к старшему. Но в конце концов не мог же он ревновать к Витьке успех. Или Витьку к успеху.

— Так к чему старик должен привыкать, объясни ты мне.

Но Виктор вдруг опять стал прежним Витькой.

— Андрюша, ну его к черту! Сегодня наш день. Имеем мы, в конце концов, историческое право? Имеем, черт возьми?

Право они имели. И деньги тоже. Это было главное. И они шагали по улице как люди, ясно увидевшие цель.

В те отдаленные времена, когда ни Ани, ни Зины в их теперешнем значении не существовало, когда они вдвоем считали общую мелочь на ладони, в те времена любили они один бар. Душой его был Манукян, прозванный Великим. Он являлся из табачного облака с подносом в руках: десять кружек на подносе, над ними шапки вздрагивающей пены. Всю эту тяжесть — чуть ли не пуд весом — грохал на мраморную плиту стола; потный, задыхающийся, вытирал пальцы о полотенце, висевшее у него на животе. Пиво ли здесь бывало особенное, или оно было таким из его рук, но по вечерам бар был полон, и электрические лампочки под потолком меркли в дыму.

Теперь здесь кафе-молочная. Пустовато, прилично, прохладно. Почти все столики свободны. Но хорошо то, что пиво тут тоже бывает. И все остальное по вечерам, ибо план выполнять надо.

Повесив пиджаки на спинки стульев, сели, закурили. У огромного, от пола до потолка, окна молодая женщина кормила мороженым девочку с бантом. В квадрате света четкие силуэты обеих: большой и маленький. Женщина поджала перекрещенные ноги под стул, тупоносые туфли девочки качаются на весу, под ними блестит пол.

Свет, плоские блестящие поверхности, алюминий и пластик, невесомые столики, которые страшно задеть ногой, — красное, желтое, зеленое — недавно это еще воспринималось как ниспровержение основ. Но в химически-ярком пластиковом мире уже угадывалась будущая серийность, стандарт, ничуть не лучший оттого, что он современный.

Был такой школьных времен рассказ про сыровара. О том, как он делал сыр в подвале. И вода там сочилась по стенам, и плесень по углам, а сыр — замечательный, ни у кого такой не получался. Но вот разбогател сыровар, отделал подвал под масляную краску. Все теперь не хуже, чем у других, только сыр такой не получается. Оказалось, эта самая плесень и была ему нужна, в ней было его богатство.

Вот так теперь и в баре, где чисто, светло и много официанток в наколках. Сойдясь в крут у кассы, они живо делились новостями. Их было больше, чем посетителей в зале, но они знали правило: посетитель, он подождет.

Пришлось потревожить:

— Девоньки!

— Доченьки!

Когда принесли пиво, неожиданно выяснилось: есть раки. Это меняло картину. Не то чтобы Россия окончательно обеднела раками, но встретить в пивной раков или воблю, ту самую воблю, которую прежде ни за что не считали, встретить их в пивной — это была неслыханная удача.

— Знаешь что, — сказал Виктор, — десяток возьмем все же. Как считаешь? Но не засиживаться. Жены у нас строгие, — сказал он официантке.

Та по-свойски усмехнулась:

— Так уж вы напугались!

Но пошла поживей.

— Знать бы, приехать нам с женами. Завалились бы на целый вечерок, как свободные люди, — затосковал Виктор по упряжке. — Двадцатый век называется! Со спутниками разговариваем, а жене за сорок километров позвонить по телефону нельзя. Вот что: на всякий случай позвоню теще. Мол, заседание кончится не скоро, вопрос важный. По крайней мере, если наши позвонят оттуда, будут знать.

— С той почты легче пешком дойти, чем дозвониться.

— Это когда нужно. А когда вот так, как раз дозвонятся. По крайней мере, мы отметились.

Виктор тщательно вытер пальцы бумажной салфеткой, надел пиджак, застегнул на одну пуговицу, поправил очки и пошел между столиками, покачивая плечами. Шел человек, знающий себе цену, умеющий держаться под взглядами людей. Виктор Петрович Анохин. Витька.

В сущности, все страшно быстро происходит. Гораздо быстрее, чем думалось лет пятнадцать назад. Уже их дети говорят по-английски, не успеешь оглянуться — школу кончат. А он вот так иногда увидит и изумится: неужели это его дети такие огромные? Неужели это с ним так быстро все произошло? А что удивляться, если подумать? Ведь им с Витькой по сорок. В эту пору сыновей женят, дочерей замуж отдают. Но их поколение позже начинало жить. И женились позже, и дети позже родились. Как раз на те четыре с лишним года, которые взяла война.

Виктор вернулся от телефона повеселевший:

— Еще Фридрих Великий говорил: солдат должен бояться своего начальника больше, чем неприятеля.

— Фридрих не нашего министерства. А вот что теща сказала?

— Теща сказала: «Ну, дай Христос!» И еще она сказала: «Виктор... Только вы там с Андреем глядите!..» Из чего можно заключить, что она в вопросах архитектуры разбирается.

С тем Виктор снял пиджак, теперь уже надолго.

— Ну, Андрюша, сегодня мы имеем право.— Он смотрел на Андрея влюбленными глазами, а кружку пива держал на весу.— Мы знаем за что.

Пиво было холодное, светлое, они выпили его одним духом, и даже дышать стало легче. Огромные раки, темно-красные, с черной окоемкой, лежали на тарелке, свесив мокрые клешни на стол. В пустых кружках, шипя, оседала пена. А они курили, откинувшись на спинки стульев. Это был лучший момент: все только впереди.

— Да-а, завидует нам старик.— Остро заблестевшими глазами Виктор сощурился в свои мысли.

— А чего нам, в сущности, завидовать?

— Чего?

Виктор быстро взглянул на него. Но сдержался. То, о чем думал в этот момент, оставил в себе. Сощурился, он взялся за кружку.

— Выпьем, Андрюша.— Задумался на миг, опять хотел что-то сказать, но опять удержался.— Ладно, без сантиментов.

В общем, он чувствовал к Андрею нежность. А тот говорил тем временем:

— Гордость его уже в другом. Он мэтр.

— Думаешь?

— И думать нечего.

— А не роль?

— Так в жизни кто не играет роли? Это редко кто остается самим собой. Таких единицы. А большинство надевает на себя роль. Он сегодня ввел своих, так сказать, учеников. Вывел на орбиту.

Но тут Виктор опять заговорил непримиримо, не желая признавать:

— Вывели мы себя сами и не будем забывать этого. А то много, знаешь, окажется...

Этой черты Андрей не знал в нем прежде.

— Ви-итька!

— Он придал нам некоторое ускорение, этого не отнимешь. Но ускорение оказалось большим, чем он ожидал. Этого, Андрюша, не любит никто. Вот он и маститый, и уважаемый, и обожаемый, но архитектор строить должен. А что он делает? Заседает последние двадцать — тридцать лет. Архитектора судят не по речам с трибуны. Да, не по речам!

Крупными пальцами он разломил рака, обиженно всосался в спинку, где была желтая икра. И вдруг Андрей понял: это старику отдавалось за его пристрастие к афоризмам: «Один родит мысль, другой приживает с ней детей...» Андрей захохотал. Долго же до него шло, долго доходило. Но неужели все дело в этом?

— Ты чего? — спрашивал Виктор, видя, как он хохочет. И оглядывая себя.— Чего ты?

Андрей ладонью вытер слезы, мокрыми глазами смотрел на него. Мысль, конечно, не Витькина, старик это знает, он ведь на всех этапах присутствовал. Но вот в чем он не прав: с такой мыслью детей не приживешь. И уж завидовать им, конечно, нечего. Устарела она лет на двадцать, если не на все двадцать пять. Сегодня он это так ясно чувствовал! Когда ругают, тут злость в тебе, отстаивать можешь. А вот когда чествуют, а ты знаешь, какова всему этому цена...

— Слушай, тебе не стыдно было сегодня? Ну зачем ты ввернул про эти семь нот?

Виктор сморгнул испуганно и заморгал, заморгал.

— Хотелось доходчивый пример...

— А потом нам же и скажут: построй чудо из шести палок. Вот так добиваемся сами себе.

— Считаешь, плохо я говорил?

И такой у Виктора был жалкий вид, что Андрею расхотелось укорять его.

— Да нет, нет. Ты как раз произвел впечатление. Но, Витя, не это главное. Я все удивлялся: отчего радости нет? Спешили, выбривались, волновались... Вот он, звездный час! А радости нет. Перегорело, что ли? Это, рассказывают, Форд приезжал. Подали ему на аэродром лучшую нашу машину, сел он: «Ну вот. Чувствую, помолодел на двадцать лет». Так и наш микрорайон. Чего уж там, мы-то понимаем...

— То все боялись: не примут, не будут строить. Приняли. Витя, если по-честному, так вот сейчас нам самое время сказать: давайте мы все заново. Это же вчерашний день архитектуры. Зачем? Ах, что можно построить!

Виктор смотрел на него с испугом.

— Ты не гляди на меня как на сумасшедшего. Что ты мне скажешь, я знаю. Но ведь это же правильно: врач похоронит свою ошибку, а тут полвека будет стоять.

Виктор заговорил горячо:

— Андрюша, ты прав. Тысячу раз прав! Мы еще построим с тобой.

— Можно построить.— Андрей сказал глухо и глядел незрячими глазами.

— А то все: Нимейер! Нимейер! А что Нимейер, если разобраться вот так?

— Нимейер? — Андрей словно проснулся, услышав.— Нимейер — гений. Даже ошибаться, как он, и то надо быть гением.

— Нам бы его условия! Когда ему все было дано...

— Слушай, ты понимаешь, какая возможность создалась? Витька, нельзя упустить. Мы сейчас можем продиктовать условия.

Вот тут Виктор действительно испугался.

— Андрюша, можно, можно. Но — нельзя! Сейчас пока еще нельзя.

— Чего нельзя? Чего нельзя?

— Что ты, разве можно откладывать, когда такой успех! Ковать, ковать, пока горячо. Потеряют интерес — не достучишься потом. Да мало ли что!

— Это я понимаю.

— А после мы построим. Давай дадим себе слово. Дадим слово и будем помнить. Но сейчас важнее всего занять командные посты. Мы имеем на это право, черт возьми! Даже если сначала хотя бы один из нас...

— Я бы там сказал. Хотел сказать, да это ведь и твоя судьба.

— Правильно, Андрюша. Еще будет у нас возможность. Тогда мы продиктуем условия, ты прав. Но не сейчас.

Подошла официантка:

— Ну что, мальчики, повторить?

— Надюша! — сказал Виктор прочувствованно.

— С утра была Зина.

— Фантастика! И у меня жена — Зина!

Официантка вкруговую загадочно повела глазами, рассмеялась

тем испытанным смехом, от которого только что мертвый не пробудится или уж совсем старый, совсем какой-нибудь никудышный мужчина.

Опытным взглядом она сразу разглядела то главное, что отличало этих двоих от остальных людей в зале. Тут даже не в деньгах дело, хоть денежных людей она умела с маху замечать. От них, сидевших в свежих белых рубашках, в выглаженных брюках, куривших сдержанно, от них веяло удачей. Они были на гребне какой-то своей волны, это она поняла безошибочно.

Собрав пустые панцири раков, скомканные бумажные салфетки, она запустила пальцы в мокрые пивные кружки, глухо звякнувшие друг о друга, поставила их на поднос.

— Еще по одной?

— А давай выпьем, что ли? — сказал Андрей.

— А? Да! — решился Виктор. — Зиночка, в ваших руках жизнь двух людей, которые хотят есть. Все остальное вы слышали. Не накормите — помрем.

— Таких случаев у нас еще не отмечалось.

— Будет. И вот этими... — Виктор хотел сказать «ручками», но осекся несколько, увидев в пивных кружках Зинины растопыренные пальцы с ярким маникюром. — Вот этими руками поухаживайте за нами, как вы поухаживали бы за собственным мужем.

— Пожалуй, не схочете. Я б его березовым венником накормила, да поперек спины.

— Веник отменяется!

Тут они вдвоем углубились в чтение и обсуждение меню, а Андрей сидел, курил, тупо глядел перед собой.

— Сержант в тебе, Витька, пропадает, — сказал он, когда Зина подносом вперед шла к кассе, покачивая мощными бедрами. — Строевой армейский сержант. Ты с ней говорил, едва каблуками не щелкал.

— Сержант сидит в каждом из нас. Из армии демобилизуются, но не уходят, — сказал Виктор значительно.

— Это ты спутал. Это не из армии...

Андрей увидел, что стол, за которым сидели женщина и девочка, уже вытирали тряпкой; он и не заметил, как они ушли. Две металлические вазочки от мороженого, темные против света, стояли на углу мокрой, блестящей плоскости стола.

Неожиданно он увидел обеих за окном. Они проходили по тротуару. Мать вела за руку девочку, девочка несла бант над головой. Ее маленькие, носками внутрь ножки семенили рядом с высокими, медленно переступающими стройными ногами женщины. Молодой женщины. Он смотрел им вслед. Нет ничего красивей на свете: молодая женщина и девочка рядом с ней. Будущая женщина.

Вернулась Зина с подносом перед грудью. И среди закусок, украшенных листиками и зеленью, возвышалась бутылка «столичной», прозрачная на свет.

В полной тишине Зина расставляла тарелки, клала вилки, ножи, тихо звякавшие о пластик. Соответственно возможностям мужчин ставила перед каждым не рюмку, а стопку. И все сделав и бутылку откупорив, задала единственный, не лишенный изящества вопрос:

— Сами разлить сумеете?

— Разольем, Зиночка, ни единой капли не расплескаем.

Но прежде чем уйти, Зина еще раз оглядела стол, уже взглядом художника.

Виктор поднял стопку:

— Андрюша, сегодня у нас особенный день. Все-таки он особенный...

— То-то и жаль.

— Я понимаю тебя, но ты же понимаешь...

— Все мы понимаем, в этом и беда наша, что такие мы понятливые. Еще и подумать не успели, а уже понимаем.

— Андрюша, время работает на нас. Давай, выражаясь фигурально, за то, чтобы везло нам и дальше. Чтобы ехалось легко...

— Чтоб у нас, у дураков, хватило ума сойти вовремя. А то такие мы умные, так раньше времени понимаем... И духу чтоб хватило.

Со стопкой в пальцах, волнуясь, Виктор смотрел перед собой остро блестящими глазами. В нем, как всегда, от мысли зажглась своя мысль.

— Давай, Андрюша,— сказал он, додумав до конца, и тряхнул головой.— Это ты хорошо сказал: вовремя сойти.

А часа полтора спустя они сидели за тем же столиком, громко разговаривая и смеясь. Зал был уже полон, зажглись огни, и кафе с огромными, до земли, окнами светилось изнутри, как аквариум, за толстыми стеклами которого проходили по тротуару, стояли люди. Потом вдоль окон пошла официантка с краем тяжелой репсовой гардины в руке и отделила улицу. Стало уютно, глухо, и сейчас же ударил оркестр. Андрей обернулся. На крошечной эстраде четверо нестриженных парней в разномастных пиджаках стоя дули в блестящие трубы, а ударник, играя плечами, локтями, глазами, подкидывая палочки в воздух и лоя, управлялся один с великим множеством сверкающих тарелочек. Грохот маленького оркестра заглушил голоса. Люди теперь кричали друг другу, сближаясь лицами. И Андрей и Виктор тоже кричали.

— Хорошо! — Виктор оглянулся.— Высотный дом в Москве на Смоленской площади красив или некрасив?

— Нет!

— Это он для нас, для современников, некрасив.

— Для кого как.

— Потому что мы знаем. А сменятся поколения — и вратет. Вратет! Вратет! Станет больше чем красив. Москву уже не представишь без него.

— Все, что было, станет мило?

— Иным он и быть не мог.

— Он всегда будет уродлив. Эти парадные двери как врата. Человек перед ними крошечный. Эти каменные столбы как стража с бердышами. И когда закладывалось!

— Забудется!

— Нет, не забудется.

— Кто помнит, Андрюша? Кто связывает одно с другим? Это интеллигенция куска в рот не положит, чтоб не облить слезами сожаления. Ест и жалеет, ест и жалеет. Но ест! Вот в чем дело: ест. И каждый, если поставят перед ним, будет есть. Люди забываются, а здания стоят.

— Не забывается и не исчезает бесследно. Есть еще и генетическая память.

— Мы с тобой сдавали: никаких генов нет.

— Вот-вот.

— Чистейший вейсманизм-морганизм и прочий менделизм.

— Мы и не то отменяли.

— Андрюша! Миллионы со всего света ездят глядеть древние

развалины: «Ах, хорошо! Ах, красота!» А во что эта красота людям встала, сколько там полегло, кому какое дело?

— Так ты и дальше хочешь?

— Мы с тобой не хотим. Но, Андрюша, что зависит от нашего хотения? Вот именно, что? А безымянным,—он потыкал пальцем вниз, под стол,— нет, не хочется, знаешь ли.

Белая рубашка на нем промокла под мышками, и круги выходили дальше на грудь. Скомканным в кулаке платком Виктор вытер блестящий лоб. Сказал вдруг:

— А помощник Бородина — хитрован. Чмаринов Борис Ксенофонович. Хитрова-ан! Левое ухо рваное видал?

— На черта мне его ухо.

— Не скажи.—Виктор подмигнул с превосходством.—Вот так сшит поперек и кусочка сверху недостает. Старый волк! Жизнь знает лучше нас с тобой. Да-а...

Сняв запотевшие очки, Виктор щурился на грань стопки. Мыслью был он сейчас не здесь. Мыслью он сейчас был там, где уже бывал не однажды, но куда сегодня перед ним открылись двери. Ведь могли не их, а чью-то другую судьбу поставить на рельсы, и покатилась бы с легкостью... Но вслух ронял только тягучее «да-а»...

— Давай, Андрюша, вот за что.— Протерев, Виктор надел очки, глаза в первый миг оставались незрячие, как после яркого света.— Кто-то сказал: дружба — это лодка, в которую в хорошую погоду вмещаются двое, а в бурю только один. За нашу с тобой лодку, Андрюша! Чтоб в ней всегда было место для двоих.

И смотрел влюбленными глазами.

До войны был у Андрея школьный друг Валька. Он погиб в сорок втором. А все, что выпало после войны, они прошли с Виктором вместе. Больше друзей уже не будет. Если судьба не дала друга до сорока лет, за этим рубежом заводить поздно.

— Давай за лодку, Витя! Давай за лодку!

Как раз в этот момент оркестр смолк, стыдливо смолкали запоздалые голоса. Их тост раздался так, что от соседнего столика обернулся парень в спортивной кожаной куртке.

— Лодку, что ль, покупаете?

— Ну да, лодку,—сказал Андрей.

— Уважаю. Моторную?

— Двадцатый век!

— Уважаю. Бывай здоров!

Он повернулся к ним заскрипевшей кожаной спиной, опрокинул в рот стопку.

— И зачем им лодка, когда вот она водка,—мимо проходя, улыбалась Зина.—На ней дальше поплывешь.

Двумя пальцами за горлышко она словно нечаянно составила с подноса к ним на стол новую бутылку.

— Ну что за Зиночка! — вскричал Виктор.— Все понимает! И закуску тоже.— Тут он в целях конспирации спрятал под стол пустую бутылку, будто ее и не было совсем.— Что-нибудь, Зиночка, эфемерное такое. Можно нам что-нибудь такое обеспечить?

— Вам я могу обеспечить все.—Зина ясно улыбалась.

— Ну Зина, ну что за Зина! — вскричал Виктор, несколько увянув.

— Мужчин надо прежде всего кормить,—сказал Андрей,— поэтому для начала...

— Сосиски с капустой.

— Их еще на комбинате мясом набивают.



— Не будем тревожить, пусть перевыполняют план,— сказал Андрей.— А бифштекс, случайно, еще не на четырех ногах? Впрочем, мы и на яичницу согласны.

Зина смотрела, улыбалась.

— Жены-то небось молятся на вас?

И пошла, повлекла за собой взгляды. И Виктора и парня в кожаной куртке. Тот до тех пор поворачивал голову, пока на покрасневшей шее позволяли напрягшиеся связки мускулов.

— Уважаю,— сказал он потрясенно. И потянулся к сигарете Андрея.— Друг, дай огоньку!

Широкие плиты его скул блестели, черные глаза косили нетрезво. Он пыхнул сигаретой.

— Спасибо, друг.

Опять заиграл оркестр. Люди что-то беззвучно говорили, сближая головы над столиками, подымали кружки, чокались рюмками, и глаза сквозь дым сигарет и лица сияли одним общим выражением. Во всех в них — и в молодых и в старых — был интерес собранной вместе мужской компании.

То Андрей, то Виктор, взглянув на часы, начинали торопиться. И опять оставались на месте.

— Главное, не поверят, что мы ведь правда торопились, вот что обидно,— огорчался Виктор.

— Не поверят, Вита, лучше не объяснять. Не поймут.

И поражались, что водка не берет их. Слабая она, что ли? Только душно становилось, через силу душно, и Виктор скомканным влажным платком то и дело утирал лицо.

Люди входили с улицы, отряхивались. Платками вытирали волосы, рубашки у многих были мокры. И уже не только дым, а как будто пар стоял под потолком, окутывая плафоны. Люди за столиками все время менялись, уходили, новые садились на их место, но не менялась обстановка единой мужской компании.

На какое-то время Андрей остался один. Обернувшись на стуле, оглядывал зал. В самом конце, на освещенной эстраде, стояла у микрофона певица, вся блестящая. Черное, в блестках шелковое платье ее лоснилось и вспыхивало под электричеством на груди и на животе, руки были голы, накрашенный рот улыбался, и только голоса не было слышно, словно выключили звук.

Вернулся Виктор с мокрыми зачесанными волосами, потрезвевший. Они расплатились, встали. И еще до дверей не дошли, а за их столиком уже рассаживалась оживленно целая компания.

Пока они сидели в дыму и зашторенной духоте, над городом разразилась гроза. И весь он с вечерними огнями отражался сейчас в мокром асфальте. Потоки мутной, кофейного цвета дождевой воды мчались под фонарями у края тротуара, с шумом всасывались канализационными решетками, окна домов были распахнуты, и так дышалось сейчас после дождя и прогревшейся грозы!

В мятых белых рубашках, перекинув через руку пиджаки, всем потным телом ощущая эту благодать, они стояли, дышали и поражались. А из дверей, из которых они только что вышли, как из духовки, валило тепло, табачный дым и запах жареного.

Весь город был сейчас на улице. Блеск огней, голоса, шум дождевой воды, сигналы машин, шаркающий звук подошв по асфальту — все это в одном потоке двигалось, обтекая их. И они тоже шли, дыша таким легким после грозы воздухом.

И столько было вокруг молодых женщин в летних платьях. Ветер

обведал их голые руки, открытые шеи. И свет на лицах, и особенный блеск глаз.

— Нет, ты смотри! — поражался Андрей. — Когда они родились? Когда они все вырасти успели? Витя, это же крайне обидно. Как будто уже нет нас. А мы все-таки есть, мы не только были.

На них обернулись, блеснули глазки, сразу несколько пар. Боже ты мой! Нет, жизнь прекрасна.

— Андрюша, мы есть и будем. И в этом своя историческая справедливость!

Тут Виктору вдруг захотелось, и непременно сейчас, ехать туда, где «будет город заложен». И ничего кроме он слушать не хотел, и шофера такси слушать не хотел, и кончилось тем, что они поехали.

В темноте взбирались по откосу, по мокрой траве, среди мокрых сосен. Взобрались. Внизу шумел, блестел город.

— Здесь будет город заложен! — Виктор топнул ботинком. — Понимаешь, Андрюша, здесь люди родятся, будут жить... И никто не узнает, что в начале всего стояли здесь мы двое. Но мы знаем. И с нас довольно. Потому что мы — знаем!

И еще ему хотелось непременно здесь дать клятву.

Андрей смеялся:

— Ты что, Герцен? Или Огарев?

— А что Герцен? Что Огарев? Привыкли: Огарев, Огарев... А что уж Огарев, если уж разобратся?

Шумели сосны, отвесно стояло небо, все в ярких звездах после дождя. Внизу был город. А они двое стояли здесь, на своей вершине.

## Глава VI

Следующее утро, которое по пословице вечера мудренее, началось в поспе и покаянии. Аня молчала, вопросы детей раздавались в пустоте:

— А мы пойдем на речку?

— Я думаю, мы пойдем на речку? — подхватывал Андрей несколько лебезящим голосом.

— Еще на лодке обещали покататься... Все только обещаете...

— Действительно, мы ведь обещали. Я совершенно из виду упустил.

— Ты, к сожалению, ничего не упустил из виду. Ничего из того, что стояло у тебя перед глазами...

— Да, детонька, ты совершенно права... То есть, наоборот, я хочу сказать, что у тебя не совсем точная информация в этом смысле.

А про себя подумал: «Вот у Витьки сейчас творится!..» От него хоть требовалось покаяние внешнее, а от Витьки будут добиваться осознания в душе.

В первый год семейной жизни Андрей все пытался доказывать свою правоту, как будто в ссоре бывают правые. Поистине молодой муж подобен новобранцу: не понимает, что не тот виноват, кто повторяет «виноват!», а кто оправдывается.

Тем временем Митя подводил грустные итоги:

— Рыбу ловить не пошли... На лодке не покатаемся... Лучше б не обещали.

— А правда, детонька! Возьмем с собой продуктов, соль, спички, где-нибудь на острове разожжем костер... Честное слово, а? И тебе за нами не ухаживать. Сварим уху...

— Мамочка, давайте! — Митя выскочил из-за стола. — Я нож с собой возьму, фляжку с водой!

Вот тут Машенька, маленькая миротворица, подошла к ним, стала посредине:

— Давайте не ссориться. Ну почему мы ссоримся? Давайте жить мирно.

И целовала голую материну руку, а ладошкой своей теплой гладила отца по небритой с утра щеке, как будто примирение обещала.

— Идите во двор! — крикнула на детей Аня: у нее слезы выступили на глаза.

Андрей обнял ее и, хоть отворачивалась, поцеловал в висок.

— Дети умней нас. Ну хватит, чего там... Поругала мужика своего — и хватит. Это ж такой день. Мы с Витькой хоть и подкаблучники, а все же некогда мужчинами были. Вот и просыпается порабощенный дух раз в пятилетку. Время такое: вся Черная Африка скинула иго, Азия бурлит. — Он опять поцеловал ее в висок. — Ты у меня умница.

— «У меня...» Правда что Азия в тебе бурлит. — Она вытерла щеки ладонью. — Ладно, давай устроим детям праздник. Они уж, во всяком случае, ни в чем не виноваты.

Андрей быстро побрился, замаливая грех, сунулся было мыть посуду, но не был допущен: излишней суетливости от него не требовалось. Собрали кошелку и по дороге на речку зашли за Анохиными: Виктора выручать. Пока жены разговаривали между собой в доме, Виктор и Андрей курили во дворе.

— Ну как, брат, раскаялся? Прощен?

— Да нет, понимаешь, не в том дело... Зинюшка нервная очень стала. С нервами у нее последнее время... Другой раз ничего особенного, а на нее вдруг так подействует. — У Виктора даже стекла очков блестели жалобно: то ли от раскаяния, то ли от тоски. — Когда дети, знаешь, в самом деле нехорошо. Привыкнет дочь встречать отца в таком виде, а потом к ней самой вот так муж явится. Хочешь, чтоб он ее уважал, относись к матери с уважением...

— Отличник! Урок выучил на пятерку.

— Да нет, понимаешь... — Виктор опасливо взглянул на окна, откуда раздавался накаленный Зинин голос: «Аня, не знаешь ты их, Аня-а!..» — Ужасно нервная.

— У тебя одна дочь, а у меня и дочь и сын. Тут как быть? Положение по тому анекдоту: «Как ваша дочь замуж вышла?» — «Великолепно! Она еще в постели, он ей кофе подает». — «А как сын женился?» — «Не говорите, ужасно! Она еще в постели, он ей кофе подает...»

— Да, — сказал Виктор, не слыша и не слушая. — Да, да...

Андрей потянулся, скосив на него смеющийся глаз, хрустнул пальцами за спиной. Был он в стиранных джинсах с никелевой пряжкой на животе, в расстегнутой ковбойке и тапочках на босу ногу. Утреннее солнце, хоть и не жаркое еще, пекло похмельную голову. Кваску бы сейчас холодного из погреба.

— Слушай, — сказал он, — у Леши бредень есть. Не даст он нам?

— Бредень? — Виктор глянул на окна, не зная, как поступить.

— Что командование решит, до нашего сведения доведут, а солдат службу знает.

Они обошли дом, пригибаясь под развешанным на веревках, хлопющим от ветра ситцевым бельем. Надутые наволочки были как подушки. Распугав на заднем дворе кур, вошли в коровник. С улицы показалось черно внутри. Хозяин, Леша, в резиновых сапогах вычищал навоз, соскребая лопатой с мокрых досок. Он посгавил лопату к стене, осторожно взял испачканными пальцами сигарету из протянутой пачки, потянулся прикуривать.

— Бредешок-то есть. Вон на потолке валяется не по назначению. Ловить чего будете? Ей и так здесь, рыбы, не было, скрозь истребили, а как летошний год плотину прорвало, последняя ушла.

Леша в большом раздумье сбивал мизинцем пепел с сигареты. Тёмный субботним настроением, он и навозом-то занялся с утра не по доброй воле. Охотней пошел бы рыбу ловить, если б кто пригласил. Там поймают не поймают — «основной вопрос», как говорил он в таких случаях, «не в рыбу уперся...». Но Андрей и Виктор сами еще не были прощены, к тому же собирались с детьми, с женами и предпочли не понять.

— Да мы такие рыбаки, если только сама какая-нибудь в бредень заскочит с перепугу, — стыдливо засмеялся Виктор. — А на себя мы не надемся.

— Ну да, ну да... — Леша был мужик сообразительный. — Тогда конечно.

Носком сапога он вдавил сигарету в навозную жижу и, припадая на левую ногу, похрамал к дому.

Мальчишкой играл он с пацанами под берегом, и раскопали в песке поржавевшую гранату времен войны. Двоих тут же положило наповал, а Леше в нескольких местах перебило ногу и крошечным осколком веко рассекло; с тех пор и помаргивал он не в лад.

Когда после прибыла саперная часть, нашли на дне реки, затянутые илом и песком, немецкие снаряды и мины общим числом больше сотни. Но основной склад обнаружился в деревне. В каждом доме была своя противотанковая мина, у запасливых хозяек по нескольку штук. Стали отбирать — прячут так, что с миноискателем не найдешь. И не сразу в голову пришло саперам, что, помимо своего основного назначения, противотанковая мина может служить еще гнетом для капусты: «Тяжелая, круглая, как раз по размеру входит в кадушку. Ты найди мне такой подходящий гнет, тогда отдам...» Пробовали припугнуть — не пугаются: «Сколько лет солим — не взрывалась, чего это она вдруг взорвется?» Пришлось саперам выменивать мины прямо таки поштучно.

Со временем срослась у Леша нога неровно, вышла корочка другой, колено не сгибалось. Из-за нее он и в армии не служил и в деревне остался чуть ли не единственным из сверстников. Зато женился рано и в двадцать четыре года, к изумлению своему, был уж отцом четверых детей, старший из которых, как все вокруг, звал его Лешей.

По приставной лестнице боком-скоком Леша взобрался на чердак и вскоре вылез оттуда со скатанным бреднем. В ячейках его застряла тина. Пересушенная на чердаке, она крошилась в пыль, пахло от бредня едва внятно рыбой и рекой: давно Леша рыбачил.

Наконец вышли из дома женщины.

— Здравствуй, Андрей..

Голос Зины сугубо холоден. Мужа она вообще не заметила: ни его самого, ни его робкого движения взять у нее из руки кошелку. Пошла вперед, как бы единолично неся всю тяжесть их совместной жизни. Но Аня подмигнула Виктору: прощен, прощен, можешь надеяться.

— Драсьте... — материным голосом поздоровалась Мила. И тоже не заметила провинившегося отца: натаскивается для жизни. А где-то парень растет, дурак, всего предстоящего не ведая. Мордашка, если поглядеть, недурная, научится со временем по-французски. (По-английски уже умеет: теперь этому учат если не каждую, так через одну.) И пропал, пропал паренек.

Четырнадцать лет назад вместе с Виктором с бутылкой шампанского и горшком цветов, которые еле раздобыли в городе, заваленном снегом, подкатили они на такси на Колодезную, под горой, где у Зининых родителей жили молодые. И Зина, почти девчонка еще, покраснев от смущения ли, от гордости, вынула из коляски, придвинутой к печи, нечто маленькое, безбровое, в массе наглаженных кружев. Это «нечто» в голубом одеяле (ждали мальчика), перепоясанное розовой лентой, была Мила.

В соломенной шляпке с широкими полями Мила шла впереди, ведя за руку Машеньку в белых трусиках с кармашком. Пушистая коса щекотала ей спину между лопаток.

Шли напрямик через огороды, луг, на котором паслись индивидуальные козы и несколько телят, привязанных за веревку. Впереди за осокой слышны были голоса, плеск, и двигались, возникая в просветах, головы людей, плывущих в лодке. И кочки на лугу пружинили под ногами.

Пока отмыкали лодки, каждая из которых ржавой цепью прикинута к ветле, вычерпывали воду консервной банкой, дети полезли купаться. Голых и мокрых детенышей своих Андрей одного за другим втащил через борт в качающуюся лодку. Митя тут же вызвался грести. В худых его руках весла вырывались из воды, смоленая плоскодонка дергалась из стороны в сторону. Но уже прорезывался характер у мальчишки: хоть и выбился из сил, а весла не отдает. Аня, сидевшая с кошелкой на коленях, не могла видеть эти огромные весла и эти худые руки — откуда там силам взяться? Но Андрей курил, посмеиваясь: ничего, мальчишка должен быть мальчишкой.

Впереди на блестящем зеркале воды чернела против солнца другая плоскодонка. Два силуэта в шляпках на корме, низко осевшей в воду, взмахивающие по сторонам мокрые весла. Виктор греб ровно и мощно, от лодки к берегам расходились буруны.

Часа через два горел на песке костер, и в закопченном ведре варилась уха. Они обшарили все побережье, и каждый раз, когда подтягивали бредень к берегу, дети кидались в воду, кричали, месили воду ногами, били по воде. Женщины с полиэтиленовыми мешочками, в которых уже плавало в воде, толкалось в прозрачные стенки несколько рыбешек, давали с берега руководящие указания. Продрогшие до гусиной кожи Виктор и Андрей заходили снова.

Общими усилиями семерых человек, из которых четверо с высшим образованием, поймали десятка два пескариков, глупого щуренка, по жадности сунувшегося в бредень, да несколько плотвичек и полосатых окуньков. Но все же в ведре варилась уха. Варил ее Виктор, считавший себя специалистом. Под его рыбацкие рассказы про тройную уху со стерлядочкой Андрей задремывал, и просыпался, и задремывал вновь, лежа лицом на солнце. Когда перевернулся на живот, открыл глаза, река в первый миг показалась черной, песок — белым, как соль.

Весь освещенный солнцем, мускулистый, по щиколотки уйдя ногами в песок, Виктор в красных плавках помешивал прутиком в ведре. Очки он снял и щурился над паром. А дети стояли вокруг животики к огню.

Когда-то их с Витькой было двое. Потом с Аней и Зиной — четверо. Теперь — семеро.

Виктор на прутике достал из пара разваренную плотвичку с белыми от кипятка глазами.

— Разве это рыба? Если по правилам, так ее не варить, а выбросить.

И с великим презрением опустил плотвичку обратно в ведро.

Говорят, есть срок всему: и удаче, и уму, и силе. Вчера у них с Витькой был тот день, от которого начинается новый отсчет времени. Он видел вчера в приемной, какими влюбленными глазами смотрели на них незнакомые люди.

Успех — как мода. Кто вчера знать тебя не хотел, сегодня спешит отметить, от других не отстать. Ну что же, это все в дело годится. Вот, может быть, теперь им удастся сказать свое слово в архитектуре. Поздновато, конечно. У других поколений этот день приходил раньше. Да, видно, каждому поколению свое.

Их первым костюмом — и повседневным, и походным, и парадным — была гимнастерка, единая во все времена года. А единственным делом, которое они успели закончить к двадцати двум годам, была война. Теперь их дети изучают ее в школе в общих чертах и в главных датах. Как они когда-то проходили в школе первую империалистическую или гражданскую войну, из которой в памяти оставался только Чапаев и оборона Царицына. Войны всегда отодвигаются другими войнами, еще более страшными.

Он смотрел на детей. Босые, они стояли на песке вокруг костра. Когда дети стоят вот так, голыми животами к огню, кажется, не было минувших тысячелетий, а есть только вечное небо, и вечно течет река, и вечно горит костер... Но для тех, времен детства человечества, огонь был жизнью. Для его детей это игра. Они затопчут его, засыплют песком, уходя. Они родились в мире, где давно уже все покорилося человеку. Они даже не подозревают, насколько они могущественны с детства. И все могущество, каким и господь бог не владел, в руках человека, впервые потерявшего право на ошибку.

Под радостные крики детей Виктор снял с огня ведро, смоляное от копоти, дымящееся.

— Папа! Папа! Глядите, папа заснул! — кричали дети.

Андрей встал, потягиваясь. Прилипший к телу песок осыпался.

— Неужели правда спал? — удивилась Аня.

В черном купальнике она сидела на краю расстеленного коврика, повернув к нему голову. Блестящие на солнце волосы склоты на затылке тяжелым узлом, загорелые плечи золотятся. Красивая у него жена. И лицо такое хорошее, такое человеческое. Она увидела себя в его глазах, какой он видел ее сейчас, и улыбнулась ему.

— Солдат спит, а служба идет! — сказал Виктор, держа горячее ведро на весу: он искал место, куда его поставить, искал центр.

Зина откинула полотенце, которым от солнца и мух была прикрыта еда. Красная редиска, огурцы, зеленый лук с маленькими белыми головками — все еще мокрое от воды, свежее.

— Товарищи, товарищи, к столу! — сзывала Зина, словно собирала сотрудников. — Андрей, дети... Давайте, товарищи...

— Андрей, пойдй к тому кусту и достань из воды что ты там спрятал. — Аня сказала это холодно.

Не задавая лишних вопросов, только надеясь робко, Андрей при общем нарастающем любопытстве пошел туда, куда ему было указано. Он опустился на колени и достал из воды две большие бутылки молока. А потом под восхищенный возглас Виктора: «Ну, ты дашь!..» — одну за другой вынул три бутылки пива. Холодные, с них капало.

— Аня! Ой, Аня-а!.. — тем самым голосом, каким ее мать в подобных случаях говорила, пропела Зина. — Не знаешь ты их, Аня!

— Дети! — торжественно сказал Андрей. — Если вас спросят, кто великий человек, говорите: «Наша мама!» Великая и великодушная!

Сушился распятый на кустах бредень. Чуть дымил догоревший костер. Остатки еды бросили рыбам, в малой степени возместив природе взятое у нее.

— Нет, вы чувствуете, воздух какой! — изумлялся повеселевший Виктор. Он сидел на песке, поджав босые ноги. — Вот дышишь — и не надышишься.

И по мужской логике тотчас зажег сигарету, чтобы вдыхать в легкие не этот речной воздух, а табачный дым. Андрей тоже сказал что-то о воздухе и закурил, глядя на бегущую воду. Женщины тут правильно заметили: «Зачем же вы курите, а не дышите воздухом?» Мужчины покаянно согласились, с удовольствием сознавая, что это все же хорошо, когда в жизни есть правила, иначе не так приятно было бы их нарушать.

— Ну ведь вредно курить? — добивалась ясности Зина. — Ведь вот пишут в газетах, сколько умирает от рака...

— А знаешь, сколько некурящих умирает?

— Ну, я, конечно, не знаю так точно...

— Сто процентов.

— Нет, ты меня не путай, Андрей. Курящих все-таки умирает больше.

— Тоже сто процентов.

— Как это?.. Подожди.. Зачем же тогда в газетах... — Анекдот доходил медленно. — Ну тебя совсем! — Зина рукой на него махнула. — Я думала, он серьезно. Ты пользуешься, что я несильна в математике.

— Зиночка, вредно не табак курить, не водку пить — вредно на свете жить. И что-то никто от этой вредной привычки не отвыкает добровольно.

Тут еще несколько послеобеденных мыслей о вреде табака было подброшено в затухший костер дискуссии. Аня рассказала кстати, как позавчера вечером пошли они с детьми в лес, и вечер был чудный: сыро, туман... Только в лес вошли, как он: «Махорочки бы сейчас...» И — сигарету в рот.

— Да-а, махорочка...

Мужчины вздохнули. Помолчали.

— В сорок втором весной стояли мы в районе Лычкова в лесу, — сказал Андрей. — Вы где тогда стояли?

— Весной сорок второго?..

Разговор тронулся проторенным руслом воспоминаний, и мужчины, лежа на песке голова к голове, закурили еще по одной из общей пачки. Дети уже вновь плескались в реке, женщины приклеив белые бумажки на носы, лежали в темных очках и читали. Изредка до них доносился хохот, словно там не про фронт разговор шел, а рассказывали анекдоты. Таково уж свойство военных воспоминаний: кто дальше от фронта воевал, тот о подвигах рассказывает, об опасностях, о том, сколько раз его чуть не убило, кто там был, тот охотней вспоминает смешное, а память погибших попусту не тревожит.

Зине вскоре наскучило читать. Она сняла очки, сразу потеряв некую загадочность: «блондинка в черных очках». И с черным пробором.

— Вот все говорят — Ларионова, Ларионова, красавица... Может, я, конечно, не понимаю. — Тут Зина отрицательно покачала головой по адресу тех, кто думает, что понимает лучше нее. — Не знаю. Вчера опять показывали по телевизору «Анну на шее», я нарочно стала смотреть. Во-первых, у нее ноги короткие.

— А во-вторых?

— Что «во-вторых»?

— Зиночка, у женщин за «во-первых», как правило, не следует «во-вторых».

— Не знаю, Андрей, каких ты имеешь в виду женщин.— В глазах Зины, ставших плоскими, кошечка уже выпускала коготки из мягких лапок. Это ему за анекдот, который она поняла не сразу.— Но лично я...

— Зиночка, ты все же учитывай: я за,— сказал Андрей.— Я всегда за. Кроме тех случаев, когда за не вижу.

Тут Виктор закашлялся.

— А ты не кашляй!

— Да нет, мне какое-то насекомое в рот попало. Млекопитающее...— Виктор в подтверждение покашлял еще.

— ...лично я всегда знаю, что хочу сказать,— добившись тишины, продолжила Зина.— Короткие и с косточкой. Вот что «во-вторых».

Виктор усиленно мигал Андрею, а вслух говорил:

— Между прочим, в Италии, говорят, выходил журнал «Ля Ларионова».

— Для итальянцев каждая русская женщина — красавица.— Это было сказано Зиной безапелляционно.— Но вот когда она там с Жаровым катается, не знаю, мне, например, неприятно было на это смотреть...

А солнце полуденное жгло, и зеркало воды и белая страница раскрытого журнала слепили. Странное ощущение было сейчас у Андрея. Словно он прощался со всем, что видел. Так бывает в предотъездный день на курорте. И море то же, и солнце, и так же берег полон купающихся, но ты уже не здесь. Ты лежишь на берегу, а мыслью ты в том поезде, который повезет тебя отсюда. Интересно, есть это чувство у Витьки? Ведь их поезд прибыл, ждет. А может быть, повез уже?

Тем временем разговор от «Анны на шее» перескочил к рассказу «Попрыгунья», и тут Виктор сказал вещи, которые при Ане говорить было небезопасно. Он сказал, что вся история Рябовского — это, в сущности, история Левитана: был у Левитана в жизни такой не очень красивый роман. И вот возникает вопрос: имел право Чехов, который был в дружеских отношениях с Левитаном, представить широкой публике в таком свете своего друга? Если не имел права и не решился бы, не было бы рассказа. А так есть в мировой литературе прекрасный рассказ.

— Вить, а ты ведь не это спрашиваешь.— Голос у Ани был тихий-тихий: это она уже сдерживала себя.— Имел, не имел — тебя не это интересуется.

— Ну во-от, сразу на личности,— дурацливо занял Виктор.

— Ты спрашиваешь, за сколько имел право? За сколько можно? За сколько нельзя?

Андрей захохотал:

— Слушай, один — ноль!

— Не один — ноль, а двое против одного. Зинушка, поддержи!

— Очень надо...— Зина перевернулась на живот, спустила бретельки с плеч, чтобы спина лучше прожарилась на солнце.— Спорите о какой-то ерунде.

— А между прочим, что ты думаешь, это существенно,— сказал Андрей.— Пока выбора нет, все честные. И смелые! Особенно когда такая смелость поощряется. Дозволенная смелость. Хвалят за нее. А возник выбор... Тут не каждый сможет. И совсем не безразлично — за что?

Виктор сбоку ласково взглянул на него и продолжал тонкой струйкой сыпать песок из кулака.

— Но ты так не думаешь,— сказала Аня.



— «За что?», «за сколько?» — это вопрос вопросов. Убил одного — убийца! Под расстрел его! Миллионы убил — и люди веками спорят, кто ты есть. Один век так решает, другой век — иначе. Нет, это очень существенно.

— Но ты так не думаешь! — закричала Аня с обидой за него.

— Что ж тут «думаешь — не думаешь»... У меня и выбора-то никогда не было. Это если выбор, а ты самим собой остался, вот тогда — да! Я как тот чиновник, который взятку не брал. «А тебе давали?» — «Нет, говорит, никто не давал...»

— У тебя был выбор! У тебя была броня, а ты на фронт пошел. А другие в это время брони добивались.

— Ну, знаешь, если это выбор... Так мы еще хвалиться начнем: я не вору!

Виктор сыпал песок из кулака и шурился; струйка стала совсем тоненькая, вот-вот пресечется. Желание сказать боролось в нем с привычной осторожностью.

— Ты, Витька, брось отмалчиваться. — Андрей хлопнул его по спине. — Раздразнил спорщицу, а мне теперь достается.

— Я не спорщица. А только не бывает благом, чего достигли подлыми средствами.

— Не бывает? — Виктор стеснительно улыбнулся. — Можно исторический пример? Микеланджело.

И ребром ладони разровнял на песке площадочку.

— Что Микеланджело? — вскричала Аня. — Бескорыстнейший человек! Грабили все кто мог. Всю жизнь нищенствовал!

— Очень хорошо. — Пальцем, ноготь которого был желт от сигаретного дыма, Виктор начертил крест на расчищенной площадке. — А средства, которыми он добивался единоличного права строить собор святого Петра? Не стеснялся товарищ в средствах. Всех оттеснил. А в итоге? Стоит великое творение. И никому нет дела, какими средствами. Со всего света ездят смотреть. А расскажи, что он там двух младенцев зарезал, так повалят толпами.

— Витя, ты вчера уже толкал эту мысль, — сказал Андрей. — Было твое выступление. Народ не поддержал.

— А я разве спорю? Я не спорю. Я только факты, факты привожу. Не все так просто, как мы это себе иной раз...

— Дети где? — спросила вдруг Аня. Поднявшись на колени, она вглядывалась испуганно и от волнения не видела детей. Только блестя река на солнце. У нее все в душе оборвалось, когда она увидела эту пустую блестящую поверхность реки.

— Да вон, вон они, — говорил Андрей.

И на том самом месте, куда она только что смотрела, где не было никого, она увидела всех троих сразу. Черные против солнца, дети играли у самой воды, строили крепость из мокрого песка.

Аня легла на разостланное мохнатое полотенце. После пережитого испуга ей как-то безынтересен стал спор.

— Ну так что? — спросила она, чтобы что-то сказать.

— Что? — Виктор опять ребром ладони разровнял чистую площадку. — Творческий человек иногда не властен. Талант требует реализации. И бывает сильнее. Вот он знает. — Он указал на Андрея и опять ласково улыбнулся ему.

— Ну, это ты, брат, загнул, — сказал Андрей. — Талант талантом, но и он не все спишет.

— Спорят сами не знают о чем. Двадцатый век, по-моему. В двадцатом веке все люди современные. — Зина перевернула гремящую гляцевую страницу, еще дальше сдвинула купальник со спины. — А которые не умеют, так те еще больше других хотят. Ума не хватает,

вот и непрактичные. Ань, ты чем прыщи выводишь? Если вот на плечах? Мне говорили, лучше всех этих кремов солнце помогает...

И оглянулась, не услыша ответа. Ани рядом не было. Зина зевнула, помахала себе в рот и легла на спину, положив журнал на живот.

Аня шла по берегу в сторону детей. А оттуда, где строили крепость из песка, уже оторвалась и бежала ей навстречу Машенька, маленькая частичка целого, влекомая силой притяжения.

Полжизни прошло с тех пор, когда они с Аней бежали на пригородный поезд. И опоздали. Задохнувшаяся, надышавшаяся морозом, она ела снег из шерстяной варежки, а он целовал ее ледяные от снега губы. А по платформе ходил милиционер в валенках с калошами. Прошел раз, прошел еще раз, сказал строго: «А ну выйдите на свет, чтоб я вас видел...»

Аня шла по солнцу в черном купальнике, сильная тридцатилетняя женщина: на мокром песке оставались глубокие следы ее ног. А навстречу летело маленькое ее повторение. Набежав, Машенька обхватила мать, втиснулась в нее лицом, и даже здесь было слышно, как она визжит от радости.

Он смотрел на них издали, словно из окна того поезда, который увозил его. К лучшему? К худшему? Он знал только, что уже ничего не изменишь.

## Глава VII

Ночью, горячими ладонями глядя его лицо, Анна говорила:

— Так мне тебя что-то жалко! Ты прости, я тебе порчу радость.

— Ну чего, чего, трус Иваныч? Чего ты?

— Сама не знаю. Только жаль тебя. Так жаль, что я вчера даже сердиться на тебя не могла. И страшно...

— Ты еще на картах погадай.

— А я бы погадала. Карт нет.

— Чудная, честное слово. Беда случается — ты спокойней меня. Все хорошо — ты боишься.

— Я только чувствую: не будет уже того, что у нас было. Что-то сдвинулось. А нам было хорошо. И я не хочу!

Вот это она права: сдвинулось. И движется. А куда — видно будет. Но он все время чувствовал, что поезд несет, несет его. Странное только дело: не хочется торопить время. А может, судьбу? Ладно, доедем до места, там поглядим. И оглядимся.

— Эх ты, охранительница своего гнезда. Ничего не бойся, пока ты со мной.

— Разве я боюсь? И уж не за себя, во всяком случае. Они у меня перед глазами, разве я виновата в этом?

Опять начинался их вечный разговор. А впрочем, он и не кончится никогда. Прошлое всегда при нас, как твоя собственная жизнь. И хоть не с тобой было, а твое. Где-то он прочел: история народа — как ствол дерева; выпили из него круг, составь ствол вместе — дерево расти не будет. Это так. Хотя чего в истории не бывало!

Гегель, кажется, заявил: история учит нас только тому, что она ничему нас не учит. Веселое напутствие детям, внукам и правнукам. Впрочем, Гегеля он не читал. Философов, всех вместе взятых, они в те поры сдавали на экзаменах по краткому философскому словарю.

— Ты сегодня лежал у костра, дети думали — спишь. А у тебя такое было лицо...

— Какое?

— Душа за тебя сжималась.

Глаза ее заблестели в темноте. Андрей вытер их ладонью. Осторожно.

— Ты что, провожаешь меня? На фронт? А если б сына, если б Митю нашего пришлось провожать?

— Фронт — это другое.

— Потому что не с нами. Я вот про свою мать думаю: великомученица была, только теперь ее понимаешь. Даже внукам не пришлось порадоваться... Тебя бы она любила.

— А что, я тебе хорошая жена.

— Может, и лучше, что не дожила. Ведь до радости надо было смерть Юры пережить. Вот что не дай и не приведи: пережить своих детей.

За окном по лопухам, по листьям сирени стучал редкий дождь. И пахло дождем и сырой землей. А за дощатой перегородкой слышно спали дети. Их дети: Машенька и Митя.

Андрею снился однажды сон — он даже Ане не рассказал, зная, как на нее это подействует, — снилось, что он проходит мимо Мити, как будто не узнавая. Только так он может его спасти: виду не подав, что это его сын. Почему? что? — ничего не запомнилось. Но вот это жуткое чувство: он должен не узнавать своего сына. И Митя смотрит молча, как он проходит мимо него.

— На войне хоть то было, что все общее, — сказала Аня. — Даже несчастье. Это со всем народом случилось.

— И тут со всем народом.

— Что ты сравниваешь? На фронт стремились. Это было святое. А перед этим — каждый в одиночку.

Он пошарил рукой, нащупал у кровати на полу сигареты, спички, закурил. И курил, глядя в окно, в темноту.

— Ведь им столько же было. сколько нам сейчас, — сказала Аня. — Знаешь, когда, дядя Женя и тетя Нюся решили строиться на этом участке, их считали сумасшедшими. Там была свалка. Шлак, битое стекло, лопату в землю невозможно воткнуть. А потом какой был сад! Какие яблони, какая сирень! И все своими руками. Они как первые люди на Земле: построили дом, в нем родились их дети... Ты подумай, дядя Женя уже тогда делал операции на сердце, оперировал рак. Я тебе рассказывала, четыре года назад я встретила женщину, он ампутировал ей грудь. Она жива до сих пор, плакала, помнит его. А его нет. Я ведь фактически выросла в их доме. Мама шла на работу и оставляла меня на целый день. Дядя Женя все уговаривал ее: «Муська, дай вырежу Анечке аппендицит. Она и не заметит даже». Как мама потом ругала себя!

— Ничего в жизни не повторяется, — сказал Андрей, светя в темноте сигаретой.

— Вы, мужчины, всё разумом..

Да, это их мужское занятие она не очень жаловала. Но и не вникала. Считала так: мужчины без этого не могут — и пусть забавляются. Им надо мыслить, искать объяснения в исторических параллелях, ну вот как необходимо им курить, выпить другой раз и при этом много разговаривать. Никогда ничего от этих разговоров не менялось в жизни, она была в этом совершенно уверена. Но вот что поражало Андрея: то, к чему он приходил сложными путями, оказывалось, она и так знает несомненно. Не по мысли — по чувству, в котором была совершенно свободна.

Он, конечно, не мог не знать, да и она, если спросить, сказала бы, что из них двоих умней он. Многие мысли ей были просто скучны, как скучны ей были газеты. И в то же время ей, как младенцу, бывало то открыто, что не могли разрешить мудрецы.

Отдаленно, далеко где-то сверкнуло беззвучно отсветом из-под туч. Андрей подождь. Даже и не пророкотало.

Весь день давила сильная жара. Ближе к вечеру от горизонта, быстро закрывая небо, двинулись тучи; ветер гнал по улице пыль, белым пухом летели с кудахтаньем куры, мотались согнутые вершины деревьев, отрясая листву. В домах стало темно.

Потом вслед за сверкнувшей молнией низко над крышами ударил гром, в лампочках померкло, вновь разгорелось, грохнуло сильней прежнего, и свет погас. Небывалой силы хлынул дождь, вмиг выполоскал сады, улица зашумела пенной глинистой водой, по воде босиком, прикрывшись мешками, рвущейся из рук целлофановой пленкой — кто чем, — женщины загоняли коров во дворы.

Гром вскоре откатился за дальний лес — оттуда и посверкивало, — а небо так и осталось низким, из него то сеялся, то принимался идти дождь.

— Они как-то жили гостеприимно, — говорила Аня, — теперь так не живут. Всегда народ был в доме. Вечером в саду накрывали под электричеством стол. Сорокалетние мужья, красивые жены. Я только теперь это понимаю. Еще не начались болезни, и уже дети подросли. И уже что-то достигнуто в жизни. Помню, приходили братья Авдеенки, полярные летчики, красавцы. Доктор Никитин, комиссар гражданской войны. Все заслуженные люди...

— А если не заслуженные?

— Да, ты прав. Но я так их помню...

Опять пошел дождь, мир сузился, стал меньше, тесней: они двое и дети их рядом.

При разгоревшемся уголке сигареты Аня увидела его губы, сжатые жестко, горькие морщины у рта, раздражение и боль в лице; увидела, как задрожал в пальцах уголек сигареты, когда он отнял ее от губ, и сердце в ней повернулось. Он ведь мужчина, тот, кто должен защитить... И еще она все на него, все на него же.

— Сумасшедшенький ты мой!

Она целовала его мягкими, добрыми губами.

— Обожжешься. Сигарета же.

— А ты не кури, когда с женой. Жена, понимаешь, жена. Жену надо любить, а не злиться.

Она сама взяла у него сигарету из губ, выбросила за окно.

— И не о делах думать. Любить жену, любить.

— Что, сердце повернулось?

— А у меня все от сердца. Только от сердца. И не бывает иначе.

Такой он родной был сейчас. Она целовала его с закрытыми глазами. И так близко стало, так радостно обоим, так вдруг нестерпимо больно, что казалось — вот сейчас лопнет сердце.

Потом они лежали молча, тихо. Слушали дождь. Аня так и заснула, носом уткнувшись ему под руку.

## Глава VIII

Митя, бегавший к Анохиным, принес новость: на речку они не пойдут, у них Мила заболела. Что с ней, ему не сказали, видел только — лежит на кровати поверх одеяла. Аня тут же предложила зайти.

— Да ерунда, — отмахнулся Андрей. — Съела чего-нибудь. Что с детьми бывает в летнюю пору?

Но по дороге с речки они все же зашли. Виктор и Зина обедали. Мила лежала на кровати с грелкой, ноги укрыты халатом.

— Ну как? — спросила Аня, стоя в дверях с кошелкой в загорелой руке.

Виктор хлебал крошку, густо засыпанную зеленым луком.

— Здорово, товарищи начальники! — со двора приветствовал Андрей и положил локти на подоконник. — Не просите, не уговаривайте: сыт. Ну разве что пообедать, если уж так уж...

Он вспрыгнул, сел боком в окне, заслоня свет.

— Чего вы нас перепугали?

— Шутки твои... — сказала Аня и покачала головой.

Сидя прямо, Зина от тарелки несла ложку к оскорбленно поджатым губам. «Кажется, в самом деле обиделись», — подумал Андрей.

Но с Зиной лучше не выяснять, это он хорошо знал. Тут если и не виноват, виноватым окажешься и уж так останется за тобой.

— Крошка есть, — сказала Зина. — Вкусно!..

Она проглотила, и две продольные жилы на шее напряглись.

— Да нет, Зиночка, я пошутил. Вон дети во дворе, мы обедать идем.

Со двора слышны были восторженные взвизги: это оценилась Дамка, хозяйская собака, и Машенька обмирала вокруг щенят.

— Так что у Милы? — спросила Аня.

— В общем... — Виктор доедал, наклоня тарелку. Подавил отрыжку. — В общем, я вызвал машину. Пусть привькают.

И приосанился. Сняв запотевшие очки — они всегда у него запотевали во время обеда, — протирал их, помаргивая. Надел, взгляд за стеклами прояснился.

— Вот так!

— Какую машину? — Андрей улыбнулся.

— Сходил на почту, позвонил Немировскому. А то целый день стоят, шофера им фары надраивают. Опухли от сна.

— Ты представляешь, Аня, — заговорила Зина, — у нас ребенок заболел, а он говорит: «Не знаю, где машину взять...»

— Возьмет! — Виктор поднял широкую ладонь.

— Товарищ Бородин нашел время принять Виктора и Андрея. Да как он вообще может после этого?

Аня присела к Миле на кровать: ей не понравилось, как у девочки блестят глаза. Глядя ее по волосам, попробовала лоб.

— Ты думаешь, ей нужна грелка?

— Я им говорю, меня от нее еще больше тошнит. — В голосе Милы были слезы. И на руке своей Аня чувствовала ее горячее дыхание.

— Знаешь, я бы грелку не давала. — Она легонько подавила ребенка живот. — Больно? А здесь? А если вот так? Нет, я бы сняла. Зачем, если неприятно?

Она еще раз погладила Милу по волосам, глазами сделав Зине знак выйти. Во дворе тихо, потому что окна в дом были открыты, сказала ей:

— Ни в коем случае грелку! Это похоже на аппендицит.

Лицо Зины стало обиженным и глупым. Слово припухло враз.

— Не знаю, — сказала она.

В присутствии Виктора получалось так, что Аня понимает, а она не понимает.

— Я уж тогда совсем уж не знаю. Ничего такого она не ела. У меня простокваша была. Из погреба. Холодная. Очень вкусно. А тут Виктор бутылку кваса открыл, она тоже выпила...

— От кваса аппендицита не бывает.

Ане сейчас, в общем-то, было наплевать, что Зина о ней думает. Когда болен ребенок, меньше всего надо заботиться о самолюбии ро-

дителей. Но она знала, что переубедить Зину невозможно. Ее можно испугать.

— Ты мать, ты смотри. Но я просто уверена, что это аппендицит.

— Да? Ты думаешь? Ее ночью рвало.

— Вы с ума сошли!

— Что ты пугаешь ее? — вступился Андрей.

— Я пугаю? Я не пугаю. Я только хорошо знаю, что такое пропустить аппендицит. Вот это я хорошо знаю. Ты когда вызвал машину?

Виктор — он стоял в красной шелковой рубашке навыпуск, в джинсах, в тапочках на босу ногу — взглянул на часы. Плоские, они впечатались в шерсть руки.

— Да вот сколько... Час уже. Да... Часа полтора...

— Не понимаю, — волновалась Аня. — На поезде быстрее. Ты, Андрей на руках донесете. Наконец тут где-нибудь машину. Я бы ни за что не ждала.

Зина загорячилась:

— Ты представляешь, Аня, ребенок болен! Ребенок! А они не знают, где машину взять...

— Ничего, ничего. Найдут.

— Разве есть у нас что-либо дороже детей?

— Но это же твой ребенок! — не выдержала Аня.

— Вот именно! — сказал Виктор. — Если бы их детки — ого! Ничего, пусть почесутся.

Глаза у него за стеклами очков были ускользящие.

— Виктор! — спохватилась Зина. — Разве час? Три часа уже прошло! Нет, как они могут? Это же так нехорошо...

Аня начинала чувствовать себя идиоткой.

— Смотрите сами. Мы дома. Мне надо их обедом кормить. Но я бы не ждала.

Обедали, прислушиваясь все время. Только дети не умолкая рассказывали про щенят: какие они теплые, какие у них животы толстые.

— Я его прижала к себе!.. — Машенька даже зажмурилась от нежности, и отец, глядя на нее, начал таять.

— Не понимаю, — не выдержала Аня, раскладывая второе по тарелкам, — не могу понять!

— Ну принимай ты людей такими как есть. Вот у тебя манера: всех исправлять, всех на свой лад переделывать. Ты же знаешь Витьку. Хороший парень, но когда денег касается...

— Денег? А если жизни? И это твой друг!

— Нельзя же: либо по-моему, либо никак. А по их представлениям, мы не так живем. Наверное, не так. Честное слово, лучше, когда спокойней.

— Да? Ты бы так мог?

— Ну и плохо. Плохо, если хочешь знать.

— Плохо, что мы молчим. Если бы чужой ребенок на улице...

А это твой друг — и ты молчишь!

— И потом ты при Викторе...

— Вот уж на что мне наплевать! Ребенок болен, а я должна об этом думать.

Кончилось тем, что после обеда Андрей все же пошел к Анохиным. Шел и себя клял в душе. Он хорошо знал по опыту, что за сказанным вслух у Виктора и Зины всегда еще столько же, чего они говорить не хотят. И такие другой раз дальние расчеты, что они уже и сами толком не поймут. Начнешь добиваться — ты же дураком окажешься. Но в конце концов это их право. Нельзя, даже

к добру нельзя гнать людей палкой. Нельзя всюду и везде насаждать свои понятия, как это делала бы Аня, дай ей волю.

Однако вернулся он от Анохиных смущенный.

— Что-то мне не понравилось на этот раз. Зина плачет. У него ведь не поймешь: я думал, он со стариком говорил. Я еще удивился. Старик бы из-под земли добыл, раз такое дело. А не добыл, прислал бы кого-нибудь на такси. Оказывается, Немировского не было. Кому-то сказал, тот кому-то передать должен...

— И они ждали! — Аня смотрела на него и головой качала. — Знаешь, я тебя презираю!

— Ну, правильно.

— Мягкость твоя — это равнодушие. Тебе удобней не вмешиваться. Если ты можешь одобрять...

— Да я хоть словом...

— Ты такой же, как они, понял?

— Я с детства понятливый: три раза объяснят, уже начинаю понимать.

— И шутки твои...

— Молчу.

— С вечера — подумать! — с вечера болен ребенок, а они все как бы подешевле устроиться. И эта ложь: «Разве есть у нас что-либо дороже детей?» Если ты сию же минуту...

— Уже иду.

— Нет, мы пойдем вместе.

— Детка!

— Мы пойдем вместе!

Андрей сел на табуретку посреди кухни, вздохнул:

— Тогда я не пойду.

И руки на коленях сложил. Аня смотрела на него. Так смотрела, что у него волосы на макушке начинали потихоньку дымиться. Но он сидел с ничего не выражавшим лицом. И она знала: при всей его мягкости, сейчас с ним ничего не сделаешь. У него было однажды на фронте, когда он сел и не сдвинулся с места. Батальон отступал или рота — Аня никогда не могла запомнить, что часть чего и что во что входит, — так вот, они побежали, а он сел на землю. И они бежали мимо него. Потом начали останавливаться.

Лет восемь они прожили с Андреем, когда случайно она услышала об этом: приехал однополчанин, они выпивали вечером на кухне и тот стал вдруг вспоминать. Потом Митя много раз выпытывал у отца: «А что ты им говорил? А ты бы вверх стрелял... А почему ж они начали останавливаться?» Отец только улыбался: «Ну, может, подумали — я жаловаться на них стану». — «Кому?» — «Да, пожалуй что, и некому». — «А если б не остановились? А тут немцы. Что тогда?» — «Тогда? Тогда, сын, могло тебя на свете не быть...»

— Хорошо, я не пойду, — сказала Аня. — Но ты даешь мне слово?

— Тебе бы дюжину детей, двоих тебе мало, — говорил Андрей, кладя лишнюю пачку сигарет в карман. — Может, мне с Виктором придется поехать.

— Деньги возьми. Дотянуть до таких пор!

— В наше время от аппендицита не умирают.

— Да? Тысячи по стране. Вот от такого невежества. Прежде рак научатся лечить.

У Анохиных творилось уже невообразимое. До Зины дошло с опозданием, но теперь она была как безумная. То кидалась Милу одевать, то причитала над ней и до того запугала ребенка, что казалось — она и в самом деле умирает.

Андрей вызвал Виктора во двор:

— Вы хоть девочку-то пожалейте.

Виктор только сморщился жалко. Когда закуривал, дрожали руки.

— Вот что: я пойду на переезд. Какую-нибудь машину поймаю. Хоть грузовик. Но ты не жди. Найдешь раньше — езжайте. Договорились? Все равно переезда не минуете.

По деревне Андрей шел, а дальше побежал. Издали увидел грузовик с сеном, под которым и грузовика не было видно: огромный стог, качиваясь, переваливал через переезд. Когда подбежал ближе, из-за грузовика вынырнул скрывавшийся в пыли «Москвич». Андрей кинулся к нему с протянутой рукой — в «Москвиче» подняли изнутри стекло.

А после сорок минут стоял на переезде, куря сигарету за сигаретой. Шлагбаум опускался, обдавая ветром и грохотом, пронесился состав, и долго еще земля дрожала под подошвами. Вновь подымался шлагбаум.

Из будки вышла молодая стрелочница с синей эмалированной кружкой и хлебом в руке, села на вымытые деревянные ступеньки крыльца, натянула юбку на загорелые колени.

— Давно ждешь.

Андрей подошел ближе.

— Понимаешь, дело какое...— И рассказал ей.

— Дочка твоя?

— Приятеля.

Сладко причмокнув, стрелочница отхлебнула молока из кружки. Над верхней губой ее, как усы, темное пятно. И такое же темное пятно на лбу, словно загар неровно лег. Если верить приметам, сын должен быть у нее.

Она отхлебывала розовое молоко и смотрела на закат. Тихо было вокруг. Пусто. Пахло мазутом от полотна. Железо, шпалы, щебенка, весь день калившиеся на жару, теперь отдавали тепло, и вдали, где горели зеленые огни светофоров, блестящие рельсы зыбились над землей, словно превратясь в прозрачный пар.

Наконец на полевой дороге показалась машина. Она шла быстро, пыль далеко стлалась за ней. Попав под свет заката, блеснула на повороте ветровым стеклом. Стрелочница поставила кружку на ступеньку, пошла за будку, и шлагбаум начал медленно опускаться.

— Спасибо! — крикнул Андрей на бегу.

«Волга» уже приближалась к переезду, требовательно сигналила. Андрей подбежал, потянул дверцу на себя:

— Шеф!

И всунулся под верх машины, не замечая на своем лице искаженной улыбки.

— Шеф, выручай. Ребенок заболел... Целый час стою. Ты не думай, не разное. Довезти только.

Не снимая носка летнего ботинка с газа, шофер слушал, смотрел большими блестящими глазами. Кивнул:

— Все понятно. Не могу.

И глянул на дверцу, за которую рукой держался Андрей.

— Слушай, шеф, тут всего два километра!

Шофер постучал ногтем по стеклу автомобильных часов:

— Сколько на них, прочитай.

Было без трех минут восемь.

— Уже должен быть.. Машина государственная, я человек государственный..

Голос тихий, сочувственный, слова заученные. А сам молодой, в свежей навывпуск рубашке на загорелом теле. Откинулся на спинку



сиденья, смотрит ясно. Должно быть, по дороге искупался в речке: жесткие волосы мокры, расчесаны на пробор. Такой одним видом своим хозяйский глаз радует. Да еще в чистой машине.

Андрей сел рядом, захлопнул дверцу за собой.

— Пойми, все равно не уйду. Час ждал.

— Машина государственная...

— А мы? Другого государства? Два километра туда, два обратно,— Андрей достал пять рублей,— оглянуться не успеешь.

Шофер спокойно посмотрел на деньги, посмотрел назад на чистые чехлы.

— Да нет, нет, не думай! — поспешил заверить Андрей.— Девочка большая, нигде ничего не напачкают: аппендицит.

— Эх, режешь ты меня без ножа! — Шофер втиснул деньги в прорезной карман туго обтягивающих светлых брюк. Заторопился.— Приедем, а там еще ждать небось?

— Нас ждут!

Андрей высунулся, радостно махнул стрелочнице. Шлагбаум начал подыматься.

— Во-он что! — теперь только сообразил шофер. И пообещал: — Буду ехать обратно — вгоню ей чертей!

Андрей сбоку наблюдал его. Он знал эту породу. Но спросил простовато:

— Кого возишь?

Шофер повернул голову, похолодевшими глазами глянул на него:

— А тебе зачем?

— Все ясно. Вопросов не имею, молчу.

— Ты понятливый,— насмешливо похвалил шофер.

— Ну так! Ты, кстати, на часы не гляди, они у тебя бегут. Вот точное время.

— Что за фирма?

— Наши. «Полет». Направо, направо. И до магазина. Вон под железной крышей.

— Сколько платил? Пятьдесят пять рэ?

— Вроде.

— Я себе такие хотел. В экспортном исполнении. Конечно, можно достать.

— Часы хорошие,— хвалил Андрей, радуясь, что он хоть этим заинтересовался.— Десять суток — ни разу не подводил. Вот в этот проулок давай. Видишь — ждут! Я тебе говорил.

У калитки караулил Виктор. Завидя машину, кинулся в дом.

— Давай скорей! — кричал Андрей, на всякий случай не вылезая.

Пока разворачивались, Виктор вынес на руках дочь, Зина и Аня несли вещи.

Обернувшись назад, шофер хмуро смотрел, как эти люди, пригибаясь, будто кланяясь ему, лезут в машину, усаживаются с ребенком на чистых чехлах.

— Кошелку не ставьте!

— Я молоко забыла выключить! — в последний момент из машины крикнула Зина.

— Не думай, посмотрю! За всем посмотрю! — Аня уже махала им, торопила.

Леша, хозяйка, все их дети, человек пять соседок стояли, пригорюнясь, словно отпевать собрались. Под ногами у них металась охрипшая от лая Дамка.

— Ну, все, что ли?

— Поехали.

От трех калиток, как со старта, рванулись собаки под колеса. Когда сворачивали в проулок, Андрей обернулся. Ани уже не было, женщины стояли подпершись, обсуждали событие. Серединой улицы бежала обратно Дамка, мотая из стороны в сторону мокрыми отвислыми сосками.

Миновали магазин, к крыльцу которого прислонено, как всегда, несколько велосипедов, уже переезд показался, как вдруг — Зинин истерический крик:

— Мила! Доченька-а!..

У Андрея от этого ее крика холод пошел по затылку. Когда обернулся, увидел Зинино безумное лицо, залитое слезами.

— Она... она... глаза закрыла...

— Господи, да что ж ты так! У меня и то...

Зина плакала, Мила с перепугу плакала, Виктор силился улыбаться белыми, расплывшимися губами.

— Ну пассажиры попались! Знал бы — да ни за что! Такие потрясения переживать...

Они остановились у закрытого шлагбаума. Мимо проходил товарный состав, мелькали, катились колеса по прогибающимся рельсам, сухая щебеночная пыль росла над полотном, над мчащимися платформами с лесом. Шофер стоял рядом с машиной, смотрел, рукой держась за открытую дверцу.

Андрей сказал быстро:

— Из машины не вылезать!

— Как?, Ты разве не договорился? — забеспокоилась Зина.

— Он до станции и то не брал.

— Нет, мы не можем. Как же так? Надо было договориться.

У нас ребенок. Виктор!

Сжав тонкие губы, Виктор соображал:

— Правильно!

— Надо было ему сразу сказать. Как же ты так, Андрей?

— Тише!

— Он не должен, он не имеет права.

Мелькнула последняя платформа, шофер задом попятился в машину. Осторожно переехали пути, и тут он придавил газ, погнал по грейдеру. Белая известняковая пыль вихрилась позади, в глаза — красный свет заходящего солнца. Он блестел снизу на провисших в воздухе телеграфных проводах. Сквозь рокотание шин по щебенке Андрей слышал за спиной Зинин шелестящий взволнованный шепот.

Развилка. На станцию вправо, в город прямо. Андрей положил руку на локоть шофера.

— Шеф, прямо.

— Что-о?

Резко, так, что всех влево потянуло, шофер крутанул к станции.

— Товарищ, послушайте, товарищ! Вы же не можете так поступать! Виктор, что же ты молчишь? Товарищ, вы же советский человек.

Виктор схватил его за плечо:

— Ты!

— А ну не лапай!

Взвизгнули тормоза, кинуло всех вперед.

— Вылазь!

— Вы не имеете права! Виктор!.. Товарищ!..

Всей ладонью шофер давил сигнал. Машина стояла позади дощатой станции и сигнализала так, что уши закладывало. Какие-то люди на платформе оборачивались.

— Милиция! — выскочив, орал шофер. И снова давил сигнал.— Милиция!

Зина плакала, что-то кричала, но голоса не было слышно. Андрей сидел белый. В замке торчал ключ зажигания: брелок в виде шины покачивался на цепочке. Решение было мгновенным: сесть за руль — и пусть догоняет. Но в следующий момент он выскочил из машины.

— Не ори! Чего орешь?

— Милиция!

— Ори, ори! Громче.

Никогда в жизни не хотелось ему так ударить. Бить в это орущее лицо. Но уже бежали сюда по платформе люди, выскочил человек в железнодорожной фуражке. И, заслонясь от машины спиной, Андрей отстегивал, срывал с руки часы.

— На! Бери! Все равно хоть тут милиция, хоть танки вызывай...

— Да? А вот поглядим!

Но видно было — колеблется. И, ненавидя, Андрей униженно просил:

— Бери, чего там... Хотел такие? С ребенком никто не выгонит, пойми. Шеф, давай по-хорошему. Честное слово, ну?

— А голову с меня снимут, это как?

— Шляпу наденешь.

И совал, совал часы в потную руку.

— Бери, не обижайся. Да ладно, ладно, бери.

Всунул наконец.

— Людям сделаешь, а потом они же тебе...

Но уже садился за руль. На виду прыгавших с платформы, бегущих на крик людей развернул машину и погнал обратно к грейдеру.

Андрей сидел рядом с ним, весь еще дрожа. Сзади всхлипывала Зина. Виктор — затяжка за затяжкой — нервно докуривал сигарету.

## Глава IX

— Был бы пистолет, я б его, подлеца, застрелил! — Виктор сжал виски и застонал, раскачиваясь.— Вот они живут, им ничего, сволочам таким, не делается. Они живут-ут!..

Въехавшая в ворота «скорая помощь» осветила его, согнутого на скамейке, и покатила к приемному покою. Попадавшие в свет ее фар большие в халатах и пижамах ослепленно жались к кустам.

Проехала, за красными стоп-сигнальными огнями ее сомкнулась темнота, и опять только шарканье больничных туфель по гравию, голоса.

Больница была старая, трехэтажная. Оштукатуренная и окрашенная в желтый цвет, с белой колоннадой посередине, она всем видом своим и столетними липами напоминала городскую дворянскую усадьбу прошлого века.

Андрей и Виктор сидели рядом на скамейке, курили. Операция шла около часа, и уже было известно, что аппендицит гнойный, запущен. Зина дежурила под дверьми операционной, а они сидели здесь.

И всего-то в тридцати метрах от них, за больничной железной оградой была улица, неоновый свет, мчались машины, в кафе и ресторанах полным-полно, на тротуарах толчея, громкие голоса, смех. В такие летние вечера, когда в домах, нагретых за день, духота, весь город на улице, как в праздник. Только у тебя несчастье.

— Почему, почему со мной это должно было случиться? — Виктор огляделся затравленными глазами.— Именно теперь, когда все так складывается. Именно теперь... Ты знаешь, что сегодня пятница?

— Пятница. Ну и что?

— В прошлую пятницу мы же сидели с тобой в баре. Понимаешь? Я, когда сообразил это, вспомнил... За все в жизни приходится платить.

— Брось, Витька!

— Не-ет, я знаю. Это не случайно. За все, за все...

— Тысячи совпадений, только мы не замечаем. А когда случится...

По дорожке под фонарем провели молодую плачущую женщину. Она качалась. Под руки вели ее старик и старуха, что-то говорили. Старик нес кошелку с детскими вещами.

— Если Мила умрет! — Виктор бил себя кулаком по колену. — Если она умрет...

— Ты обалдел окончательно! Что ты несешь?

Виктор затягивался сигаретой как всхлипывал. У него ознобно постукивали зубы.

— Тут, когда под этими дверями сидишь, так черт-те что в голову лезет, — говорил Андрей, чтоб отвлечь. — Когда Машенька должна была родиться... В пять утра мне сказали: «Началось». Сажу во дворе, вот как мы сейчас. А там у скамейки труба из земли торчала. Как ствол трехдюймовки. Курю и бросаю окурки в трубу. А в ней, как в пепельнице, полнешенько. Не один я так сидел. Позвоню в дверь — «Папаша, не волнуйтесь». Опять сажу. А голуби эти... Зобы лоснятся, ходят по двору на красных лапах. Карнизы все ими обгажены. И воркуют как стонут. А мне все ее стон слышится. Позвоню опять — «Папаша, не волнуйтесь. А вы как думали?» Сходил еще за папиросами, опять жду. Стыдливость эта наша дурацкая, боишься лишний раз надоедать. Она, оказывается, погибнуть могла в тот раз, сознание уже теряла. А они христосуются над ней: пасха как раз была. И врач дежурный один на всех. Аня их просит: «Вы мужу скажите, он здесь где-нибудь. Он за профессором поедет». Так еще возмушалась акушерка: «До чего я этих женщин презираю! Вот ведь помирает, а о мужике думает». Ну, кажется, я тебя успокоил. — Андрей засмеялся. — Вот так дочка нам далась, чуть мать на тот свет не отправила. А уж передумано было...

— Никогда не прощу себе. Если случится — не прощу!

— Отец! — Андрей положил ему на спину ладонь. Спина была потная под рубашкой. — Ну что ты, Витька?

— Не прощу!

Виктор курил, отворачиваясь.

— Ты правильной живешь.

— Брось.

— Нет, я знаю.

— Это со стороны. Мать моя восьмой была у бабки. А мы над одним, над двумя трясемся. Не меньше трех детей должно быть, иначе что за семья?

— Да... Да-а... — ронял Виктор в ответ тому, что не говорил вслух. — Она ведь у нас... С детства не очень удачная: сердце. С рождения еще. Да и не только... Во время операции это ведь опасно, а?

И спохватился в тот же момент:

— Ты только Зинушке не говори. Девочка, ей замуж выходить.

— Ну что ты! Зачем?

Но все же Андрей почувствовал себя несколько ошарашенным. Дети их с первого дня росли на глазах, и вот за четырнадцать лет слова не было сказано. Правда, однажды как-то Виктор расспрашивал их про знакомого врача-кардиолога: кто? что? сколько берет? Расспросил подробно, но издалека. А когда Аня предложила поговорить с врачом, удивился: «Зачем? Нет, нам не нужно». Андрей за-

помнил это потому, что в тот раз даже некоторое охлаждение наступило. Аня чувствовала себя обиженной: она старалась, а из нее дуру сделали. Он, как всегда, уговаривал не принимать всерьез. В конце концов, никто о своих детях всей правды не рассказывает. Нельзя на это обижаться, нельзя осуждать.

Нельзя-то нельзя, но если Мила — сердечница, как же они ждали столько?

— Нам еще с вечера надо было,— говорил Виктор.— Леша предлагал сбежать за машиной. А я подумал... Я тебе, Андрюша, честно говорю... Подумал: какого черта! Есть же машины, ездят на них. Пусть пришлют! В конце концов, заслужили мы. Я знаю, ты бы не стал ждать.

Он жал на самый больной зуб, болью заглушал боль.

— Ну что ты себя грызешь?

— Ты в такие минуты не считаешься, я знаю.— Растроганными глазами Виктор смотрел на друга, и неясная обида, зашевелившаяся было у Андрея в душе, исчезла.— А мы с Зинушкой... Ну за чем, за чем все, если ее не будет? Ведь все для нее!

— Слушай меня: кончится все хорошо. Я не успокаиваю, я знаю. У меня был аппендицит, а у Ани какой был!

— Да? А почему же врач?..

— Врач обязан. Мы, родители, жуткий народ.

— Да? — Виктор жалко щурился.— Думаешь? — Взглянул на часы.— Долго как. Что ж так долго?

Открылась дверь отделения, освещенная снаружи. Вышел врач в белом халате, в белой шапочке, оглянулся. Показалось, ищет кого-то.

Они уже оба стояли. И с места двинуться было страшно.

Врач закурил. Стоял и курил на воздухе, в открытой двери. Мимо него — тук, тук каблучками — пробежала в отделение полденькая, золотоволосая, в перетянтом белом халатике. Когда протискивалась в дверях, она ли его выставленной грудью придавила, он ли ее придавил? Раздался смех.

Сели опять на скамейку ждать. Виктор только вздохнул да взглянул: тут дело о жизни ребенка идет, а они покуривают, смешно им. Дождешься от них сочувствия...

Врач докурил. Красный след в воздухе прочертила брошенная сигарета, и дверь отделения, все это время распахнутая в белую глубину, закрылась. Только горел над ней фонарь.

— Вот так не ценишь, пока не ударит по затылку,— говорил Виктор.— Неужели должно случиться, чтоб начать ценить? Ведь ничего, ничего не надо!..

— Ты посиди, я все-таки схожу узнаю.

Андрею уже и самому тревожно было.

— Думаешь? Обождем. Обождем. Андрюша, я даже не знаю, что бы я без тебя делал.

— Перестань, Витька.

— Нет, я хочу сказать.— Виктор положил ладонь на его руку. И смотрел в лицо любящими, растроганными глазами.— Вот так один, здесь... Андрюша, я все знаю. Все! И этого я тебе не забуду никогда!

— Знаешь, Витька, если мы еще считаться начнем...

— Я хочу, чтобы когда-нибудь...

— Да перестань!

— Нет, я хочу. И я имею право.

— Имеешь, имеешь.

Чудак Виктор. Из двух возможных — отдавать и брать — приятней отдавать. А он отплатить хочет.

Через две недели, когда минули волнения и Мила была уже дома — ни в лес, ни на речку она пока еще не ходила, целый день лежала с книжкой в саду, — к Медведевым пришла Зина, очень возбужденная.

— Андрей! Нет, ты только пойми меня правильно... Я даже не знала. Оказывается, ты отдал шоферу свои часы?

Андрей брilsя перед зеркалом, но и с намыленными щеками было видно, как он покраснел.

— Ты тоже не знала? — Зина перехватила Анин взгляд, и сразу голос ее стал разоблачающим. — Вот видишь...

Самое стыдное было то, что он действительно не рассказал Ане. В тот момент, в машине, все было само собой разумеющимся. Но потом чего-то вроде стыдно стало. Он знал первый вопрос, который Аня задаст: «А он бы отдал за тебя?» Тут Аня была ревнива.

— Почему ты думаешь, что я не знала? — ровным голосом спросила Аня за его спиной.

— Нет, мне показалось. Ты, пожалуйста, Аня, не думай ничего. Просто Андрей как-то нам ничего не сказал...

— Но вот ты же знаешь. Надо думать, не от шофера. И потом, как ты вообще представляешь себе: он что, должен был посоветоваться?

— Я не знаю, конечно, но все-таки мы тоже... Хотя бы тэт на тэт.

Андрей, выбривавший угол рта, едва не прыснул. Зинино уверенное «тэт на тэт» и еще «жаба груди» доставляли Ане всегда огромное удовольствие.

— Я все-таки не понимаю, — говорила Аня, и в зеркале за спиной у себя Андрей видел ее смеющиеся глаза. — Часы его, имеет он право дарить кому захочет?

— Нет, ну как же? Если бы он сам... Но ведь и мы тоже в какой-то степени... — Зина была вся в волнении: ей и сказать хотелось, и надо было не сказать лишнего. Челочка на ее лбу трепетала. — Мы бы тоже как-то участвовали, если б знали заранее. Шофер — конечно... ха-ха... Почему ж ему не взять?

Андрей повернулся от зеркала.

— Мила как?

— Мила, конечно, лучше сейчас. Это я должна прямо сказать.

— Ну вот видишь. Значит, все слава богу.

— Нет, но мы обязательно со своей стороны... — Зина становилась уверенней, по мере того как позиции обеих сторон прояснялись. — Мы непременно, как же так? Мы так не можем. Хотя бы в какой-то мере.

— Слушай, мы ведь поссоримся.

— Нет, мы так не можем.

— Вот и хорошо.

— Нет, нет, Андрей! Как же так? Встань на наше место. Ты встань.

— А сидя можно?

Зина не враз поняла. Не потому, что она вообще трудно понимала, а потому, что мысль и слух ее были нацелены совсем не на шутки.

— Ты все шутишь, Андрей. А я думаю, и ты бы на нашем месте не захотел! Если уж так уж, тогда мы ко дню рождения... Вот будет

у тебя день рождения, и мы со своей стороны обязательно... Так нельзя. Мы тебе очень благодарны, но мы не хотим быть должными...

— Дурак ты, дурак! — сказала Аня, когда Зина ушла. — А я рада. Если ты мог не сказать мне...

— Детка!

— Нет, я хочу, чтоб тебе было стыдно. Ты что же, думал, что я..

— Да нет, нет!

— Я-то пойму, потому что я тебя знаю. Но ты! Столько лет прожили вместе — и ты не знаешь до сих пор...

— Ну не обижайся.

— Участвовать пришла... Участница. Дочь у нее тоже при участии?

— Знаешь, — робко сказал Андрей, — они ведь отставали здорово. И даже забегали вперед...

— Да? А мне всегда казалось, они точно шли.

— Что ты! Останавливались сколько раз.

— Подумать! И это были самые точные часы в нашем доме.

Она улыбалась. А в душе было больно за него. «И это твой друг! — хотелось сказать ей. — Да что ж его, пытали? Каленым железом жгли? Кем надо быть, чтобы позволить ей прийти?»

Она знала Виктора, могла себе представить, как это обсуждалось. Как Зина пошла сама, потому что он тряпка, а она лучше сумеет сказать. И ему удобно: раз не он сам, значит, ничего не было. В крайнем случае, глаза отведет в сторону.

Но ничего этого она не сказала. Его ей было жаль. Кто еще в целом мире пожалеет его, если не она?

— Только уж как хочешь, но день рожденья твой в этом году отменяется. А то дождемся, что она за ручку поведет тебя покупать часы. Вскладчину. — И тут Аня позволила себе маленькое удовольствие. — Чтoб ты «встал» на ее место.

## Глава X

Когда на лето вывозили детей в деревню, Андрей говорил: «Ну, поддела позади. Осталось вернуться». Это первое утро в деревне — а впереди все лето! — казалось бесконечным. Дети выскакивали во двор как в мир. И все в этом мире только начиналось. Еще весенней была листва на деревьях, черными — грядки огородов, а лес — без грибов. За насадками на тонких ножках-соломинках катились желтые выводки пушистых цыплят. Народившиеся за весну телята, отнятые от матерей, недавно выгнаны на молодую траву.

И день, когда снова в школу, был так далек, что можно и не думать.

А потом как-то все быстро свершалось. Ночные зарницы освещали хлебное поле за деревней, а в садах в темной листве — белые яблоки. Цыплята бегали голенастые, с хищными клювами, у телят торчали короткие рога, а из горла рвалось грозное мычание, и глаз посвечивал диким фиолетово-красным огнем. И дети, открывшие за лето не меньше, чем за год узнают из книг, вытянувшиеся, загорелые и как будто похудевшие даже, становились не похожи на себя.

Первое купание дома в ванной смывало с них половину загара. Чистых, с вымытыми головами, Аня рассовывала их по постелям: «Спать!» — и в доме после переезда, после уборки наставала наконец тишина.

Хорошо было проснуться утром, сознавая, что все сделано и впереди до работы еще целый день.

— Рук не чувствую,— жаловалась Аня, с удовольствием оглядывая свое стерильное царство; все в их квартире она любила.— Ты посмотри, как пальцы опухли. Вот буду сегодня лежать целый день, ухаживайте друг за другом.

Но мысль «чем их кормить?» скоро подняла ее на ноги.

— Напеку я вам оладьев на завтрак.

— Ты же хотела лежать весь день.

— С вами полежишь.

Первой из детей в это утро проснулась Машенька. В рубашке до полу, сонная, глаза не раскрывая, протопала босиком к матери в постель. И только бухнувшись под одеяло, обнаружила отца.

— Ты какой жесткий! Все колени об тебя отбила,— говорила она, уминаясь у него под рукой и ерзая недовольно.

Длинноногая стала дочка за лето.

— Не шурши газетой, я спать буду. Фу! Она керосином пахнет. Зачем ты ее читаешь?

Спать она, конечно, уже не могла и, раскрыв ясные-ясные глазенки — Анины, только веселые всегда,— занялась любимым делом: начала считаться родинками.

— Смотри, у тебя на плече родинка. И у меня тоже. Мы — родные. И вот, и вот. А этой у тебя нет, ага! Это мамина.

Митя услышал их голоса из другой комнаты и появился в дверях босой, волосы после мытья торчком, жмурится от встречного солнца.

— Про что ты ей рассказываешь?

В кровать лезть стесняется: все же большой. А хочется.

— Лезь к нам,— сказал Андрей.

И Митя тут же забрался под одеяло, под левую отцовскую руку.

— А у Димки этой родинки нет! — кричала Машенька.— Ага, ага! У одной у меня мамина родинка. Мы с мамой — родные. А он — неродной!

Они уже затеяли возню, отталкивали друг друга от отца. Как котята. В ушах звенело от их голосов:

— Пап, скажи ему!

— А чего она?..

Он лежал между ними с газетой в руках. Вообще-то надо было позвонить Немировскому, узнать, как все же дела. Еще вчера, едва вошли в квартиру, телефон потянул его к себе. Но удержался. Хорошее не уйдет, беда сама разьщвет. А портить себе настроение на ночь... Но проснулся с этой первой мыслью. И что-то опять удерживало.

— Э, нет, драться не надо, сын.

— Да? А ты посмотри, чего она!..

— Но ты же старший. Парень.

А зачем звонить? Сейчас ему хорошо. И пусть так будет.

— Лежат!.. Нет, вы посмотрите на них! Я там боюсь стукнуть, звякнуть: спят, думаю. А они вон что, оказывается...— говорила Аня с веселым ужасом в глазах, стоя в двери. Не было для нее на свете зрелища радостней: отец и дети вокруг него.— А ну марш! Чтоб через пять минут все были умытые. У меня завтрак готов. Быстро, быстро, как муравьи, перетаскать все из кухни на стол!

После завтрака неожиданно явились Анохины: Виктор и Зина.

— А вы знаете что? Нам вдруг идея пришла. Аня, у тебя есть какая-нибудь ваза?— громко говорила Зина, цветами прокладывая путь к миру.— Мы вдруг подумали: а что, если нам отметить этот день?

— ...подумал он,— из-за ее спины подал голос Виктор.



— Виктор, не мешай! И вовсе не он это подумал, а я. Аня, дай же вазу. Или ты хочешь, чтоб я так и стояла с цветами в руках, как... как... — И, застыдясь, выговорила наивно: — Как дурочка?

Совсем это у нее ласково получилось, будто не «дурочка» назвала себя, а «козочка».

— А цветы зачем?

— Вам.

— Нам?

— Конечно!

— Андрей, у тебя что, день рождения?

— Ну как же ты не понимаешь? Если хочешь знать, это даже принято.

— Вот именно.

— Виктор, не мешай! Знаешь, Аня, на Западе всегда приходят в дом с цветами. И надо, чтобы цветов было нечетное число.

Аня пошла на кухню, взяла трехлитровую банку из-под алма-тинских маринованных яблок, на которой еще наклейка сохранилась, налила воды и принесла. Зина даже растерялась, бедная: три ее тонких гладиолуса — нечетное число, — прилично обернутых в целлофан, и пузатая банка с водой.

— Нет, Аня, нет же... Нужно высокую, тонкую. Пстой, у тебя же есть хрустальная ваза.

— Это надо искать: я еще не разобралась после переезда. Андрей, пойдй принеси бутылку из-под кефира. И помой заодно.

«Ну язва!» — смеялся в душе Андрей, наливая в бутылку воды.

Цветы Зина установила сама: она знала, как нужно это делать.

— Цветы очень украшают жизнь, — говорила она, расправляя гладиолусы. — Да! Так вот мы подумали с Виктором: надо же как-то отметить окончание отпуска.

— Женщины захотели шашлыка! — вскричал Виктор.

— Все твои женщины сразу? Нет, мальчики-девочки, — сказала Аня, — мы к концу отпуска не о ресторанах думаем, переходим на подножный корм.

— Мы приглашаем!

— Я вот им сегодня оладьев к завтраку напекла. Кстати, могу угостить.

— Аня, ты не поняла: мы вас приглашаем! Андрей!

— Нет уж, нет уж. Да у меня и дел полно.

— Вот так встречают полезную инициативу, — бодрился Виктор.

Кончилось тем, что мужчины пошли на кухню курить.

— А может быть?

— Да нет.

— Жаль. Вот так и жизнь пройдет, как эти самые... Азорские острова. Где они, кстати?

— Где-то в Атлантике.

— А то все: Азорские, Азорские... А где они? Небось живут себе там, забот — никаких. Ходят все голопузые: тепло, Гольфстрим кругом.

Оба глядели мимо, пепел сигарет поочередно сбивали в раковину.

— Ты не звонил старику? — спросил Виктор.

— Не-а. А ты?

— Нет их никого. Воскресенье, закатились куда-нибудь, чего им? Там же дочь вернулась. С мужем разошлась. Но я думаю, если что, нас бы нашли.

— Должно быть, так.

Виктор открыл кран, сунул в струю воды зашипевшую сигарету.

И вдруг поднял глаза. Такие они были томящиеся, жалкие, что-то само шевельнулось к нему в душе.

— Сволочь ты, Витька.

— Да нет, Андрюша, ты пойми...

— Обожди. Сволочь? Это ты признаешь?

— Сдаюсь!

— Вот так честней.

— Я только что хочу сказать...

— Давай не выяснять. Ведь поссоримся. Эх ты!..

— Андрюша, признаю!

— А признаешь,— Андрей оглянулся на дверь,— тогда вот что, раз признаешь... Аня правду сказала: холодные оладьи в самом деле есть.

— Так под холодные еще ищ лучше,— сразу попал в тон Виктор.

Была приоткрыта дверь холодильника, прямо там, за ней, нали-то. Виктор смотрел на друга растроганно.

— Андрюша, мы знаем за что!..

Когда в коридоре послышались Анины шаги, оба уже курили с повеселевшими глазами.

— Вам не надоело тут? — спросила Аня, злясь, что он оставил ее вдвоем с Зиной.— Чем это у вас тут пахнет подозрительно?

— Чем?

Оба начали руками разгонять табачный дым. Аня покачала головой. То самое, что он только что говорил Виктору, сказала она ему сейчас одними глазами: «Эх ты-и...» И пошла открывать дверь: кто-то звонил.

— Борька! — раздался оттуда ее радостный голос.

Вот кому она всегда была рада: Борьке Маслову, самому беспутному из их приятелей. Стихийно талантливого, невообразимо ленивому, вечно неустроенному. Аня была убеждена, что если бы Борькина жена была человек, Борька уже давно был бы скульптором с мировым именем.

Борька заговорил голосом похитителя:

— Мужа нет?

— Нет мужа! — крикнул из кухни Андрей.

— Бери самое необходимое, бери детей...

— Борька! Ты все грозишься только. Увез бы ты меня от них, закабалили совсем.

— Зачем добивалась равноправия?

— Так они мне все надоели!

— А муж — в первую очередь,— говорил Андрей, выходя в коридор.

— Мы застигнуты! Побег отменяется. Но после всего, что было, я не могу оставить тебя с ним одну. Я тоже остаюсь здесь.

Борька повесил на вешалку свою спортивную куртку, чмокнул Аню в щеку, огромной своей лапицей пожимал руки Андрею и Виктору.

— А ты, кажется, из средневесов переходишь в первый тяжелый вес.

— Мелкая месть озлобленного мужа-мещанина. Пренебрежем.

Аня взгляделась внимательно.

— Борька, у тебя что-то случилось. С Ольгой?

— Как всегда: Брестский мир.— Он оглядывался, ища тапочки.— «И сказал бог: сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И за то будут даны тебе тапочки.

— Не будут даны,— сказала Аня.— Иди так, на улице сухо.

— Но микробы! На моих подошвах до двух миллиардов микробов. И все болезнетворные.

— Еще смеяться будет!— Аня открыла дверь в комнату.— Иди!

— Зиночка! И как всегда — прекрасна. Постой, постой: я вижу что-то новое в прическе, что-то новое в лице.

— Оставь, пожалуйста.— Зина застыдилась, как девочка, и рукой на него махнула.

— Изведать неизведанное, извять неизвьянное...

— Ты все обещаешь.

Борька Маслов повалился на тахту, на застонавшие пружины.

— Вот дом, где я дома. Единственный дом на земле.

Аня всплеснула руками:

— Опять!..

— Приму поношение из уст твоих и чарку из рук твоих.

— Да? Можешь не надеяться.

— Ибо не то, что из уст, а то, что в уста.

— Из рук моих ты получишь сейчас завтрак.

С тем Аня вышла на кухню. Борька подложил себе диванную подушку под шею — он сидел, опершись спиной о стену, — подтянул к себе лежавшую на тахте книгу и тут же носом воткнулся в нее. Любимое его занятие, любимейшее положение: с книгой на тахте, зажмуря левый глаз. Чаше на боку лежа.

Однажды в момент своих семейных разногласий он прожил на этой тахте не вставая четверо суток. Дети затевали на нем игры, он засыпал под их голоса, просыпался, прочитанные книги шлепались на пол; стопка их под конец сровнялась с тахтой. Разговаривал он с детьми преимущественно кратко: «Приблизьтесь!... Изыдите!» А они обожали его. И сейчас, едва только голос его раздался, две головы всунулись в дверь: одна над другой. Две пары карих Аниных глаз смотрели на него. Таким от них потянуло теплом, что Борькины толстые губы сами поплыли в улыбке. Но он тут же остановил кинувшихся к нему детей.

— Изыдите, аборигены, с глаз моих. И обследуйте куртку.

А когда дверь за ними закрылась, сказал Андрею:

— Что делается, что делается! Лето не видал — ну, ну! Девка — красавица растет. Еще заплачешься с ней.

— Пока что гадкий утенок, — говорил Андрей обрадованно.

— Помолчи. Твоей заслуги тут никакой. Авторство едва-а проглядывает.

Отвернувшись к окну Зина тем временем быстро начесала челочку перед раскрытой пудреницей. Она, быть может, и помаду обновила бы, но Виктор сказал самолюбиво:

— Ты смотри, что с бабами нашими происходит!

— Виктор! Какие ты пошлости говоришь! Фу!

— Спи спокойно, дорогой товарищ, — заверил Борька. — Разве Зиночка позволит? Зиночка не позволит.

— Вот правильно, Борис, — сказала Зина.

Вошла Аня с подносом в руках.

— Может, ты все-таки к столу пересядешь?

На красном глянце помидоре дрожали капли воды, огурец — вчера сорванный с грядки, еще колючий; двумя масляными нерастекшимися желтыми глазами смотрела со сковороды яичница; на пышных оладьях вздувались и лопались радужные пузыри — вот так подавалось Борьке в их доме! Сидя перед всем этим великолепием, он только руками развел и взмолился жалостно:

— Аннушка!

— И не думай.

— Анюта! Единственно чтоб оценить.

— Меня нет.

— Не горло зачерствело — душа.

Аня глянула на него, вышла. Принесла в чайной чашке, будто от самой себя тайком, как приносят в кафе, где водку подавать запрещено.

— Хотели провести этот день с детьми. Последний день перед школой. Так вот на тебе...

Борька поднял чашку.

— Тост мой безгласен, ибо чувства слов превыше.

Он шумно выдохнул воздух, зажмурился, выпил.

— А этим двум не давай. Творческие работники, им вредно.

— Эти уже сами успели. Пойду поставлю чай.

Андрей следом за нею вышел на кухню. Аня мыла под краном заварной чайник.

— Дурак ты, дурак! — сказала она.

— Ну ты же знаешь Витьку. Надавила Зина на него...

— Надавила... Ведь вот умный человек, а дурак. Дай заварку! Заставить можно того, кто сам этого хочет. Роли у них распределены. За спиной жены удобней. А то бы заставили его, если б не захотел...

— Он и так расстроен.

— Расстроен. И снова предаст. И снова будет расстроен. До слез. Вот Борька никогда не предаст. На, отнеси.— Она сунула ему в руки солонку.

Борька ел, поглядывая сузившимися, смеющимися глазами.

— Аннушка! — вскричал он, когда Аня вернулась.— Да отчего ж у тебя всегда так все вкусно? Брось ты его, соединим судьбы.

— Только с моим характером. И буду бегать к ним обеда готовить. Нет уж. Да и пропнешь ты меня.

— Не исключено.

— Нет, посмотри, как они! — с глазами, разбежавшимися от любопытства, и явно задетая, говорила Зина.— Аня так ухаживает, так она ухаживает за ним... Лично меня бы Виктор ревновал.

— И здря!

— По крайней мере, мне хоть можно спокойно помирать. Это года два назад, маленькие они еще были,— Андрей улыбнулся,— подходит ко мне Митя: «Пап, а мама от нас не уедет?» И Машенька за ним скрывается. Оба перепуганные.

— Уж твоя безгрешная жена!.. Ладно, благодарности все равно не заслужу.

— Пусть вот им лучше Борис расскажет, как он генеральше цветы подносил,— сказал Виктор.— Расскажи ей, Расскажи, а то она мне не верит.

— И не верю! — подзадорила Зина.

Прижав руку к сердцу, Борька молча поблагодарил Аню. На ее: «Чаю?» — покачал головой и снова перелез на тахту, книгу на колени, подушку под шею. Кончилось тем, что Виктор сам при нем стал про него рассказывать.

История была давняя, военных лет. Сбитый в сорок первом году, Борька из госпиталя попал в училище: готовить курсантов. На три его рапорта с просьбой отправить на фронт ответа не последовало. Четвертым рапортом старший лейтенант Маслов добыл себе арест и возможность усвоить на досуге, что своими рапортами он неприлично тревожит совесть старших по званию. Как будто он один хочет на фронт!.. Но родина потребовала, чтоб они здесь, в тылу, ковали победу, а он, видите ли, не желает.

Борька это усвоил. Однажды в театре в антракте Борька вошел в ложу, где сидел начальник училища, и почтительно поднес заалевшей генеральше, молодой его жене, огромный букет роз. Так Борька мгновенно был отправлен на фронт.

— Неправда! Нет, скажите, Боря, это правда? — волновалась Зина, при этом стараясь не менять позы, улыбки и выражения лица: ей показалось, что Борька рисует ее.

— Слушай, имей совесть, это же Успенский! — сказал Андрей, увидя, что Борька рисует на обратной стороне обложки: он всегда рисовал на том, что окажется под рукой, а рисунки свои терял.

— Года через четыре... — Сощуясь пристально, Борька взглянул на Зину. Она сидела три четверти, в той позе, которая больше ей шла. — Я «через четыре» сказал? Ладно, не будем мелочиться: через пять лет! Через пять лет Лувр, Третьяковка и Эрмитаж будут драться за право иметь меня. А ты, обладатель, будешь только говорить: это ранний Маслов.

Он все взглядывал пристально, а глаза у него были невидящие, внутрь себя повернутые. Зажмурился, чтоб увидеть ярче. Некоторое время молча рисовал. Глянул, отдаваясь, захлопнул книгу, спрятал фломастер.

— Что курит пехота? — спросил он Виктора. — О-о! Богато пехота живет. Артиллерия?.. И в артиллерии порядок. А я все тот же единственный сорт...

Он взял сигарету у Виктора.

— Огоньку даст артиллерия.

Зина первой схватила книгу с тахты как ей принадлежащую.

— Чур, сначала я!

Все потянулись смотреть. Борька сидел, опершись спиной о стену. Несколько раз подряд затянулся глубоко. Из глаз еще не ушло возбуждение.

— Я думала, ты меня рисуешь, — протянула Зина разочарованно.

На рисунке была Машенька. Но только еще больше, чем в жизни, похожая на мать: Аня Машенькиных лет. Ничего не закончено, отдельные сильные пгтрихи, но когда Андрей увидел эту кривую родную улыбку, которую, ему казалось, он один знал, и из детских глаз-вишеноч Анина душа на него глянула, он физически почувствовал, как его кольнуло в сердце.

— Боря, я хочу быть нарисованной!..

— Нет, откуда в тебе это? — говорил Виктор, не скрывая зависти. — Ведь вот не подумаешь так, а? Со мной в палате два летчика лежали.

— Сейчас будет сказана гадость, — предупредил Борька.

— Ну, летчики, ты же знаешь, Андрюша, аристократия: рис, вино, шоколад, меховые сапоги...

— Ну? — торопил Борька.

— Ранило их. Понимаешь, Андрюша, их ранило.

— Ну?

— А у нас там врач была. Блондиночка лет двадцати пяти, незамужняя, такая, я тебе скажу...

— Виктор! Фу!

— Вот это дрессура! — восхитился Борька.

— Так она говорила про летчиков про этих: «Какие они раненые? Здоровые мужики. Думаете, они на перевязку ходят? Они ходят, чтобы халат мне подать».

— Я вижу, ты там тоже халаты подавал. Вот, оказывается, как вы воевали!

— Зинушка! Меня возили ногами вперед. В гипсе.

— Ну разве что так только.

— И все дела? Запомни, летчота, и запиши: летчик, умирая даже, встанет и подаст даме пальто.

— Нет, ты послушай, Андрюша, что с ними в обед происходит! Госпитальный обед сам знаешь: жив будешь, а все остальное... Виноват, при дамах умолкаю. А летчики привыкли как? Карманы шоколада насовал — тогда воюет.

— Торгашеская психология. Американцы до сих пор с нас требуют за свиную тушенку, а вы с летчиков за шоколад.

Борька посмеивался, но чувствовал себя беспокойно оттого, что Аня, войдя, взяла в руки рисунок.

— В сорок первом году, когда нас не было в воздухе, вы же землю грели животом. Как воткнулись носом, так и лежали, зажмурясь, пока звук мотора не услышали над собой. Вот когда только голу подняли.

— Треплетесь? — сказала Аня. — Эх вы, друзья! Он годами пловчих лепит и пионерчиков с горнами, а вы треплетесь. Да он талантливей вас обоих. Свиньи вы, а не друзья!

— Аннушка... — Борька давил в пепельнице окурок, был он растерян и смущен. — Они, конечно, свиньи, само собой, но ты уж очень меня трактуеть с излишествами.

— И ты тоже... Как будто тебе вторую жизнь дадут.

Аня вышла рассерженная. Даже покраснела.

— Ну, знаешь, Андрей! — Зина была возбуждена. У нее было выражение человека, который только что такое увидал, такое увидал... — Нет, я лучше ничего не скажу. Но Виктор бы меня уж ревновал!

— Вот что, ребята, все это хорошо, но я-то к Андрюхе по делу шел. Не знаю, может, это все раньше времени. — Борька чего-то мялся. — У нас же в провинции слухи — как эхо в горах.

Теперь его торопили:

— Ну!

— Ты говори, в чем дело?

— Ребята, толком ничего не известно. Но что-то вокруг вас происходит. Какое-то шуршание. То ли борьба с излишествами опять началась, то ли еще что.

Вот теперь Андрей почувствовал, как у него сердце упало. Видно, так: чтоб оценить, надо потерять.

— Кто тебе говорил?

— В том-то и дело, что никто ничего не говорит. Ну, вы сами знаете, как это бывает. Немировского видел, какой-то пришибленный ходит. Мне, сами понимаете, спрашивать неудобно.

— Та-ак, — сказал Виктор, и ничего, кроме растерянности, это его «так» не означало. И как всегда в такие моменты, он снял и начал старательно протирать очки. На одно стеклышко подышал, на другое.

— Ребята, вы на меня не обижайтесь.

— При чем тут ты?

— Я должен был сказать.

— Чувствовал я, — говорил Андрей. — Слишком все шло хорошо. Борька глянул на дверь, в которую ушла Аня, сказал, понизив голос:

— Ну, вы не кричите раньше-то времени.

— Что ж, Витя, будем упираться.

Глаза Виктора слепо щурились.

— Думаешь?

Надел протертые очки, стекла их отблескивали на свету. Сказал без всякой твердости:

— Я — за!

Но тут заговорила Зина:

— Я не знаю, почему ты сразу и всегда за? Виктор, я не люблю, когда ты обижаешь людей.— Капризный голос ее накалялся.— Нехорошо обижать людей. Слышишь? Я не хочу! Не хочу и не хочу!

И хоть оставалось непонятно, каких людей обижает Виктор, общий смысл ее выступления был ясен вполне.

## Глава XI

Пока им еще не дано было узнать, что же все-таки произошло. Потом стало известно, что Немировский — вот уж от кого и ожидать было нельзя — вдруг развоевался старик, поехал к самому Бородину и будто бы там был у него разговор. Во всяком случае, секретарша его Полина Николаевна в этот день пила валериановые капли и под большим секретом и, уж конечно, не всем сообщала об этом разговоре, о том, как Александр Леонидович сказал и заявил. А Немировский ходил с видом человека, решительно подавшего в отставку. И только Лидия Васильевна, жена Александра Леонидовича, она лишь одна видела в его решительном взгляде испуг и немой вопрос.

Прожив с ним целую жизнь, Лидия Васильевна так и не научилась разбираться в той далеко вверх уходящей лестнице, каждая ступень которой была для него, служащего человека, исполнена особого значения, смысла и интереса. Ничего она в этом не понимала, но, как мать с ребенком, была душой связана с ним, и всякий раз в ней отдавалось, когда он больно ударится или его обидят. Он глядел победителем, а ей от предчувствия дальнего страшно за него было.

— Ну, что будем делать? А? — спрашивал Виктор. Ему словно на затылок надавили, весь пригнулся, и снизу вверх, как из-под порога, выглядывали томящиеся глаза. И жег сигарету за сигаретой, весь дымом напирался в эти дни.

— А ничего не надо.

Виктор сильнее сосал сигарету, сощуренные от дыма глаза блестели, упершись в свою мысль.

А тут еще выясняться стало, что не вообще все отменилось, строить будут, но поставят пятиэтажные дома. А они с Виктором останутся авторами проекта. Главными, как это называется, его архитекторами.

— Как думаешь, а?

— Ви-итька!.. Ну это унизительно даже. Это все равно как Соловьеву-Седому...

— Ну, Соловьев-Седой!

— Ну не Соловьев-Седой, Пупкин. Который за всю жизнь одну песенку сочинил. И скажут ему: «Нет, вы лучше-ка перепишите своей рукой «Катюшу», и у нас в городе она будет считаться вашей».

— Выбится из этого положения. Из этого чертова положения! — Виктор от сигареты прикуривал сигарету. Вдруг глянул жалко.— Не будет понято, Андрюша. Не так поймут!

Что тут сказать? И Витьку жаль, но и себя жаль тоже. С бедой надо переспать. И ничего умней тут не придумаешь.

Наконец их пригласил к себе Немировский. Стоя и не предлагая садиться, сказал не без торжественности:

— Я сделал все что мог!

И взгляд: надеюсь, вы знаете о моем разговоре?..

И жест руки, бросившей козырную карту на стол.

— Есть этика.— Александр Леонидович застегнул пиджак на обе пуговицы.— Я не могу говорить все. Но вы вправе решать, как сочтете нужным. Да, как сочтете нужным!

Чертюва привычка видеть все со стороны! Андрей сдержался, чтоб не улыбнуться, хотя, по сути дела, тут плакать впору. Как будто двух послов пригласил и объявляет им о начале войны и о том, что его симпатии на их стороне. Начало военных действий местного масштаба. Но это масштаб их жизни. И другой дано не будет.

Вышли как с собственных похорон. Меньше всего им хотелось сейчас собирать сочувствие. Но к ним уже потянулись из всех комнат на общий перекур. В первых, самых первых вопросах еще была надежда; хоть и знали уже, а все-таки:

— Ну что?

— Как?

— Ах, как это ужасно!

— Но, главное, зачем? Кому от этого польза?

А за всем этим у каждого — стыд за самого себя. Что вот ты понимаешь, видишь и бессилён сделать что-либо. Сразу же начали возникать проекты один другого смелей: куда пойти, что сказать. Слово бы высказался вслух — и уже что-то сделал.

Они стояли в коридоре, сбивали пепел сигарет в фаянсовую белую урну, а все обступили их, будто к стенке приперев. И тут подошел Епифанов, старый, пьющий, сильно бездарный архитектор, при котором обычно разговаривали только о погоде, да и то в урожайный год. Подошел, демонстративно молча пожал руки одному и другому и, совершив этот гражданский поступок, удалился, гордо неся свою усохшую лысую голову с припудренным губчатым носом. Всем отчего-то стыдно стало. Будто он их изобразил этим своим одушевлением. Кто-то пошутил от неловкости:

— Состоялся исторический рукопожим.

И другой сказал:

— Как говорится, извините за компанию.

А что скажешь кроме? Хорошо, хоть юмор не увядает, с ним все же не так стыдно жить на свете.

На улице Виктор говорил хмуро и деловито:

— Дожили: Епифанов сочувствует нам. Нет, Андрюша, дешевой славы нам не надо. Чтоб подходили руки жать. Чтоб всякая шушера вертелась вокруг.

— Противно.

— Вот именно. Вот именно, противно. Это ты хорошо сказал. Думаешь, раньше они радовались за нас? «Да, да, конечно, но вот Ямасаки...» Им все Ямасаки подавай, снобы проклятые. А теперь нас поливать будут. Успеха, Андрюша, никто никому не прощает.

— Какой уж тут успех? Успех...

— Зина — умная женщина, она права: у нас друзей нет. Все злые, все завистники.

Андрей вдруг увидел на той стороне улицы за встречно движущимися троллейбусами бар: мелькал, мелькал сквозь их окна кирпичный угол дома и дверь. Тот самый бар, кафе-молочная, где они сидели с Виктором. И так все остро вспомнилось, как будто из другой жизни. А он еще тогда расстраивался, что не дадут сделать лучше, смелей. Вот уж правда: что имеем, не храним, потерявши — плачем.

— Нет, но я вот беру себя... Неужели не стыдно хотя бы?

— Андрюша, перед кем?

— Да хоть перед нами.



— Не говори наивные слова! Кто мы? Ты же сам говорил, про нас пока что и речи нет.— И тут Витька сказал правильную вещь: — А если стыдно перед нами, так это только хуже для нас.

Это уж точно: не дай бог, если начальству стыдно перед тобой. Такому подчиненному не позавидуешь.

— Нас нет, но мы можем быть. И упускать такой случай...

— Витя, какой ценой?

— Но что же делать, что делать? Не мы, так другие найдутся. Если б можно было... А то ведь все равно другие сделают, пойми!

— Вот и пусть.

— Все уступить другим?

— Да что уступить? Позор? Витя, это все минет. Лет пять пройдет — и не вспомнят, кто приказал, зачем, почему. Еще и смеяться будут. А землю испохабим.

— Пять лет... Их надо прожить!

— Нам по сорок уже.

— Вот именно. Вот и именно!

— У меня сын растет. Чтоб я стеснялся пройти с ним по городу? Или чтоб он стыдился за отца? Кто это, мол? «А это мой отец руку приложил...»

Мимо на мощных скатах ползли груженные глиной «МАЗы», оглушали ревом моторов. И у людей, стоявших под светофором, лица были напряженные, а они двое почти кричали друг другу.

Дали зеленый свет. С двух тротуаров устремился народ навстречу друг другу. Андрей внезапно почувствовал, как кто-то жмет к нему в толпе. Старушка, очень приличная, оглядываясь на выстроившиеся в ряд, вздрагивающие радиаторы машин, испуганно жалась к живому человеку.

Едва перешли на другую сторону, едва ступили на тротуар, старушка и не оглянувшись, засеменила, засеменила, побежала, деловая городская жительница, которой всюду надо поспеть, где что дают — не упустить.

— Витя, плюнем,— сказал он, жалея Виктора: у того ведь и тыл не защищен.

Аня сразу, как только узнала, сказала ему: «И плюнь!» Но за спиной Виктора — Зина.

— Да, плюнешь...— сказал Виктор убито и сбоку глянул на него.

Неужели не понимает Андрей, что двери, которые распахнулись перед ними, второй раз не откроются? Захлопнутся — и как отрубят. Будешь потом всю жизнь снизу вверх поглядывать на тех, кто не побоялся.

— Ну хорошо, проявим героизм...

— Да какое героизм? Героизм...

— ...проявим, хорошо,— говорил Виктор с обидой в голосе.— Думаешь, нужно это кому-то?

— А мы сами перед собой?

— И не вспомнят даже, ты прав. Андрюша, им терять нечего! Хоть тому же Немировскому. Что ему терять, он жизнь прожил.

— Витька!

— Или этот... Руки подходил пожимать. Бездарен, как лысый пень. А нам талант похоронить? Обречь себя на творческое молчание? Какая от этого польза? Если даже по-государственному взглянуть?

Грустно было сейчас смотреть на Витьку.

— Талант, который не реализовался, это не талант. Ну что делаешь, приходится чем-то жертвовать во имя главного. Не ради себя! — вскричал Виктор, не давая себя перебить.— Быть только хоро-

шим — это кто больше ничего не может. А мы можем, Андрюша. Пусть только дадут. В чистом виде добра не бывает. Это правильно кто-то сказал: добро должно быть с кулаками.

— Так тогда уж лучше с финкой. С ножом!

— Не бывает добра в белых перчаточках...

— Витька, милый, не выйдет. Не мы первые. Сначала жертвуют во имя главного, а потом и тем, во имя чего жертвовали. У этого пути конца нет. Сколько люди живут на свете...

— Обожди. Да почему? Ты смотри, Андрюша... Мы согласимся. Допустим! Подожди! Согласимся! Ну? Ну что это в масштабе вселенной, в конце-то концов?

— Нам еще только вселенную запакостить.

— Ну, не до конца. Не целиком. Просто проявим понимание. Ты же сам говорил...

— Витя, где та последняя черта, до которой еще можно, а дальше уже — все, нельзя? Ведь это как горизонт: удаляется по мере приближения.

— Да что нельзя? Чего нельзя? Все равно ведь построят, что решили. Так что нельзя?

— Через совесть свою переступить нельзя. Ну что я тебе такие вещи говорить должен?

— Что мы, Наполеоны? Жизнь, смерть зависит от этого?

— И я говорю: не жизнь зависит. Ну чего уж мы так будем? Чего боимся? Блага потерять?

— А что изменится?

Он видел сейчас в Викторе готовность к унижению и боязнь стыда. Но если не они друг другу, так кто ж еще скажет им?

— Мы изменимся, Витя. И не воротись.

Сами того не замечая, они вновь и вновь кружили по тем же улицам, стояли под теми же светофорами, пережидая поток транспорта.

Один раз попали в толпу: кончился дневной сеанс в кинотеатре «Спартак». Это был единственный кинотеатр, уцелевший в войну. Восемьдесят с лишним процентов города было разрушено, лучшие здания погибли, а этот кремовый торт стоит. И все так же с вещими трубами летают над его входом алебастровые амурчики, молочные, все в складочках. И вьются над ними алебастровые ленты. Живуче уродство, все переживает: и людей и войны.

Оттуда-то, из-под амурчиков, валил народ, жмурясь на свету, веселый, шумный. Странно это видеть — не изменившийся мир, когда с тобой случилось. Но Виктору он сейчас об этом не сказал. «Вот именно!» — воскликнул бы тот.

И так же, как они кружили по улицам, так же по кругам шел их разговор. Казалось обоим, что, в сущности, ничто не разделяет их, немного еще — и они поймут друг друга, как понимали всегда. А уже каждый начал свой путь. И эти пути никогда не сходятся.

Как бы между прочим, но приосанясь вдруг и тем подымая разговор на иной уровень, Виктор сказал:

— Видишь ли, Андрюша, меня тут вызывали...

И помолчал значительно, углубясь в себя.

— Пригласили меня, одним словом...

— Куда? — спросил Андрей.

Оба отчего-то пошли медленней.

— В общем, был у меня на этих днях доверительный разговор. С Алексеем Филипповичем. Не только он присутствовал...

После уж вспоминалось, и вспоминалось не раз: и тон, каким это было сказано, и слова. Не «Бородин», не «мэр»: «С Алексеем Филип-

повичем...» Но в тот момент у Андрея словно отшибло способность понимать.

— С кем, с кем у тебя был разговор?

Ведь чтобы понять, в этот след направить мысль, надо было поверить в самую возможность, что Виктор сделал что-то втайне от него. А этого допустить он не мог, потому что тут кончалось главное. И он улыбался, глядя на Витьку. Но тот говорил уже покровительственно, как старший:

— Нам доверяют, вот какое убеждение я вынес из разговора. Это главное. Понимаешь, Андрюша, надо. На-до. Это тот случай, когда мы должны.

Они все еще шли в ногу. Шаг в шаг.

— Значит, ты разговаривал с Бородиным?

— Да. Состоялся большой творческий разговор.

Виктор так слушал себя, так себя он видел сейчас, что и не заметил перемены, происшедшей с ним рядом.

— Ты, значит, ходил к нему?

— Меня пригласили.— Именно на такой формулировке настаивал Виктор. И еще больше надулся важностью.— Бывают обстоятельства, когда приходится поступаться личным. Как говорится, на горло собственной песне...

— Ты что же, от нас двоих там? И вообще я не понимаю, как же ты один?..

— Видишь ли, Андрюша, для пользы дела... Ну как тебе объяснить?..

— Постой, когда это было?

Позавчера в перерыв он встретил Виктора в коридоре. Они всегда ходили обедать вместе, а тут Виктор спешил куда-то один и был перерожден. «Зинушка, понимаешь...— забормотал он как застигнутый.— Ну, в общем, бабские дела». Андрей по своей привычке не стал добиваться, посмеялся только: «Эх ты, подкаблучник». Это было именно тогда, он понял сейчас. И не к Зинушке отпрашивался Виктор с работы.

— Когда это было? — повторил Андрей.

— На этих днях. Не в том дело...

Да, это было в тот день. Оттого он и спешил и проскользнуть стремился. Почему-то мелочи задевают больней всего. Главное не уязвит так, как может уязвить мелочь.

— Значит, тебя пригласили — и ты пошел? — Андрей говорил тихо.

— Андрюша, обожди. Ты не так меня понял! — Виктор уже пожалел, что сказал.— Ты меня знаешь. Со мной ведь не так просто. Я им сказал сразу...

— Это твое дело, что ты сказал.

— Нет, но мы же вместе...

— Твое дело!

Андрей опять видел в нем готовность к унижению и убыстрял шаг.

— Ты не так расцениваешь. Я просто думал, что из тактических соображений...

— И это меня не интересует.

Потом они шли молча. И разойтись в стороны еще не могли, и говорить было не о чем. Но мысленно они говорили сейчас. И шли рядом. Получалось так, что Виктор, как виноватый, провожал его. У трамвайной остановки Виктор сказал:

— Нам еще надо поговорить.

Сказал как попросил.

— Да, надо.— Андрей старался не встречаться глазами.

Дома он не стал ничего рассказывать Ане. Он знал, что она скажет: «Дурак ты, дурак! А что я всегда говорила?»

Обычно после так называемых семейных общений, наслушавшись Зининого щебетания, натерпевшись, Аня говорила: «Почему я должна нести этот крест? Должна, должна, а почему?» Он отшучивался: «Мы своим друзьям жен не выбираем. А то бы пришлось отдать тебя». «Не подлизывайся!» — «Нам с Витькой скоро серебряную свадьбу справлять — вот сколько мы дружим». — «И дружите на здоровье! Но почему я должна? По-моему, вам вполне хватает вас двоих. И вообще, знаешь, я ее боюсь. Я тебе серьезно говорю. Это электрическая дура». — «У каждого века свои дуры. Дуры каменного века, дуры электрические, электронные, кибернетические. Можно провести исследование: «Дуры разных веков...» — «Но если он ее терпит... «Зина — умная женщина!» Если он все это способен терпеть, он точно такой же. Ты знай! И ты еще увидишь».

В их дружбе она чутко регистрировала малейшее отклонение. Стоило Виктору схитрить — и она уже ревниво переживает за мужа: «Ну что? Опять слаб трахмал?» Был старик маляр, покойник уже; всю жизнь клеил обои, и всю жизнь они у него вздувались пузырями. Объяснял он это тем, что нынче и крахмал делать разучились: «Слаб трахмал». Так это «слаб трахмал» и осталось в семье на все случаи жизни.

Но хоть он и не рассказал Ане, на следующий день она все уже знала. Вернувшись с работы, он сразу увидел это. Как всегда, она сидела над ученическими тетрадками: слева стопа непроверенных сочинений, справа — проверенные. Сорок два ученика в ее восьмом «а», сорок два сочинения, сорок два раза прочесть одно и то же. Иногда до полуночи сидит, заснет, пока две стопы тетрадок не соединятся в одну. Обычно она выписывала фразы из сочинений, читала вслух: «Добролюбов в нецензурных выражениях звал Русь к топору». Дети обожали это. Но сегодня не до фраз было, не до смеха. Взволнованная — щеки порозовели, глаза блестят, — она читала с поразительной быстротой; это скопившаяся в ней энергия гнала ее.

— Ужинать будешь?

Не хотелось ему сейчас этого разговора, совсем не хотелось. Но, видно, не миновать. Аня поставила перед ним тарелку.

— Ну?

Он молча ел.

— Что я говорила? Что я тебе всегда говорила? Это еще ты нужен был ему. А то бы он тебя давно предал. Нет, пойди тайком, одному...

— Перестань!

Но Аня от обиды за него, которую пережить не могла, его жалея, на него же и кричала теперь:

— Малой доли ты не знаешь, что он там говорил! И что скажет. Это теперь твой первый враг, знай! Потому что не ты, а он подлец оказался. Он им всегда был, только ты был слеп. Ничего для тебя не существовало. Весь опыт человечества — ничто!

— Перестань!

— Они мне гадки! Гадки и омерзительны! Всегда, во всем — только своя выгода. И другом он тебе никогда не был!

Человечество, которое живет на свете не первое тысячелетие и ошибалось не раз, могло бы сказать ему из своего опыта: «Умей прощать близких, даже если они не правы: не они твои враги». Но он вдруг как на врага закричал на жену, которая его любила, для которой его боль была большей своей. И кончилось тем, что Аня забрала свою подушку и одеяло и ушла спать к детям. И дети, напуганные,

притихшие, жались к ней там, в темноте, ее жалели. И перед этим он был бессилён. Что бы он ни делал сейчас, в глазах детей он был виноват. И за это он еще больше ненавидел ее сейчас и, если б не дети, ушел бы из дому.

А потом, среди ночи, сидел на диване, курил и мучился.

## Глава XII

Какое-то время еще продолжала действовать сила инерции: «Андрей Михайлович? Минуточку, минуточку...» Все очень respectfully, доброжелательно, в меру солидно: говорят с человеком, который принят. Но проходила минуточка — и голос делался неузнаваем: «Ивана Федоровича нет. Нет... Не знаю... Не могу сказать...»

Но уже знал, что «нет» — это не вообще нет, а для него нет. До холодного бешенства иной раз доводил его этот металлический голос в трубке. Его уже и узнавать перестали: «Кто? Не понимаю — кто? Громче говорите, вас совершенно не слышно...»

Они умели быть жестокими, эти опытные в жизни дамы, заслонившие на всех этажах, стрекотавшие на машинках со скоростью трехсот знаков в минуту, эти модные девочки в сапожках на длинной молнии, цена которых едва ли не превышала их зарплату.

Однажды в коридоре исполкома он встретил Виктора Анохина. Он ждал нужное ему должностное лицо, курил в маленьком закутке (когда-то тут был холл, но со временем его застроили для новых служащих, и остался вот этот закуток) и вдруг увидел Виктора и то лицо, которое он поджидал. Оба свежестриженные в исполкомовской парикмахерской, с одинаковыми кулками в руках, они шли по коридору, беседовали, наклоня головы. У обоих было то выражение служащих людей, в котором равно соединились непреклонность к нижестоящим, готовность и почтительность к тем, кто поставлен выше. И достоинство. Особое достоинство: в осанке, в поступи — во всем. Не твое личное, а достоинство учреждения, которое ты представляешь в своем лице. Они прошли мимо, и протянулся за ними по воздуху запах парикмахерской, одеколона «В полет!».

Когда Андрей уже и надеяться перестал, ему вдруг было сказано, что Бородин примет его. И время назначили: в тринадцать часов в среду. Без десяти час в среду Андрей был в приемной. Дежурил Чмаринов. Как на что-то мелькавшее здесь в коридорах, чего и не упомянешь хорошенько, взглянул он на Андрея и продолжал накручивать телефон.

— Мне сказали вчера, что в час дня Алексей Филиппович примет меня,— объяснил Андрей свое появление здесь.

— Сказано — ждите.

Андрей сел. Кроме него и Чмаринова, был здесь еще исполкомовский служащий, явно без дела. Ему-то Чмаринов рассказывал, как на этих днях выдавал дочь замуж, где свадьба справлялась, кто был. И все это были люди значительные (вот какие люди почтили его!), к именам-отчествам их, как звание, добавлялось небрежно «большой души человек», «исключительно душевный человек» или просто «душевный человек», «человек с душой». Тоже своего рода табель о рангах.

Прошло десять, прошло двадцать минут. Слишком уж как-то спокойно было в приемной. Даже телефоны почти не звонили. Не чувствовалось того напряжения, какое бывает здесь, когда начальство за той дверью.

Чмаринов теперь уже перечислял, что и кем было подарено молодым: обстоятельно, подробно, ни один подарок не забыт. У Чмари-

нова белые манжеты выпущены так, что и запонки крупные видны, галстук прихвачен заколкой, седоватые волосы расчесаны с водой и кок не явный. А белки глаз розоваты, взгляд влажен, и рука едва заметно вздрагивает: недавно была свадьба.

Сколько раз говорил себе Андрей, что не может его обидеть отношение человека, которого он не уважает. На той шкале измерений, с которой единственно сверялся, каждого соотносил Чмаринов, свои были приняты масштабы, свои ни на что не похожие расставлены деления. Вот и сиди жди. А в душе накаплило.

Открылась дверь. Вошел Дятчин. Все поднялись. Андрей тоже встал, хоть и видел, что не попадает в поле зрения строго перед собой направленного взгляда. И тут тоже были свои понятия: не вошедший здоровался первым, а нижестоящие.

В новом костюме, выше ростом и шире в груди (только ботинки все те же растоптанные, с белыми разводами у самого ранта, словно соль выступила: промочил он их, что ли?), Дятчин задал два-три вопроса: «В шестнадцать тридцать совещание не отменено? Товарищи по списку оповещены все?» — и на все Чмариновым ответы были даны точные, самые исчерпывающие.

Стоял Дятчин, стояли все. Сесть одному — глупо как-то, по-мальчишески, вроде хочет доказать... Не мог Андрей заставить себя сесть. Но еще глупей стоять вот так, когда тебе даже не кивают.

Вдруг Дятчин вполоборота к нему спросил строго:

— А товарищ кого ждет?

Как об иностранце, который языка не понимает (да нет, к иностранцу бы все почтение!), как о глухонемом при нем же сведения о нем запрашивает. А уж чтобы по имени-отчеству или по фамилии обратиться... Хоть сжало у Андрея все внутри, как будто ухнул в глубину, ответил он вежливо, спокойно:

— Мне назначено к тринадцати часам.

В толстых стеклах очков Дятчина кругами слоился свет и отражались два матовых потолочных плафона. Недослушав, Дятчин повернулся к помощнику:

— Что, Алексей Филиппович обещал сегодня быть?

— Нам ничего не известно...

Себя Андрей сейчас не видел, но Дятчин, глянув на него, заговорил мягко, увещательно: действительно, на сегодня Алексей Филиппович назначил нескольким товарищам, но еще вчера стало известно...

— Вам надо было прежде позвонить, уточнить... Что же вы не предупредили товарища? — выговаривал он Чмаринову.

Он что-то говорил еще и снова Чмаринову выговаривал.

— Товарищ не спрашивает ничего, — железно стоял тот.

И долго еще Андрей не мог об этом вспоминать спокойно. Понимать-то он понимал, что это Чмаринов давал ему образование — так-то, мол, кто гордится, — но думать об этом спокойно не мог.

Он позвонил Смолееву и неожиданно для себя на следующий день был принят. Впервые Андрей входил в кабинет, который, впрочем, знаком был ему зрительно: деревянные панели по стенам, письменный стол в глубине, торцом к нему стол для заседаний, два ряда стульев, книжный шкаф. Смолеев пригласил его за низенький стол у окна. Сели друг против друга, сюда же им принесли чай в стаканах.

Искрился на свету хорошо заваренный чай, лимон в блюдечке зеленоватыми кружочками, конфеты шоколадные, сушки. Для начала было сказано несколько необязательных фраз.

— Игорь Федорович, вот вы меня приняли. — Жестом руки Ан-

дрей обвел стол и все, что на нем.—Никто не ищет себе хлопот, я знаю. Но все же нашли время. Так разрешите быть откровенным,

— Разумеется.

— Я уж не знаю, как начать, потому что проговорено не раз. С самим собой, к сожалению. С моей точки зрения, вот что получается: чем равнодушной, тем и тебе выгодней и людям спокойней. Это как Талейран наставлял молодых дипломатов: «Главное — не проявлять инициативы». Точно про нас. Ведь нам, архитекторам, и платят за должность. Хоть во всю жизнь ни одного проекта не создай.

Ему показалось, что Смолеев сказать что-то хочет, и он поспешил, пока его не перебили:

— Да нет, Игорь Федорович, я понимаю. Я даже доказать могу, что их надо строить. Тут все высокие слова наготове. О самоотречении зодчих ради того, чтоб решить проблему массового жилищного строительства. Об умении пожертвовать своим творчеством, общественным престижем, о гражданском подвиге архитекторов... Слова эти я знаю. Но не нужно ничем жертвовать, нет даже такой экономической необходимости. Дороже они выходят, эти пятиэтажные ба-раки, дороже, если все подчитать. Вот расчеты, посмотрите сами.

Смолеев смотрел, слушал. Отхлебывал горячий чай. Он знал примерно, с чем идет к нему этот человек, что говорить будет. Но что для Медведева было главным из главных, заслоняло все на свете, для Смолеева было одним из ряда дел. И потому у него оставалась возможность посмотреть со стороны.

Как бы там ни было — хуже, лучше,— но все же достигалось самое важное: расселяли людей по квартирам. Это самое важное сейчас. Потом признают, что сразу можно было делать и лучше и капитальней, что мы уже достигли этого уровня. Очень может быть, что все это признают потом. Но не только в промышленности, а и в сознании людей не всякий этап можно перескочить, иные нужно пройти. И случается, что в сознании перескакивать трудней.

Знал Смолеев, что не с легкой душой расставался Бородин с проектом микрорайона, которым уже хвалиться начал. С ним связаны были у «мэра» и собственные честолюбивые мечты: новый район лежал на въезде в город с аэродрома... Не в возможностях Смолеева изменить сейчас что-либо: на то имелось много причин, которые он не мог объяснять. И все же он принял этого архитектора и вот слушал его, думал.

В конечном счете, что бы ни делали люди, жизнь движется по равнодействующей сил. Тут ее путь пролегает. Но до этих пор каждый тянет ее в свою сторону, каждый по-своему направить норовит. Наверное, потому ни одной своей цели люди не достигали, как было задумано: путь лежит по равнодействующей, а цель намечает каждый свою. И еще то свойство есть у жизни, что даже неправильное поначалу решение она все равно обкатает по-своему. Потому-то он и не был сторонником кардинальных решений, резких перемен. Он с интересом слушал Медведева.

Перед ним был человек, в котором сильней личных выгод заложено стремление сделать то, к чему он призван. Может быть, в этом и состоит смысл жизни: осуществить заложенное в тебе природой. Такие люди движут жизнь. И движут бескомпромиссно. А жизнь — это ведь компромисс. И равнодействующая сил — точное выражение его.

— Я видел ваши работы,— сказал Смолеев, сломав сушку в руке.—Я мало разбираюсь в архитектуре... (Тут Андрей подумал: «Устаревается или не боится признать?») Жена у меня... Не знаю, может

быть... Во всяком случае, она считает, что разбирается. Мне было интересно.

«На что мне твоя жена!» — хотелось сказать Андрею. Он понял главное: не убедил. Не смог убедить. А может быть, и не слушали его.

— Какие работы! — сказал он. — Сам бы я хотел свои работы повидать. У архитектора одна молитва во всякий день: боже, дай... — Хотелось сказать: «Дай умного заказчика», но обидеть побоялся и сказал так: — Дай заказчика, который бы стоял на уровне своего времени.

Однако Смолеев понял.

— А вы не тактик, — сказал он.

Вот и этот про тактику.

— Нет, не тактик, — сказал Андрей, вздохнул и закрыл блокнот.

И тут они встретились глазами, и заглянули друг в друга, и поняли больше того, что было сказано до сих пор.

— А нужно ли, Игорь Федорович? — сказал Андрей, обезоруживая улыбкой, ею же и обороняясь. — Все хотят приспособить тактику себе на службу, а кончается тем, что она приспособливает человека. И уж где тут принципы, где что?

Откинувшись на спинку кресла, Смолеев смотрел словно издалека. Ни по лицу, ни по глазам ничего не прочесть сейчас.

— Что из архитектуры последнего времени нравится вам? — спросил он.

Это значит — началась заключительная часть беседы. Андрей положил блокнот в боковой карман.

— Да много есть... Вы разрешите курить?

Смолеев подвинул пепельницу:

— Курите.

И, доставая сигарету, прикуривая, Андрей говорил:

— У финна одного...

— Сааринен?

Ну, правильно. Если финн, так уж обязательно Сааринен. Японец, так уж наверняка Ямасаки.

— Нет, другой. Даже не здание само по себе, а вот сосна столетняя. Почти что в метре от угла здания растет сосна. Он не тронул ее. Пока строил, досками обкладывал. Вот это архитектура нашего времени. Знаете, про кукушку рассказывают, как она подкладывает яйца в чужое гнездо. А потом вылупится кукушонок и всех птенцов по одному повкидывает из гнезда. Вот так и мы, люди, с природой поступаем.

Для Андрея дальнейший разговор уже не имел смысла, он ждал, когда удобно будет встать. А Смолеев, глядя на него, думал не впервые о том, что способности и умение пробиваться в жизни, занять положение — это дается человеку, как правило, в обратной пропорции.

— Что бы вы хотели построить?

— Да уж хотел... — Андрей потушил сигарету, встал. — Виллу, Игорь Федорович, виллу.

— Ну, я не думаю, что у вас тут найдутся заказчики, — сказал Смолеев холодно.

— Да я ведь серьезно, Игорь Федорович. Мечта каждого архитектора — хоть раз в жизни построить виллу. Вы поглядите, сколько земли у нас пропадает. Газ прокладывали — пол-леса раздавили. Богаты слишком, оттого и не бережем. А отдыхать — все на заплыванный юг устремляются. Да в нашей средней полосе... Я и овраг уж присмотрел. Наполнить — такое будет озеро! И Дом отдыха поставить на берегу.



— Ну, не с первого толчка,— сказал Смолеев, прощаясь.— Когда есть цель, должно быть и терпение.

— Терпение... Терпение есть.— Андрей улыбнулся, потому что хотелось ему сказать: «Терпение-то есть, жизни бы хватило».

Но он видел в Смолееве участие, видел, что этот человек расположен к нему. И уж за то был благодарен.

### Глава XIII

Зима в этом году была поздняя, слякотная. Несколько раз ложился снег и вновь таял, под колесами машин превращаясь в грязное месиво. Погода стояла самая гриппозная. Где-то в глубинах Азии, на каких-то ее островах, зародился новый, еще неведомый вирус и со скоростью реактивного самолета вместе с людьми, в них самих, перелетал океаны и континенты, распространяясь по всему свету. Разделенное границами и предубеждениями, барьерами языковыми, расовыми, классовыми, человечество дышало одним воздухом, болело одними болезнями. Не ведавший теорий и сомнений мудрецов, гриппозный вирус с первобытной простотой размножался в крови всех народов и рас, равно себя в ней чувствовал, тем самым говоря человечеству, что оно — едино.

Очень в эти дни ждала Аня морозов, очень в них верила. Уже в аптеках города стояли долгие очереди, а кассирши и продавцы повсеместно работали в марлевых повязках, уже половина детей в ее классе болела, но Митя и Машенька держались. И вот подморозило, подсушило асфальт. Повалил снег крупными хлопьями — на голые железные крыши, на шапки и спины людей; в кружащемся снегу зажглись фонари. И чисто среди ночи, светло, бело было в городе. К утру мороз окреп, в огромных серых дымах над трубами ТЭЦ красное встало солнце. Звучно хрустели снежком прохожие, пар валил у людей изо рта, сильней запахло теплым хлебом из булочных. Как в шубу, город влез в зиму.

Вернувшись в десятом часу, попахивающий вином и потому с шоколадными «Мишками» в кармане—две для Ани, по одной детям,— Андрей застал дома то, что у них называлось «великим переселением народов». Мимо него с подушками и простынями, обдав ветром, прошла по коридору Аня: это в большую комнату переносили Митину постель. Значит, заболела Машенька.

Аня считала, что разделять детей бессмысленно: все равно разятыся друг от друга, пусть уж отболеют разом. Но в последний момент все же отделяла здорового.

— Это ты все с работы шел?

— Понимаешь, Борьку встретил...

— У Машеньки тридцать девять и шесть. Я голову потеряла. Хоть бы позвонил. Ведь трубку снять.

Задерживая дыхание, Андрей заглянул к дочке. Машенька сидела на кровати, свет настольной лампы, направленный от нее, блеснул в черных стеклах незашторенного окна.

— Что все говорят: я больна, больна... Ничего я не больна.

А голос плачущий, а глазки от температуры масляные.

Обычно к заболевшему переселялась мать. Но в этот раз, испугав вину, Андрей остался ночевать с дочкой.

— Болеть, если хочешь знать, тоже приятно,— утешал он Машеньку тихим голосом. Всякое проявление жизнерадостности в такой момент было бы названо Аней «оптимизм от рюмки водки».— Болешь — все тебя любят, в школу ходить не надо... Я, когда учился,

любил болеть. Только вот не получалось. Ребята пропускают, а я все в школу хожу.

— Ты обещаешь, что разбудишь меня в школу.

— Договорились. Только и ты дай слово: если что понадобится, будишь меня.

Он лег с намерением караулить Машеньку. Зачем это нужно, он, честно говоря, не понимал. Аня умела спать и все слышать: стоило ребенку пошевелиться, она уже поднимает голову с подушки, вглядывается трезвыми глазами. Сегодня он был вместо нее, значит, должен все точно выполнять. И не заметил, как заснул.

Проснулся он от странного, страшного звука: там, где была кровать Машеньки, слышалось хрипение. Опрокинув что-то в темноте, включил лампу. Желтый свет ослепил на миг. Машенька стояла в постели длинная, в длинной рубашке, и, вздергивая плечиками так, что проваливалось под ключицами, силилась вдохнуть, вся красная, уже начинавшая синеть.

— Только не бояться, только не бояться! — зачем-то схватив ее на руки, говорил он, сам леденея от ужаса.

Но уже бежала сюда Аня, на бегу не попадая в рукав халатика.

— Окно! — И выхватила у него ребенка. — Настежь!

Морозный воздух дохнул в комнату.

— Ты дышишь! — говорила Аня сердитым голосом. — Чего ты испугалась? Дышишь. Иначе бы ты задохнулась давно.

— Я... я... не могу... — с рычанием вместо дыхания говорила Машенька, по шею укрытая одеялом.

И уже не красное было лицо, а синюшная желтизна проступила вокруг носа и губ. Он видел ясно: ребенок умирает.

— Можешь! — внушала мать. — Чего ты не можешь? Тебе дышать трудно?

Машенька кивнула, и слезы обиды оттого, что ее же еще и ругают, пролились из испуганных, как у совенка, глаз.

— Горячей воды! — тихо и быстро сказала ему Аня. — Ведро целое.

Понимать, рассуждать он был сейчас не способен. Он мог только верить и выполнять. Бегом внес ведро. Закрыв окно. Машенька дышала с хрипом, но была жива.

Закутанную в одеяло, посадили ее на постели ногами в горячую воду. Он сидел напротив на корточках. И в эти минуты, когда он смотрел на ребенка и ждал, все ценности мира потеряли для него цену. И то, что недавно казалось несчастьем, ничтожно сделалось в его глазах.

А когда дочка с мокрыми еще глазами, его пожалев, сказала пресекавшимся голосом: «Папа, ты не пугайся... Я уже дышу... Видишь?» — в нем дрогнуло, он еле сдержал себя.

Через полчаса прибыла «неотложная помощь». Врач, молодая, с мужской хваткой и мужским складом лица, выслушала ребенка, выслушала, что сделано: «Так... так...» — глянула поочередно на обоих родителей, определяя, кто тут более разумный, спросила Аню:

— Вы врач?

— Нет. Но двое их у меня...

— Можно было еще поставить горчичники. Вот сюда. Сухую горчицу в воду. Но в принципе все правильно. Вот так протекает этот грипп. С ложным крупом. — С телефонной трубкой в руке она набирала номер. — Иногда не ложным... Это я, — сказала она в трубку деловым голосом. — Вызовы есть? Записываю...

На исходе ночи Андрей, которого теперь переселили к Мите, услышал, как щелкнула дверь, вскочил. По коридору шла Аня.

— Что? Опять?

Она прошла на кухню, села.

— Дай что-нибудь. Сердце... останавливается...

Она сидела слабая, вялая, даже глаза закрыла. Сказала как сквозь сон:

— Кофейник поставь... Моторчик завести...

Уже звенели трамваи. В осыпающихся с проводов синих искрах, они проходили внизу в темноте, светя желтыми, обросшими морозными инеем окнами.

— Эх ты,— сказала Аня, улыбнувшись слабой улыбкой.— А еще на фронте был. Как же ты там не терялся?

— На фронте другое.

Этого не объяснишь. Там от него зависело. Ну, не вся война, а все же. А здесь он, мужчина, чувствовал себя самым беспомощным.

Между тем до Нового года оставалась последняя неделя. Уже началась предпраздничная спешка. Несли елки по улицам, стояли очереди за апельсинами, и народу в городе прибавилось вдвое.

А в их квартире день только тем и отделялся от ночи, что под утро у Машеньки спадал жар. Раскрывались шторы, начиналось проветривание, умывание, уборка, на какое-то время ребенок, освеженный, чувствовал себя лучше. Потом температура вновь начинала расти, и впереди была ночь.

В доме разговаривали тихими голосами, телефон прикрывали подушкой, уходя, старались не стучать дверью. Отяжелевшая от бессонных ночей, раздражительная, Аня даже Митю забросила, и он жил в эти дни отцовским иждивением.

За окном хлопьями валил снег, мальчишки в валенках, разгоревшиеся, дышащие морозом, расстегнутые, здоровые, сражались в снежки и галдели так, что здесь, за двойными рамами, слышны были голоса, и Машенька отраженно улыбалась их веселью.

— Ты знаешь, я никогда не завидую,— говорила Аня, и глаза у нее были фанатичные.— Я никогда не завидовала никому. Но я завидую здоровью детей!

А он ничего не мог поделать с собой: в эти дни ему как никогда хотелось работать. Был объявлен конкурс на строительство кинотеатра на две тысячи мест. Он решил в нем участвовать. Среди ночи он просыпался с ясной головой, бесшумно выходил на кухню. Он приспособил здесь чертежную доску. Плотно закрывалась дверь, приоткрывалось окно. Щурясь на слепящий под электричеством белый ватман, закуривал сигарету, чтоб успокоиться.

Но иногда, глядя на ватман, он видел другое здание. Слово сказанное имеет свою силу. Он сказал, что хотел бы построить Дом отдыха, виллу, и теперь видел его. И видел место на земле, где ему стоять. В прошлом году они шли с Митей на лыжах, миновали поляну, перебрались через овраг, входили в лес. Он оглянулся и долго стоял и смотрел. Вот здесь. Небо, снежная даль, лес, ярусами поднимающийся вверх. Среди природы и само — часть ее.

— Ты можешь хотя бы ночью не петь?

Заспанная, в халате, Аня вошла в кухню, жмурясь от света.

— Ребенок болен, не знаю, отчего у тебя праздник? Только удалось задремать наконец...

Он внутренне сжался, как сжимался все эти дни, оттого, что он такой здоровый, ни хворь, ни ничто не берет его.

— Я сейчас уберу. Это так просто,— говорил он, разгоняя дым рукой.

— Вот в этом вся разница между нами,— сказала Аня.— Ты любящий отец, я ничего не хочу сказать. Но для меня они — вся жизнь,

а ты... Ты и без нас будешь жить. Да, да, это так... Ты только без своего дела жить не можешь.

И увидела, что он смотрит на нее остановившимся стеклянным взглядом: он не видел ее сейчас и не слышал.

В воскресенье рано-рано позвонил Борька: он узнал телефон профессора. Молодой. Светило. Дождавшись десяти — до этого часа, как ему казалось, профессора по воскресеньям спят, — Андрей стал звонить. По счастью, профессор был не за городом. Он долго отказывался, басил, не слушая заискивающий голос. Потом вдруг согласился:

— Хорошо. Сколько на ваших? Через полчаса можете быть у меня?

Через полчаса Андрей с шапкой в руке стоял в передней профессора. Внизу ждало такси. Профессор одевался. По временам из глубины комнат звучал его энергичный голос, отдававший приказания.

Передняя с блестящим от лака паркетом была увешана по стенам чеканкой, и две яркие африканские маски красовались на видном месте. С недавних пор это стало не просто модой, но как бы удостоверяло зримо, что владелец масок достиг определенных степеней и даже, как можно полагать, международного признания. И еще многое, чему пока еще не нашлось точных определений, удостоверяли эти видимые знаки.

Стараясь не замечать, Андрей почтительно стоял на коврик у дверей, преисполняясь доверием и надеждой: вот профессор посмотрит и скажет, что делать.

Профессор стремительно вышел из стеклянных дверей.

— Что же вы здесь дожидаетесь? И никто не сказал, не провел...

Он надел яркое мохеровое кашне. В расстегнутой шубе крикнул куда-то в комнаты:

— Я вернусь, еще поработаю часочка два-три!

И хоть Андрею стало неловко за него: не мог он не понять, что производилось впечатление широким жестом, — он не позволил себе думать об этом.

— Профессор, такси внизу, — сказал он почтительно.

— Ах, вот какое обстоятельство... — Профессор на миг озадачился. — Нет, мы сделаем так: отпустите такси. Поедем на моей машине: мне еще надо будет заехать потом...

Руками в кожаных перчатках он уверенно вел машину по снежным улицам. Андрей попытался было рассказывать дорогой, как заболел ребенок, что было, что делалось, профессор прервал его:

— Ничего не надо заранее. Я все увижу сам.

Но тут же смягчился, счел нужным объяснить отцу:

— Вы приехали за мной, следовательно, хотите знать мое мнение. А вместо этого навязываете свои представления мне. Я должен увидеть непредвзято. Это очень важно.

«Нет, он дельный мужик», — Андрей охотно преисполнился верой. И Аня, открывшая дверь, смотрела на профессора косящими от волнения глазами. Впервые за последние дни она была тщательно причесана, напудрена, подкрашена. С чистым полотенцем в руках она ждала, пока профессор медленно и тщательно мыл руки, взбивая мыльную пену.

Волнение родителей передалось ребенку. Когда открылась дверь и все вместе, пропуская профессора вперед, вошли, Машенька сидела посреди крахмальных простынь (Аня срочно перестелила к визиту) испуганная, в желтой своей пижамке, как гусенок с вытянутой шеей.

Начался процесс осматривания, остукивания, оттягивания век.

— Прошу чайную ложечку... «А-а». Еще «а-а». Еще! Очень хорошо. Свет, пожалуйста, сюда. Сюда, сюда. Нет, дайте я сам. Отлично! В эти минуты Аня видела ее не своими любящими, а чужими глазами, и покрывшаяся гусиной кожей Машенька казалась ей сейчас особенно жалкой и худой.

— Вы знаете, профессор, она такая крепенькая была,— начала она оправдываться, едва он вытянул резиновые шланги из своих белых чистых ушей.— На лыжах, на коньках...

С хмурым лицом Андрей одевал дочку: заморозили совсем. Он ждал приговора, страшился, и от этого ему казалось, что Аня говорит много лишнего и все не то.

— Воспаление легких. Да. Ну и что? Будем лечить! — Голос профессора стал тонким.— Кстати, вот этого,— двумя пальцами, как мышь за хвост, он поднял со стула Машенькин яркий свитер,— избегать! Только чистый хлопок! Только чистая шерсть! Синтетика — лишняя возможность аллергических наслоений. Вот здесь, на фирменной этикетке, должно стоять «pure wool». И то нет гарантии.

Сияющий чистоплотностью и здоровьем, розовый сквозь кожу, свежий, с влажным ясным взглядом голубых глаз, он казался из мира иного, где не болеют дети, где все разумно питаются и носят исключительно «пур вул».

— Век химии; век синтетики стал веком аллергии. Мы не все можем лечить, но многого мы уже можем избежать.

Аня значительно взглянула, и Андрей тихо вышел. Он понял ее взгляд.

Все разузнавший Борька сказал утром, что за профессором надо будет заехать и положить в конверт десять рублей. На всякий случай, хоть и были стеснены в деньгах, они положили пятнадцать: профессор все же, неудобно как-то. Но сейчас, прослушав лекцию об аллергии, Аня поняла: надо дать двадцать.

— Ну что он, пап? — спросил Митя, совсем одичавший за эти дни. Сам с собой он тихо играл на полу в солдатики.

Андрей погладил его по волосам:

— Вот закаляйся, сын, не придется их звать.

Он вернулся, когда Аня с волнением спрашивала о том, что мучило ее все это время.

— ...я окно тогда распахнула настежь. Может быть, морозным воздухом охватило?

Профессор взглянул:

— Мм-м...

Встал. Подошел к окну. Аня ждала, волнуясь.

Приподнявшись на цыпочки, так, что видны стали носки в яркую клетку, профессор сверху смотрел на свою машину, стоявшую у бровки тротуара.

— Я вот так оставил недавно, и грузовик — представляете? — ободрал крыло. Нарочно, я совершенно уверен. Все-таки удивительный у нас народ, что ни говорите. В нашем дворе человек купил «Москвича» цвета «белая ночь». И вот какой-то... трудящийся... вылил на него бутылку фиолетовых чернил. Ночью не поленился встать. А говорят, мы не трудолюбивы!.. Нет, нас еще сечь, сечь надо! У вас нет машины? Вы счастливые люди..

Он сел к столу, вынул бланки.

— Подумаем о назначениях. Прежде всего снимем лишнее...

Тут он отменил все, чем лечили до сих пор, и назначил два самых новых, самых последних лекарства: наше и голландское. Выписывая, он каждое произнес вслух, помогая усвоить.

Очень точно, придав этому особое значение, разъяснил, как следует принимать: одно за пятнадцать минут до еды, другое спустя пятнадцать минут после еды. До и после. В обоих случаях интервал пятнадцать минут.

— Вот вы увидите, как они это делают,— говорил он о голландском лекарстве.— На сладком сиропе. Не надо думать даже о дозировке: в упаковку вложена пластмассовая ложечка. Наливаете и...— Тут профессор высунул розовый, свежий язык, проглотил воображаемое лекарство и сладко облизал губы.— Ребенок пьет и пить хочет.

В передней Андрей держал ему шубу с целой, нещипаной выдрой на воротнике, от которой пахло мертвечиной и нафталином.

— Спасибо, профессор... Значит, это вы разрешаете?.. А это не рекомендуете?..

Подержал и закрыл за ним дверцу лифта.

— Разрешите, профессор, если что возникнет, звонить?..

— Ты не забыл отдать ему деньги? — первым делом спросила Аня.

Оставшись в передней вдвоем, они взглянули друг на друга. У Ани сейчас были глаза верующей. И оба они испытали тот прилив надежды, который на непродолжительное время вносит с собой новый врач.

Андрей тут же помчался по аптекам. После долгих поисков выяснилось, что одно из прописанных лекарств должны получить в первом квартале, а про второе никто даже и не слышал еще.

Совершенно неожиданно на Аню это произвело меньшее впечатление, чем он ожидал. Воинственно блестя глазами, она открыла дверь.

— А, это ты..

— Что случилось?

— Ничего...

Оказывается, в его отсутствие, только Машенька заснула — дзы-ынь: соседка. Молодящаяся, бездетная, она впорхнула показать платье, которое сшила к Новому году. А тут ребенок болен. «Ах, у вас всё болеют!..»

— Ты бы видел, с каким выражением она это сказала! Мне обидней всего, что я ничего не нашлась ответить. Ты понимаешь меня? Я растерялась, как будто я еще виновата перед ней.

— Да перестань, о чем ты..

— Нет, каким надо быть бессердечным существом, чтобы матери сказать: «А у вас всё болеют...» За целую зиму ребенок заболел впервые. Я хочу, чтобы она еще раз пришла.

Андрей рассмеялся:

— Не придет.

— Нет, я хочу...

К тому времени, когда вновь позвонили, Аня приготовила все, что она скажет. Но в дверях стояла Лидия Васильевна Немировская,

— Ну как же можно не сказать, не позвонить?

— Лидия Васильевна!

— Он ведь как ребенок, Александр Леонидович. Я его спрашиваю сегодня: «Что это Медведевых не слышно?» «Ах да, мне говорили, там кто-то заболел...» Я прямо из поликлиники, только закончила прием. Дайте мне руки помыть. Он в этом отношении совершенное дитя.

Раскрасневшаяся на ветру, с растаявшим снегом на седых волосах и на усиках, она вошла и ласково улыбнулась ребенку. Ей рассказали о визите профессора. Она слушала, опустив глаза.

— Он знающий человек,— сказала она сдержанно, с присущим ей тактом.— Если хотите, я попытаюсь достать это лекарство. Но самое

последнее это всегда и самое непроверенное. Стоит ли? И потом грипп... Он ведь к нам оттуда приходит. Так что, если бы они могли лечить...

Слушая Машеньку, она по-матерински согрешившей рукой погладила ее исхудалую спину. И Аня не удержалась, расплакалась вдруг, стыдясь самой себя. Впервые за эти бессонные ночи.

— Ну что вы, Анна Ильинична, милая!

— Измучилась... И потом тут... Мелочь, но так обидно!

— Не вырастают они без болезней. Сейчас болеют, потом начнут замуж выходить... расходиться. Я вот вспоминаю теперь как золотое время...

На двенадцатый день нового года Андрей стоял с дочкой у лифта, держа в своей руке ее руку в варежке. Одета в валенки, шапку, шубку, Машенька смеялась-заливалась, вспоминая, как профессор высунул розовый язык и облизнулся.

Смеялась дочка: смешно. Смеялся отец: выздоровела дочка.

#### Глава XIV

В первое же воскресенье Аня выгнала своих мужчин за город на лыжах. Она хотела, чтоб Митя подышал воздухом. Андрей хотел поглядеть ту поляну у леса: кто знает, может, все-таки придется ему строить там.

В ночь с субботы потеплело, подул южный ветер. Влажное дыхание его осело на деревьях, на проводах, провисших под тяжестью, и утром зимнее солнце осветило сказочный мир.

В снежном величии стоял лес, весь опушенный. Как в глубину облака, въехали в него. Тихо. Глухо. Белый мягкий свет, белое мелькание перед глазами. Подныривая под снежной лапой, Митя лыжной палкой ткнул в нее и выскочил из обвала весь в снегу.

— Стой, обтряхну! — крикнул отец.

Но Митя убежал от него на лыжах, мелькал среди белых деревьев. Андрей закурил сигарету. Качалась взлетевшая вверх ветка сосны, сыпалась, искрилась в воздухе изморозь. Он догнал сына, вместе вышли на просеку.

Мимо них прошел лыжник. Шумно дыша, он работал руками и ногами, как машина рычагами. Остроконечная вязаная шапка, мохнатый широкий свитер, тонкие в натянутых шерстяных чулках ноги. И по всей просеке — и впереди и позади них — шли лыжники, все в одну сторону. Блестело солнце, слепил снег, лежали тени поперек лыжни. Высоким было небо. Впереди, замыкая просеку, оно стояло стеной. Яркими точками возникали там лыжники на гребне и исчезали, как будто сваливались за горизонт.

Попав в накатанную лыжню, как в общую струю ветра, Митя надал шаг, радостно блеснули глазенки из-за плеча. Лежавшие поперек лыжни тени вскакивали ему на спину и падали.

Как по-иному видишь мир, когда есть дети. Даже прошлое начинаешь видеть через них. И жутко станет задним числом — за них, хотя тогда и на свете их не было.

Недавно смотрели телевизор всей семьей, какую-то комедию. Машенька взобралась к нему на колени. Она не знает, какой нечаянной радостью способна одарить отца, когда вот так сама взберется на колени, пригреется... И ни с того ни с сего посреди комедии ему вдруг вспомнилось, как в сорок втором году на болоте немецкая разведка напоролась на них. «Ты чего?» — удивилась дочка. Оказывается, он прижал ее к себе и дышит в макушку. Через их жизни он и своей заново узнавал цену. Ведь это их могло не быть, их шли убить: Ми-

тю, Машеньку. И кому какое дело, что они сказали бы, придя в мир? Может, им что-то суждено сказать? Или нарочно, чтоб не смогли? Да нет, счет ведь не на единицы шел. Вслепую, на миллионы.

И как просто было! Вот эта простота все больше вспоминалась на отдалении. В Венгрии такой же солнечный день стоял, полудимный-полувесенний уже. Их наблюдательный пункт был в разбомбленном кирпичном доме. И до того надоело в каменном холоде сидеть, что они с капитаном Щеголевым вылезли в траншею, стали за выступом стены, с непривычки жмурятся на солнце. А на той стороне, тоже в развалинах, немцы пушечку выкатывают. Простым глазом видно, как там за щитом копошатся, как разворачивают ствол. Они стоят смотрят. А те выкатывают. И солнце весеннее, снег подтаивает, в глаза блестит... Как рывкнула пушка! После сами удивлялись: когда успели на дно траншеи упасть? В доме крик поднялся: «Комбата убило!» Пыль, дым, стрельба началась. А они лежат, и с перепугу даже смешно вроде. Молодые были, глупые все же.

Прошлой осенью в День артиллерии, 19 ноября, зашли они с Борисом в ресторан. На эстраде четверо парней в малиновых пиджаках с галуном, с электрогитарами на животах. От каждого электрический шнур по полу. Парни по очереди подсовываются мордашками к микрофону. Мяукнет по-английски и затрясется с электрогитарой на животе, словно его током пронзило.

Как водится, места все были заняты. Только в глубине, у колонны, один за столик сидел человек в компании с бутылкой вина и свиной отбивной на тарелке. Показалось на миг — иностранец. Даже по тому, как он отпивал вино: не пил — дегустировал. Но вообще-то теперь так, с маху не определишь. Может, из Москвы командировочный или из Ленинграда. Иностранного только костюм на нем: светлосерый, в голубую клетку-продержку. Но кто теперь заграничные костюмы не носит? «Разрешите?» — «Пожалуйста». Выговор старательный чистый. Очищенный. Из голубых глаз понимающая улыбочка: сядут или не сядут?

Сели. Взяли карту.

Выяснилось, что и предположить можно было; воевал в России, находился в плену. Тут он достал из внутреннего кармана лоснящийся кожаный бумажник, двумя пальцами вынул из него твердую визитную карточку. На матовой, имитирующей переплетенную ткань стороне сочное черное тиснение. Коммерц-директор.

За неимением визитных карточек представились так: скульптор, архитектор. «О-о!..» Снова не без удовольствия вынут был кожаный бумажник и оттуда — теперь уже с улыбкой — белыми мягкими пальцами достал глянцевую и тоже твердую фотографию. Сначала сам в нее глянул, потом им передал: «Майне фамилие».

Химически — красные маки, химически — зеленая трава, а перед двухэтажным островерхим, под черепицей домом четверо. Которая из них мать, которые дочери, разобрать трудно: все в белых шортах, все юные, все улыбаются в объектив. Вот сына сразу отличишь: рыжими кольцами волосы до плеч.

И еще машина сфотографирована на переднем плане рядом с домом: голубая на зеленой траве, свежeweмытая, блестит чистыми фарами. Моя семья, мой дом, моя машина. Тоже визитная карточка.

Коммерц-директор постукал ногтем по глянцу фотографии, по длинным волосам сына: «У вас тоже... как называется?.. дize проблем?» — «Есть и у нас».

Вот такая общность проблем. Мирных? Мировых?

Интересно, жив немец, которого Андрей отпустил во время Яско-Кишиневской операции? В тот день его контузило. Даже не контузило,



а отбросило взрывом и ударило несильно обо что-то. «Прислонило к стенке», как он после говорил. Слабый, вялый — его качало, он еле сдерживал тошноту, — Андрей заснул под дождь на промежуточном пункте связи, один в окопе.

Уже был прорван фронт, уже наши танки на флангах далеко ушли вперед. Множество немцев из разбитых частей бродило у нас в тылу. Их даже не вылавливали: некогда было, да и не сорок первый год. Шел август сорок четвертого.

Проснулся Андрей как от толчка. Входила ракета. В ее смещающемся свете над окопом наклонился человек. Он увидел над собой — на всю жизнь запомнилось — длинный, желобом козырек немецкой фуражки, светящиеся повисшие капли дождя, лицо в тени. Долгий миг смотрели они в глаза друг другу. Немец отпрянул, побежал.

Ракета подымалась в дожде. По мокрой земле, оскользаясь, расплескивая сапогами блестящие лужи, бежал от смерти солдат чужой страны. Он был ясно виден весь: спина горбом, хлястик шинели на позвоночнике.

Шел четвертый год войны. Сколько за эти годы сложнейших вопросов, на которые мудрецы ответа не нашли, решалось нажатием пальца на спусковой крючок. И уже привычно сделалось, просто.

Посадив на мушку, отчего немец вроде бы уменьшился сразу, Андрей вел за ним ствол автомата, а сам плавно нажимал спуск. Но вдруг отчего-то снял палец... Если жив тот немец, возможно, и у него сейчас свой дом, «*meine Familie*», визитные карточки.

Коммерц-директор уже ел мороженое из высокой металлической вазочки, когда им принесли закуску, бутылку «столичной». Он поднял свою рюмку на уровень глаз, они тоже налили. Выпили. А мертвые лежат в земле.

Ребята в малиновых пиджаках на эстраде забили разом во все, что звенело и гроыхало, затряслись в испуге, испустили в микрофон последний вопль. И выстроились с блещущими гитарами на животах, согласно качнули головами. Волосы накрыли лица и откинулись.

Интересно, не на их ли фронте был сосед по столу? Нет, оказалось, на другом участке. Севернее. Все же как-то приятней. Он указал на себя пальцем: «Инфантерие! Пехота!» И Борька толстым пальцем ткнул себя в грудь: «Летчик. Самолеты. Флюгцой». И Андрей представился: «Артиллерия». Был он и пехотинцем, ротой командовал, но с середины войны стал артиллеристом. Так и считал себя: артиллерист. «Ну а сын ваш, их генерация, что они знают о войне? Как относятся?» Бывший пехотинец, ныне коммерц-директор из Дюссельдорфа, улыбнулся просвещенно. Сделал жест рукой, что-то легкое отпуская от себя по ветру. И оно отлетело. «Безумие. Их генерация виль нихт... как это?..» Он искал слово. Нашел: Гитлер был безумный. Безумный... Безумие... Но скольких оно охватило! Что же люди — трава под ветром? Подуло — и они вытянулись травинка к травинке, волна за волной...

Экономические причины понятны. Политические причины — это тоже все можно понять. Но вот сыну, ребенку, который еще прост умом, как объяснить? Как объяснить, что где-то по костям людей взобралась одна сволочь наверх и миллионы идут убивать таких же, как они, которых и в глаза не видели ни разу. А теперь еще проще, даже в глаза не надо глядеть, смущать свою совесть. Кнопку только нажать...

Синие морозные тени лежали поперек просеки, и солнце блестело в накатанной лыжне...

Весь разгоревшийся, Митя скинул капюшон. Маленькие лопатки старательно двигались под курткой, уши пылали, ложбинка на шее вспотела.

Но самое страшное, когда отцы и матери шли на гибель с детьми на руках. Даже собой не могли заслонить, могли только умереть вместе.

Березы в инее казались сиреневыми в тени; слепящие стояли они на солнце. И снег был чище и белей их белой коры. А под каждой словно желтым песком посыпано: это из раскрывшихся сережек высыпались семена, начиная новый круг жизни.

Обогнали семью. Кукольная девочка лет четырех с локонами ковыляла на красных лыжах. Красный гарусный костюм такой яркий, что снег вокруг нее светился розовым. Обогнали маму. Молодая, в синих эластичных брюках в обтяжку, в снежно-голубом свитере. Стянув за помпон вязаную шапку с головы, она трясла на солнце золотистыми распавшимися волосами. Оглянулась на проходящих — глаза синие-синие. Улыбнулась ими. Людям? Или всему дню этому бездонному, полному солнца и света?

Митя бежал впереди, удаляясь. Сын, родной! Ведь это чудо из чудес, что ты есть, что ты бежишь по земле, где столько не стало. А столько не родилось и уже не родится вовек.

*(Окончание следует)*



---

---

А. Ф. ФЕДОРОВ,  
дважды Герой Советского Союза

★

## ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ ДЕЙСТВУЕТ

Новые главы

Литературная запись  
Евг. БОСНЯЦКОГО.

### ОТ АВТОРА

Годы идут. Вот уже тридцать лет, как я не партизан и не подпольщик. Недавно мне понадобилось съездить по служебным делам к себе на родину, в Днепропетровск. Проходя по проспекту Карла Маркса, я мельком глянул на свой бронзовый бюст — прижизненный памятник, воздвуженный тут в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР.

Говорю об этом исключительно потому, что впервые увидел и осознал: там, на гранитном постаменте, скульптурное изображение человека молодого. Получалось — вроде бы отец смотрит на сына... Покачивая головой, я поспешил уйти. Меня ждала жизнь — работа, новый день с крупными моментами нового опыта. Можно ли завидовать неизменяемости бронзы? Хотел бы я остаться таким, каким лепил меня скульптор двадцать пять лет назад? Ни в коем случае! Все послевоенные годы я жил, действовал в постоянном рабочем напряжении. Сперва мы восстанавливали разрушенное войной... Это не совсем правильно, простого восстановления не происходило ни в городах, ни в селах, ни на суше, ни на море, ни в воздухе. Огни лишь памятники старины — дворцы, церкви, архитектурные ансамбли, творения исторической ценности — надо было возродить, вернуть им прежний облик. Все остальное мы делали по-другому, как того требовало время и новые наши знания, новые устремления и мечты.

К слову сказать, менялось и наше отношение к прошлому. Новое, проникая в гущу давних событий, открывает подробности, которые почему-либо не замечал, не знал или неправильно понимал. Некоторые оценки приходится менять: радоваться открытию или досадовать, обнаруживая ошибки.

А почему же досадовать? Ошибки можно и нужно исправлять. Пока живешь, пусть даже старея, ты одновременно и развиваешься, а следовательно — растешь.

Четверть века назад была завершена книга моих воспоминаний — «Подпольный обком действует». Я рассказывал о событиях недавних, шел по горячему следу, торопился поделиться пережитым, набросать портреты боевых грузей — живых и героически погибших.

Все предшествующие издания выходили неизменяемыми, в первой редакции. Но ведь книга не бронзовый бюст, а живой организм, и надо пользоваться любой возможностью сделать его совершеннее. Сейчас мы с моим соавтором расширили и дополнили книгу, уточнили многие факты, даты и эпизоды, рассказали о событиях и людях, которым раньше уделено недостаточное внимание. Ведь за прошедшие четверть века мы получили тысячи писем. От партизан и подпольщиков, от читателей — советских и зарубежных. В новое издание мы постарались внести необходимые исправления и ответить на вопросы и критические замечания.

Хочу кстати тут же в предисловии ответить на вопрос, который мне многократно задавали самые разнообразные люди: что такое «литературная запись»? Мы с Евгением Григорьевичем Босняцким, имя которого стоит на первой странице каждого издания, работали над книгой совместно. Я рассказывал — он писал.

Не знаю, как работают другие — мы с Босняцким обсуждали каждую главу, обдумывали каждую характеристику того или иного действующего лица. За все, что касается исторических фактов, за все, что я увидел и запомнил, ответственность полностью лежит на мне. Никакой отсебятины Босняцкий не допустил. Это же касается и композиции книги и отбора материала. Долгая совместная работа сблизила нас, мы погружились. И хотя я не стал писателем, а Босняцкий партизаном и только воображением воссоздавал по моим устным рассказам и рассказам моих соратников картины жизни и борьбы в тылу врага — наш опыт стал общим и определил стиль повествования.

В 1947 году «Новый мир» первым опубликовал нашу книгу. Написав новый ее вариант, мы предлагаем читателям журнала познакомиться с главами-рассказами, имеющими самостоятельное значение.

## ЛИХА БЕДА НАЧАЛО

**П**осле долгих скитаний<sup>1</sup> — сперва одиноких, а потом с небольшой группой обретенных в пути друзей-товарищей — 17 ноября 1941 года я отыскал наконец в Рейментаровском лесу Холменского района областной отряд, которым командовал к тому времени Николай Никитич Попудренко.

То был очень радостный для меня день. Никогда его не забуду. Я встретился с черниговцами, со своими друзьями и соратниками, увидел, что существует, действует областной отряд и руководят им члены подпольного обкома Попудренко, Капранов, Новиков, Яременко — люди, которых я знал много лет по работе, знал как коммунистов. Ликование заслонило на первых порах все. К тому же я сбросил истрепанную в пути одежду, начхоз отряда Капранов снабдил меня отличнейшими хромовыми сапогами, выдал командирскую форму, добрый полушубок и меховую шапку с алой лентой, нашитой наискосок. Право же, хотелось, как мальчишке, заглянуть в зеркало, но большого зеркала в отряде не было, да я бы и постыдился разглядывать себя на людях. А без людей в партизанском отряде приходится бывать очень редко. Что же до этого первого утра, меня не оставляли ни на минуту: шутки, прибаутки, расспросы. Конечно, был приготовлен обильный завтрак с чаркой, за стол уселся весь актив, командиры и политработники. Замечу, что разговоры были пока отрывочными — мы как бы приглядывались друг к другу.

Как это понимать? Что до меня — я видел все больше знакомые лица близких по Черниговскому обкому людей. Да и не только по обкому. Работники разных учреждений — облисполкома, райкомов, рабочие, с которыми встречался на заводах, — все те, которых мы отобрали в свое время для партизанской деятельности... Я ведь был незадолго до того в ичнянском отряде. Там тоже не чужой народ. Попко, Горбатова и Сычова я помнил с давних пор. И все же в том маленьком районном отряде меня принимали при всем моем неказистом виде как лицо начальственное. Там я пробыл недолго, вроде бы с инспекцией. А здесь, в областном отряде, по-другому. Своя семья — друзья-товарищи.

<sup>1</sup> Им посвящена вся первая книга моих воспоминаний.

И при том, что «друзья-товарищи», да еще чарка за чаркой и тост за тостом — в душе зрело беспокойство и пока еще не сложившееся понимание неправомочности излишнего дружества. Совсем не просто в таких вот условиях вовремя установить черту и меру. Я не искал подобострастия и чинопочитания, не мог и не хотел в первый день кого бы то ни было обрывать и от себя отталкивать, но чувствовал: в какой-то момент надо начать то, что я про себя называл исключением панибратства.

Что я понимаю под этим? Нигде и никогда — ни в институтах, ни на партийных курсах, ни в совпартшколе о таком не говорилось. Помню, за пять лет до войны, когда я совершил неожиданный скачок — был секретарем сельского райкома партии, и сразу же на партконференции по рекомендации Центрального Комитета меня избрали первым секретарем Черниговского обкома, — ко мне то и дело наведывались товарищи из района, в котором я раньше работал. И близкие и дальние, но так или иначе знакомые. Вскоре я установил, что посетителей-земляков куда как больше, чем из любого другого района. Они заходили в кабинет без предупреждения и без очереди, полагая почему-то, что я обязан отдавать им предпочтение перед остальными. Поначалу мне и самому представлялось естественным преимущество недавних соратников и земляков. А каждый приезжий думал, вероятно, что он один догадался использовать давнее знакомство с вновь избранным секретарем обкома. И получилось, что я, по сути, остаюсь работником районным. Если б так продолжалось, мне — как человеку, неспособному охватить масштаб своей деятельности, — пришлось бы уйти с нового поста. Тут-то я и стал доходить до понимания необходимости того самого исключения панибратства, без которого руководителю обойтись невозможно. Кто-то говорил — зазнался Федоров, кто-то обижался, кто-то прямо в лицо бросал, что вот, мол, не прошло и месяца, а уже избегает старых друзей. Мне и самому было горько. Приходит земляк в кабинет — и сразу же лезет обниматься и лобызаться. Нередко случалось, что стремился обнять тот, кто раньше и не подумал бы проявить подобную прыть. Теперь было важно всем показать, как мы дружны и близки... Впрочем, о развязных, неспособных почувствовать грань людям говорить нечего. Хуже, когда истинный друг с недоумением замечает, что ты его ограничиваешь во времени. А что делать? Положение обязывает так распределять свое время, чтобы хватило не только на друзей, но и на всех, кому действительно необходимо изложить свое дело первому секретарю. Вот и получается, что исключать панибратство необходимо.

Сейчас мы оказались в лесу. Что с того? Пусть изменились условия — работа продолжается. Дружеские похлопывания по спине, застолье с чаркой — сколько они могут длиться?

Подняв после очередного тоста железную кружку со спиртом: во здравие партизан, я для всех неожиданно поставил ее, не коснувшись губами. И все, глядя на меня, поставили.

— Василий Логвинович, — обратился я домашним голосом к Капранову, — дай-ка свой бидончик.

Капранов не сразу меня понял, думал, что мало налил. Но, к его удивлению, я не добавки попросил, а вылил из кружки в бидон:

— Обойди всех. Пусть все выльют!

— От це добре! — воскликнул Капранов. — Экономия превыше всего!

Раздался общий неуверенный смешок. Кто-то был крайне разочарован и не преминул это показать, кто-то попытался украдкой дотянуть свой спирт, но зоркое око Капранова приостановило подобные попойзновения.

Я поднялся и сказал:

— Членов подпольного обкома прошу в штабную землянку.

Сказал и заметил: взоры обратились к Попудренко. Это продолжалось не более мгновения. Николай Никитич, хотя и для него мои слова были неожиданностью, нашелся. Он многозначительно оглядел нас всех и произнес:

— Делу время — потехе час!

Так сказал, что можно было понять: «Давно бы я распорядился, да ведь гости...» Что ж, командиром-то был он, официально мне власть не передал. Я пока еще числился в прибывших. На некоторых лицах я успел прочесть, что, может быть, и не пока. Разумеется, все понимали: первый секретарь обкома явился не для гостевания. Но ведь власть партийная и власть военная, то бишь партизанская, не одно и то же. Члены обкома знали — решением Центрального Комитета я назначен не только секретарем подпольного обкома, но и начальником областного штаба партизанского движения. Однако никто, да, признаюсь, и я сам, пока что не уяснил, что эта должность означает и какую власть дает.

Вообще мы многого еще не знали, не понимали, не успели прочувствовать.

И вот члены обкома и кое-кто из командиров пошли вслед за мной и Попудренко к штабной землянке. Я шел с Николаем Никитичем рядом, показывая, что мы с ним вместе: не только старые соратники и друзья, но и здесь, в тылу врага, действуем сообща, на равном положении. Пока — на равном.

Нуждался ли я во власти, в командирской власти, хотел ли ее? Ведь я не был военным человеком, специального образования не получил. Воинского звания не имел и Попудренко. Может сложиться впечатление, что в мыслях моих возникло предчувствие борьбы за первенство во имя самого первенства, возгорелось честолюбие и тщеславие. Могло ли быть так? Вопросы немаловажные и сложные. Касаюсь их как старый партийный работник и политически грамотный коммунист. Было бы неверно думать, что в тот момент я все это взвешивал, рассчитывал каждый жест и каждое слово. Притом я не мог не помнить, что в областном отряде отношения складывались без меня.

Одно дело с первого дня командовать отрядом, совсем другое — сместить командира и занять его место. Ведь Попудренко не был временно исполняющим обязанности. Он получил назначение обкома. Однако ж ответственность лежит на мне. Ответственность, возложенная на меня Центральным Комитетом. Ответственность за все, что происходит не только в отряде, но и во всей области, во всех ее районах, во всей партийной организации — подпольных райкомах, группах, ячейках... Существовала хоть и оккупированная врагом, но по-прежнему населенная советскими людьми Черниговская область с ее городами, селами, промышленными предприятиями, колхозами и совхозами. Я давно уже свыкся с ощущением ответственности за все, что происходило и происходит на этой громадной территории. С ответственностью за людей, их жизнь, их труд.

Может быть, сказанное, а вернее, написанное выглядит несколько напыщенно и высокопарно. Ответственность, пока она всего лишь слово, означает не много. С того же момента, когда она становится чувством, — невольно преобразуешься и внутренне и внешне.

Бытует русская пословица: «простота хуже воровства». Кое-кто воспринимает эту «мудрость» едва ли не как программу жизни. Что же до русских пословиц, да и вообще пословиц разных народов — они далеко не всегда годятся как советчики. Простота, когда она де-

ланная или когда она просто глупость, действительно опасна. Даже простота бывает позерством. Но человек от природы простой и открытый куда как приятнее народу, чем замкнутый, скрытный, важничающий, чванливый. Если же говорить о себе — Василием Теркиным я бы никогда стать не мог, но веселиться со всеми в добрый час могу и люблю. Именно — в добрый свободный час. Когда есть что праздновать, веселюсь от души. Могу спеть, но не один, а как рядовой в общем хоре. Могу и сплясать — казачка, гопака... Вернее говоря — мог. Теперь годы не те.

\* \* \*

В штабной землянке собралось человек двенадцать. Плотно окружили стол. Николаю Никитичу Попудренко предложили первому отчитаться, а вернее, просто рассказать о делах отряда и обкома.

Слушая, я невольно сравнивал его с тем Николаем Никитичем, которого знал по Чернигову. Выражение лица, манера держаться — все обличало в нем партизанского командира. Он, несомненно, гордился своим новым положением. Это и по одежде было заметно. Кожаная куртка перетянута ремнем. Через плечо — новенькая портупея, папача заломлена, как у Чапаева. Два пистолета за ремнем. Брови сдвинуты, взгляд полон решимости...

Я хорошо знал Николая Никитича. Думаю, что правильно понял и эту его склонность к внешнему параду. Человек он был очень добрый и, видимо, боялся, что бойцы легко распознают его доброту и мягкость, а эти его качества могут повредить его командирскому авторитету. Отсюда и стремление к грозному виду.

Говорил Николай Никитич с воодушевлением, тоном митингового оратора:

— Мы не имеем права скрывать от обкома, от самих себя, что надвигается зима, что запасы продовольствия и обмундирования истощаются, что уже нет табака. И мы знаем также, что против нас ополчился, окружил нас жестокий, коварный, неумолимый враг. Сейчас против наших отрядов немцы выставили полторы тысячи солдат. Завтра, быть может, бросят против нас четыре, пять тысяч. Что ж, мы гордимся этим! Каждый партизан стоит десяти фашистов! И чем больше мы отвлечем на себя сил здесь, в тылу врага, тем меньше будет их на фронте. Смелость, смелость и еще раз смелость — вот что от нас требуется, товарищи! Партизаны — мстители народные — презирают смерть. С каждым днем дерзость наших ударов будет возрастать. Полетят под откос десятки вражеских эшелонов, полетят в воздух немецкие штабы...

Кто-то из присутствующих как бы про себя сказал:

— Для этого нужна взрывчатка.

Я попросил Николая Никитича ответить на несколько вопросов. Почему передислоцировались из Гулина? Чем занимается обком? В каком положении связь, разведка? Как дела в районах?

Ответы меня не обрадовали. Передислоцировались по вполне основательным причинам: здесь, в гуще леса, легче прятаться от немцев. Но сюда перебралась только часть отряда. Кавалерийская группа осталась на прежнем месте. Называли ее кавалерийской теперь условно. Оказывается, большую часть лошадей сдали Красной Армии, когда она отходила, отступая через эти районы. Сдали потому, что оставлять сочи рискованным. Дескать, пеший и за кустом спрячется, а всадника видно издалека.

Очень плохо обстояло дело со связью. Радиостанцию зарыли на базе репкинского отряда. Радисты и их аппаратура попали в руки немцев, остался в отряде только радиоприемник.

— Продовольственные базы,— сказал Попудренко,— сохранились. На питание пока не жалуемся. Оружие тоже есть. Но со связью дела никуда не годятся. Сводки слушаем, музыки хоть отбавляй, а с фронтом и с советским тылом сообщения нет. Послали несколько групп, составленных из коммунистов и комсомольцев, с заданием перейти фронт, наладить контакт с армейским командованием. Результаты пока нет. С районами и другими отрядами связь постоянная, конная и пешая. В ближних лесах дислоцируются четыре отряда: рейментаровский, холменский, перелюбский, корюковский. Чем занимается обком? Все члены его загружены полностью отрядными делами: Яременко — комиссар, Капранов управляет хозяйством, я командую... Учтите — народ в области не знает, где мы. Даже коммунисты и то не знают. До оккупации ясное дело: областной центр — город Чернигов, исторический центр. К нему естественное политическое и экономическое тяготение. Но в Чернигове немцев полно — туда обком не посадишь. А здесь, в лесах, конечно, не экономический и не административный, а только наш, большевистский центр. Можно ли отсюда руководить всей областью, можно ли охватить своим влиянием всех коммунистов, всех комсомольцев, всех наших советских людей, нужно ли к этому стремиться? Давайте обсудим. Я, — развел руками Попудренко, — сомневаюсь.

Заметно было — не очень-то Николай Никитич верит в возможность сочетания партийной и военной, то есть партизанской работы.

У меня мелькнула мысль. Пожалуй, не очень ясная и все жестораживающая: можно ли в условиях немецко-фашистской оккупации разъединять, рассматривать в отдельности партизанскую и подпольную деятельность? Ответа на этот вопрос я и сам еще не имел. Ясно было одно: они существуют — партизаны и подпольщики. Ну, а все остальные советские люди, еще не вступившие в организацию, не сплоченные, не принявшие присяги, — можем ли мы исключить их из числа способных к борьбе, жаждущих борьбы? Пусть пока слабых и сомневающихся, но в душе преданных нашему делу?!

У Попудренко как у командира отряда, да и у других членов обкома был свой опыт. Опыт коллектива. У меня после двухмесячных скитаний и встреч с «неорганизованным» населением накопился иной, не менее важный опыт. Пока я молчал, слушал, был насторожен, но старался своей настороженности ничем не обнаруживать. Бритый, чистый, хорошо одетый, благополучный, здоровый, напряженный.

Николай Никитич продолжал:

— Наша основная задача — поддержать отсюда, из тыла, Красную Армию. Ослабить немцев, помешать им прочно обосноваться и грабить население. Мы должны ежедневно громить оккупантов на дорогах, рвать поезда и железнодорожные мосты. Небольшими, подвижными, легкими группами проверенных людей наскочивать, бить и прятаться. Мы не можем действовать крупными силами, не можем базироваться на одном месте...

В словах его чувствовалась неуверенность. Вроде бы он убеждал не только меня и весь состав подпольного обкома, но и самого себя.

В штабную землянку ворвался дежурный:

— Разрешите обратиться, товарищ командир... Разведка сообщает, что с новгород-северского направления в сторону Холмов движутся немецкие части. На машинах и конные...

Попудренко прервал заседание, вызвал командиров, отдал приказ всему боеспособному составу отряда выстроиться. Поставив раз-



ведчиков во главе колонны, Николай Никитич сам вскочил на коня и скомандовал:

— Шагом... арш! Бегом!

Нас, прибывших сегодня, на операцию не взяли. Решили дать отдохнуть. За нас решили. Скороговоркой. Как само собой разумеющееся. Да ведь и в самом деле — какие мы, уставшие с дороги, бойцы.

Что-то во внезапном уходе Попудренко было театральное, вроде бы заранее подготовленное, хотя и похожее на необходимые действия.

Много раз я обдумывал эту ситуацию. И в тот момент и позднее, возвращаясь к пережитому. Сколько бы ни думал — в конце концов приходил к выводу, что, ни о чем не спросив, ни во что не вмешавшись, поступил правильно: нельзя было обращать внимание на театральность происшедшего.

К командиру отряда явился дежурный и сообщил, что где-то там, близко ли — далеко ли, движутся немецкие части. Так они всегда движутся. Не в одном месте, так в другом. Как можно в ту же секунду определить, что именно эти части следует обстрелять, вступить с ними в бой?.. Ну да ладно. Оставшись один, я пошел прогуляться по лагерю.

Несколько землянок, пять или шесть: штабная, три жилых, госпиталь; одна землянка была еще недостроена, для нее рыли котлован. В ней предполагалось установить типографскую машину, печатать газету и листовки.

Крыши землянок поднимались чуть заметными холмиками. На них был уложен дерн, а на некоторых даже посажены кусты. Легковую машину «М-1», которой давно уже не пользовались, в целях маскировки наполовину зарыли в землю и прикрыли ветвями. С воздуха партизанский лагерь обнаружить было нелегко.

На земле же не только обнаружить — проникнуть в лагерь не составляло особого труда. В радиусе ста — ста пятидесяти метров от центра дежурили всего трое часовых.

Два плотника сколачивали настил для печатной машины. Я заговорил с ними. Потом подошли еще несколько партизан. Из их рассказов мне стало понятно, что дела в отряде далеко не благополучны.

Бойцы были недовольны, но чем? Они и сами не смогли объяснить. Попудренко им нравился, и к другим руководящим товарищам они относились с полным доверием. Только Кузнецов — начальник штаба — вызывал общее возмущение: с народом груб, а главное — в деле ничего не смыслит.

...Перечитывая написанное, я с некоторым удивлением отмечаю, что слово «бойцы» не отражало действительности. Штатские люди, добровольцы, собранные в лесу, прошедшие короткую военную подготовку. То, что они во мне не видели командира, — полбеда. Они работали с прохладцей: что-то копали, строга́ли, тесали и между делом «прорабатывали» своих командиров и руководителей. Надо бы товарищей оборвать, поставить по стойке «смирно», объяснить, что есть партизанская дисциплина, но... когда б я так поступил — конец моему авторитету: я бы перескочил через прошедший без меня этап развита́я. Бойцов еще не было, хотя каждый партизан так именовался.

Пока что пришлось и мне держаться со всеми запанибрата...

Забегая вперед, скажу: принимая за основу устав Красной Армии, мы, партизанские командиры, и в дальнейшем не могли и не хотели вводить во всей полноте уставные армейские отношения командиров и бойцов... Мы принимали устав как образец, увы, в пар-

тизанских условиях не всегда выполнимый. Подробнее я скажу об этом позже. Сейчас вернусь к нашим разговорам. Точнее, к вопросам, которые задавал и на которые получал сдержанные и сумрачные ответы. Все знали, что перед ними первый секретарь обкома. Сдержанность и сумрачность не относились ни к моей личности, ни к моему положению. Это я чувствовал. Они же чувствовали, что вопросы я задаю неспроста — улавливали мое настроение, ждали реакции. Осторожно ждали. С вопросами я не торопился, хотя они в голове роились. Я был раздражен и опасался, что эту раздраженность заметят: не годилось, чтобы вопросы могли быть поняты как допрос, как расследование.

Вот только что было сказано, что Кузнецов как начальник штаба не на месте. И вдруг люди примолкли, выжидательно поглядывали — знаю ли я, что за это время произошло. Я не знал. Однако услышав, что осоавиахимовец Кузнецов оказался в роли начальника штаба, несказанно удивился. Внешне удивления не обнаружил, но мысли неслись: как же Демченко? куда мог пропасть? почему ни Попудренко, ни кто-либо из членов подпольного обкома о нем не упомянул? Был назначенный обкомом начальник штаба областного отряда бывший заведующий военным отделом того же Черниговского обкома грамотный командир Николай Григорьевич Демченко. Где он? Что с ним? Как случилось, что его заменил Кузнецов? Событие немаловажное. Его от меня скрыли. Попудренко выступал с отчетом, с пламенной речью, а такой факт обошел. Сознательно или бессознательно?

Я слушал с острым вниманием. Тут бы и спросить о Демченко. Чего проще: вопрос — ответ. Но именно потому, что этого от меня ждали, я не спрашивал. Попудренко ничего не сказал. Вряд ли забыл. И другие руководящие товарищи помалкивали. Когда б заседание обкома не оборвалось, вопрос этот не мог не всплыть. Понятно, ждали, что сам командир обо всем доложит. О чем? Если бы начштаба погиб — помянули бы чаркой. Был бы ранен — повели бы меня к нему. Если предал — сообщили бы немедленно. Так что же, что?

Я слушал.

О Попудренко говорили восхищенно: храбрый, толковый, умный командир. Правда, перехватывает иногда, слишком уж горячий. Но справедливый и, когда нужно, добрый. А против врага так лют, что лучше и не надо. А все-таки...

Довольно долго я не мог понять, что кроется за этим уклончивым «а все-таки».

Мне рассказывали, как по пути из Гулина, когда отряд перекочевывал на новое место, решили уничтожить старосту — предателя из села Камка.

Сам староста сбежал. Его не удалось настичнуть. В сарае у него обнаружили сто седел, которые немцы оставили ему на хранение. Седла эти могли пригодиться в отрядном хозяйстве, но их сожгли. То ли из озорства, то ли от досады, что староста утек. У народа осталось впечатление несерьезности, какой-то ненужной лихости, чуть ли не хулиганства.

— Зачем зря уничтожать добро? Когда бы действительно нельзя было забрать и оно могло к немцам попасть... Неужели мы, товарищ Федоров, так и останемся без кавалерии? Будем по мелочам... Пригоскок. Там мотоцикл подорвем, там немца уьем, а там, глядишь, собаку-ищейку отравим и выпьем на радостях: ай да лихие партизаны!

Это говорил солидный, усатый дядька лет сорока. Он копал котлован. Воткнул лопату в землю, вытер руки о штаны и продолжал:

— Вот вы приглядитесь, товарищ Федоров, как мы живем, как воюем и на что надеемся. Живем на то, что есть в ямах, что зако-

пали. Даже муку возим в соседнее село. Там из нашей муки и хлеб, и лепешки, и пироги бабы с превеликим удовольствием испекут, пожалуйста. Ну а как кончится наша мука?.. У баб просить будем?

— Чего там кончится! — махнула рукой жизнерадостная повараха. — Имеется, говорят, запас... Ты, Кузьмич, сколько воевать собираешься?

Отошел, по крайней мере, отодвинулся вопрос о том, что произошло с начальником штаба Демченко. Тревога о сроках, а тем самым о поведении и тактике, о повседневной жизни, о приближающейся зиме была серьезнее. Я спрашивал — мне отвечали. Конечно, ждали, что скажу я. Но я не спешил высказываться. Как же определить срок партизанской борьбы, на что ориентировать людей? Если б в тот момент я сказал партизанам, что воевать в лесных условиях, в отрыве от фронта, во все углубляющемся тылу врага придется год, меня бы не только осмеяли — могло кончиться хуже. Уверен, что каждый назвал бы меня паникером, а пожалуй что и никудышным руководителем. Как можно допустить, что Красная Армия в самое ближайшее время не остановит фашистов, не перейдет в контрнаступление! Год! — с ума сойти. В этих вот землянках, шалашах, с ничтожным запасом продовольствия, с никудышными польскими винтовками, без налаженной связи. Секретарь обкома, депутат Верховного Совета, орденосеиц — и такое буровит... Я «буровить» не стал. Говоря же по совести — сам ни малейшего представления не имел о том, сколько в действительности нужно продержаться. Больше скажу — если бы нашелся кто-либо в партизанском отряде, объявивший, что партизанить придется три года, такого человека я бы строго наказал за малодушие и неверие в силы нашего народа, нашей армии.

Итак — продержаться. Месяц, два, полгода — во что бы то ни стало продержаться. Зима, дескать, немца сломит.

Подумав над тем, что я услышал, оценив начало доклада Попудренко, я увидел, что главная беда именно в этом «продержаться».

Но партизаны областного отряда, видимо, уже начинали понимать: даже продержаться маленькими разрозненными группками невозможно, тактика мелких, случайных, бесплановых наскоков — опасная тактика.

Как бы в подтверждение этого под утро вернулся несолоно хлебавши Попудренко. Бойцы были промокшими, злыми, смертельно усталыми.

— Немцы на машинах, а мы пешие, — с раздражением говорили они. — Куда уж нам за ними угнаться!

Попудренко и сам был недоволен. Не хотелось ему, правда, показать, что операция сорвалась потому, что задумана была неверно. Досадовал он и на себя. Выпив с огорчения спирту, улегся рядом со мной, уткнувшись лицом в угол.

Однако ж минуту спустя встряхнулся и начал.

— Эх, Алексей Федорович, — воскликнул он и не очень естественно рассмеялся, — думал, выпью, так усну! Нет, и спирт не берет... Что-то у нас не так. Что-то менять надо.

Мы говорили сперва полупшепотом, чтобы не разбудить товарищей. Но тема была столь волнующей, что мы невольно повысили голоса и вскоре заметили: нас слушают все, кто здесь лежит. А так как тут, на этих нарах, лежали впритирку все члены обкома, то само собой получилось продолжение утреннего заседания.

Не зажигая света и не поднимаясь, говорили и Капранов, и Новиков, и Днепровский; мы его кооптировали в состав обкома.

Большинство товарищей пришли к выводу о необходимости слияния всех отрядов, дислоцирующихся в Рейментаровском лесу.

Согласился с этим и Попудренко. А согласившись, не стал вилять, не такой он был человек. Не теряя времени поднялся, зажег свечу, зажег свечу и стал писать вызовы командирам всех отрядов...

Повторяю: Попудренко сам сел за стол, сам стал писать. В землянке не было Кузнецова. Нынешний начальник штаба к руководящим лицам не относился. Дикое, совершенно ненормальное положение. И по всему чувствовалось, что хоть и обсуждаем мы на этом «лежачем подпольном обкоме» серьезнейшие вопросы, что-то умалчивается. Над головой висит гири. Все ждали, что я спрошу — где начальник штаба, назначенный еще в Чернигове и заранее посланный в лес Демченко? Я не спрашивал. Обдуманно или инстинктивно? Теперь, через много лет, кажется, что хитрил. Нет — опасался ненужных осложнений.

Заметьте — и о сроках нашей дислокации в лесу на обкоме тоже пока речи не было. Что же получалось? Получалось, что рядовые партизаны в будничной беседе касались насущных вопросов, во всех отношениях более важных, чем те, которыми занимались мы — руководители, командиры.

Не совсем так. Всему свой черед. Нельзя было забывать, что и Демченко и занявший его место Кузнецов были всего лишь начальниками штаба отряда, и только. Я же — начальник штаба партизанского движения области. Отрядов много. Не думать о них нельзя. Об их обособленности, обо всем, что из этого вытекает.

Попудренко писал. Мы слышали, как скрипит его перо. Шумел лес. Шумел ветер, мелко стучал по крыше землянки дождь, капли проникали сквозь потолок.

Вот так и будем жить? Так и будем воевать?

Вопросы пустые. Дело не в том, каковы бытовые условия бойцов и командиров в военное время. Уюта в землянке быть не может. А зимой не только уют — тепла не будет. Это всякий понимал, всякий готов был терпеть. Вопрос — ради чего. Война так война. Война определяется действием, продвижением, боем. Боем продуманным и целенаправленным. Ради грядущего наступления и победы каждый сознательный гражданин способен преодолеть немалые трудности.

— Как ты думаешь: на слияние все согласятся? — спросил я, нарочно отвлекаясь от своих мыслей.

— Да они, Алексей Федорович, об этом мечтают, — ответил Попудренко.

Опробетливо ответил.

\* \* \*

Проведя ночь почти без сна, я пришел к выводу: необходимо безотлагательно поговорить с глазу на глаз с Попудренко.

Выпал снег. Обозначились партизанские тропы — от землянки к землянке, к заградительным постам, к отрядной кухне, к складам. По тропам двигались люди, и каждый останавливался не просто для приветствия, каждый хотел о чем-то поговорить, что-то спросить. В штабной же землянке уединиться вдвоем значило, что остальных надо под тем или иным предлогом отсюда попросить и тем самым обнаружить, что Попудренко и Федоров собираются вести секретный разговор, что-то решать, выяснять отношения. В мирных условиях, в обкоме, да и в любом другом партийном или советском учреждении вполне естественно, когда два должностных лица закрывают за собой дверь кабинета. Как же сделать тут, в лагере, чтобы наше уединение не вызвало излишних толков и пересудов?

— Николай Никитич, — сказал я как можно спокойнее, — прикажи-ка оседлать двух коней, пообедем с тобой посты.

Когда-то умелый наездник, я двадцать лет не садился в седло. За время, пока искал отряд, исхудал, подтянулся и все же оставался грузным. Нам подвели коней: Николаю Никитичу его буланого жеребца, а мне серого статного мерина. Беспокойного, пугливого. Он косил на меня глаз, фыркал, чувствовал, что подхожу к нему неуверенно. Те, кто тут собрался, внимательно на меня смотрели. Кто с улыбкой, а кто и проверяюще: каков, мол, этот Федоров в деле.

Хотелось, конечно, удивить народ легкостью и лихостью. Но сам я чувствовал — не получится. Вообще-то, однажды научившись плавать, кататься на велосипеде, ездить верхом — человек не утрачивает этой способности. Сперва будет чувствовать себя неуверенно, если сил мало — красиво не поедет, не поплывет, не поскачет... Да, мне было бы приятно щегольски вскочить в седло. Но мерин высок, стремяна задраны, надо бы их опустить... Вдруг меня осенило: пусть надо мной посмеются, пусть поймут, что я в самом деле хочу проверить себя, воскресить способность к верховой езде. Вот и повод к уединению. Вот и отвлекающее действие:

— Будь друг, Николай Никитич, подсади.

Попудренко с улыбкой подошел, подхватил под локоть. Я с трудом дотянулся ногой до стремени, ухватился за луку седла, подпрыгнул и тут же соскользнул на землю.

— О черт! Сто лет на коня не садился. А ну повторим!

И снова не одолев препятствия, я вызвал всеобщий смех.

— Ладно, попробую сам, — сказал я Николаю Никитичу. — Садись на своего жеребца.

На самом деле в эти две первые попытки я почувствовал: давняя армейская привычка не утратилась. Николай Никитич вскочил на своего жеребца, критически оглядывая меня. Напрягши всю волю, я взгромоздился в седло. Получилось не очень плохо. Я натянул уздечку и дал своему мерину шенкеля. Наклонившись вперед, закричал обомлевшему Попудренко:

— Догоняй!

Народ зашумел. Кто-то даже захолопал в ладоши. Я неся сперва по тропе, потом свернул на снежную целину, сделал круг, прогарцевал перед зрителями и снова ускакал в лес. На счастье, мерин был хорошо обучен и послушно подчинялся воле всадника.

Мы с Попудренко скакали сперва по просеке, миновали посты, и только потом, углубившись в густой ельник, продрались к снежной поляне, и оба как по команде остановили коней, оба как по команде спешились. Снег был неглубок. Я прошелся, смел рукавом с широкого пня порошу, сказал Николаю Никитичу:

— Садись.

— А вы? — спросил он.

— Я похожу. Ноги размять хочу. Кавалерист из меня пока липовый... А ты едешь ловко, уверенно. Сразу видать партизанского главковерха... Да ты садись, садись! Может, боишься простудиться?

— Вы будете ходить, а я сидеть? Или я посажен на пень подсушимого? — криво улыбнулся Попудренко.

Все-таки он сел. А я маячил перед его носом, думал, выбирал слова, с которых надо начать. Наконец по возможности спокойно сказал:

— Ты вот шутишь. А вчера?..

— Что вчера?

— Тоже шутил? Ну... когда отдал приказ прервать заседание обкома и построил половину отряда для выхода на операцию? Это что, как у Петра Первого, шутейное, потешное было войско?

Говорил-то я негромко, раздражения вроде бы не обнаруживал. Обвинял? Судил? У нас как-то совершенно неправомерно считается, что, если человека судят, значит, он непременно обвиняется и, по меньшей мере, совершил преступление или проступок. На самом же деле слово «суд» имеет в основе своей рассуждение, суждение и далеко не всегда стремление к доказательству вины. Судим-то мы людей за их слова и поступки везде — на работе, дома, в разговоре и в мыслях.

Попудренко я знал, и мне казалось, знал хорошо — как работника, как семьянина, как товарища. Но ведь было это давно. Ох, давно — два месяца его не видел. Два военных месяца! Люди обнаруживали с переходом на партизанское положение неожиданные качества, преображались. У многих из глубин характера вылезали на поверхность новые, никому не известные, может, им и самим неведомые черты.

На бумаге получается длинно. В жизни взгляд, поворот головы, разворот плеч, поза в мгновение показывают суть и даже обнажают скрытые мысли.

Не сомневаюсь: Попудренко догадывался, о чем пойдет речь, готовился. Оправдываться не собирался, это я понимал. Мне и в голову не приходило его унижать, ставить на место и тому подобное. Ставить на место мне надо было себя. На то место, которое определено не мною, Центральным Комитетом. Сумею ли? Впервые возникало столь серьезное самоиспытание.

Попудренко вскочил, взмахнул рукой. Нежданно-негаданно сорвал с себя шапку, хлопнул оземь. Не произнеся ни слова, я подошел к своему мерину.

— Как его зовут? — спросил я, кинув мимолетный взгляд на Попудренко.

— Вы о ком?

— Подбери-ка, друг, шапку. Ветрено. Голову продует.

— Никакого ветра не чую.

— А я чую. Может, с того самого, как ты шапку сбросил. Может, от тебя подуло. Я держусь в рамках и тебя попрошу. Надень, надень шапку и сядь.

— Коня зовут Адам, — сдерживая себя, сказал Попудренко, отряхнул шапку, натянул на голову.

— Ну, от Адама и начнем. Евы, слава тебе господи, нет. И Ев и дев — родных своих мы с тобой, на счастье, эвакуировали. Чисто мужской разговор... Ты насчет потешного войска не ответил. Я ведь тебе не в обвинение. Командуешь — и командуй. Но почему бы не объяснить? Объяснить. Суть до тебя доходит? Явился-то я сюда не на инспекцию, работать пришел. Какое я лицо — первое, второе, третье — не в этом дело. Объясни, хотя бы в порядке обучения новичка. Такая форма тебя устраивает? Когда это было, чтоб перед новичком, а может, и перед ученичком шапку оземь?! А давай-ка и я сейчас по твоему примеру брякну шапкой. Что получится, а? Нам с тобой, Николай, жить и жить, воевать и воевать.

Николай Никитич открыл было рот, набрал воздуха — не знаю, для брани или для спокойного слова. Судя по тому, как высоко поднялась его грудь, не шептать собрался.

Я поднял руку:

— Тихо, тихо! Есть деловое предложение. Тебе известно, что ЦК назначил меня первым секретарем подпольного обкома и начальником областного штаба? Командиром отряда не назначал. Командира назначил обком. Тебя назначил. И решения своего не отменял. Но решение касалось одного лишь областного отряда. Мы ж, члены

обкома, этой ночью пришли к мысли объединить отряды. Выходит дело, возникает куда как более крупная воинская часть... Сиди, сиди, не перебивай. Именно воинская часть. Пока официально не станем так именоваться, но в голове следует уложить и запомнить... Теперь дальше. Слушай, что скажу. Когда соберутся руководители отрядов, я властью первого секретаря и начальника областного штаба выдвину твою кандидатуру на новый пост командира объединенного отряда. Сам останусь во главе партийных дел. Хочешь?.. Хочешь или нет? — Я посмотрел ему в глаза. — Могу попроситься к тебе в комиссары...

Попудренко был явно ошеломлен. Запнулся. Не сказал еще ни слова, а уже запнулся. Он не мог не понимать, что я нашел для него удобную форму отступления: никто не снимает его с поста — ликвидируется прежний пост, возникает новый, гораздо более ответственный. Однако ж я этот пост предложил ему. Вот он и задумался.

В тихом безветренном лесу хрустнула ветка и что-то тяжело шлепнулось на землю. Вздрогнули лошади. Вздрогнули и мы. У меня в голове сразу же явилась мысль: «Толкую о воинской части, об уставе. А мы — два ответственных командира — выехали за пределы лагеря без охраны, не предупредив даже о том, где будем». Оказалось, что прыгала с ветки на ветку белка. Сшибла еловую шишку. Что ж, за это время у Попудренко явилась возможность подумать.

— Алексей Федорович, — произнес он со значением, — не задумываясь отвергаю! Не испытывайте меня на глупость — испытывайте на ум. Командиром объединенного отряда можете быть только вы. Власть в этих условиях как партийную, так и военную необходимо держать в одном кулаке. В крепком. Ваш авторитет...

— Заметано. С этим вопросом, будем считать, покончено. В заместители ко мне пойдешь? Комиссарить, я думаю, будет пока Яременко, потом посмотрим.

Попудренко кивнул. Вопросительно посмотрел на меня: как я до сих пор не заговорил о начальнике штаба?

— Охраны у нас нет, — проговорил я медленно, — давай двигаться к отряду, по пути я тебя послушаю.

Мы ехали, опустив повода. Попудренко говорил. И отчитывался и рассуждал. Сумел овладеть собой. Начал издали:

— Воинская часть... так, так. Знаю, что давно пора о Демченко. В связи с этим — странная штука — то и дело у меня возникает чувство, что поехали мы все автобусом из Чернигова на экскурсию... все свои, то есть знакомые, сотрудники, близкие, здешние... Вдруг авария. И мы оказались в лесу. Надолго... Какая уж тут воинская часть?! Может ли воинская часть сплошь состоять из земляков? Я не потому уклончиво и сбивчиво говорю, что чего-то боюсь, что наломал дров. — Он опять стал нервничать. — Не я один наломал... Демченко ушел. Долго просился — отпустите, отпустите. Ну я... и отпустил. Не только я — обком. Предлагали Николаю Григорьевичу всякие должности — он держался вашего приказа и назначения. Однако и начальником штаба оставаться тоже не хотел...

— С тобой не хотел? Или ты с ним не хотел? Или вы оба не могли друг друга видеть? Рассказывай подробнее. Это не допрос — я понять хочу. Что значит — отпустил или отпустили? Что значит — ушел? Вы что, ему отпускные выписали? Где мы находимся? Тут что — тыл врага или армейская часть в мирных условиях и командир отпускает своей волей красноармейца на побывку? Демченко не красноармеец, не рядовой боец — начальник штаба, бывший заведующий военным отделом областного комитета партии, человек, осведомленный обо всем и о всех. Ты знаешь, я знаю — мы оба знаем

Николая Григорьевича. Как человека, как коммуниста. Можем в него верить. А поручишься, что под пытками он не откроет все наши базы, всех наших районных и сельских подпольщиков?

— Поручусь!

— Ну, а коли так, коли ручаешься — выходит, он человек волевой, непоколебимый?.. Мне же Демченко еще известен как хороший организатор, как партийный работник и военный специалист. Можно было такого отпускать? На верную гибель?

Неволью я повысил тон, но тут же и спохватился. Вспомнил, что по пути к отряду ведь и я отпустил в Нежин комсомольца Зуссермана, потом позволил Ивану Симоненко повернуть к линии фронта. Не препятствовал его рассуждениям о несостоятельности партизанского движения... Отпустил двух боеспособных членов партийной и комсомольской Черниговской организации. Так поступил я сам. Теперь упрекаю Попудренко... Правда, и Симоненко и Зуссерман были одиночками, выдать под пытками могли только меня — в то время тоже одиночку. Тут же отряд, несколько отрядов, обком, райкомы... Доводя мысль до конца, надо признать, что рассматривать себя как одиночку я права не имел. Личная моя судьба — жизнь и смерть — имела отнюдь не второстепенное значение. Необходимо было усвоить, что любой из нас, ответственных коммунистов, свою судьбу в отрыве от народной рассматривать не имел права. Под этим углом зрения и надо было разбирать конфликт Попудренко с Демченко...

...Попудренко говорил. Я слушал и не слушал. Человек этот мне был дорог, я мог на него положиться во всех отношениях, мне были понятны и взрывчатость его характера и отчаянная храбрость; он был отходчив, умел быстро ориентироваться в любой обстановке. Но все это ерунда по сравнению с волевыми качествами, с решительностью, со способностью увлечь людей, мгновенно принять решение. Вот, к примеру, когда я спросил, что он думает о сроках нашей лесной жизни, Николай Никитич посмотрел удивленно:

— Тут нема вопросу, Олексий Федорович. — Как и большинство черниговцев, Попудренко говорил на смеси русского и украинского. Забавно, что если переходил на украинский — обращался на ты. — Який тут можно указать срок? Це не от нас зависит. Бить гитлеровцев, поки воны не драпанут, — вот тоби и усе!

А ведь он был прав. Нечего гадать — надо действовать...

И все же мы пока уходили от того, что случилось с Демченко.

— Расскажи все-таки о Николае Григорьевиче, — сухо вато напомнил я. — Что было дальше? Ты его отпустил... Отпустил — и он согласился уйти?.. Скажи прямо... Нет, давай порассуждаем. Могло ведь случиться, что Демченко, который, как тебе известно, был майором и ведал в обкоме военными делами, оказался бы на посту командира, а тебя бы мы назначили начштабом. И вот вы поругались, не сошлись характерами. Неужели и ты смог бы уйти?..

Попудренко почесал в затылке, хитро улыбнулся:

— Откровенно?.. Если до конца откровенно — разве могли мы думать, что уйдет? И я и другие товарищи рассудили: погорячился — пусть проветрится. Иначе говоря, были уверены, что погуляет, остудит голову и возвратится... Спрашивается, мог бы я так? Возненавидеть своего командира каждый способен. Значит, и я. Пусть даже не прав — от неправоты злость горючит еще больше. Но уйти? На самостоятельное, оторванное от партизан житье?.. Такой поступок иначе как антипартийным назвать нельзя. Демченко, правда, говорил, что перейдет линию фронта и отыщет Федорова. Что только Федоров может его сместить... Глупо вышло. Я виноват, а он... по-моему, виноват куда больше.



...Еще не кончился разговор. Мне стало очевидно одно — историю с Демченко правильнее всего на данном этапе забыть. Расследование ни к чему не приведет. Слушать надо обе стороны. То, что Попудренко как партизанский вожак сильнее, целеустремленнее, смелее, чем Демченко, — в этом сомневаться не приходилось...

Я сказал:

— Нам о будущем надо... И не о том, как продержаться до прихода Красной Армии, — о том, как построить боеспособный отряд. Объединенный, крупный и притом маневренный. Необходимо выработать особую партизанскую тактику, пригодную в современной войне. Нам как воздух нужен учитывающий все наши силы, планирующий орган — компетентный штаб. И начальник штаба из числа профессиональных военных командиров, накопивших боевой опыт за прошедшие месяцы войны. Я слышал, окруженцы стремятся к партизанам. Их надо принимать. И в их среде отыскать энергичного и грамотного в военном отношении, лучше всего молодого, офицера.

— Правильно! — воскликнул с восторгом в голосе Попудренко. — Есть такой. Замечательный есть парень из окруженцев. Начальник штаба батальона пехотной части, по-армейски говоря — адъютант старший. И вообще — долой местничество. Почему, действительно, мы назначили начальником штаба Кузнецова? По одному тому, что земляк, свой. Мы, черниговцы, сформировались на Черниговщине, но как военная сила мы прежде всего отряд советских людей. И в дальнейшем будем командиров взводов, рот, батальонов не по земляческим признакам назначать, а по знаниям, по военным способностям. Нет, вы оцените, Алексей Федорович: отряд советских людей!

Что ж, понять это было важно. Попудренко сделал маленькое открытие, одно из тех, которые определили впоследствии наше развитие и продвижение вперед на партизанском пути.

Нынешний читатель может сказать: ну и открытие! Ведь это само собой разумеется. Однако ж в тот изначальный период осуществление простейшей мысли Попудренко повлекло за собой серьезную ломку привычных представлений. Местническая ограниченность и тяга к областной и даже районной партизанской автономии в дальнейшем обошлась нам очень дорого.

Тогда еще было немало сторонников партизанских действий без отрыва от родных сел: выйти, подраться с оккупантами — и домой. Вроде бы сельская пожарная команда — у одного топор, у другого лестница, у третьего ведро. Прямо-таки детская наивность. А ведь это не выдумка — были такие отряды.

Вот и Демченко оказался в ситуации, близкой к той, о которой я говорю. Небезынтересно привести его собственные послевоенные высказывания. Ему повезло. Волею случая он набрал на другой отряд, где и определился. Был награжден орденом Отечественной войны I степени и партизанской медалью. Негусто, конечно, но человек себя в боях оправдал, коммунистом остался.

Уже после войны Николай Григорьевич Демченко, как и многие другие партизаны, рассказал нашим товарищам, работавшим над отчетом Черниговского подпольного обкома, о своей партизанской и партийной деятельности в тылу врага.

### Говорит Н. Г. Демченко

...Утром 1 сентября 1941 года разведка доложила: из района расположения партизанских групп Красная Армия с боями отступила. Попудренко чуть не попал в плен. Он ездил в штаб 187-й стрел-

ковой дивизии. Десантная группа фашистов окружила штаб, наши едва спаслись. На машине приехали в лес.

В отряде мы имели две грузовые автомашины: одна трехтонка «ЗИС» и одна полуторка. Кроме того, у Попудренко осталась легковая «эмка». Тачанок имелось штук десять—пятнадцать. Транспорт был способен погрузить все наше отрядное имущество...

...Когда прибыл Попудренко, он расположился отдельно. При нем — хозчасть. Чтобы не обнаружить себя, были запрещены бесцельные выстрелы. Мы даже чихали и кашляли в шапку, разговаривали вполголоса. Нервничали ужасно. Настороженность доходила до глупости. Все бойцы стремились соблюдать полную тишину. Была надежда — немцы обойдут нас стороной, останемся незамеченными. И все же нарушения были. Бывало, и командиры не выполняли собственных приказов.

Был случай, из-за которого возник у меня скандал с Попудренко. Боец Одинцов в армии не служил. Однажды, разбирая винтовку, нечаянно выстрелил. Я находился в расположении второго взвода. Попудренко приказал отобрать у Одинцова винтовку. Боец приходит ко мне. Спрашиваю:

— Почему без оружия?

Он рассказал. У меня в запасе были польские винтовки. Я ему дал новую и строго предупредил, что в дальнейшем такие случаи не останутся безнаказанными.

Когда я пришел в штаб, Попудренко зашумел:

— Какое ты имеешь право отменять приказ командира?

Я ответил, что не понимаю такой формы наказания: без оружия неопытный боец стрелять не научится.

— Стрелять было запрещено, — сказал Попудренко.

— В таком случае у тебя как у командира надо забрать автомат. Ты тоже стрелял.

В этом первом споре мы оба погорячились. Я понимал — Попудренко авторитетный, очень смелый человек, но, пока военного опыта не набрался, будет совершать ошибки. Я старался себя сдерживать, и в дальнейшем мы обходились без споров, то есть никто из нас не противопоставлял себя другому. Но мы не могли не касаться вопросов стратегии и тактики. Разговоры были горячими. Никто из нас не имел опыта партизанской войны. Пусть я служил в армии и занимался в обкоме военными делами — все равно в партизанских условиях приходилось набираться новых знаний.

...Долго находиться в Гулине было рискованно, так как все население окружающих сел знало о нашем местопребывании. Разговоры были такие, что вот, дескать, собрались сплошь коммунисты. Получалось, что в Гулине прячутся от немцев члены партии и этим надеются спастись. Перед приходом немцев мы держались вдали от населения, изолированно — такова была директива обкома: никто не должен знать, что организовался партизанский отряд. Такая мера была разумной до прихода немцев в наши места. В условиях оккупации она стала вредна. Мы с населением не общались, не проводили агитации, никого не принимали, никто ничего определенного о нас не знал. Какое уж там партизанское движение. Мы прятались, всего и всех боялись. Например, в лесу то и дело возникали какие-то фигуры. Может, немецкие разведчики? Ходят мужики с корзинами, вроде бы собирают грибы. Женщины тоже ходили. Потом стали встречаться люди в красноармейской форме. Назывались окруженцами. Кто знает, а вдруг под маркой окруженцев какие-нибудь сводочи. Трудно было понять. Военные знания на первых порах были мало-

пригодны. Приходилось вырабатывать новую тактику. Если нет линии фронта, как понять? Трудно понять...

..Решили перебазироваться в направлении Рейментаровского леса Холменского района, это правильно, в этом мы с Попудренко пришли к взаимопониманию. Не могу не признать — Попудренко мыслит как человек массовый. Он всегда имел в виду народные массы, их впечатления, настроения, чаяния. Он рассудил: если перебазиремся — это не только выбор лучшего места, это еще и повод для общения с народом.

16 сентября ночью отряд выступил из Гулина. Дождь, холод, темень непросветная. Мы заблудились. Часть бойцов на машинах, командиры на лошадях, остальные пешим строем. За ночь прошли не больше четырех километров: один взвод повернул влево, другой вправо. Еле друг друга отыскивали. На рассвете решили остановиться у лесника. Часок отдохнули и двинулись дальше. Теперь, набравшись смелости, Попудренко берет на себя все бразды правления. Пускает впереди автомашины, на которых рассаживает вооруженных бойцов. Приказывает снять с машин глушители. Если смотреть с точки зрения последующего развития партизанского движения — наши действия покажутся глупыми до безрассудства. Сперва таились, боялись хрустнуть веточкой, вдруг посчитали наилучшим производить как можно больше шума и треска. И все же должен сказать — инициативу Попудренко я целиком одобрил. Если партизаны хотят воевать, а не прятаться, они должны показать населению, что существуют и фашистов не боятся. Когда Попудренко осторожничал, он это делал вопреки своему характеру. В его натуре дерзость и шум. Он не возражал против плана и понимал, что план вырабатывается вместе со штабом. Но ему ничего не стоило все поломать. Пришла в голову идея — неужели согласовывать с начальником штаба? Тут не до того: «Ребята, за мной!»

Митинги, митинги в каждом селе. Население было поражено. Все знали — кругом немцы. Их самолеты непрерывно летают над головой. Они летают — мы стоим на крыльце хаты, говорим с народом. Это было красиво и внушительно. На всех митингах выступал Попудренко. Его лицо освещала радость, как всегда при встречах с народом. Все нас приветствовали, кричали «ура», как будто мы передовая часть наступающей Красной Армии. Машины, винтовки, пулеметы. То, что бойцы не в форме, никого не удивляло. Говорим по-русски, по-украински — значит, свои. Я не помню, назывались ли мы партизанами. Во всяком случае, не тащили за собой никого, не только не мобилизовывали, но даже не агитировали присоединяться: действовала старая установка — держаться секретно. Но какие уж тут секреты: шумим, кричим, стреляем.

Когда останавливались в селах, бабы и молодичи несли нам молоко в кринках, хлеб, сало. В хаты не зазывали. Непонятным для меня образом население догадывалось, что мы идем из леса в лес — перепрыгиваемся. Хоть мы и были вооружены, нас жалели. Смесь жалости и восторга, уважения и грусти.

Позднее наша разведка установила: по окружающим селам пошла молва — движется Красная Армия с пушками и танками. Одно другому противоречило. Но без этого не бывает. Чуть в сторону — все искажается, глас народный превращает небольшую группу партизан в огромное войско. Правда, наши машины без глушителей ревели громче танков, а походную кухню можно было принять за артиллерийское орудие. Что народу чудилось — то в народе и говорилось.

Отряд остановился в Жуклянских дачах, близ села Ченчики Холменского района, откуда 19 сентября, поругавшись с Попудренко, я ушел.

Я считал и считаю, что Попудренко был смелым, умным и решительным командиром, но слишком много на себя брал. Ни с кем не хотел советоваться, менял решения по собственной прихоти. Он полагался на счастье, на удачливость. На личную свою удачливость и безудержную смелость. Этим принципом он руководствовался всегда — командуя группой, взводом, растянувшейся партизанской колонной... Видит, что можно совершить удар, и сразу же входит в бой. Из-за этого-то мы с ним и не ладили. Не он меня поставил начальником штаба. Я понимал свое значение и требовал, чтобы командир со мной считался, тем более что в отряде не было комиссара.

Мы спорили до хрипоты, спорили принародно — это было вредно всем, не только нам, командирам. Бойцы смотрели и слушали. Я не мог такого терпеть. Попудренко человек горячий, а меня считал расчетливым. В чем моя расчетливость? Я хотел, чтобы разработанные совместно планы выполнялись, а если что-либо выгодно поворачивается для боя — надо согласовать. Нельзя командиру с небольшой группой уходить в сторону, отрываться от общей массы. Он не собой рискует, не только собой — всем отрядом.

Конкретный пример. Операция в Камке.

Я двинулся с первым взводом впереди. Мы Камку миновали, я не мог знать, что командир принял решение провести в этом селе операцию. Как вдруг в тылу нашего взвода завязывается бой: услышав стрельбу, мы вынуждены были повернуть назад. Это не шутка — повернуть уставшую колонну, знающую, что маршрут определен. Все-таки мы вернулись. Выяснилось, что была не боевая операция, а преследование ничтожной группы немцев и их пособников.

Сам по себе эпизод большого значения не имел. Вопрос принципа: нельзя без достаточных оснований отказываться от согласованного плана. Попудренко категорически заявил, что как командир отряда является единоначальником, и, если считает нужным, будет и впредь действовать по обстановке. В ответ я сказал, что как начальник штаба должен в подобных обстоятельствах сложить с себя свои полномочия.

Спорили, спорили, к окончательному решению не пришли.

Бывало, Попудренко с несколькими товарищами садился в машину и уезжал. Куда именно — никому не говорил. Однажды уселся в «эмку». Только его и видели. Пропадал до вечера. Я оказался перед фактом: командира нет и где он — неизвестно. Возвращается и говорит:

— Мы решили рискнуть и объехать в райцентре, в Корюковке. Пусть население видит, что мы способны к смелым поступкам.

Я спрашиваю:

— Как же так? Вдруг нагрянут фашисты, а командира нет. Нельзя сумасбродствовать и бросать людей ради одного того, чтобы показать свою удаль.

Попудренко как закричит:

— Ты меня обзываешь сумасбродом?

— Да, тебя!

— Командир ни у кого спрашиваться не обязан.

— Ставить в известность обязан.

Было еще много случаев, когда решения принимались без моего участия. Дело не в личности, не в личных обидах. Игнорировать штаб — значит, поощрять анархию... Нельзя было не учитывать еще и того, что областной отряд в основном был укомплектован из жителей Чернигова. Большинство не знало местности. Это понятно — го-

рожане. Привлекать на помощь людей из окружающих сел мы не решились. Это осложняло разведку, каждый раз возникал чрезмерный риск. Я настаивал на приеме в отряд сельских активистов. Но вопрос оттягивался. А штаб без разведки — ничто. Вот еще одна причина, по которой я просил отставки.

Упомяну эпизод, который разыгрался из-за стрельбы. Однажды в расположении штаба раздается несколько очередей из автомата. Второй взвод, где я находился, развертывается в полную боевую, в ружье, и по моей команде «бегом марш» мчится во весь опор к штабу. Все взволнованы до крайнего предела: противник в расположении командования.

Подбегаем, и что же выясняется: Попудренко стрелял из автомата по немецкой каске. Вместо того чтобы признать ошибочность своего поступка, Попудренко сперва сказал, что проверял боеспособность отряда, потом стал говорить, что испытывал сопротивление немецкой каски — крепкий ли металл. Политрук 2-го взвода Майстренко разнервничался до невозможности:

— Я тоже могу стрелять! — И бабахнул из винтовки в дерево.

Я ему сказал, что он должен поддерживать авторитет командира. Тогда Майстренко бросил оружие и, презрительно глянув на меня, ушел.

Кончилась наша распря тем, что Попудренко меня с должности начштаба снял приказом. Я просил: отпустите меня, пойду в Бобровицкий или в Носовский район. Знаю местность, знаю население, знаю, что там существуют партизанские отряды.

В Гудине и в Рейментаровке скопился руководящий состав области, начальственные лица, секретари обкома. Слишком много ответственных работников. Я хотел перейти в отряд, где состав бойцов, как и в армии, не состоит наполовину из руководителей.

Мы ждали Федорова, но сведений о нем не было. Кто-то даже распространил слух, что первому секретарю обкома и председателю облисполкома приказано эвакуироваться в советский тыл. В то время мы не имели точных данных и были уверены, что фронт проходит по Десне, что за Десной территория области не оккупирована. Если так — Федоров наверняка там. Я предложил:

— Пошлите меня через фронт, я найду Федорова. Он мне даст указания по всем назревшим вопросам. Если Федорова не найду — отправлюсь в Носовский район, вступаю в местный отряд.

Я упорно отказывался от любой должности в областном отряде. В конце концов Попудренко махнул рукой. 19 сентября распрощались. Он предложил мне взять документ-липу, что я гоня овец. Говорю:

— Плюнь на это дело, на что мне твоя липа!

Попудренко все-таки дал задание — передавать всем отрядам директиву обкома о переходе к активным формам борьбы...

...Когда я уже ушел из штаба, встретился с Громенко. Он тогда командовал взводом. Спрашивает, почему я грустный, куда иду. Я ответил, что послан для связи с другими отрядами и с Федоровым.

— Врешь! — сказал Громенко. — Тебя выжили.

Я с этим согласиться не мог. Меня не выжили, просили остаться, предлагали командовать взводом — я отказался. Хотел уйти и своего добился. Если бы в армии — я бы мог обжаловать действия непосредственного командира в высшую инстанцию. Говорю Громенко:

— Будь бы здесь Федоров — он бы мне приказал, и все. Не стал бы упрашивать Федорова я бы послушался...

...Так я разошелся с областным отрядом. Позднее пожалел о своей строптивости. С невероятными трудностями добрался до Носовского района и нашел Стратилата. Отряд был слабенький, вооружен плохо, людей всего шестьдесят девять человек. Настроение ужасное. Шевчук, председатель Носовского райисполкома, высказывался в таком роде: «Бессмысленно вести борьбу, фашисты нас разобьют, надо ждать, пока Красная Армия подойдет ближе, а сейчас прятаться, сохраняться. Нас ЦК обвинит, что мы, выступая со своими ничтожными силами против вооруженного до зубов противника, погубили кадры активистов. Нам нужно сохранять кадры...»

...Все-таки Стратилат, как волевой большевик и настоящий командир, сумел поднять боевой дух отряда. Мы провели несколько операций против полицаев и добились первых успехов. Немцы бросали против нас облаву за облавой. Зимой 1941/42 года отряд не рос, а уменьшался. Пошли группу в разведку, а она не возвращается. Может быть, люди уходили, может быть, гибли. Скорей всего и так бывало и этак... Одеты мы были скверно. На мне, в частности, кирзовые сапоги и пиджак. Пока жили в землянках, еще терпимо. 7 января 1942 года среди бела дня немцы бросили против нас облаву силой до четырехсот человек, завязалась перестрелка. Мы убили замначальника полиции города Нежина; еще нескольких полицаев убили. В результате должны были оставить лагерь, все свои запасы. Лагерь наш сожгли, преследовали пять суток. Мы шли по пояс в снегу. У меня поднялась температура...

...Мы со Стратилатом договорились так: я пойду в Бобровицы, где живут у меня родственники. Отряд разбился на несколько групп, я ушел один — добрался до дома сестры. Сестра меня уложила на чердаке. Четыре месяца я проболел и чуть не ослеп из-за полной темноты...

\* \* \*

Из рассказа, записанного со слов Демченко, тут приведены лишь отрывки. Весной, оправившись от болезни, он сумел связаться со Стратилатом. В Носовском районе вновь зародился партизанский отряд и стал быстро набирать силу — вырос до тысячи с лишним бойцов... Не стану здесь касаться истории носовского отряда, его успехов и неудач. Я привел те места из рассказа Демченко, которые способны хоть в какой-то мере объяснить его конфликт с Попудренко.

Природа конфликта, как это вытекает из рассказа Демченко, принципиальной основы не имеет — так, по крайней мере, кажется. Разные темпераменты, нетерпимость как одного, так и другого, обидчивость начальника штаба и безапелляционность командира отряда... Неужели в этом все дело?

Демченко рассказывает после войны, после гибели Попудренко, ставшего к тому времени общепризнанным народным героем, рассказывает сдержанно, старается ничем не оскорбить памяти Николая Никитича. Вот только не замечаю я ни слова самокритики, ни малейшей попытки дать серьезный анализ военно-политического и тактического состояния партизанских дел того времени. Нет в его рассказе-жалобе даже намека на план дальнейших действий. И создается впечатление, что Демченко... оправдывается. Никаких тактических идей, никаких предложений. Попудренко, как видно со слов самого Демченко, с неистовой страстью рвался в бой, ошибался, бывал и груб и несправедлив, но знал твердо: пока отряд только прячется и скрывается от народа — он не военная сила, не боевое подразделение. Молодого командира бесила медлительность, вялость, неуверенность, отсутствие ясной перспективы. Но, конечно же, не будучи военным

специалистом, он нуждался в крепком, думающем, способном создать план партизанского наступления начальнике штаба.

Что и говорить — трудна была задача: в условиях окружения, в глубоком тылу врага план наступления фронтальным быть не может. Даже само слово «наступление» вроде бы не подходит. Наскочить и спрятаться — только это и могли партизаны. Но план, план — так продумать и организовать набеги и наскоки, чтобы разжечь бойцов, поднять их дух, вызвать в окружающих селах и местечках чувство восторга перед лесными воинами, желание примкнуть к ним...

Впрочем, об этом потом. Природа партизанского наступления стала нам понятна, увы, не сразу.

Вспомните образный рассказ Попудренко, каким он видел состояние областного отряда, сравнение с экскурсией в автобусе, в котором все пассажиры знакомы и близки. Николай Никитич спрашивал меня, боеспособна ли такая группа и можно ли создать из нее воинскую часть... Да, нам в первое время очень даже мешало то, что многие бойцы и командиры не только между собой связаны предвоенными должностными отношениями, но еще и в ближайших селах имеют друзей-товарищей, а главное — семьи, родственников. Конечно, хорошо, что партизаны знают местность. Но если в этой местности — в том или ином селе — живут родственники, если налет на село для родных опасен — как тут быть? Как не волноваться за их судьбы? Уж не побежать ли и заранее предупредить?

Случалось и такое — бегали.

Интересно отметить: только после войны я узнал, что семья Демченко жила неподалеку от расположения отряда, в Бобровице. Ушел бы он, не имея надежды укрыться у родных? Вряд ли... Касаюсь этого отнюдь не для того, чтобы уличить бывшего начальника штаба в скрытности и неискренности. Тем более смешно предоставить себе, что он побежал бы предупредить семью о предстоящем налете. Налет не проектировался. Демченко пошел не к родным, а в другой отряд, но, как мы уже видели, дома «побывал».

Жаль, очень жаль, что в дни становления отряда я не мог сказать некоторым слишком самонадеянным товарищам, особенно тем, кто ратовал за узкое землячество, за доверие только родственникам и друзьям и в крайнем случае хорошо знакомым: вот смотрите, чему учит пример Демченко, к чему ведет капризность, местничество, самоизоляция. Сказать не мог, потому как и сам не знал, но предвидеть был обязан. Этому учила меня партия.

## РАБОЧИЙ ЧЕЛОВЕК

Я уже говорил, что, прибыв в областной отряд, застал там дух уныния, разброда, а главное — неуверенности в завтрашнем дне. Однако ж в лесу строили землянки — готовились к зиме, собирались наладить типографию — печатать листовки и даже газету... То был план, задуманный еще до прихода в эти места оккупантов, и люди действовали как бы по инерции, без ощутимой уверенности, что именно здесь возникнет центр политический и партийный, способный охватить своим влиянием не только ближние, но и дальние районы области.

Уныние... Самоизоляция, отсутствие связи, плохая информированность — вот что питало такие настроения. И конечно же, в первую очередь бесконечные споры руководителей, споры и даже ссоры, о которых в предыдущем рассказе говорилось достаточно.

Между тем повседневная жизнь, рабочие будни, строевые учения и необходимость как-то устроиться: где-то спать, что-то готовить,

как-то оборудовать блиндажи и землянки — все это требовало и времени и рабочего напряжения.

Самообслуживание? Да, самообслуживание в лесу, в непривычных условиях,—дело не простое. Но ведь не для этого мы здесь собрались. Вот почему я сразу же отметил тех, кто с первых же дней был озабочен не только собиранием хвороста, продовольственным снабжением, выпечкой хлеба и так далее, но всегда и неустанно стремился любое дело рассматривать как часть боевой подготовки и усиления нашей вооруженности. Вооруженности не для обороны — для наступления.

Был у нас такой человек — незаметный, скромный... Не помню, чтобы он хоть когда-нибудь разводил мерехлюндию, плакался, паниковал. Видел его всегда готовым к действиям. Нет — всегда в работе. Он и печи выкладывал, и крыл землянки, и ремонтировал подобранное оружие любого образца — немецкие минометы, автоматы, даже пытался привести в порядок сорокапятимиллиметровое орудие — починить его колеса.

Речь идет о Григории Ивановиче Горобце — человеке уже немолодом, лет сорока восьми — пятидесяти, точно не помню. Был он до войны директором Черниговских судоремонтных мастерских, хозяйственником с немалым стажем. Получается, что следует его отнести к работникам умственного труда, по анкетной графе — служащим. Однако ж и внешним своим обликом, и манерой говорить, и, что самое главное, неистощимой рабочей энергией, ремесленной хваткой, истинной любовью к физическому труду он виделся нам всем бригадиром, заводским мастером, способным научить и увлечь тех, кто попадал под его начало. Плотный, седоватый, но... не дай бог назвать его стариком. Сердился, в бутылку лез. Были у него и какие-то хвори. Быстро утомлялся. Но посидит с минуту — и опять, смотришь, пошли в ход топор, стамеска, мастерок. В последующих боях он был прилежен. Именно так — старался не отставать от молодых, стрелял старательно, маскировался основательно: окопчик выроет себе и товарищу надежный. Какому товарищу? Да любому партизану. Кричит, бывало, тому, кто ползет к позиции по-пластунски: «Миша-Гриша, давай сюда, вместе веселей!»

Наблюдая боевую жизнь Горобца, я не раз приходил к мысли: такие люди — это ж и есть цвет рабочего класса. Но ведь вот штука — руководящий товарищ обкомовской номенклатуры... Я и сам обозначен в паспорте как служащий. Хотя предпочел бы называться рабочим. Впрочем, суть не в названии, суть в душе.

Кстати, Григорий Иванович обладал способностью хорошего рассказчика, умел увлечь слушателей, часто голос его был слышен у партизанского костра. Вот что он сам рассказал с наступлением мирных дней о времени и о себе.

Рассказ его — обо всем понемножку. Касается он и начального периода — момента становления отряда. Но как же не похоже это начало на воспоминания бывшего начальника штаба Демченко! Вроде бы речь идет о разных отрядах, о других людях.

### Говорит Г. И. Горобец

В августе 1941 года, задолго до оккупации Черниговщины, меня вызвал к себе работник обкома Демченко:

— Желаете ли вы быть включенным в состав партизанского отряда?

— Конечно, желаю!



Я это сказал от всей души, хотя по возрасту и недостаточному здоровью от воинской обязанности был освобожден. Но тут меня призывала партия и я не считал возможным отказываться.

Мы стали «партизанить», когда еще не кончилось лето. Тепло, природа вся живая; дожди и то редко беспокоили.

Принялись за учебу, торопливо изучали военную технику: пистолеты, винтовки, пулеметы, гранаты. Большинство было необученных. Не знали военного дела. Так получилось еще и потому, что военкоматы неохотно отпускали в отряд обученных бойцов, а тем более командиров запаса: не очень-то верили, что в современной войне партизаны смогут наносить врагу ощутимые удары. Я от многих командиров слышал, что наша затея кончится пшиком. Жалели нас: идете, мол, на верную гибель.

Однако областной отряд был создан.

Было решено, что в первую очередь надо нас познакомить с иностранным оружием. Считалось, что будем вооружаться за счет врага. Потому-то нам и дали польские винтовки: к ним подходили немецкие патроны. Вот только, на беду, немецкое оружие толком не знали даже те, кто нас учил.

Ладно, проходим приемы стрельбы, тактику боя в лесу, поднимаемся по ночам в «атаки», пытаемся изобразить окружение: что-то вроде маневров. Сделали макет танка с деревянными колесами. Как плотник и механик я тоже участвовал в сооружении этой игрушки. Наполнили пивные бутылки горючей смесью — швыряли в так называемый танк...

Хоть и был я немолод, но раньше даже из охотничьего ружья и малокалиберной винтовки стрелять не приходилось. Сколько до войны зазывали пострелять в тире — я уклонялся. Теперь мы старательно учились и вскоре «прекрасно» овладели техникой вооружения... так нам казалось. Появились среди нас пулеметчики, разведчики, минометчики: миномет достали. Что значит достали? Мимо нас проходили отступающие красноармейские части, в одной роте мы выпросили миномет с тремя минами. Отходя, наша армия бросала поврежденные пушки, закапывала снаряды. Партизаны их позднее откапывали. Снаряды нам были нужны, хотя пушек еще не имели: научились выплавлять из авиабомб и артснарядов тол для подрыва автомашин и воинских эшелонов противника.

А пока мы еще были горе-партизанами. Помню случай. Ночь, все спят. На часах стоял боец Шайнюк. Услышал шорох. В лесу, если что шевельнется в валежнике, да еще в ночной тиши, сразу настораживаешься.

Шайнюку что-то померещилось, и он закричал:

— Кто там? Стрелять буду!

И выстрелил. А стрелять запрещалось. Если выстрел — значит, противник: мы ждали, что со дня на день могут нагрянуть фашисты. Вполне возможно, выбросят десант.

После выстрела все повскакали. Раздалась команда:

— В ружье!

То место, где Шайнюк услышал шорох, окружили два взвода. Цепь сжимается, сжимается, кольцо становится все меньше. Посмотрели, а под кустом убитый ежик с опавшими листьями на иголках. Все хохочут, а Шайнюк стоит гордый:

— У меня прицельность высшего класса!

Бедный ежик остался в памяти на все годы партизанской жизни. Над Шайнюком то и дело посмеивались:

— Ну как у тебя с прицельностью? Поймать тебе ежика? Попадешь?

Шайнюк сильно обижался. Тем более снайпера из него не получилось.

...В начале сентября холодным пасмурным днем я стоял вместе с часовым на заставе. Задача — наблюдать за всем, что происходит. Кто-то бежит и кричит:

— Остановитесь! Остановитесь!

Это был наш взводный. Кричал трем бойцам, которые бежали впереди. Мы все залегли: на дороге появились первые немецкие мотоциклисты. Пришлось отойти. Весь отряд отошел на время, пока пройдет армия. Шли сотни танков, артиллерия, вездеходы, пехота на специальных машинах. Наши разведчики наблюдали за дорогами. Когда доложили руководству отряда, а руководство — нам, слушали молча, переглядывались, мороз пробежал по коже. Нас в этом лесу меньше двухсот человек, других отрядов мы не знали, им тоже не было известно о нашем существовании. Едва ли не каждый думал: жить осталось день-два, хорошо — неделю. Но как-то раз в тучах проглянуло солнышко. Я говорю бойцу Ракитному:

— Это солнышко наше, партизанское.

Он пожал плечами и тяжело вздохнул.

Когда б собрать всенародные вздохи того времени — какой бы поднялся ветер!

...Свой первый боевой эпизод я пережил в октябре. Пошли в разведку группой, командовал Калиновский. Идем, покуриваем. Вдруг Калиновский шепчет:

— Ложитесь, ложитесь!

Я чуть не кричу:

— Чего ложиться, сделали всего двадцать шагов!

Мы еще не научились мгновенно выполнять приказ, задавали вопросы, вслух удивлялись.

Оказывается, Калиновский заметил мотоцикл с коляской. Он ехал по сухому руслу речки, вдруг выскочил на возвышение. В коляске сидел офицер, может и сержант — фашистских знаков различия мы еще не изучали. Этих фрицев было решено пугнуть. Я выстрелил по солдату-водителю. Он согнулся, свалился, поднял крик, мотоцикл пошел сам. Офицер выскочил, побежал, но и его настигли наши пули. Как сейчас помню первые свои трофеи. В коляске мы нашли немецкий автомат, русский револьвер-наган, три немецкие винтовки, два котелка, две фляги, две буханки хлеба, три свиные головы. Может, эти фрицы студень собирались варить? Мы посмеялись. Свиные головы бросили. Тогда еще были сытые, запасов хватало. Потом вспоминали свою глупость, партизанское младенчество. Даже мотоцикл не облили бензином и не подожгли...

...Однако и потом, в зрелые партизанские годы, случались и глупости и досадные промахи. Вот что стряслось со мной лично зимой 1942 года на границе Орловской области.

Отряд перебазировался, скрываясь от преследования немцев. Мы двигались длинным обозом — саней что-то около семидесяти. Я на своих санях один с большой поклажей, крытой брезентом. Снег, пурга. Тулупом накрылся, еду. Проеду немного, тулуп приоткрою, оглянусь, опять еду. Ехал, ехал — заснул. Просыпаюсь: вот чудо — был посреди обоза, остался один. Что случилось, не соображу. Поднялся, посмотрел, тут как раз луна выступила из облаков — ни впереди, ни позади никого нет. Лошадь ушла с дороги. Хорошо хоть снегу мало. Обстановки не знаю. Проехал километра два по бездорожью, по лесным полянкам, напряг зрение — впереди что-то вырисовывается. Ага, вот где наши. Я, конечно, обрадовался. Выходит, спрямил путь, выходит, повезло.

Когда едет большой обоз, между санями всегда возникают разрывы. Я как ни в чем не бывало вскакиваю в разрыв: хорошо, из командиров никто не заметил моего долгого отсутствия. Сажу под тулупом — радуюсь. Согрелся, ни на что не обращаю внимания. Минут через сорок выглянул — что такое, уж очень обоз длинный — не видно конца ни спереди, ни сзади. Присмотрелся: прямо передо мной сидит на подводе фриц. Закутанный, завязанный, не то на нем ковер, не то одеяло. На голове поверх шапки платок, обмотал вокруг шеи. Назад гляжу — и там в подводе замотанный, чуть только не запеленатый фриц.

Вот те раз! Какие могут быть подводы? У партизан сани. Значит, я сплю и это мой сон. Если бы! Протираю глаза: я в немецкой колонне еду.

У меня в санях автомат, у меня под брезентом поклажа, на мне партизанская одежда, шапка с красной ленточкой — в полном боевом.

Надо принимать меры. Мысленно простился со всеми: с боевыми друзьями-товарищами, с женой, с детками и внуками. Даю им, самым моим дорогим, клятву, что даром с жизнью не прощусь, кое-кого пришибу. А для этого что надо? Надо собрать вокруг себя побольше врагов — не одного же расстреливать из автомата... Но и жить хочется. Голова работает, как паровая молотилка, я даже вспотел от мыслей. И что же я придумал? Во-первых, понял, что эти фрицы замерзали, ни на что не смотрят, знай себе кутаются. Иначе они давно бы заметили, что среди них какой-то чужой на санях. Во-вторых, кое-что сообразил: решаюсь на отчаянный шаг. Сбросил вожжи — они потащились по снегу, по колее, попали под санный полоз. Лошадка у меня сильная, бежала шустро, почувствовала сопротивление, дернула — сани перевернулись, меня вывалило в снег. А я с автоматом: сейчас начну бой... Обошлось без боя. Я стою возле опрокинутых саней, лошадка моя фыркает, умная лошадка, нисколько не заметно, чтобы нервничала, я нервничал больше.

Однако фрицы на меня ноль внимания. Объезжают один за другим, будто так и надо. Колеса, полозья — им это неинтересно, лишь бы поскорей добраться до места назначения, погреться, выпить. Но позднее оказалось не так-то просто... Пока что я улегся, стараюсь побольше заметить. Солдаты едут, едут. Плохо им на колесах, перевернуться ничего не стоит. Интересно: что же это за народ, если видят, что один из них свалился, и не оказывают помощи? Неужели такой приказ? А может, перемерзли до бесчувствия? Ладно, смотрю, считаю. Вижу — пушки тянут, пулеметы. Догадываюсь, что какая-то часть ехала к фронту, а ее повернули против партизан, в непривычные лесные условия.

Когда возник разрыв в немецкой колонне, я скорей, скорей напряг все свои силы, перевернул возок, поставил на полозья, вскочил, еду. Вдруг вижу — с правой стороны дорога, по которой мы уже ехали: выходит дело, я с немцами сделал большой крюк, может, даже двинулся в обратном направлении. Вот я припустил по этой дороге. Думаю: стрелять будут — начну отстреливаться. Лошадь у меня хорошая — партизаны плохих лошадей не держали... Что же вы думаете — нагнал свой обоз. Ребята подскочили:

— Неужто вы, Григорий Иванович? Откуда? Вас нет — выстрелов не слышно. Мы так горевали — Горобец в плен сдался.

Говорю:

— За такое подозрение морду бьют. Когда это партизан сдавался без боя? Могут взять только тяжело раненного, бесчувственного.

Кто-то сказал:

— А если сонный? Это ведь тоже бесчувственный.

Я отмахнулся:

— Лучше расскажите, куда вы все подевались — оставили одного.

Что же оказалось в действительности? Весь наш обоз невольно соединился с немецкой колонной — въехал в большой разрыв. Верховой немецкий офицер подъехал к первому возку:

— Вер зинд зи? (Кто вы такие?)

Наши догадались ответить:

— Полиция, полиция!

Ехали неопытные немцы, легко поверили: если такой большой обоз, разве может быть, что это партизаны? К тому же дежурный верховой офицер от стужи посинел, не хотел выпрастывать руки из рукавиц — документов не спросил. Фашисты тоже не всегда были бдительными. Этот дежурный поскакал вдоль своей колонны, передал, что в саях полиция. Так наши и поехали вместе с фашистами. А я пока спал, моя лошадка шла медленно, меня все объезжали. Потом наш обоз свернул на поперечную дорогу. Немцы, видно, решили, что у полиции свое задание, свой маршрут, — нисколько не удивились... Потом и я свернул — свой обоз нашел. Стало понятным, почему никто из карателей не обратил внимания на перевернутые сани: охота им помогать какому-то полицаяу.

Когда приехали в лагерь, меня вызывают к Федорову. Он грозно спрашивает:

— Что такое, а, Горобец? Считался отличным бойцом... Да не трусь ты, докладывай.

А я вовсе не трусился, просто замерз. Рассказывал подробно — Федоров смеялся. Он всегда так: наорет, а когда объяснишь, переходит к доброй улыбке или к смеху.

Посмеялся и говорит:

— Признайся — спал?

— Нет, я нарочно задержался и перевернулся: пропускал мимо себя всю немецкую колонну, пересчитывал все их вооружение.

— Значит, ты герой и тебя надо представлять к награде?

— Не герой, но воспользовался обстоятельствами.

— Какая в колонне была численность? Какое вооружение? Почему ты решил, что новички?

Я докладываю:

— Судя по длине колонны — тысячи три с половиной: обозу не было видно конца ни с той, ни с другой стороны. Вооружение — легкие пушки, до десятка; пулеметы, минометы... А то, что новички, было видно...

Я запнулся, Федоров меня перебил:

— Видно, видно... Уж очень ты глазастый. А принял во внимание наши сани, которые были в той же колонне?

Я этого вопроса не ожидал. Как я мог принять во внимание, если все на свете проспал. Стою под общим хохот, пытаюсь придумать ответ. Когда затих смех, говорю:

— Так ведь наши были в то время полицией, почему же их не считать?!

Мой ответ всем понравился, и я вышел победителем.

Потом выяснилось, что считали многие — не я один. Мнения почти совпадали. Между прочим, наш переводчик, который тоже представился полицаем, вызнал, что на партизанский лагерь готовится наступление в пять утра. Федоров тут же отдал приказ, и мы напали на них часом раньше. Фрицы еще грелись у костров, завтракали, чистили оружие. Мы им нанесли крупное поражение.

..Меня назначили старшиной при госпитале. Как плотник и механик я руководил постройкой обширной землянки в Елинском лесу. Траншею в мороз рыть очень тяжело, дело идет медленно. Тогда мы вошли в полупустое село, выбрали бревенчатую избу-пятистенку, всю ее разобрали и вывезли в лес. Знатный получился госпиталь. Печь выложили... Приходит Федоров:

— Разбирайте.

— Что такое?

— Избу привезли — это хорошо. Теперь ройте котлован, опускайте все строение, маскируйте крышу ветками.

Обидно было, но принялись переделывать. Командир был прав.

Только закончили, тут как раз бой — наши нарвались в Ивановке на крупную вражескую заставу. Мы одних только раненых подобрали двадцать два человека.

На мне лежала забота организовать санитарный обоз: лошадей, подводы, питание, возчиков. Я подбирал людей из всех взводов, каждый командир со мной спорил — не хотел отдавать бойцов. Я взводных отсылал к Федорову или Дружинину, после чего сопротивление прекращалось. Из этих собранных мною людей пришлось для начала составить боевую группу для добычи трофейных медикаментов. Бойцов инструктировал фельдшер Емельянов: что именно, какие лекарства, какие инструменты нужнее всего. Мы действовали мирно, потихоньку пробирались к фельдшерам в занятых противником селах. Фельдшеры — украинцы, русские. Они тряслись от страха, но в душе были патриотами. Трусливых патриотов существовало больше чем достаточно. Трусливые патриоты — очень серьезное явление. Среди них активных предателей почти не встречалось: доносить не бежали.

Только было обидно, когда такой сельский фельдшер, отбирая медикаменты для партизан, дрожал всем корпусом — у него из рук валялись пузырьки, ампулы: огромный получался урон. Мы стали просить: пожалуйста, сидите спокойно и указывайте, в каком ящичке искать. Вот вам список потребных лекарств для нашей медчасти...

...В отрядах появилась вшивость. Хоть я и механик, но что делать, сам не догадался. Один простой, необразованный партизан оказался изобретательнее меня: возьмите железную бочку, отпилите днище. Внутри положите деревянную крестовину, на нее белье.

Стали так делать, пропарили белье, верхнюю одежду, шапки. Федоров отдал приказ — вшивым брить головы. От этого люди мерзли, простужались. Кто-то предложил: «Давайте кипятить головы». Без смеху у партизан не обходилось. Например, один «изобретатель» предложил кормить вшивого круто посоленной сельдью. В то время такая случилась удача — захватили у немцев пять бочек ржавой селедки. Так вот «изобретатель» говорит: «Вши напьются соленой крови — побегут к речке воду пить». Другой отвечает: «Вши, может быть, и побегут, а гниды?»

Однако были и серьезные предложения, но они действовали только в легкое время. Если положить одежду на большой муравейник, муравьи всех вшей и гнид моментально истребляют. Но одежду с муравьями надевать тоже не слишком хорошо, голым выплясывать у большого муравейника не много находилось охотников. Но энтузиасты были. Я первым подал пример.

...Весной, когда вскрылся лед на реке Снов, меня откомандировали на организацию переправы. С хутора Шевченко удалось выкрасть восемь лодок, начали строить переправу. Оставили, конечно, лошадей, обоз. Главное — переправили раненых. Это было сделано, потом продолжалась постройка.

... Был у нас замечательный бесстрашный боец Федор Онищенко. Его освободили от военной службы, но в партизаны он пошел и был ранен под Савенками, долго ходил на костылях. Вот этого Онищенко, когда он поправился, и другого бойца, Сережку Митько, послали в разведку — нужно было связаться с речниками. Онищенко — речник, здесь многих знал. Митько никогда на пароходе не плавал, парохода не видел. Пошли они в Новгород-Северский, отыскивали знакомого. Он раньше был капитаном, гебитскомиссариат его вызвал — приказал организовать начало навигации. Этот капитан, фамилию не помню, оказался тоже трусливым патриотом: и нашим и вашим. Он немцам добра не хотел, партизан признавал, готов был помогать и даже шел на риск, но с оружием в руках бороться не решался. Онищенко с Митько у него переночевали. Дочка соседа служила в гестапо переводчицей. Утром является с эсэсовским офицером. наших ребят посадили в подвал.

Потом Онищенко рассказывал:

— В первом подвале все стены были окровавлены, нас перевели в чистый подвал. Капитан прибежал в гестапо: отдайте мне их на поруки. Это водники, специалисты. Гестаповцы отдали на его ответственность, так как для речной службы людей не хватало.

Вот они поплыли на корабле. Онищенко соображает, ищет фарватер. Река вся в мелях. Капитан кричит:

— Давай елки — пихать пароход!

Митько не знает, что за елки. Елка, сосна — где-то на берегу, как же их добывать? Побежал скорее к Онищенко. Тот говорит:

— Хватай шести, они лежат на палубе, хватай быстрее — если ты команды не понимаешь, сразу сообразят, что ты липовый водник.

А Митько с перепугу:

— Так что же — елки, липы? Ничего не пойму.

Все-таки пароход добрался до Пироговки. Начальник пристани узнал Онищенко.

— А где Горобец? — Это он обо мне спрашивал.

— Почему я знаю!

— Дурочку из себя не строй — всем известно, что вы вместе в партизаны пошли.

Сообразив обстановку, ребята решили удирать. Пароход должен был выйти ночью, грузили топливо, бревна часто скатывались в воду. Под видом бревен скатились Онищенко с Митько. В общем, из этой разведки они в отряд попали только через месяц. Их считали погибшими. А когда стали рассказывать — вот было хохоту.

... Это обычное дело, что партизаны прежде всего улавливают смешное. Трагическое стараются не замечать. Иначе в лесу воевать невозможно.

... Когда вернулись в Рейментаровские леса, был приказ наступать на шесть сел. Нас там окружили. Надо было выйти. Фашисты обстреливали лес с самолетов.

У нас был молодой подрывник Гриша Масалыка. Его пока на железку, то есть на железную дорогу, не пускали. Он обижался. Здоровый парень, крепкий до невозможности, но не соображал, какая серьезная учеба требуется подрывникам. Ему пока доверяли ставить мины против мотоциклов, конного транспорта, автомашин. В той заварухе, когда мы пробивались из окружения, Масалыка отстал, чтобы подорвать автобус с фашистскими офицерами. Тридцать офицеров от его мины разлетелись на куски. Один остался жив — выстрелил, попал Грише в руку.

Парень он терпеливый и, хоть рука болела, не признавался: ходил с подрывниками на задания. Зайдет к медсестре в санчасть, она его

перевяжет, и опять пошел на подрывные действия. Ужасно увлекался. Тем более что его допустили с ребятами подрывать поезда. Действовал одной рукой — другая на перевязи, — но все равно был полезен. Однажды Гришу Масалыку ужалила немецкая пуля: кровь сильно бежала из щеки. Поскольку щека — часть головы, командир группы приказал немедленно отправляться в санчасть.

К этому времени у нас появился настоящий опытный врач Маринич. Он не хирург, но помощь оказывал по всем болезням. Этого доктора, когда отряд ходил в Орловскую область, мы выкрали вместе с женой и дочерью. Все трое стали партизанами. Одновременно с этой семьей к федоровцам прибежал, захватив чуть не всю аптеку — медикаменты, банки, термометры и многое другое, — старый провизор Зелик Абрамович Иосилевич. Он заявился к нам с нашитой на груди желтой звездой — зубами отдирал. Я не очень хорошо знаю, как все это произошло. Пусть расскажет кто-нибудь другой...

...Маринич увидел Масалыку впервые. Царапину на щеке заклеил пластырем, а потом спрашивает:

— Почему перевязана рука?

Когда снял бинт — пришел в ужас. Рука до середины предплечья почернела и покрылась струпьями.

— У вас же гангрена, это смертельно. Руку надо ампутировать. Я не хирург, не могу этого сделать... нет инструментов, мне никогда не приходилось...

Маринич разволновался, а Масалыка улыбается: он не знал, что означает слово «ампутировать». Он был доволен, что голова в порядке — перестала течь кровь из щеки.

Тут подходит начальник штаба Рванов, видит черную руку Масалыки:

— Даже мне ясно — если не ампутировать, человек погибнет. Резать надо немедленно...

Масалыка заметно дрогнул — понял, что останется без левой руки. Посмотрел с жалобной надеждой на Рванова: авторитет командира был для него выше врачебного заключения. Рванов выдержал его взгляд, хотя было ясно, что жалеет бойца. Подумал и твердо сказал:

— Не хочешь помирать — соглашайся!

Масалыка криво усмехнулся:

— Ладно, давайте!

— Что «давайте»?! — закричал старичок Зелик Абрамович. — В моих запасах нет хирургической пилы, нет хлороформа, даже новокаина! Какая может быть ампутация!

Маринич подтвердил, что без пилы кость не перережешь.

Тогда вмешался я и обещал, что пилу найду. Вскочил на коня и галопом в село Ивановку, где был кузнец. В это время начался бой, но в стороне Ивановки выстрелов не слышно... Кузнец дал мне слесарную ножовку, которой металл режут. Сама пилка — ее называют полотном — была хоть и острая, но слегка ржавая. Другой не нашлось. Мчусь обратно, слышу — на медпункте идет жаркий спор, кого-то уговаривают. Я подумал, что Масалыка отказывается от операции. Нет, он помирать не хотел и теперь вместе с Рвановым торопил медиков. Просил только, чтобы дали ему спирту: он напьется и не почувствует боли. Боялся не Масалыка, боялся Маринич. Увидел ножовку:

— Вы что, с ума сошли? Она грязная и ржавая...

Я почистил ножовочное полотно кирпичом, потом мы ее прокипятили, обтерли спиртом. Спирт лили не жалея, в бутылке осталось мало. Масалыка смотрел, смотрел:

— Неужели я от такой малости усну?

Ему дали выпить, он захмелел. Маринич принялся резать. Мякоть прорезал, а кость не поддается. Операция происходила на поезде, недалеко шел бой, то и дело к нам подносили раненых. Маринич не мог владеть собой.

Зелик Абрамович обращается ко мне:

— Может быть, вам как механику этот инструмент больше подходит?

Тут нельзя было раздумывать. Вижу — Маринич не умеет обращаться с ножовкой. Говорю ему и Рванову:

— Держите руку как в тисках, поднимите от груди: чего доброго, ребро перепилю...

Стал пилить, Зелик Абрамович как закричит:

— Ой, что он делает!

Сам предложил, сам же перепугался.

Масалька не уснул, скрипит зубами, ворчит:

— Скоро там? Люди ждут очереди!

Зря он ворчал, я быстро пилил, но ведь кость толстая. Когда я свое дело закончил, Маринич натянул кожу на культю, зашил, сделал перевязку...

Я думал, Гриша Масалька долго будет лежать. Через несколько дней встречаю. Он бросился меня здоровой рукой обнимать. Потом говорит:

— Вечно буду вам благодарен. До конца вас не забуду.

Я думал, он меня к медикам приобщил, всех нас благодарит. Нет, он после операции стал меня постоянно величать на вы. Раньше, как подрывник, смотрел снисходительно — подумаешь, старшина санбата. С той поры понял, что и в санбате не льком шиты.

После того Гриша еще долго ходил с группой на диверсии. Вот что значит здоровый хлопец. Кроме того, конечно, имеет значение климат, чистый лесной воздух. У нас раненые быстро поправлялись.

## ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Бесстрашие, смелость, самоотверженность, безудержную храбрость, храбрость отчаянную, иногда безумную, в годы Великой Отечественной войны проявили тысячи и тысячи фронтовиков — бойцов и командиров. Что же до партизан... напомним, что в одном лишь нашем соединении девятнадцать человек удостоились звания Героя Советского Союза. Однако ж храбрецов поразительного, несокрушаемого мужества, дерзости, а в иных случаях и безрассудства насчитывались в наших рядах сотни. О многих я уже рассказывал, но как-то случилось, что обошел вниманием человека удивительного, самобытного и яркого — Филиппа Яковлевича Кравченко. Мы с ним познакомились вскоре после того, как я, пройдя через несколько районов оккупированной немцами Черниговщины, разыскал областной отряд и вступил в должность его командира.

То был ноябрь 1941 года. Партизанские отряды, организованные обкомом партии и укрывшиеся еще до оккупации в лесах, переживали смутное время, держались обособленно, не принимали новичков даже из окруженных и раздробленных частей Красной Армии, боялись соединиться и создать крупную монолитную партизанскую часть, подобную полку или дивизии... Это был самый тяжелый период в истории партизанского движения.

Подпольный обком решил близлежащие отряды слить, ввести строжайшую дисциплину, подчинить областному штабу все вооруженные группы, принимать не только земляков, но и всех истинных патриотов, способных вести активную борьбу с фашистскими оккупанта-



ми. Не все руководители мелких отрядов согласились с мнением обкома. Степан Бессараб, бывший председатель колхоза и командир крошечного рейментаровского отряда, не желал делиться боеприпасами, оружием и заготовленным продовольствием, отказался подчиниться обкому. Тогда я — начальник областного штаба и секретарь обкома — отправился к Бессарабу вместе с комиссаром Василием Емельяновичем Яременко. Нам удалось уломать Бессараба и его сподвижников... Одного из самых ярких сторонников Бессараба, Яна Полянского, мы решили взять с собой. Об этом уже было написано в книге моих воспоминаний. Но я упустил тогда немаловажный момент.

Итак, мы с моим комиссаром и группа бойцов охранения возвращались из рейментаровского отряда к себе в областной. Ехали все на конях. Еще не очень хорошо зная здешние места, мы остановились у развилки лесной тропы. Ян Полянский предложил:

— Поехали правой стороной. Ближе, и кое-что вам заодно покажу, увидите, какие мы творим дела.

Я глянул на Яременко, тот пожал плечами.

— Ладно, — говорю, — поехали.

Тропа углублялась в густой ельник, впереди просвечивала снежная поляна. Вдруг смотрим — к дереву прибит кусок фанеры с намазанной крупными буквами надписью:

**СТОЙ!  
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!  
ПОЛИГОН!**

— Видали такое?! — с гордой ухмылкой произнес Полянский. — Не-ет, товарищ Федоров, хлеб мы зря не едим.

С этими словами он свистнул в два пальца не хуже Соловья-разбойника. Вот так штука! Никогда о партизанских полигонах не слышал. Представить себе не мог, чем там занимаются. Выехав на край поляны, я увидел в бинокль, что на противоположной опушке вырисовывается что-то неопределенное — то ли орудие, то ли прицепной фургончик, из трубы которого тянется к небу струйка дыма. Возле той штуковины возятся двое. Услышав свист, один из них двинулся к нам. Не очень-то он торопился. Похоже, был недоволен, что отрывают от дела. Ближе, ближе, теперь и невооруженным глазом было видно — идет к нам некий железнодорожный чин в форменной фуражке. Невысокий чернявый человек. На ходу он крикнул Полянскому:

— Ну чего? Опять небось с запретами? Вчера Бессараб, сегодня вы... — Но, заметив Яременко, сразу переменяет тон: — Василий Емельянович! Рад, что приехали. Видите, куда меня выселили. Да еще велели написать это дурацкое предостережение. Идемте, ничего опасного нет.

Мы спешили, пошли. Яременко мне железнодорожника представил:

— Инженер-подполковник Филипп Яковлевич Кравченко.

Пожав мне руку, узнав, кто я и для чего ездил к Бессарабу, Кравченко загорелся:

— Правильно и просто великолепно: обязательно объединяться, укрупняться, вовлекать в партизанские отряды командиров-окруженцев. В первую очередь специалистов: саперов, минеров, связистов. Без них мы всего лишь кое-как вооруженные беженцы. Возможности есть, возможности огромные. Пора! Пора выходить на железную дорогу, на шоссейные магистрали...

Отвечаю ему с горечью:

— Пока что выходить не с чем, нет взрывчатки...

Он меня перебивает, кипятится:

— Как так нет?! Надо работать, и все будет. Вы знакомы с этой брошюрой? — Он вытащил из кармана инструкцию полковника Старинова, выпущенную по моему приказу в Чернигове. — Тут все сказано: как выплавлять тол из мин, из невзорвавшихся авиабомб, из артиллерийских снарядов... С ними, правда, труднее, но освоим, освоим! Необходимо наладить массовое производство простейших взрывных устройств. Идемте, идемте, я вам кое-что покажу...

Следом за Кравченко явился высокий дядька в куртке и в шапке на заячьем меху. Завидев меня, кинулся обниматься:

— Алексей Федорович! Слышал, что вы прибыли... Эх, давно бы... А мы тут с Филиппом от безделья на все руки...

— Чего болтаешь! — возмутился Кравченко. — Ты, товарищ Белый, понимай, что плетешь. Мы заняты самым важным, наиглавнейшим делом. Все должно вертеться вокруг нас.

— Да ладно, Филипп Яковлевич, не хвляйся, — добродушно откликнулся Белый.

Федора Белого я знал давно. Председатель колхоза села Самотуги — он был умелым хлеборобом, рачительным хозяином.

— Здорово, — говорю, — Федор Митрофанович. Ты-то какое отношение имеешь ко всей этой премудрости?

— Так ведь в армии я служил пиротехником. Не минер, не сапер, однако ж с порохом и разнообразными взрывателями дело иметь приходилось...

Мы пошли за хозяевами полигона. Полянский ни с места. Мало того — нам подает знаки, чтобы мы поостереглись. Я на него махнул рукой.

Приближаемся к месту действия. Стоит сильно помятая походная кухня. В открытой топке горят дрова, в котлах что-то бурлит, фурчит. На земле разложены обильно смазанные каким-то жиром формы, каждая размером в полкирпича. Метрах в двадцати кучей навалены мины от ротного миномета, и неподалеку лежит штук десять артиллерийских снарядов разного калибра. Кравченко энергично размахивает руками:

— Тут теперь наш цех. Все, как видите, элементарно просто. Формы нам сколотил бывший директор судоремонтных мастерских Григорий Иванович Горобец. Он нам помогает и в наш успех верит, потому как сам человек мастеровой — и плотник, и слесарь, и кузнец. Сейчас мы его откомандировали с местными ребятами на сбор «сырья» — мин и снарядов...

Продолжая говорить, Кравченко приоткрыл крышку. На проволочном каркасе разогревался в кипящей воде артснаряд с отвинченной головкой... Поднялся пар, смрад...

— Как считаешь, Федор Митрофанович, вынимать пора?.. Ладно, пусть еще поварится... Тут, видите, какая штука, Алексей Федорович: мы бьемся над тем, чтобы использовать всю взрывную мощь снаряда, а не один лишь тол, который в конической его части. Сейчас хотим испытать приспособление: конструкция простейшая, нажимного действия. Но чтобы проверить, надо нажать, а нажать — значит, взорваться, что нежелательно. Я придумал железный обруч, к нему на проволоке крепится дощечка с бойком...

Яременко мне говорит и подмигивает:

— Алексей Федорович, нас ждут. В штабе собрался народ.

Кравченко подмигивание заметил.

— Что ж, — сказал он, — у нас цех горячий, не всякому хочется рисковать. Езжайте, товарищи. Но я надеюсь, обком оценит всю важ-

ность нашего начинания. Буду нужен — вызывайте. Подготовлю вам письменный доклад по всей форме...

Он от нас отвернулся, вытащил из котла обмотанный проволокой снаряд...

— Так мы поедем, — проговорил Яременко.

— А кто вас держит? Рано или поздно поймете: здесь, на этой поляне, начинается история партизанской славы!

Это было сказано весьма торжественно.

Когда мы углубились в лес метров на триста, на «полигоне» раздался взрыв. Такой был грохот, будто взорвалась тысячекилограммовая авиабомба. Мы остановили лошадей, прислушались, в ушах звенело. Притихли синицы, вороны, которых тут было несметное множество, поднялись стаями в небо и полетели узнавать, что там такое, нет ли чем поживиться.

Мы повернули обратно, медленно въехали на поляну. Немецкой кухни как ни бывало, весь снег кругом обсыпан землей. Рухнула, обнажив корни, высоченная сосна. Ни Федора Белого, ни Филиппа Кравченко не увидели. Но нет ни крови, ни окровавленных тряпок. Снаряды остались на месте, а мины все взорвались. Вероятнее всего, по детонации.

Яременко пробормотал:

— Щось не те!.. — И шапку снял, вроде бы прощаясь с погибшими.

Смотрим — вылезают из окопчика наши «погибшие». Землей их сильно присыпало, но целы и лица отнюдь не грустные.

— Что, — спрашиваю, — случилось?

Кравченко прижал ладонь к уху:

— Как вы сказали? Повторите, пожалуйста.

Я поднял голос.

— Чем, — спрашиваю, — занимаетесь? Деревья выкорчевываете?

— Громче. Не слышу!

— Поехали, — говорю, — с нами!

— В главном опыте удался! — ликующим голосом рапортует Кравченко.

Я крикнул во всю силу легких:

— Едем с нами!

— Нет, — улыбнулся он, — приеду с докладной и с чертежами. Дело получилось, приспособление сработало.

— Ладно, ждем, — сказал я и помахал друзьям рукой...

...Я уже писал, что брошюра Старина о способах создания самодельных минноподрывных средств была нами заблаговременно распространена по всем районным отрядам. Ее читали многие, но тем дело и ограничивалось — читали, мечтали, кое-кто даже искал снаряды и мины, однако ж я впервые встретил энтузиастов, взявшихся за дело на практике.

Вернувшись в областной отряд, мы с Яременко рассказали о лесном полигоне Попудренко, Новикову.

— Слыхали, какой был взрыв? Подумали небось — немцы пошли в наступление на Бессараба? Так вот имейте в виду — работа Кравченко и Белого. Нужно дело, как вы считаете?

Попудренко сказал:

— Это не новость, Алексей Федорович. Филипп, как пришел с киевского узла, день-два побыл у родителей в Самотугах и тут же двинул в Рейментаровские дачи. Бессараб его принял, хоть он и окруженец, по одному тому, что земляк. Теперь не знает, как избавиться. Так ведь почешешься. С такими опытами ребятки могут и своих убивать... В то же время отказываться не годится. Кравченко и нам

подбросил свои домодельные пироги. На его mine подорвалась немецкая машина. Гриша Балицкий с Петькой Романовым и Ваней Полищуком мосток взорвали толком, который выплавил Кравченко. Перспективное дело. Только вот беда — сам-то Филиппок бегать не силен...

— Зачем бегать? От кого? Куда?

— Да от собственных же игрушек. Они у Кравченко чуть не в руках взрываются. Нет бикфордова шнура, так он веревку мочит в бензине, поджигает и бежит. А у самого, у бедолаги, порок сердца...

Новиков раздумчиво сказал:

— Я, вы знаете, Алексей Федорович, человек не робкого десятка. Но как бы ни хороша была инструкция Старинова — она технологию дает, есть в ней и кое-какие рекомендации, но ни слова, как организовать специальное подразделение, способное выйти на важные магистрали, как вести разведку, как охранять минера, когда он ставит на железной или шоссеиной дороге свой гостинец... Кстати, хоть Кравченко инженер, да еще и железнодорожный, в делах минноподрывных он идет ощупью. А это опрометчиво. Увлеченность и темперамент тут не помощники. Извините, что напоминаю. Когда Старинов был у нас в Чернигове, он нам, помнится, показывал штучки заводского изготовления, весьма красивые. И все-таки, хоть мина была и заводская, вы именно по опрометчивости малость подорвались...

— Да будет вам известно, дорогой товарищ, — ответил я, — то не мина была, а зажигательный снаряд. Понимать все-таки надо...

Попудренко искренне расхохотался:

— Если б в тот раз сработала мина — нас бы всех разорвало и мы бы тут, в лесу, не встретились. — Он призадумался и добавил: — Без риска, товарищи, нельзя. Кравченко надо поддержать. Я целиком за.

Мне хоть и неприятно было напоминание о том, как я в своем черниговском кабинете оплошал (шрам на ноге и теперь еще побаливал), но, странное дело, боль не к осторожности меня звала, нет — она как бы подталкивала: надо, надо форсировать диверсионную деятельность. Меня увлекала и окрыляла главная мысль полковника Старинова — нет более точного и эффективного оружия у партизан, чем подрывные средства... И все-таки опрометчивость и поспешность могут оказать плохую услугу.

Позвали нашего молодого начальника штаба Рванова. Дмитрий Иванович подумал-подумал и сказал:

— Вызвать, конечно, Кравченко следует. Поговорить с ним и... остудить. Как я понимаю — перспектива интересная и многообещающая. Взвод диверсантов как боевая единица нужен. Но то дело будущего. Сейчас прежде всего необходимо сплотить отряды, поднять боевой дух партизан, приучить людей к дисциплине и целенаправленным действиям. В том же, что делает Кравченко, есть элемент анархии. Пусть инженер о своих делах доложит. Тогда и будем думать. Таково мое мнение. А вы как командир решайте.

Я искоса поглядел на своего начальника штаба. Получалось, он и меня остужал.

— Что ж, — сказал я, — в один день всего не определишь. Будь по-вашему! Пошлите, Дмитрий Иванович, вызов Кравченко. А пока что опыты придется запретить...

\* \* \*

Как-то дней через пять мне доложили, что явился с рапортом Филипп Кравченко. Он, оказывается, болел. В тот раз на полигоне и его и Белого слегка контузило. Все это время они отлеживались. Ничего, обошлось — слух вернулся, вернулся и здравый смысл... Впрочем, как выяснилось, здравый смысл — понятие относительное.

Стоит об этом поговорить. Могут ли, к примеру, совмещаться в одном человеке безумная храбрость и здравый смысл? Всякий ли раз, идя на риск даже с самыми лучшими намерениями, человек совершает подвиг?

Лежит передо мной пожелтевший от времени рапорт инженера-подполковника Филиппа Яковлевича Кравченко. Не могу не преклоняться перед тем, что еще Ленин называл презрением к смерти. Филипп Кравченко обладал этим чувством в полной мере. К тому же была у него и творческая жилка, инженерный расчет. Впрочем... весьма своеобразный.

Подавая мне рапорт, Кравченко сильно нервничал, можно сказать, негодовал:

— Вы нам запретили... Вы приостановили работу, которая была в самом разгаре. Что это, недоверие к моему инженерному опыту? Вы даже не ознакомились с конструкцией... Впрочем, вот — читайте. Тут я рассказываю и о себе и о своих идеях. Прилагаю рисунки, схематические чертежи. Не знаю, сумеете ли вы их прочитать...

Я попросил собрать в штабную землянку Попудренко, Яременко, Новикова, бывшего армейского сапера Петра Романова — всех, кто хоть как-то мог разобраться в том, что следует делать для организации диверсионного подразделения.

Рапорт Кравченко огласили перед всеми. Привожу его полностью.

«Начальнику областного штаба партизанского движения, командиру объединенного отряда Федорову А. Ф. инженера-подполковника железнодорожной службы

Кравченко Ф. Я.

### Рапорт

Настоящим докладываю.

С первых дней войны, будучи заместителем начальника строительства литера «Д», я организовал четыре восстановительных отряда на ж/д станции Дарница, которую немцы ежедневно бомбили. Мы провели работы по реконструкции трамвайного пути, идущего через мост, с тем чтобы пустить по нему паровозы легкой серии для эвакуации заводского оборудования из Подольского района. Действовали все время в условиях интенсивных налетов немецкой авиации, прячась в примитивных щелях. Я всегда требовал от подчиненных полной самоотверженности и считал необходимым показывать пример спокойного бесстрашия. Позднее был откомандирован на станцию Прилуки, где со строительными отрядами днем и ночью восстанавливал пострадавшие от немецких бомб ж/д пути на линии Прилуки — Нежин, Прилуки — Бахмач — Ворожба, Бахмач — Ромны — Ромодан.

Ввиду того, что немцы заняли Нежин и Бахмач, я из района Прилук отправил все паровозы, после чего выехал со своей группой по направлению к Харькову. В Лубнах мы были остановлены немцами. После трехдневных боев в кольце окружения мне с группой бойцов-рабочих удалось вырваться в тыл врага. Наша группа у реки Оршица была ликвидирована, кое-кого взяли в плен. Осталось нас десять человек, которые в случае реальной угрозы пленения предпочли бы застрелиться. Мы пошли в Черниговские леса, надеясь встретиться с партизанами. Встреча произошла, я был принят в рейментаровский отряд и с первых же дней взялся с пиротехником тов. Белым за организацию производства толовых шашек для диверсионной работы. В наличии не было никакого оборудования. Мы нашли брошенную немецкую

кухню и принялись добывать из мин от ротного миномета тол. Для этого поступали следующим образом:

1. В отделение, где немцы варили кофе, наливали воду и на проволоке подвешивали мину, предварительно вывинтив из нее взрыватель.

2. Согласно инструкции полковника Старинова, подвешивали так, чтобы кипятик обнажившуюся взрывчатку не заливал.

3. Из фанеры сделали форму стандартных размеров, смазали стенки и дно жиром, выливали тол и опустили колышки по форме капсуля-детонатора от ручной гранаты. После остывания тола получились шашки нормальных размеров и веса.

Все было хорошо, производство налаживалось, с нашими шашками уже выходили на диверсии товарищи Балицкий, Романов, Полищук. Однако наша работа недостаточно ценилась, многим казалось, что риск слишком велик и мы взорвем весь отряд. Я с презрением отстал болтовню паникеров и приводил пример того, как мы работали под бомбами противника. Однако командир рейментаровского отряда под предлогом, что рано или поздно у нас появятся собственные минометы, а мы растратим собранные мины на шашки для диверсий, попытался нам помешать, хотя это было продиктовано не столько соображениями экономии, сколько желанием жить спокойно. Тогда я решил: если мины действительно надо беречь — будем выплавлять взрывчатку из артиллерийских снарядов, против чего возражений быть не могло, так как пушек у партизан пока нет, а снарядов в районе бывших боев десятки и сотни.

К сожалению, добыть взрывчатку из артснаряда оказалось труднее. Когда мы его опустили в горячую воду, расплавилась взрывчатка одной лишь конической части, а главное содержимое, находившееся в цилиндрической части, почти не размякло, и сколько мы ни грели — не плавилось. От Петра Романова, б. сапера, мы узнали, что снаряд содержит не тол, а тугоплавкий взрывоопасный мелинит. Как инженер, я не мог смириться с тем, что пропадает столь ценная взрывчатка, и решил использовать снаряд как обойму с взрывчатым веществом, взяв его в деревянную оправу. Я на бумаге спроектировал будущую мину под ж/д поезд и под автогужтранспорт (см. чертеж 1 и 2).

Вместе с тов. Белым мы отвинтили головку снаряда и, выплавив из нее тол, вылили в форму, а мелинит ввиду его твердости принялись готовить к взрыву следующим образом. Один из нас поставил снаряд без головки вертикально и воткнул в него конец русского трехгранного штыка. Второй же обухом топора бил по штыку. При постепенном поворачивании по мере многократных повторений ударных усилий получалась скважина. Так как она имела неровные края и слишком широкое сечение, не оставалось ничего иного, как подливать в нее расплавленный тол, вставив предварительно деревянный чепок, равный по толщине детонатору от ручной гранаты.

Считаю своим долгом сообщить, что на то время, когда мы с тов. Белым пробивали в снаряде скважину, командир отсылал нас метров на триста от расположения лагеря, и мы с этим мирились. Но все равно приходилось возвращаться к кухонному костру, чтобы заливать скважину расплавленным толлом, отчего создавалась всеобщая паника, недостойная поведения партизан.

Настало время, когда нужно было испытать снаряд для диверсионной деятельности. Для данной цели я продумал систему испытания и сконструировал простое приспособление (см. чертеж 3). Отойдя на должное расстояние от лагеря, мы вкопали под деревом снаряд. Над капсулем детонатора пристроили дощечку с гвоздем (боек). К суку дерева подвесили на шпагате полено. Намоченный в бензине

шпагат в соответствии с моей идеей нужно было поджечь, чтобы полено упало на дощечку, гвоздь ударил бы капсулю и произошел взрыв.

Сначала мы проделали опыт вхолостую, то есть без детонатора. Механизм сработал прекрасно. Тогда решили проверить на боевую, то есть произвести взрыв... Впоследствии люди несведущие, трусливые и недоброжелательные стали говорить, что мы при испытании не соблюдаем меры предосторожности. На самом же деле в десяти шагах от нас имелаась глубокая воронка от авиабомбы. Кроме того, для большей безопасности я привязал полено на двойном шпагате. Все сделали, осталось только вставить детонатор. Я сел на корточки, тов. Белый стоял рядом: он должен был поджечь шпагат. Однако случилось, что шпагат оказался некачественным, я услышал треск, закричал: «Назад, в яму!» Мы мигом туда скатились, и тут же раздался взрыв. Мина сработала, нам даже не пришлось поджигать фитиль. Ничего плохого не случилось, так как известно, что с момента удара по капсулю до взрыва детонатора проходит три секунды. С уверенностью утверждаю, что испытание прошло превосходно.

Мы ждали благодарности командования, в действительности же нам было предложено убираться из расположения лагеря, и пришлось создать так называемый полигон в глубинах леса.

Вы, тов. Федоров, а также комиссар тов. Яременко присутствовали при последующем испытании нового моего приспособления — портативного проволочного обхвата с пружиной и бойком нажимного действия. Из прилагаемого чертежа видно, что моя мина-снаряд применяется следующим образом. Все устройство вкапывается в земляное полотно с расчетом, что пробка-боек касается подошвы ж/д рельса. Вкапывать надо перед стыковочной шпалой. Проседание рельса во время прохода паровоза достигает 1 см. Сначала мина погружается в землю так, что пробка-боек на 0,5—1 см. не доходит до рельса, а потом сближается с рельсом деревянным клином; мина под автогужтранспорт вкапывается в колею в таком виде, как это изображено на чертеже 5...

Таким образом, доказана возможность использовать на шоссе-ных и железных дорогах в качестве мин нажимного действия арт-снаряды любого калибра.

Между тем я получил от вас распоряжение прекратить работы и считаю необходимым заявить со всей ответственностью, что рассматриваю данное распоряжение как недооценку диверсионной деятельности, перестраховку и сознательное торможение изобретательской мысли, причиной чего может являться либо непонимание, либо трусость.

К сему инженер-подполковник Ф. Кравченко».

После прочтения этого документа в штабной землянке воцарилась гробовая тишина. Все смотрели то на меня, то на Кравченко. У него были сжаты губы, он с нетерпением ждал, что я скажу.

Неожиданно для самого себя я рассмеялся. За мной расхохотались все.

— Вы хоть обдумали то, что тут написали? — сказал я. — Ну-ка, товарищи, ответьте «изобретателю». Да посмотрите как следует на эти чертежи!.. Безумству храбрых мы, конечно, поем песню, только вопрос, что тут главное — безумство или храбрость. Вы, товарищ инженер, обвинением в трусости хотите меня задеть?..

Кравченко угрюмо отмалчивался. Я попросил высказаться товарищей.

Петр Романов, уже показавший себя бесстрашным разведчиком и минером, не поддержал Кравченко.

— Как-то неудобно инженеру объяснять,— сказал Романов.— Эта штука, может, и хороша, да только для мирного времени.

— Как так для мирного?! — закричал Кравченко.— Вы что, во вредительстве меня обвиняете?! В мирное время я строил.

— Никто вас во вредительстве не обвиняет,— сказал Новиков,— напротив, с инженерным решением вас можно поздравить. Но как практически его применить? Как подобраться с этой вашей штуковиной к железной дороге? Для этого нужно, чтобы немцы согласились отойти хотя бы на километр от того места, где вы будете закапывать снаряд. А сколько он весит — об этом подумали? Минеру с этой штукой надо идти отсюда к действующей железнодорожной магистрали пятьдесят километров. А на шоссеиной дороге ее вообще не закопаешь... Нужен тол, тол в чистом виде. В артснаряде вес металла в десять раз превышает вес взрывчатки, содержащейся в нем. Снаряд поражает не столько взрывом, сколько осколками.

Начальник штаба Рванов сказал:

— Надеюсь, это недоразумение. Обвинять командира объединенного отряда в трусости... Может быть, вы, товарищ инженер-подполковник, будете последовательны и, взяв свой снаряд под мышку, прогуляетесь с ним и с необходимым шанцевым инструментом к линии железной дороги?.. Подождите, не перебивайте. Для настоящей диверсионной работы нужно создать специальное подразделение, в которое должны войти не только минеры, но и бойцы охраны и группа разведчиков. Мы уже подготовили приказ, запрещающий непродуманные и беспланные минноподрывные действия. Беспочвенную одержимость поощрять нельзя.

Кравченко набычился:

— Настаиваю на своем. Когда-то еще будет у нас тол в достаточном количестве. Нет радиосвязи с фронтами... Да, я человек одержимый. Ну и что? Я прекрасно знаю дороги Гомель — Бахмач и Бахмач — Харьков. Дайте мне смелых людей, и мы пойдем в разведку. Пусть не будет у нас ни одной шашки чистого тола. Моток проволоки, кузнечные щипцы и плоскогубцы — вот и все, что мне надо. Снаряды отыщутся и близ железнодорожного полотна.

Упрямство этого человека было непостижимо. Что ж, мы пошли ему навстречу. Я подытожил все сказанное.

— Разведать, что происходит на ближайших к нам железных дорогах стратегического значения,— сказал я,— задача благородная, перспективная, просто необходимая. Мы благодарны Кравченко за то, что он подал эту хоть и не инженерную, но весьма нужную идею.

Кравченко не отказался. На следующий же день, взяв с собой нескольких бойцов, вышел в дальнюю разведку.

Он вернулся к нам... через пять месяцев. Вернулся, когда нас в Рейментаровских лесах уже не было. За это время немцы спалили родное его село Самотуги, расстреляли мать и отца. За это время у нас уже создано несколько диверсионных групп, которые выходили на железную дорогу Гомель — Бахмач и успели взорвать сорок шесть эшелонов противника. Как минеры-подрывники и организаторы диверсий прославились к тому времени многие: Балицкий, Павлов, Клоков и однофамилец Кравченко — Федор Иосифович. Все они стали впоследствии Героями Советского Союза.

Хоть и не застал нас в родных своих местах Филипп Яковлевич Кравченко, однако по свойству своего характера, попросившись с правом матери и отца, покинув родное пепелище, он отправился искать нас. И отыскал. Рассказал о долгих своих скитаниях и мытарствах, о том, как потерял товарищей и продолжал действовать в одиночестве... Он побывал под Харьковом, прошел в общей сложности чуть ли не



тысячу километров, петляя по дорогам, проселкам, непрерывно рискуя жизнью.

За эти месяцы мы связались со штабом Юго-Западного фронта, к нам летали самолеты, сбрасывали грузы и первым делом — тол и детонаторы к нему; к нам и людей выбрасывали — настоящих военных специалистов, радистов...

Филиппа Кравченко мы включили в один из диверсионных взводов, он стал подрывником, применял мины, получившие признание. Только один раз ему удалось пустить в ход старое свое изобретение.

Приведу один из устных рассказов Филиппа Яковлевича Кравченко, записанных после войны.

### Говорит Ф. Я. Кравченко

...В предыдущем бою я был ранен осколками гранаты. Осколки врач повытаскивал, но правая рука гноилась, плохо действовали пальцы. Однако узнав, что будем наступать на райцентр Корюковку, где немцам удалось пустить в ход сахарный завод и несколько лесопилок, что туда по железнодорожной ветке ходят эшелоны и вывозят награбленное, я побежал к начальнику штаба Дмитрию Ивановичу Рванову:

— Мне сказали, что вы будете командовать в наступлении на Корюковку. Там я знаю все ходы и выходы, позвольте участвовать, тем более что предстоят подрывные работы.

Дмитрий Иванович посмотрел на мою забинтованную руку:

— Стрелять можете?

— Я уже признанный подрывник. Пусть пальцы поранены, но шевелятся, значит, к делу пригоден. Тем более необходимо вывести из строя железнодорожную станцию. В этом я, как транспортный инженер, смогу выбрать главные точки, чтобы надолго парализовать движение.

Рванов усмехнулся: видно, вспомнил то время, когда я всей душой стремился пустить в дело артиллерийский снаряд. Но он не мог не знать, что обстановка другая, толу у нас достаточно, что сейчас я и сам пользуюсь в своей работе толовыми шашками.

— Ладно, будете действовать в команде Георгия Артозеева, — распорядился Рванов. — Вам поручается станция и все, что связано с уничтожением любых машин и механизмов...

...И вот мы идем в наступление. Я верхом на лошади. Впереди седла в двух переметных сумах ящики с толом. Так как правая рука у меня плохо действовала, а левой я вожжи держать не умел, да и вообще кавалеристом был липовым, моя кобыла стремилась завернуть куда ее не просят. Тем временем начался бой. Артозеев подъезжает и говорит:

— Станцию я беру на себя, а вы с Воловиком дуйте на лесозавод.

Отвечаю ему:

— Рванов мне приказал как инженеру-железнодорожнику...

— Хорош инженер — с обыкновенной лошадейю не можете справиться. Привыкли ездить по рельсам. Приказываю двигаться на лесозавод. И не спорьте, всем известно ваше упрямство, товарищ инженер.

Действительно, спорить с командиром в бою — дело подсудное.

Добрались мы с Воловиком до лесозавода, сгрузили ящики, и я первым делом занялся установкой мин на подвездных путях, на всех стрелках и на поворотном кругу. Тола не жалел. Кроме того, мы подорвали на базе двенадцать грузовых автомашин, локомобиль, три лесопильных рамы. Сожгли всю лесопroduкцию — около тысячи кубометров, — предварительно полив доски бензином. Покончив с этим

делом, мы в ярком свете пожара двинулись навстречу Артозееву, чтобы доложить о выполнении задания. Я надеялся, что на станции для меня еще найдется работка — вполне возможно, Жора Артозеев упустил из виду селектор и телефонный узел. Смотрю, едет наш Жора, окликаю его, а он нас не узнает. Когда расставались, на нас были белые маскхалаты, они от копоти превратились в черные. Жора смеется:

— Думаю, откуда эти монахи?

Воловик говорит:

— Мы, товарищ командир, не монахи, мы негры. — И размазывает сажу по лицу.

Все вместе мы отправились на мельницу и последний оставшийся тол истратили на то, чтобы подорвать жернова и трансмиссию.

— Что ж, товарищи, дело сделано, можно объявить перекур.

Мы улеглись на мешки с мукой, и Воловик тут же стал размазывать муку поверх сажи, чтобы снова стать белым человеком. Артозеев свалился своей кудрявой черной бородой, а теперь стал белым как лунь.

Только мы собрались перекусить из Жориных запасов, когда видим — скачет к нам гонец:

— В центре города бой. Немцы засели в кирпичном здании больницы и отстреливаются. Вам приказано захватить отделение Госбанка, вскрыть сейфы. Старик кассир говорит, что денег вагон, но с перепугу найти ключи не может.

Мы поскакали к центру, нашли на КП Рванова, он нам говорит:

— По словам кассира, в сейфах не меньше трехсот тысяч советских денег. Мы давно хотели послать в Москву на танковую колонну. Сумма значительная — придется вам заняться.

Докладываем: тол кончился, рвать нечем.

— Да, дела, — вздыхает Рванов. — Неужели такую сумму оставлять немцам? — Вдруг он, поглядывая на меня, начинает улыбаться: — Тут неподалеку захваченное нами немецкое орудие, возле него снаряды, можно бы шардарахнуть по сейфу. Только беда — проклятые фрицы успели сбить у пушки замок... А что, товарищ инженер-подполковник, нельзя ли пустить в дело ваше давнее изобретение?

Похоже, он шутил, да еще и с издевкой, напоминая о моей давней неудаче. Что ж, на железную дорогу с миной-снарядом выходить действительно невозможно. Но по своему характеру я не мог признать себя побежденным.

Становлюсь перед Рвановым по стойке «смирно», прикладываю руку к козырьку:

— Есть, товарищ командир, взорвать снарядом сейф. Будет исполнено!

Однако дело непростое. Как вспомню, сколько мы возились, чтобы отвинтить головку снаряда и пробить скважину для детонатора, — дрожь берет. На это у нас с Белым уходило не меньше часа.

Взяв себе в помощь двух человек, отвинтил головку. Смотрю и от радости млею: в цилиндрической части немецкого снаряда не мелинит, а чистейший тол. Проковырять в нем отверстие для детонатора было делом одной минуты. И вот я с видом алхимика беру снаряд под мышку, запасаясь бикфордовым шнуром, которого у нас оставался целый моток, и, приказав всем отойти, залезаю в окно банка. Закладываю под угол сейфа снаряд, зажигаю шнур, выпрыгиваю наружу и ложусь у кирпичного фундамента... Проходит минута, раздается сильный взрыв. Партизаны были кинулись внутрь; но я всех остановил. Забравшись в помещение, я сперва ничего не увидел: густым облаком стояла пыль от кирпича. Когда пыль осела, смотрю — вылетел кусок кирпичной стены и открылся выход в сад. Я так кашлял от вони и

пыли, что вышел отдышаться. Тут же немцы, заметив меня, открыли стрельбу. Юркнув обратно в пролом, я укрылся за толщиной огромного монолитного сейфа. И тут обнаружил, что от него откололся задний чугунный угол. Доступ к деньгам был открыт. Я этому обрадовался, но еще больше обрадовался тому, что моя идея была верна. Мне говорили когда-то, что артснаряд — оружие осколочного действия и пользоваться им для минноподрывной работы нельзя. Хотелось тут же побежать к Рванову, чтобы рассказать о своем торжестве и своей инженерной правоте. Но тут уже набились в помещение партизаны и начали вытаскивать пачки денег. К моему ужасу, все они были перебиты взрывом. Некоторые толстые связки будто ножом разрезало пополам. Что же мы будем посылать в Москву на строительство танковой колонны?

Эта мысль заслонила все другое. Я, огорченный и подавленный, предстал перед командиром:

— Приказ выполнил, деньги — погибли.

— Как погибли? — спрашивает Рванов и сам забирается в помещение банка...

Многие партизаны были огорчены происшедшим. Но когда, уже отступив от Корюковки, мы доложили обо всем Николаю Никитичу Попудренко, он стал весело хохотать:

— Вот чудачки! Сколько было денег?

— По уверениям кассира, — говорит Рванов, — триста двадцать тысяч.

— Что ж, — говорит Попудренко, — кассиры в таких случаях скорее преуменьшают сумму, чем преувеличивают.

С этими словами он вызывает начальника управления связи Анатолия Маслакова и приказывает ему послать в Москву радиogramму: «Настоящим сообщаем: при налете на Корюковку партизанам удалось вскрыть банковский сейф, изъять триста двадцать тысяч советских рублей, просим зачислить в фонд строительства танковой колонны „Красный партизан“».

Маслаков запротестовал:

— Как же так, товарищ секретарь обкома, это ж липа: денег-то нет.

— Это вы липовые экономисты, — отвечает со смехом Попудренко. — Тоже мне люди с высшим образованием, и инженеры. Того не знаете, что уничтожить бумажные деньги равносильно тому, что подарить их государству. Пошлем акт об уничтожении, и на его основании Гознак выпустит на указанную сумму ровно такое же количество новых купюр. А потом в соответствии с нашей просьбой передаст по назначению.

Тогда возник новый вопрос: в сейфе были и немецкие деньги, тоже немалые. Получалось, что мы одариваем этим способом гитлеровское казначейство.

Тут и Попудренко призадумался. Однако нашлась умная голова — Семен Михайлович Новиков:

— Это ж были оккупационные марки. На них немцы скупают у населения продовольствие. Мы их изъяли из обращения. Вряд ли местное командование сообщит в Берлин, что их постигла такая неудача. Так что получается — мы в двойном выигрыше.

Я стоял, молчал. На уме было одно: хотелось с торжеством доложить, что старое мое изобретение сработало, а следовательно, может действовать. Подумал-подумал и сам себя переупрямил: вдруг меня заставят идти со снарядом на железную дорогу. И еще пришло на ум: неужели возить на партизанских конягах тяжелые чу-

гунные снаряды?! На этот раз я уже мыслил не только как инженер, но и как экономист.

За корюковскую операцию и взрыв банка меня впоследствии наградили орденом Отечественной войны II степени.

### СЛУЧАЙНЫЙ ПАРТИЗАН, ИЛИ ПЯТЬ РАДОСТЕЙ ЛЕТЧИКА ВОЛОДИНА

Недавно мы с моим соавтором побывали в гостях у весьма заметного партизана из числа моих соратников — Павла Володина. Он принял нас радушно, накормил обедом, напоил чаем, мы делились новостями и, конечно же, вспоминали минувшие дни. Постепенно я подходил к интересующей меня теме. И наконец сказал:

— Донеслось до меня, Павел Никитич, что ты обижаешься: дескать, я, рассказывая о тебе и членах твоего экипажа в книге «Подпольный обком действует», допустил кое-какие неточности...

Володин хитро поглядел, покачал головой:

— Никогда на вас не обижался, Алексей Федорович, а сегодня могу, пожалуй, и обидеться. Раньше всегда называли Павликом, а теперь вдруг официально — Павел Никитич.

— Так ведь время-то идет. Был ты в тот далекий год комсомольцем, а сейчас, смотрю, дед. Что же до меня, я уже прадед, имею трех правнуков. Выходит, нам с тобой именоваться Павликами и Алешками поздновато. Однако ж, если выполнишь давнее свое обещание, я готов тебя не то что Павликом — Павлушенькой называть... Забыл, какое обещание? Что ж, напомню. Сразу после войны, когда мы еще только затевали книгу, я к тебе обратился: напиши подробно, как случилась с твоим самолетом катастрофа и как ты потом жил и воевал в партизанском лесу. Катастрофа-то произошла до меня, то есть до того времени, когда я пришел в отряд. Сам я ее не видел и, начав книгу, вынужден был расспрашивать свидетелей события. Вас ведь спасали хлопцы из отряда Балабая. Так?.. Вот он-то меня и уверил, что вы летели и грохнулись на самолете «ТБ-три», а на самом деле...

— На самом деле мы, как вы говорите, г р о х н у л и с ь на бомбардировщике «ЕР-два». Так ведь читателю это, Алексей Федорович, не так уж важно. Дальше вы в книге напечатали, что первую помощь мне оказал старичок, фельдшер погорельской больницы. А фельдшер-то был молоденький, он потом ушел в партизаны. Сережа Помаз — вот кто нас первый перевязал. Но ведь и это несущественно, стоит ли переделывать...

— Ну уж нет. Все, что возможно, необходимо уточнить. К тридцатилетию Победы готовится расширенное и исправленное издание нашей книги. Почему я говорю — нашей? Да потому что считаю «Подпольный обком действует» книгой всех активных партизан соединения. Ты бы знал, Павлик, сколько мне по моей просьбе и бойцы и командиры прислали писем, дневников, фотографий, документов. Без них пришлось бы трудно, просто ничего бы не вышло... А все же некоторые товарищи отмолчались. Кто по лени, кто по занятости, кто по скромности. Ты-то почему не написал, а, Павел Никитич?

Володин поморщился:

— Да ведь вы только что сами определили — книга активных партизан. Ко мне это не подходит. Я партизан случайный.

— Что-что? Как это понимать — случайный? Может, ты профессиональных знаешь партизан? Все мы стали партизанами по тяжелой необходимости, по одному тому, что фашисты оккупировали часть нашей родины...

— Это все так, разве я спорю. Вот только народ шел в отряды сознательно, каждый всей душой стремился, а мы четверо... мы просто упали к вам с неба, случайно остались живы, и посчастливилось нам попасть на отбитую партизанами у оккупантов землю.

Я усмехнулся:

— Заявлений вы действительно не подавали, проверки не проходили, а посему... Эх, Павлик, Павлик!

Володин нахмурился, потом вскочил, стал кипятиться, жестикулировать:

— Вы, Алексей Федорович, сказали... вот только что сказали, что с нашим самолетом произошла катастрофа. Но ведь это не так, не было катастрофы! В том-то и главное, что сознательно шли на гибель. Могли спастись на парашютах... Если бы кто-нибудь дал нам знать, что мы летим над партизанской зоной,— будьте уверены, я бы все сделал, чтобы посадить самолет хоть на поляне, хоть на просеке, возможность такая была. И мы бы свою машину отремонтировали и вернулись бы через линию фронта к себе на базу. И завтра же новое задание, новый бой... Но вместо этого я год киснул в партизанах, самый важный военный год... Ах, как я завидовал товарищам из нашего экипажа — тем, которых Балабай переправил на Большую землю!..

— Та-ак,— сказал я, разжигая в Володине пыл рассказчика.— Получается, что напрасно наградили тебя медалью партизана Отечественной войны первой степени...

— Не сидел сложа руки, вот и наградили. Но будь у меня хоть малейшая возможность, я бы на карачках переполз линию фронта, чтобы летать, снова летать, биться с врагом в воздухе. Это я умею. Я летчик, летчик по профессии и по призванию.

— И опять выходит, ты от нас отрекаешься.

— Вы шутите, Алексей Федорович? Да как я могу от вас отрекаться, если партизаны спасли меня от смерти, лечили, кормили, последним куском делились в страшную голодовку зимой сорок второго года! У меня и сейчас десятка друзей из вашего соединения... Но факт есть факт — бойцом я у вас не был, ни разу по врагу не выстрелил. Оставался летчиком и только как летчик был партизанам полезен.

— Что-то я в лесу тебя с крыльями не видел.

Володин бросил на меня гневный взгляд:

— Значит, вы, Алексей Федорович, души моей не понимали, моими глазами видеть отряд и партизанскую жизнь не хотели и не могли. Крыльев у меня действительно не было, но окрыленным я бывал. И радости испытывал. Свои, летные... При этом не скрываю — в отряде остался исключительно по причине тяжелого ранения, по крайней необходимости.

— То говорил — случайность, теперь говоришь — необходимость. Получается случайная необходимость, так, что ли?.. Вот что, Павлик. Утверждаешь, что я душу твою не понял, крыльев твоих не заметил, не видел партизан твоими глазами. Пусть я чего-то не понимаю — можешь ты мне объяснить? Твоими глазами я видеть, разумеется, не мог. Каждый человек видит по-своему. Так расскажи, наконец. Четверть века тебя прошу: расскажи, Павлик, что видел, что чувствовал — все подробности. Ведь такое, как с тобой и твоими ребятами, случилось единственный раз за всю историю авиации. Сам расскажи. Расскажи, Павлик, от души, все как было. Время есть, мы твою историю запишем.

Володин вздохнул, налил нам и себе чаю.

— Рассказать-то я готов, но при вас, Алексей Федорович, мне трудно. Как, например, вспоминать случаи, когда вы меня вызывали,

давали распоряжения? Говорить вам — о вас? В третьем лице? Вроде бы смешно.

— А что смешного? Называй хоть в третьем, хоть в четвертом, лишь бы все было правдой.

Володин подумал, что-то прикинул в уме:

— Тогда слушайте. Возвращаемся в то далекое время. Вы — уже немолодой командир партизанского соединения, я — спасенный партизанами летчик-комсомолец. Перед вами тянусь в струнку...

— Пусть так, договорились. Хотя я что-то не припоминаю, когда это ты особо тянулся. Давай начинай, мы тебя перебивать не станем.

Володин вздохнул, прокашлялся и вдруг повторил знаменитое гагаринское: «Поехали!» — из чего я заключил: возможно, когда б не война и все с ним происшедшее, он и сам охотно подался бы в космонавты.

### Говорит П. Н. Володин

Был ли я партизаном? Да, конечно же был! Вернее — стал им. Еще точнее — упал к партизанам. Дал команду:

— Бьемся!

Никто из членов экипажа команду не оспорил, хотя любой мог выпрыгнуть с парашютом.

Еще под Новозыбковым, когда зенитный снаряд запалил правый мотор... мы уже тогда по внутренней связи договорились, пришли к единому мнению: никаких попыток садиться или выбрасываться над территорией, занятой врагом. Если самолет не дотянет до фронта, последуем примеру Гастелло: найдем скопление противника, склад боеприпасов, казарму, стоянку танков или автомашин. Наша жизнь не должна пропасть зря. У нас четырнадцать баков с горючим. Взорвемся и оставим о себе память, уничтожим вместе с собой хотя бы сотню врагов...

Да, мы все вместе решились на верную гибель!

Я так понимаю — нужна чистая, полная, подробная правда. Одно дело общее мнение, общее решение. Но дошло до приказа — и я приказал не одному себе, но и троим другим молодым ребятам, которые только начали жить... я им приказал умереть, взорваться, ударить своей машиной, всей ее тяжестью, всем ее страшным пламенем по врагу.

Значит, была у нас слитная воля, общая лютая ненависть к фашистам и готовность, не оставляя боевого поста, погибнуть.

Мой приказ, моя команда — всего лишь точка отсчета. Каждый на своем месте узнал: жизни для себя больше нет. Секунда, две, три...

Я, командир корабля, за штурвалом; Георгий Рагозин, штурман, капитан по званию, — он все время намечал курс, склонялся над картой, выбирая путь покороче. Он справа, чуть ниже меня; под его ногами пуленепробиваемое стекло, сквозь которое Рагозин видел землю, раньше всех понял: гибель неизбежна — не дотянем. В своем отсеке — стрелок-радист Василий Максимов. Рация работает, он пытается найти в эфире далекий аэродром, доискаться оператора нашего авиаполка. Ключом выстукивает шифровку, что нырнули под сплошную облачность, что сбросили бомбы на скопление вражеских эшелонов у Новозыбкова, что зенитка нас подождла, что огнетушители пламя сбили, но черный дым тянется за нами, что левый мотор на пределе, что теряем высоту, что ищем цель для смерти, что цели нет, нет и нет — кругом леса, что прощайте, ребята, что привет друзьям и родным, что бьемся за родину, за победу...

В хвосте — башенный стрелок Виктор Рябов. Минуту назад был приказ командира смотреть небо — могут налететь истребители. Вце-



В последний человеческий миг все едино.  
Не вышло последнего мига. Явилось новое начало. Другой жизни...

\* \* \*

Как рассказать? Что важнее всего? Нас, членов экипажа, было четверо. И все четверо остались живы. Собраться бы вместе.

За столько лет всем собраться не удалось.

Встречаясь со мной, вы, Алексей Федорович, говорили:

— Меня в отряде еще не было. Когда и как ты падал, я не видел. Написано в книге — по официальным источникам, по рассказам очевидцев. Зачем тебе ждать удачный день? Всем четверым вам собраться трудно, послевоенная жизнь вас раскидала. Что толку, если и соберетесь? Каждый расскажет свое.

...Что ж, это верно.

Удивительная штука: и теперь (теперь, пожалуй, больше, чем раньше), вспоминая свое пребывание в отряде, в соединении, свое участие в боях, в долгих рейдах, я все время понимаю себя летчиком, командиром корабля. Я всем партизанам, кровным своим друзьям-побратимам, тем, кто меня вылечил, поставил на ноги, всю нашу совместную лесную жизнь видел был и нужен был именно как летчик.

К этому еще вернусь, попытаюсь разобраться.

Факты, однако, таковы (документально подтвержденные факты): с первого дня войны и до последнего я оставался летчиком. В радиogramмах, которые направлялись партизанам в Москву, я подписывался: летчик 420-го авиаполка Павел Володин.

А полк уже был переформирован. До последнего дня его существования я числился пропавшим без вести.

Но в душе-то ни минуты не считал себя пропавшим. Несколько секунд был погибающим, шел на смерть... Только несколько секунд. Потом какое-то время, может быть десять минут, может полчаса, был без сознания... Когда открыл глаза, сквозь кровавую завесу увидел метрах в десяти груды металлических обломков. Утерся рукавом комбинезона. Рядом стоит пожилая крестьянка, плачет. Спрашиваю:

— Где я, где мои товарищи? Тут немцы, да?

Ответа не услышал. Кровь набегала на глаза. Я достал финку, взрезал индивидуальный пакет, вытер глаза бинтом, стал заматывать голову. Смотрю — другая женщина. Тоже плачет. Говорю:

— Слезами горю не поможешь. Найдите кого-нибудь, приведите..

Она ушла. Я испугался — позовет фашистов. Кто тут может быть? Только эти гады... Мысль была неосознанная, торопливая. Четкое понимание явилось не сразу. Все-таки я вспомнил: до колокольни не дотянули. Заглох левый мотор, машина перестала повиноваться... Бьемся о деревья. Все! Ощутил удар — зрения нет, слуха нет, ничего нет...

А теперь? Что ж я наделал? Послал женщину за немцами...

...Года через два я встретился с конструктором, создателем этого бомбардировщика Ермолаевым:

— Владимир Григорьевич, как могло получиться, что меня выбросило сквозь стеклянный нос кабины, а я даже не разбил голову — только поцарапал?

Ермолаев ответить не смог.

Еще три года спустя, работая летчиком-испытателем в конструкторском бюро Антонова, я и его спросил:

— Олег Константинович, как это могло быть — самолет развалился, крылья отломались, моторы вылетели из гнезд, лопнул по всей длине фюзеляж, а люди, все четверо, остались живы?

Знаменитый конструктор только пожал плечами...



...Рассказываю бестолково — забегаю вперед, возвращаюсь. Иначе не получается. Уже больше десяти лет как бросил курить, а сейчас, видите, схватился за сигареты, смолю одну за другой...

...А что же те женщины, куда они девались? Я ничего не мог додумать до конца. Руки все делали сами: бинтовали голову, доставали пистолет, гранату — готовились к последнему бою. И вот на поляне легковая машина: чужие фуражки, чужие глаза, выстрелы. Машина сделала круг и, кренясь на крутом повороте, исчезла. Сейчас вернется. Притворюсь мертвым, пусть фрицы подойдут вплотную, пусть их соберется побольше — тогда выдерну чеку гранаты.

Долго никого не было.

Смотрю, пробежал, чуть прихрамывая, мой штурман Жорка Рагозин. Я его окликнул — он не ответил, на меня и не глянул. Выходит, примерещилось?

...Никто из ученых так и не объяснил, по каким физическим законам я, тело мое, голова выдержали такой страшный удар: меня выбросило вроде бы как снаряд... А другие? Рагозин был в той же стеклянной кабине, где и я, только чуть ниже. От удара должен был расплющиться. А я видел — куда-то бежал. Подумать только: не шел — бежал!

Это бред? Что бред? Женщины? Немецкая машина?

Я дышал бензиновой вонью. Комбинезон весь в бензине. Полопались баки, кругом разлился и разбрызгался бензин. Я достал из кармана спички. Пусть все вспыхнет, пусть я заживо сгорю — лишь бы не попасть в лапы врагов.

Спички не загорались — промокли в бензине, я не мог зажечь ни одной...

...Подъехала запряженная в телегу лошадь. На ней какие-то трое. Смеркалось. Молоденький паренек соскочил с телеги, подошел, посмотрел с испугом, заговорил быстро-быстро:

— Товарищ летчик... положите, товарищ летчик... положите лимонку и пистолет! Не бойтесь — я фельдшер... Вы не понимаете? Я фельдшер, моя фамилия Помаз, зовут Сергеем, я партизанский связной... Отдайте лимонку и пистолет, отдайте гранату и пистолет!

О партизанах до сих пор не думал. О партизанах я только и знал из речи Сталина 3 июля, из коротких сообщений Совинформбюро: там взорвали поезд, там захватили село, там освободили группу пленных, там уничтожили склад боеприпасов... Где-то там: в районе Гомеля, в районе Бобруйска, в районе Смоленска... А в каком я районе? Штурман Жорка Рагозин вел самолет к линии фронта. Я помнил, что мы сбросили бомбы на скопление эшелонов, что Жорка хороший штурман, на него можно положиться. На мне и без того достаточно: держать, как можно дольше держать нашу громадину в воздухе.

Последнее, что мне сказал Рагозин:

— До фронта километров семьдесят. Тяни, Паша, тяни до последнего.

А я говорил то же самое левому двигателю, просил, умолял:

— Держись, хоть сколько-нибудь держись! Потяни хотя бы до колокольни. Погибнем одновременно. Не сдыхай раньше меня!

Он не послушался, больше работать не захотел. И вот лесная поляна, приехали партизаны.

Сколько счастливых случайностей! В 1931 году в Душанбе, когда я подал заявление в летную школу, за день до экзаменов мы, семнадцатилетние мальчишки, купались в аэродромном хаузе — бассейне с густой, нагретой под жарким солнцем водой. Возились, хохота-

ли, боролись. Кто-то из сверстников стукнул меня пяткой. Попал в ухо. У меня лопнула барабанная перепонка. Я оглох на правое ухо. А предстояла медкомиссия. На две тысячи подавших заявления только сто двадцать мест... Я мечтал быть пилотом, мечтал учиться летать, строил планеры, работал мотористом. И вдруг — оглох на правое ухо. Один врач, другой, третий... Наконец ларинголог: «Не годен!» Помогла случайность. Председателем комиссии был мой знакомый. Я его когда-то спас от гибели. И он все сделал, чтобы меня зачислили. Потом ухо поправилось, я стал летчиком. Водил пассажирские самолеты Новосибирск — Москва...

Вот еще случай. 1939 год, лето. Лечу из Москвы в Новосибирск на «ПС-40». Это военная машина. В Испании ее называли «катюша». Механик — Георгий Щербов — кричит по внутренней связи:

— Командир! Бьет масло из-под плоскости!

Смотрю — на приборах норма. Развернулся в районе Раменского. Давление масла стало резко падать. Правый мотор выключил, на левом полетел со снижением на центральный аэродром. Зашел со стороны «Динамо». А тут ливневый дождь, гроза, нисходящие потоки, потеря высоты, связь только морзянкой (примут ли?). Резко теряю высоту — над стадионом «Динамо» высота всего метров двадцать, а еще ангары и надо перетянуть здание.

Сел на пузо. Обошлось счастливо. Только сел, подъезжает легковая машина. Валентина Степановна Гризодубова спрашивает:

— Что у вас?

Потом-то я понял: она как начальник международных линий и пытливый человек захотела узнать, чтобы учесть опыт, понять, какие в воздухе случаются беды. Я был до крайности раздражен.

Отвечаю:

— То же самое, что было и у вас.

Обиделась, села в машину и укатила.

Мы хоть и мало, но были знакомы. Я считался одним из опытных летчиков ГВФ на трассе Москва — Владивосток. Когда Гризодубова, Раскова и Осипенко ставили рекорд, непогода принудила их сесть в лесу. Сделав сложный маневр, летчица, не выпуская шасси, приземлилась на болоте. Их искали трое суток, я тоже искал. Тогда и познакомился... Конечно, напоминание было грубостью и бестактностью, это не в моих правилах. Потом себя ругал. И теперь ругаю.

В 1942 году, когда я вернулся из партизан, Гризодубова меня первая встретила. Командир авиаполка, а встретила как родного: расцеловала, повела в столовую, приказала выдать обмундирование...

...Но я о другом, о счастливых случайностях. Сколько их было и до войны, и в войну, и в послевоенные летные годы!

Могу рассказать о десятках, о сотнях счастливых случайностей.

Случайно я стал летчиком, случайно, вместо того чтобы взорваться, оказался у партизан...

\* \* \*

...Рядом с первым парнишкой появился второй, чем-то очень знакомый, в рубашке навыпуск, в галифе и сапогах, без шапки. Я бы сказал — родной брат моего стрелка-радиста Максимова, брат-близнец. Только в крестьянской одежде... У него губы дрожали, он заикался. Но не от страха — от радости, что увидел своего командира живым, способным держать в руках лимонку и пистолет. Он забрал у меня оружие и прошептал:

— Слушайте, командир, не волнуйтесь, мы в партизанской зоне. Сейчас отвезем вас в больницу. Вот только вытащим Рябова. Потерпи-

те минутку. У вас есть спички, товарищ командир? Там, в хвосте фюзеляжа, темно.

— Ты спятил! Одна искра — и все вспыхнет!

— Вас понял! — отозвался, как положено радисту, Максимов.

Вместе с фельдшером — партизанским связным они выволокли из развалин безжизненное тело Рябова и отнесли на телегу с сеном. Потом потащили меня, уложили рядышком.

Я подумал: «Только что сам хотел поджечь все, а сейчас испугался. Значит, жив и хочу жить... Кто хочет жить? Кто я теперь?»

До больницы ехали все метров семьсот. Нас везли медленно, как на кладбище. В больнице пусто и тихо, кроме нас — никого.

Когда меня снимали с телеги, я стонал. Было очень больно, хотелось кричать, выть. Хотелось, как мой левый мотор перед смертью, повторять только одно слово: брось, брось, брось! Но я уже знал: боль — это жизнь. Меня хотели уложить на стол. Я посмотрел на Рябова. Он был как мешок, глаза не открывались. Кто-то запалил каганец. Я закричал:

— Подальше от огня, я пропитан бензином!.. — Потом спокойно сказал: — Сперва осмотрите Витьку Рябова! — Будто они могли знать, что мой товарищ зовется Витькой. — Осторожней снимайте комбинезон. Наверное, у него все пропитано бензином...

Меня опустили на пол. Скрипнула дверь, вошел кто-то высокий, стройный, с красной звездой на пилотке, в затянутой ремнем военной гимнастерке, с маузером в деревянной колодке. Он наклонился, протянул мне руку:

— Командир перелюбского партизанского отряда Балабай.

Я приподнялся на локтях. Смотрю — мизинец моей левой руки висит на ниточке, капает кровь... Ладно, пусть капает.

Никогда не приходилось видеть партизанских командиров. Этот был еще совсем молодой, с юношеским румянцем на щеках. Скорей всего мой ровесник. Я пожал протянутую руку, постарался ответить как положено:

— Командир тяжелого бомбардировщика «ЕР-два» летчик Володин.

Сказал и соскользнул с локтя, стукнулся головой об пол. Раздался крик... Нет, это не я кричал. Это восторженно вопил Сережка Помаз, фельдшер:

— Живой, живой! Слышите, товарищи командиры, он живой и будет жить! Сердце стучит, пульс прекрасный. Перебит тазобедренный сустав, сотрясение мозга, задет позвоночник. Но ведь молодой, будет жить!..

— Не орите! — сказал я.

Мне казалось, немцы услышат — так он кричал. Кругом тишина. Непомерно густая тишина. Нет, были звуки. Ведь мы дышали, говорили, за окном бил копытом нетерпеливый командирский конь. И я стонал, все время тихонько стонал. Что же до немцев, они слышать ни криков, ни стонов не могли. В селе Погорельцы больница стояла на отшибе. А как же легковая машина? Подъезжала она к самолету, или это пригрезилось? Потом-то мне рассказали — партизаны выставили охрану. Как только появилась фашистская машина, открыли по ней огонь. Немцы развернулись и укатили. Боялись забираться в партизанскую зону...

...Я видел все в полутумане, огонь каганца был красным, острым, высоким. Комната черная, лица проступали пятнами, иногда отчетливо вспыхивали и снова расплывались. Путаница сна и яви, прерывистое сознание, прерывистая боль — в ноге, в руке, в груди. Голова еще жила грохотом полета, надрывным визгом левого мотора. Тишина сна-

ружи и шум внутри меня. Шум памяти. Я все еще летел. Первые впечатления были подобны сну... Улыбка Балабая, хлопочущая возле меня белая фигура санитарки, мой радист Максимов в домотканой рубахе... Не двойник и не близнец. Топчется возле Рябова, что-то говорит, я не слышу... Как же он все-таки обрядился в холщовую рубашку, когда, зачем? Комбинезон, гимнастерку, пилотку сбросил, а сапоги остались. Рубаха враспояску, но пистолет все равно виден. От этого я расхохотался. Громко. Сам испугался своего хохота. Но тут же окончательно решил: нет, не сплю! Во сне еще никто не хохотал. В бреду, бывает, смеются, но ведь сон не бред...

...Странная штука память — что-то копит, что-то отсеивает. Не всегда остается главное. Когда у меня явилось радостное сознание жизни? Точно не вспомню. Может, с момента прихода Балабая? Скорей всего так. Раньше долетали слова: партизаны, партизанская зона, партизанский связной. Но окончательно поверил, увидев, что командир подтянутый, деловитый, ясноглазый. Не боится, не таится...

Сомнение все-таки было. Помню, я спросил:

— Смеюсь — значит, живу, не сплю, правда?.. А где мой штурман Жорка Рагозин?.. Кто я — вы это понимаете?

Балабай усмехнулся. Это было хорошо. Спокойная, уверенная улыбка. В его отряде было всего двадцать восемь человек, а улыбка тянула на командира полка. Он и ответил соответственно:

— Как не знать, кто вы. Нашего полку прибыло. Приземлился самолет с Большой земли, посадку совершил благополучно: весь экипаж жив. Ваш штурман, поскольку понимает свои обязанности, разгружает с моими ребятами прибывшую машину... Ясно? Теперь мы вас уложим на стол, освидетельствуем...

Он шутил. Здоровый, крепкий, веселый человек. Наверное, хотел вселить в меня бодрость. А я все принимал всерьез. Что-то странное он говорил: «Самолет посадку совершил благополучно». Я же сам сквозь кровавую завесу видел: машина рассыпалась на куски — крылья отломались, врезались концами в два могучих ясеня. Фюзеляж по инерции выскочил вперед, из кабины, через ее стеклянное покрытие, мы с Жоркой Рагозиным были выброшены на поляну. А партизанский командир говорит «благополучно приземлились»... Не всегда можно взбодрить шуткой. Я еще был полусумасшедшим или полуспящим, шуток не принимал, хотел знать в точности. Но пока еще — темнота и неясность...

...Командир отряда Балабай, мой стрелок-радист Максимов и санитарка спустили на пол бесчувственного Рябова, меня осторожно подняли, стянули комбинезон, стянули левый унт, правый пришлось разрезать. Я так любил свои унты, в них мягко ногам, тепло... Санитарка перевязала мизинец, подложила под бинт щепочку — авось срастется. Ноги почувствовали холод. Фельдшер подозвал Балабая:

— Видите опухоль? Смотрите — идет вокруг голеностопного сустава. Крови нет, разрыва ткани нет — вернее всего вывих. Держите за плечи, я попробую потянуть, поставить на место...

...В глазах потемнело, от боли потерял сознание. Очнулся — нога в лубке, обмотана до колена бинтами. Голова перевязана, рука перевязана, лежу на сене в крестьянской повозке... Это я на ощупь определил, что перевязан, что укрыт тулупом... Темень, запах осенней листвы, мягкий стук конских копыт; когда колеса наезжают на корни деревьев, вспыхивает боль — в ноге, в руке, в груди. Кто-то меня везет, какой-то дядька. Ко мне доносится запах табачного дыма. Не махорки — хорошего табака. Вроде мой хозяин курит «Казбек». Я хотел заговорить, спросить, но впал в дремоту и полетел...

\* \* \*

Что-то вроде сказки или сна — я вернулся в небо.

Долго-долго, может больше года, буду видеть себя чуть не в каждом сне за штурвалом самолета.

Это было первый раз и точно как в жизни.

Летим на высоте в полторы тысячи метров. Так оно и было. Был и запах легкого табака — Жорка Рагозин курил «Казбек». Купол неба серо-синий, пока беззвездный. Ниже сплошная гладь облачности. На горизонте тонет багровое, разрезанное пополам солнце. Курс прямо на этот раскаленный бугор. Летим на запад, вернее на закат. Потому как запад и закат не одно и то же. Где-то под облаками цель.

Я рассказываю через тридцать лет — сплошная лирика, как сплошная облачность. Я во сне в партизанской повозке, на лесной партизанской тропе вспоминаю. Плохо вспоминаю, сонливо, прерывисто. А была реальность. С аэродрома наше звено поднялось с бомбовым грузом, чтобы сбросить его на железнодорожный узел близ Гомеля, на фашистские военные транспорты... Это не мое дело. Мое дело — держать курс, как велит мне штурман Георгий Рагозин. Штурманов собирают перед вылетом, им дают карты, им дают цель. Нас, летчиков, на штурманское совещание не зовут, чтобы мы не брали в свои руки инициативу: штурман отвечает за верность курса, за точность бомбометания. Дело летчика — командира корабля — идти по указанному штурманом курсу, чувствовать машину, руководить действиями всего экипажа...

Мы шли звеном — три тяжелых бомбардировщика. По условиям того времени самолеты между собой радиосвязи не имели, только со штабом. Ну и, конечно, внутренняя связь: со штурманом, стрелком-радистом и башенным стрелком-пулеметчиком; он в хвосте, в отдельной кабине, следит за воздухом, принимает бой с вражескими истребителями.

При подходе к цели — ее ищут штурманы — надо перейти в пике, прорезать облачность... Над облаками полушарие заходящего солнца. Ночью были бы видны раскаленные осколки зенитных снарядов, прорезающих облака. Это красиво, это страшно, однако зенитный огонь противника выдает цель бомбардировщику. Зенитные пушки защищают военные объекты и тем самым обнаруживают себя, дают ориентир... На фоне солнца раскаленные осколки незаметны: мы не знали, обстреливают ли нас.

Чистый купол неба, вражеских истребителей нет, внизу все серо. Куда мы летим? Не позавидуешь штурману... Следим за командиром звена. Пока еще видим друг друга...

...Незадолго до этого мои друзья-однополчане полетели на Берлин. Немцы были самоуверенно-беспечны. Геринг им обещал, что столица не подвергнется ударам с воздуха. Зенитки не стреляли. Берлин получил свою долю. Геринг получил свой позор... Командир полка мне сказал:

— Паша, следующий вылет на Берлин — твой. А сейчас слетай на Гомель.

Ординарное боевое задание. Все шло хорошо, нас не атаковали истребители, мы не видели зенитного огня. Облачность, облачность, облачность... Мы хорошо помнили: фашистские истребители прячутся в облаках и внезапно выныривают навстречу — ведут кратковременный бой и снова скрываются в серой мякоти...

...Наш командир звена вошел в пике и скрылся в облаках. Мы последовали за ним. Поплыли в верхней кромке облачной гущи. Отчетливо помню: все три наших бомбардировщика плыли, будто подводные

лодки. Стеклокабинные торчали, а сами самолеты, их крылья и фюзеляжи, их хвостовое оперение прятались в тумане. Ведь облака то же, что туман... Такое странное зрелище: плывущие над резко обозначенной гладью головы летчиков, только летчиков — штурманы, которые сидели чуть ниже, не знали, что мы видим друг друга. Кто-то должен был решиться нырнуть. Без этого не найти цель.

Рагозин сказал:

— Паша, расчеты показывают — мы отклонились от Гомеля. Нырять, будем переходить железную дорогу!

Ладно, переходжу на снижение. Толща облаков не менее трехсот метров. Земля стала видна метров с шестисот: водонапорная башня, полосы эшелонов... Вдруг удар в правое крыло. Башенный стрелок Витька Рябов орет в шлемофон:

— Горит правый мотор!

Рагозин сбросил бомбы. Я включил автоматические огнетушители. Пламя удалось сбить, но черный дым за нами тянулся.

Рагозин докладывает:

— Одна бомба поразила цистерну, другая паровоз, третья вагон с боеприпасами. Видишь дым справа, командир?.. Разворачивайся, поднимайся сколько можешь, пойдем к линии фронта.

Нашу многотонную громадину вынести в чистую надоблачную высь один двигатель не в силах. Тлеющий правый мотор еще какое-то время давал полезную тягу. Я вылез из туч, но с восьмисот метров полетел как на саночках с горки... Опять облака. Меня заносило вправо, машина просилась в штопор. Говорю штурману:

— Правый мотор сдох. Буду держаться до последнего. Ищи цель, Жорка. Бомбы все?

— Ты что, не видел взрывы?

— Видел. Спрашиваю — у нас бомбы все?

— Бомб у нас больше нет.

Я пока еще не приказывал. Спокойно сказал:

— Может, самим придется стать бомбой...

...Наш экипаж был сплоченным, слитным, дружным. На аэродроме Рагозин и я — штурман и командир — жили вместе в крохотной комнатке. Старшина Максимов и сержант Рябов ночевали в общежитии. Каждое утро мы сходились у своего корабля. Есть приказ на вылет, нет приказа — мы всегда у корабля: помогаем механикам или точим ляды, вспоминаем семьи, жизненные случаи, читаем вслух газеты. Все четверо стали друзьями у корабля. В воздухе мы со штурманом от радиста и башенного стрелка отделены металлическими стенками. Только телефонная связь. Но единство остается, дружба остается. Нам со штурманом по двадцать восемь лет, стрелкам по двадцать, но и они летчики.

...Незадолго до нашего вылета под Гомель был случай с таким же точно самолетом, как мой, с бомбардировщиком «ЕР-2», которым командовал Псарев. В кабину стал просачиваться дым. Плохо видно и трудно дышать. Под полом фюзеляжа множество труб. Из какой просачивается дым? Этого в воздухе не определишь... Летчик сделал крутой вираж, пошел к аэродрому, благополучно сел. Ищет своего штурмана:

— Василий, где ты, Вася?

Нет Васи, растаял в дыму. Так и не нашли Васю. Сидел рядом и умудрился исчезнуть.

Оказывается, как только задымилась, штурман Василий Лабонин решил спастись. Открыл люк и выпрыгнул с парашютом. Высокий, русоволосый, он опустился на нашей территории, повис на дереве.

Подъехал лесник.

— Дядя! — подозвал его Лабонин. — Помоги перерезать стропы. Я свой, я советский...

Но, между прочим, смахивает на немца. Лесник влез на дерево, перерезал стропы. А кругом уже народ. Схватили Васю. Прифронтовая полоса. Явный шпион. Едва не растерзали.

На аэродроме паника: пропал штурман, провалился в люк. Телефонные звонки, радиogramмы. Три дня искали. Нашли Васю. Всего в слезах, ископленного, измызганного...

Значит, не было коллектива, не было спайки...

...Когда я сказал «будем биться», знал, точно знал — никто не поднимет голоса против. Хотя у каждого парашют, каждый мог выпрыгнуть в немецкий плен...

На партизанской тропе в густом лесу я лежал на сене, вспоминал. Полусон, полупокрой, и вдруг на корневище дуба или сосны страшная встряска, страшная боль.

Поляна, костер, круг света. Лошадь останавливается, возчик спрыгивает на землю. Меня обступают люди. На другой повозке бесчувственный Рябов. Его привезли раньше. Еще раньше на лесную базу приехали Рагозин и Максимов. Они подошли ко мне. Осторожно, боясь, что рассыплюсь, целовали в обе щеки. Потом командир отряда Александр Петрович Балабай отвел их в сторону, а меня спросил:

— Говорить можешь?

Я кивнул.

Балабай сказал партизанам, всем, кто тут был:

— Встаньте кругом, смотрите, запоминайте: это командир нашего советского бомбардировщика. Поклонитесь ему, партизаны!

Партизаны стали кругом, поклонились. Почти все бородатые. В военной форме, кроме командира, не было ни одного. Но у всех на кепках, на фуражках, на шапках красноармейская звезда.

Меня мутило, я плакал и смеялся, а шевельнуться, приподняться силенок не имел.

У нас на всех четверых был в самолете один чемодан с НЗ — неприкосновенным запасом. В нем консервы, сгущенное молоко, галеты, сколько-то плиток шоколада, пачек пятьдесят папирос «Казбек»... Так вот почему я чувствовал запах хорошего табака. Мой возница Колька Дельнов курил папиросы из нашего чемодана.

— Можешь сказать речь? — спросил Балабай.

Мне стало весело. Полумертвый весельчак. Я улыбнулся, и все радостно расхохотались.

Я сказал, еле сдвинув полумертвые губы:

— Держитесь, ребята!

Вот и вся речь. И снова нас повезли. Впереди Рябова, за ним меня.

Я распрощался, глядя с завистью на вполне живых Максимова и Рагозина, расцеловался с ними и больше не увидел.

Нас с Витькой Рябовым повезли дальше, дальше, в Перелюбское лесничество...

\* \* \*

На лесном пригорке стояло три дома. Один жилой. В нем, будто и не было войны, лесник Максим Матвеевич Кожемяко, мужчина лет тридцати пяти. В тех же годах и жена, Валентина Денисовна. Встретили без восторгов, без лишнего разговоров. Поздоровались. Она убежала в хату, а он повел коня под уздцы к заколоченному дому. Двери забиты крест-накрест, окна закрыты ставнями, поверх ставен тоже забиты.

Предрассветная мгла, мелкий дождик. Лесник отогнул две широких доски, над которыми сени. Доски будто на петлях — не

скрипнули. Нас подхватили на руки — сперва Рябова, потом меня, — внесли через лаз в большую комнату. Две кровати, стол, горит каганец.

В комнате тепло, но воздух затхлый, в круглой казенной печи тлеют угли. Кто-то притащил набитые сеном матрацы и такие же сенные подушки. Нас уложили. Хозяйка принесла дымящуюся размятую картошку, села рядом, стала кормить с ложечки. От запаха картошки проснулся лютый голод, но есть было противно — не мог жевать, с трудом глотал. Мне поднесли полную кружку молока. Я пил с жадностью, как вдруг началась кровавая рвота. Кровь полилась струей. Я стал себе противен. Обвел глазами комнату — темно, душно.

Командир отряда Балабай, скрывая тревогу, зашептался с каким-то высоким юношей, потом с незнакомым мне кругленьким человеком. Хозяйка нашла тряпку, размазала по полу кровь. Балабай с деланной веселостью сказал:

— Вот этот, который помоложе, Толя Емельянов, наш отрядный фельдшер, а это директор пенькового завода Иван Иванович Черныш. — Потом подвел еще какого-то молодого: — Познакомьтесь — товарищ Киселев. Он будет снаружи, на охране... У вас с Рябовым одно дело — поправляться...

Снова у меня пошла горлом кровь. Когда перестала, я руками показал всем, чтобы отошли, и подманил Балабая:

— Бросьте нас к черту! На что мы вам сдались?.. Отряд маленький — столько народу ставите под удар. Рябов без чувств, весь переломан, я исхожу кровью...

Хотел потребовать: «Застрелите нас, застрелите!» Но Балабай оборвал:

— Очнись, Паша!

До меня дошло: он меня по имени назвал, чтобы возникло дружелюбие, чтобы вселить бодрость. Я не мог слушать. С головы до ног разлилась злость беспомощности и обреченности. Заорал как бешеный:

— Какой еще, к черту, Паша! Не Паша я, а погибший летчик! Понимаешь — погибший, размоленный!.. Командир ты или нянька? Ушел из лесу, обезглавил отряд!..

Ко мне подсел Толя Емельянов. Теплые руки, русское доброе лицо. Он осторожно стянул с меня гимнастерку и рубашку, стал ощущивать грудь, живот.

— Тут больно?.. А тут?..

— Ни черта не чувствую, всюду больно!

Не помню, как уснул. Пригрелся и провалился, открыл глаза на следующее утро. Ничего не понял, никого не увидел. Услышал хриплый стон, но даже не сообразил, кто стонет. Комнату сквозь узкие щели ставен прорезали лучи солнца... Вот когда родилась жизнь, родился восторг перед жизнью.

Откуда-то явилась лесничиха. Мягонькая, улыбчивая:

— Ой, товарищу летчик! Вы ж спали как святой. Це дуже добре. Помяните мое слово: день, другой день — и поднимитесь...

— А он? — Я кивнул в сторону Рябова.

— Вин? Так вин вже поснидал. Тилько я заявилась — вин исты просит. Мясца ему дала, молочка попил; це добрый казачина. Повернулся на бочок, пид голову кулачок, та и заснул.

В тот же день к нам заявили первые гости. И началось. Приходили депутаты из ближних и дальних партизанских отрядов. Все хотели знать: неужели правда, неужели упали и остались живы? Просили рассказывать, записывали за мной.

Спрашивали:

— А давно вы были в Москве?

— Где Сталин?



— Возьмут ли немцы Москву?  
 — Неужели мы бомбили Берлин?  
 — Сколько вы сделали бомбовылетов?  
 — Что с Красной Армией? Есть ли у нас танки, хватает ли? Сильны ли мы?

— Товарищи летчики, мы скоро месяц ничего не знаем. Нет радио. Расскажите... Вам трудно — отдохните... поешьте, попейте чайку, попейте молочка.

— Вы что, к нам летели, к партизанам?.. Просто упали? А нам все равно радость, что оказались среди нас, рассказываете...

Что такое партизаны и партизанская жизнь, я пока не знал. Мои новые товарищи и сами толком не знали. Всего дней десять как прошли следом за нашей армией наступающие фашистские войска. В леса не углублялись. Люди — те, что остались по указанию партии, — пропустили мимо себя гитлеровские дивизии. В селах и даже в райцентрах только-только устанавливался «новый порядок». На партизан немцы смотрели как на кучки окопавшихся в лесах, не успевших ударить коммунистов.

Зачем я об этом? История, всякого рода обобщения не мое дело. А настроение?

Вы понимаете, в первые дни я не мог определить, что на мою долю выпало — счастье или несчастье. Восторг сменялся тревогой, отовсюду пробирались к нам слухи и страхи: едут, собирают силы каратели — зондеркоманды, подготовленные как истребители партизан...

Рябов еще не мог подниматься, а мне сделали костыли, и я на пятый день стал сползать со своего лежбища, становился на здоровую ногу, скакал по комнате. Я уже ораторствовал, во мне кипели страсти, научился смеяться, научился думать вместе с партизанами, овладел партизанскими понятиями. Где во вражеском тылу фронт? Везде фронт. Вокруг каждого отряда, вокруг всей группы отрядов. Партизаны всегда в окружении. Завтра, сегодня, сейчас может возникнуть бой.

Проделав путь в шестьдесят километров, пришли в наше убежище трое из климовского отряда Орловской области.

Спрашиваю:

— Зачем вы, а, ребята? Нет у вас, что ли, своих раненых?

— Летчиков у нас нет.

— На кой леший вам сдались летчики?

— Э, не скажите. Построили бы аэродром, радировали бы на Большую землю: прилетайте к нам, привозите оружие, боеприпасы, одежду-обувку. Ведь и мы армия, только что в тылу врага... А еще бы лучше обзавестись собственным кукурузником. Вот бы наделали дел!

Пока что все это было пустым бодрячеством. И все-таки если настоящему еще не воевали, мелкие бои возникали чуть ли не ежедневно, нападали сами, огрызались...

Каждый вечер приходил Саша Балабай. Я уже знал — он директор перелюбской школы, остался в тылу врага и сколотил отряд по указанию райкома. Военных знаний не имеет, учится на практике.

— Слышь, — говорит он мне, — Паша. Вчера подбили трех мотоциклистов, казнили старосту-предателя... В разведку ходил сам. Ты представляешь, ха-ха, вижу, идут какие-то трое, спрятались в нужнике. Они меня, ха-ха, заперли снаружи. Я стал стрелять сквозь доски, сорвал с петель дверцу, залег за деревом, отстреливался минут десять, ушел перебежками...

Я ему в ответ:

— Ты хоть понимаешь, что делаешь? Хотя я и не строевик, но все ж таки военный. Сознавай: тебя убьют — обезглавят отряд...

— А меня, ха-ха, всего только слегка ранили. Пуля прошла навывлет. Вот здесь, у плеча. Толя Емельянов классно перевязал, пока что порядок...

...Бои, взрывы, ловля предателей, а мы днем, ночью — всегда в полутьме. Тоска. К нам ходят партизаны, пробираются сквозь лаз, а лесника посещают немцы, требуют дрова — готовятся зимовать в районном центре, в Корюковке. Я сам видел в щелку ставни, как подъезжали подводы во главе с унтером, видел, как угодливо кланялся лесник, зазывал в свой дом выпить, закусить...

Как это понимать? Где-то ведь есть у лесника свой семейный очаг: От хозяйки я слышал, что у них дети. Здесь детей не было. Казенный дом в лесу... Почему не уехали? Ведь могли эвакуироваться?

Я напрямик спросил Балабай насчет семьи Кожемяко. Он в ответ промямлил что-то неопределенное. Не доверяет, что ли? Или не очень верит леснику? Во мне ожила тревога. Не боязнь смерти, а боязнь неопытности этих людей. Их мало. Часто разбиваются на мелкие группы. Наша жизнь, их жизнь — что стоит хорошо вооруженным карателям разнести нас в клочья.

Наконец Балабай сказал:

— Не обижайся, Паша. Доверять-то я тебе доверяю, но систему партизанской организации... как я мог тебе, если ты из-за всякого пустяка впадал в отчаяние, раскрыть нашу конспиративную технику... Стал поспокойнее, теперь расскажу. Все продумано. Лесник и его жена в отряде не числятся. Они вроде нейтральные люди, чье дело — охрана леса: государственная должность и приверженность к природе. Нам, мол, безразлично, какое государство, чья власть, — мы слуги природы, деревьев и трав, беспартийные... Так они говорят наезжающим из Корюковки комендантским чинам... Между прочим, был я в областном отряде, говорил с секретарем обкома Николаем Никитичем Попудренко. Он посоветовал, и мы решили: тебя и Рябова вывезти подальше. Здесь слишком опасно. Я тебе еще не говорил — существует конный отряд Лошакова. Там дело поставлено крепче. Люди вооружены лучше. У них сотня конников, у них пулеметы.

Вот это так да! Существует, оказывается, какой-то подпольный обком, есть кавалерийская часть... Нам пока ничего об этом не говорили. Выходит, сил у партизан куда больше, чем я думал.

\* \* \*

Лошаковский конный отряд располагался в длинной конторе Шишковского лесничества. Там мы помылись, поменяли белье. Жить стали хорошо, в светлой комнате. Немцы и носа не совали. Мне принесли радиоприемничек «Колхозник», принесли аккумуляторы, натянули антенну. Я стал через наушники слушать Москву. Слушал и записывал сводки Совинформбюро. Лежал, но появилось дело. Ко мне приходили — я читал. Через меня шла информация в два отряда — в лошаковский и балабаевский.

7 ноября 1941 года, в день двадцатичетырехлетия Великого Октября, я записал речь главнокомандующего, которая передавалась с Красной площади, с парада войск. Вот когда началось ликование. Балабай с группой партизан объехал несколько сел, собирал митинги. Рассказывал, что Красная Армия жива, что Москва цела-целехонька.

Вечером у нас собрался за праздничным столом народ. Пристроили к столу и Витьку Рябова. Я гордо восседал на табурете. Угощение приготовили на славу — студень, жареное мясо, бутыль самогона и всякая закуска. Рябов ничего — Рябов научился есть, ел от пуза и выпил свое. Неплохо выпил. Я тоже хватанул стопку: поднял тост за быстрее наше приобщение к полноценной партизанской жизни...

Но стоило выпить — опять кровь горлом. Все испугались, а я уже привык. Врача не было. Я опытным путем установил — есть мне больше, чем двести граммов, за один присест нельзя. Из-за этого каждый час сосало под ложечкой.

...Прошло еще сколько-то дней — неожиданно-негаданно вечером возникла беспорядочная стрельба. Прибежал дневальный:

— В Шишковке финны-каратели. Идут в лес.

Лошаков дал команду:

— Вывозите летчиков!

Из нашего убежища было два выхода: один к лесу, другой на речку Ревну. Нас с Витькой посадили на подводку, лошадь пошла за кустами по берегу. Отъехав километра три, слышим — рвутся гранаты, видим — поднялось высокое пламя. Во все стороны скакали и дико ржали партизанские лошади.

И дом и конюшню каратели сожгли. Возвращаться некуда. Нас повезли в другой лес, я уже теперь не помню — в Рейментаровский, Холменский, Перелюбский. И я и Рябов были на положении инвалидов: нас оберегали, ни к чему не подпускали. Это было нестерпимо.

И вот однажды ночью тайно, из-под носа немецкой комендатуры партизанские разведчики привезли в лес главврача корюковской больницы доктора Безродного.

Рябову Безродный приказал как можно меньше двигаться. Осмотрев меня, сказал:

— У вас не вывих, а перелом. Кость ноги неправильно срослась. Но ходить понемногу можно. На носок ступать больно — ступайте на пятку. Опирайтесь на палку и постепенно приучайтесь двигаться. Теперь дальше. Сломанные ребра вытолкнули желудок в грудную полость. Ему там тесно. Потому-то вы и не можете нормально питаться. Ешьте понемногу, но чаще. Вот и все, что я могу определить и посоветовать.

...Рябова передали на иждивение батальона Николенко. А меня хитро пристроили: Лошаков, который стал к тому времени командиром разведвзвода при штабе объединенного отряда, по старой памяти включил меня в число своих бойцов. Почему я сказал, что хитро пристроил? Это не хитрость была, скорей всего жалость. Лошаков — человек грубоватый, молчаливый, но ничем никогда не показывал, что я его взводу в тягость. А так как разведчики располагались вблизи штабной землянки, штабная повариха Григорьевна, зная, что есть мне приходится чуточными порциями и уже через час меня мучит голод, подкармливала в неуточное время. И никто этого вроде не замечал. Стыдно и грустно было числиться, болтаться без дела. Но прошло время, и я стал разведчиком. И не простым. Меня вы, Алексей Федорович, поставили даже над Лошаковым...

Не помните? Это было много позднее, позднее и расскажу. А пока...

Разведчики — народ отчаянный, они выполняли задачи невероятной трудности — забирались в гущу противника, многие погибали. Оставшиеся в живых, возвратившись с задания, рассказывали о боевых эпизодах. О чем мог рассказывать я? О том, что с тоской смотрю на небо, что там моя жизнь, что вижу картины войны, непонятные моим товарищам? Пролетели «мессершмитты», «хейнкели», «рамы»... Ни разу я не видел, чтобы их преследовали наши ястребки. Мне, пилоту, это было мучительно больно, переживал в одиночку. Иногда делился с Рябовым. Но ведь Рябов всего башенный стрелок, проще говоря — пулеметчик, действующий в воздухе. Я-то понимал: фронт откатывается все дальше, фашисты наглеют.

...Вы спрашиваете, испытывал ли я хоть малые радости? Всякий удачный бой, удачно проведенная партизанская диверсия на железной дороге, налет на немецкую комендатуру — все, что радовало моих товарищей, радовало и меня, но... щемило сердце. Я остро завидовал штурману Рагозину и стрелку-радисту Максимову. Они перешли фронт, вернулись в армию. На что партизанам летчики? Пусть бы я выздоровел, окреп — конечно, я стал бы одним из рядовых партизан-бойцов. А в Красной Армии я бы сел за штурвал боевой машины.

Конечно, радостно было, что могу передвигаться. Нога утвердилась в кривом положении. Я ступал на пятку и все примерялся, смогу ли нажимать нужную педаль в самолете. Получалось, что смогу, вот и радовался.

Вторая радость была такая. Когда копали землянки, я тоже брал лопату. Стоял на одной ноге, опирался на винтовку... Как я был благодарен партизанам, простым бойцам, за то, что они делали вид, будто и я на что-то пригоден. Земля смерзлась, копать я не мог, но кое-как выбрасывать из котлована землю был способен. Вроде бы чайной ложкой песок из сахарницы...

Тут-то и наступила моя третья радость. Настоящая.

Меня вызвал комиссар объединенного отряда Яременко. В штабе зашел спор, как лучше маскироваться от авиации. Новые землянки сооружались на поляне. В густом лесу не было сил копать: мало что земля промерзла — приходилось рубить корни деревьев. А это трудно и вредно лесу.

— Что вы об этом думаете, товарищ Володин? — спросил комиссар.

Вот когда захлестнула радость: меня спрашивают, со мной советуются. Выходит, и я на что-то пригодился. Подумал и ответил как можно обстоятельнее, чуть только не лекцию прочитал:

— Приучайтесь, товарищи, смотреть с неба, то есть с воздуха. С птичьего полета земля видна как чертеж. Предлагаю ни в коем случае не разрешать прямые тропы. Нарочно протаптывайте на поляне кривую — изогнутую и петляющую дорогу, которая ничем не подозрительна. Это первое. А второе — не маскируйте землянки, не бросайте на крыши еловые ветки. От этого они становятся видны как прямоугольники. Маскировать надо всю площадь лагеря: рубите елочки, вмораживайте стойки и на землянках и на всей поляне. Сверху лагерь будет виден как молодой ельник!

Наконец-то я стал полезен как специалист, как летчик! От этого пустяка едва не прослезился: нет для души большей радости, чем чувство истинной пользы, чтобы твои хоть небольшие знания оказались бы ко времени и к делу.

Это было только начало.

В феврале 1942 года вы меня вызвали в штаб и дали прочитать радиограмму. У меня руки задрожали, подогнулись колени, чуть не упал. Требовалось подготовить аэродром для посадки тяжелого самолета. Справившись с волнением, я вскочил, вытянулся по стойке «смирно»:

— Готов хоть сейчас! Есть у меня на примете...

На меня косо посмотрели, вроде я псих или трепло:

— Что у вас может быть на примете? Подходящая посадочная площадка? Так ведь вы ж нигде не бывали, радиограмму видите впервые, ее только что расшифровали.

Пришлось объяснять:

— Я летчик. Был им и всегда остаюсь! Езжу, передвигаюсь с вами скоро пять месяцев. И каждый раз каждую поляну невольно оцениваю

с позиций возможности использовать ее для посадки и взлета тяжелой машины... Вот и сейчас. Мы ж три дня назад перебрались из Рейментаровских лесов в Елинские, и у деревни Мостки мне понравилась полянка...

Я и опомниться не успел — подали к штабу возок. Впервые меня усадили вместе с наиглавнейшими нашими командирами. Впереди верхом комвзвода разведки Лошаков, сзади бойцы охраны, они же разведчики. Часа через два добрались до покинутой людьми деревушки, за ней широкое поле. Командиры смотрят на меня, ждут.

— Ну как, товарищ Володин? Годится или не годится? Вся ответственность, имейте в виду, на вас!

За всю мою партизанскую жизнь впервые ко мне обращались с такой строгой официальнойностью. Не Паша, не Павлик — товарищ Володин. С инвалидами так не говорят. Значит, я уже не инвалид!

Разведчики столпились, слушают. Недоумевают: что за глупость такая, зачем нас сюда привезли? В дело пока были посвящены одни лишь командиры.

Я задумался: как быть, что делать? Ясно — сажать надо самолет с лыжами. А на таких гладких заснеженных полях нередко случается, что под общим покровом большие провалы, может получиться авария...

Прошу Лошакова дать команду своим людям пешком без лыж пройти по всему необходимому параметру: расчертить все поле своим ходом на двухметровые квадраты. Нелегкая работа, для человека непосвященного просто бессмысленная. Разведчики привыкли к боевым вылазкам, могли взорвать вражеский штаб, взять языка. Ночью, днем — в любых условиях. Тут была разведка особая, им непонятная. Но если в присутствии командира и комиссара дана такая команда — значит, нужно. И ребята пошли, расчертили поле, часа два потратили. Но, слава богу, ни один не провалился.

Снежным покровом я остался доволен. Глубина в среднем более полуметра, скрытых ям не осталось. Я записал координаты, и мы всей кавалькадой двинулись назад. После чего и была направлена в штаб Юго-Западного фронта радиограмма с условными обозначениями и точной обрисовкой местности. На этом документе я впервые поставил свою соответствующую подпись: «Летчик 420-го авиаполка Володин».

Подпись рядом с вашей, с командирской. Понимаете, как я в своих глазах вырос. Это, считайте, была четвертая моя радость.

Конечно, я надеялся, что штаб фронта сообщит командованию моего полка под Ивановом, что я у партизан. Напрасная надежда.

Важно другое — первый наш аэродром под деревушкой Мостки сработал. Спрыгнули парашютисты, мы получили мешки с боеприпасами, с разной снедью... Об этом уже писалось в вашей книге, не хочу повторяться. И о том, как на следующем разведанном и подготовленном нами с Лошаковым аэродроме в гуще лесов в разгар знаменитого мартовского боя были выброшены ящики с оружием, тоже у вас в книге написано. Мы с Лошаковым и его разведвзводом подготовили с февраля по ноябрь 1942 года пять аэродромов. Я научился ездить верхом. Для меня немаловажная победа над собственной немощью. Вы представляете — правая искалеченная нога хоть и вдевалась в стремя, но упиралась носком сапога в брюхо коня. Конь этот сигнал понять не мог, оглядывался. Ничего, привык мой сивка, приспособился.

Да, подготовили пять аэродромов, но самолеты не садились. А я все мечтал о возвращении в родную часть. Не болтал об этом, чтобы партизанам не казалось, что хочу их бросить. Но Лошакова искать и строить аэродромы понемногу приучал и увлекал. Надо было подго-

товить себе заместителя, способного разобраться, какие нужны условия для создания взлетно-посадочной площадки. Наука не очень сложная, но ответственность и понимание необходимы. Иначе — беда: сесть еще самолет сможет, а сумеет ли подняться...

\* \* \*

...Теперь с волнением приступаю к главному моему партизанскому делу, к главной радости, когда от усталости и бессонницы умирал, но и на смерть не имел права, когда нельзя было показать, что жизни во мне давно нет, а есть натянутая струна, вернее того — железный штырь, который от головы шел к ногам и держал мое хилое тело. Я с коня почти не слезал, боялся, что не смогу обратно вскарабкаться. Мне мою порцию пищи подавали, и я не спешившись торопливо глотал, запивал из горлышка фляги горячей водой.

Произошло это в Клетнянских лесах Орловской области, в партизанской вотчине. Тут мы жили свободно, заняли несколько деревень, однако штаб соединения располагался глубоко в лесу.

7 ноября, в день двадцать пятой годовщины Великого Октября, когда во всех подразделениях проходили праздничные собрания и во всех окружающих деревнях и селах народ, живя одной жизнью с партизанами, проводил демонстрации, украшал сельсоветы, правления колхозов да и просто избы кумачовыми полотнищами, меня в этот праздник неожиданно вызвали в штаб соединения.

Об этом надо подробней.

Утро мы начали тем, что пошли в баню. А пока мылись-купались, всю нашу одежду санчасть пропаривала в специальных железных бочках. И тут такая вышла штукавина — трудно поверить. С наступлением холодов я разжился у начхоза Капранова удивительно красивым полушубком. Легкий, с высоким воротником, с белой оторочкой. Хоть и был он немецкого происхождения, но все ж таки не серо-зеленая шинель. Мне все завидовали. Одного не понимали — как могу терпеть: в меху завелось такое количество насекомых, что и житья не стало. И вот решаюсь, кидаю вместе с вещами партизан в железную пропарочную бочку и свой полушубок... Побанились, начинаем вынимать из бочки каждый свое. Вася говорит — это моя гимнастерка, Коля — это мое галифе, Ваня — это мое белье, Петя — это моя шапка. А полушубка нет как нет. Отбросили в сторону какую-то мокрую рукавичку — никто и внимания не обратил. Но когда все вытаскивали, а полушубка не нашли, я, грешным делом, подумал: кто-то слямзил. Все клянутся, что не брали, что какие тут могут быть шутки. У тебя; Павел Никитич, скорей всего никогда никакого полушубка и не было. Но шутки шутками, а чудес ведь на свете не бывает. Стали обследовать, что за рукавичка. Тут только и поняли — это и есть мой полушубок. Единственно потому и сообразили, что металлические пуговицы налезли друг на друга в одну строчку. Обнаружили мы и рукава, и оторочку, и воротник. Но годился полушубок разве что на куклу. Скорей всего это был синтетический полушубок, мы о таких и не слыхивали.

Хохот, смех, а меня в эту самую минуту вызывают в штаб. Капранов дает мне черную эсэсовскую шинель — ничего лучшего не нашел.

И вот в таком виде заявляюсь в штаб. Меня хмуро оглядели. Потеха: дело оказалось огромной важности, сверхсекретное дело, а пришлось доверять «эсэсовцу». Я принялся рассказывать о полушубке — никто не рассмеялся. Мне говорят:

— Поступила радиограмма. Но не от штаба фронта — прямо из Москвы, из Центрального штаба партизанского движения. Создан

специализированный авиаполк для регулярной... слушайте внимательно — именно для регулярной и постоянной связи с партизанами. Полк получил самолеты типа «ЛИ-два». Они будут летать с посадкой, возить нам оружие и боеприпасы, забирать от нас тяжелораненых. Командует полком Валентина Гризодубова. Знаете такую?

Я кивнул. От волнения слова не мог произнести.

— Имейте в виду, товарищ Володин, аэродром должен быть сооружен по всем правилам и для длительного пользования. С этого часа вы назначаетесь на должность коменданта аэродрома. В помощь вам придется разведзвод во главе с Лошаковым. Ознакомьтесь с радиограммой и приступайте к делу. Разработайте совместно с начальником штаба соединения Рвановым оперативный план действий. Можете требовать себе в помощь любое количество бойцов. Найдите способ сохранить все в глубочайшей тайне...

Комендант аэродрома! Обычно эту должность занимают летчики и штурманы, снятые по нездоровью или по дисциплинарным причинам непригодные к работе в воздухе. Получил бы я такой приказ в гражданском воздушном флоте или в авиационном полку — было бы горько и обидно. А сейчас я ликовал. Во мне явились силы, я, как бы это ни смешно выглядело со стороны, стал мощным. Мощные мощи!

Мы незамедлительно уселись с Рвановым и Лошаковым за стол в специально отведенной нам просторной землянке. Точнейшим образом определились на карте. Стали вызывать людей, назначать бригадиров, инструктировать. Мы создали десять бригад по тридцать бойцов в каждой. Всю окружающую местность Лошаков и я исследовали доскональнейшим образом. Выбрали лесную поляну километрах в семи от села Николаевка и примерно на таком же расстоянии от другого села — Каталины. Подходы трудные, лес густой, высокий. Однако ничего лучше не было.

И вот начались работы. Во всех селах продолжалась праздничная гулянка. Начхозу Капранову, известному своей скаредностью, был отдан приказ не жалеть спирта — подбрасывать в те села, где гуляют. Надо было отвлечь посторонний народ. Он, конечно, не посторонний — наш, советский. Но ведь враг не дремлет, и среди своих попадаются сволочи. Секретная операция такого масштаба проводилась впервые. Триста партизан были мобилизованы, и каждый должен был молчать, и каждому сказали — никаких отлучек, никто не смеет выходить за огороженные пределы. Всяду были расставлены часовые — не пропускали ни туда, ни оттуда. Работа велась только ночью. На счастье, все эти три ночи светила круглая луна.

А какие такие работы, почему так много трудностей?

Осень выдалась холодная, уже выпал снежок — легкая пороша. Самолет на лыжах сесть не сможет. Садиться надо с колесным шасси. Было бы это поле вспахано и проборонено, было б оно засеяно — делать бы почти ничего не пришлось. Однако крестьяне для немцев не старались — большие земельные участки общим трудом не обрабатывались. Тем более такие, что отстояли вдалеке, на лесных угодьях.

Лесное поле! Тут, несомненно, гремели бои. Поперек извивалась глубокая траншея — ее надо было завалить землей и уплотнить. Было множество одиночных окопчиков: из них когда-то красноармейцы забрасывали связками гранат фашистские танки. Эти окопчики тоже надо было закопать. Посреди поля шагах в десяти друг от друга росли шесть высоченных сосен. Их пришлось спилить. Корни вылезали на поверхность, горбили землю, переплетались... Пни надо было выкорчевать. Наши минеры предложили свои услуги. Но бесшумных взрывов не бывает. Тракторов у нас не было, не было и стальных тросов и хороших железных крюков тоже не было...

Я носился на своем коньке всюду, двоился и троился в собственных глазах. Бедный мой сивка, он ведь не собирався улететь на Большую землю и не понимал, с какой такой стати в ночную пору его гоняют туда-сюда почти без остановки. Не мог он понять и того, откуда столько сил у его хилого наездника.

Бойцы-партизаны — это ведь в большинстве рабочий люд: лесники, плотники, механики. Да и колхозники к тому времени едва ли не все были не только пахарями — знали и земледельческие орудия, владели тем или иным мастерством... Был изобретен способ корчевки пней. Подводили канаты под корни, под каждый корень по нескольку пеньковых канатов с лямками, как у бурлаков. Впрягались человек по двадцать. Но вот беда — все надо было делать втихую, нельзя было даже «Дубинушку» затянуть. Кто-то командовал, подавал сигналы рукой:

— Взяли! Еще раз! Сама пошла!

...В пилотской кабине, когда мы шли на самосожжение, мысли мои текли многослойно, с невероятной скоростью. Тут напряжение было иным, но не меньшим. Тут был восторг, упоение созидательным трудом: скорее, скорее, скорее!

Все триста партизан работали не смыкая глаз. Триста бойцов, дело которых стрелять, уничтожать врага, превратились в землекопостроителей. На их лицах я видел надежду и мечту. Право же, иногда казалось — все готовится к полету, все бы охотно улетели в Москву.

В соседних с нами отрядах орловских партизан уже садились самолеты, но только малютки «У-2». Они на бреющем крались над лесами в ночную пору: риску много, толку чуть.

Эта моя площадка, мой аэродром, не только для меня был экзаменом, но и первым испытанием для экипажа тяжелого самолета. Все первое!

10 ноября к вечеру я послал связного в штаб соединения с письменным рапортом: «Аэродром для приема самолетов «ЛИ-2» готов. Везите сухие дрова, керосин или спирт, командуйте сигнальчиков и ракетчиков. Радируйте в штаб Гризодубовой полную готовность и условные сигналы: восемь костров по продольной линии и один с правой стороны. Общая форма разложенных костров — буква „г“».

Обычно костры для посадки выкладываются в форме буквы «т». В изменении формы был важный секрет. Если нашелся доносчик и сообщил фашистам о партизанском аэродроме, оккупанты разложат для поимки советского самолета традиционный общепринятый сигнал посадки «т».

Когда кончилась работа, я чувствовал себя живой тряпкой. Даже есть не мог. Смертельно боялся, что после такого сверхнапряжения опять начну рвать кровью. Знал, что надо лечь отдохнуть, хоть сколько-нибудь поспать... Поехал в Николаевку — навстречу мне тянутся возки с дровами. Подумать только — в лес с дровами. У нас были распилены, растасканы по сторонам бревна спиленных сосен, смолистые пни, смолистые ветви. Но мы боялись — сырые дрова мгновенно не загорятся. Вот мы и потребовали из штаба расколотые, давно подсушенные поленья.

В Николаевке я кое-как сполз со своего конька и ввалился в избу. Упал в наваленное на пол сено. Полно людей — раненые на носилках, с костылями, с палками. Вижу, и все начальство прибыло. От меня требовали рапорта по всей форме, а я от усталости не мог шевельнуть языком. Оказывается, уже получена была радиограмма Гризодубовой, что самолет вылетел...

Все-таки кое-как справился, доложил и повалился в сено. Надеялся уснуть, но какой уж там сон. Я был как пружина, слышал свою



кровь, удары сердца. У меня все болело, и в то же время я не знал, что такое боль. Кругом храпели. Уже началась ночь. В щели ставен проникал лунный свет. Вдруг хозяйка сползла с печи и тихо проговорила:

— Гудэ.

Молодая хозяйка, а может быть, старая, а может, девчонка.

— Гудэ, гудэ, гудэ!

Я вскочил. Оказался на ногах. Оказался способным двигаться, оказался верхом на сивке. Он стучал подкованными копытами по смерзшейся дороге, а я слышал, определенно слышал нарастающий гул самолета... «Гудэ, гудэ, гудэ!» Я пришпорил своего сивку. Кажется, и он понял, в чем дело,— поскакал как молоденький. А впереди огромная замерзшая лужа. Его ноги разъехались, он упал и вскочил... Я лежу на спине. Меня переполняет боль, но ничего не болит — уже больше года без боли не живу... Я знаю, был лунный свет, была яркая ночь. Лежу лицом кверху — черно. Почему черно? Секунд через пять сообразил: это пузо моего сивки. Сивка стоит надо мной. Послушный, все понимающий сивка. Я слышу — самолет приглушил моторы, слышу — пошел на снижение. Слышу, но пока не вижу. Как я вскарабкался на сивку, сам не пойму. Мы поскакали дальше. И вот он, аэродром. Меня хотят обогнать запряженные парой лошадей сани, в них все главные командиры и начальники. Я ставлю сивку поперек пути, ору во всю мочь:

— Стойте! На аэродром без моего разрешения не въезжать!

— Пропусти!

— Пока самолет не сядет, не пропущу!

Командую командирами, и они меня слушаются. Сполз с сивки и вижу — тяжелый «ЛИ-2» зажег фары, снова сделал круг, приземляется прямо на костры, разбрасывает горящие дрова. Опираясь на винтовку, я шкандыбаю к самолету. Захожу со стороны хвоста. Сразу не сообразил, что летчик моторы не выключил. Ветер от пропеллеров сбивает с меня шапку с красной партизанской ленточкой. Я забыл, что на мне эсэсовская шинель. Открывается дверца пилота. На меня наставлено два пистолетных дула:

— Кто такие?

Кричу:

— Свои, федоровцы, спускайте лестницу!

Сбежались партизаны, сотни партизан. Машут шапками, вопят во весь голос:

— Мы федоровцы, федоровцы, федоровцы!

Охрипшим голосом кричу:

— Да спускайте ж лестницу!

И тут только понимаю, почему медлит второй пилот. Отбрасываю винтовку, скидываю с себя распроклятую эсэсовскую шинель, остаюсь в старом, измятом, застиранном военном кителе с голубыми петлицами. Пилот смотрит с недоумением, но лестницу спускает, протягивает мне руку, но в другой руке еще держит пистолет.

Кое-как вскарабкавшись в пилотскую кабину, спрашиваю:

— Где командир корабля?

Опираясь на стенки, цепляясь за раму дверцы, я вхожу в фюзеляж. За тринадцать месяцев впервые электрическое освещение, горящие лампочки... Навстречу идет летчик. Я его сразу узнал. Это был мой старый довоенный товарищ Степан Васильченко. Я упал ему на грудь:

— Степа, Степушка!

Я его расцеловал, он слегка меня отодвинул, смотрит:

— Ты? Паша? Откуда?

— Ты что ж, не читал радиogramму? Там же моя фамилия, это ж я, тот самый Володин.

А он смотрит, смотрит:

— Восстал из мертвых?!

Тогда я кричу:

— Время, идет время! Открывайте пассажирскую дверцу!

Васильченко приказал радисту отвалить дверцу, опустить трап. Партизаны ввалились гурьбой, принялись вытаскивать ящики с пулеметами, автоматами, патронами, мешки с толом. А Васильченко все смотрит:

— Как же так? Ты ведь разбился, погиб...

Тут через переднюю дверцу входят партизанские командиры.

— Ладно, Степа,— говорю я,— потом. Сейчас познакомься: наш командир Алексей Федорович Федоров, комиссар Дружинин, начальник штаба Рванов...

В самолет вносили раненых. Набилась коробочка. Тут Васильченко с беспокойством огляделся:

— Сколько людей полетит?

Я раньше в штабе говорил, что если «ЛИ-2», можно погрузить двадцать человек. Все двадцать были уже здесь. Кто-то лежал, кто-то сидел. Пора взлетать. Васильченко отвел меня в сторону:

— Скажи командиру — нельзя двадцать. Моторы слабоваты. Шестнадцать возьму. Больше — опасно. Взлет трудный.

Это был страшный момент. Я боялся — начнутся крики, споры, слезы, паника.

Я подошел, все объяснил. Тогда Федоров, то есть вы, Алексей Федорович, подняли руку:

— Внимание! Машина способна поднять только шестнадцать человек. Вот вы, вы и вы — останьтесь! Заберут следующим рейсом!

Никто, ни один человек из названных вами не заплакал, не вздохнул, не матюгнулся. Спокойно вышли из машины... Конечно же, не спокойно — воображаю, что творилось у них в душе. Но я и сам... если б мне приказали остаться, козырнул бы и сказал: «Есть остаться!»

Козырнуть бы я не мог, шапку унесло ветром.

Так и улетел в Москву без шапки.

\* \* \*

Перед прилетом в Москву я двое суток не спал. Как перелетали через линию фронта, не видел, не помню. Из самолета на аэродроме меня вынесли. Костыля не было, винтовки не было. Смотрю, бежит Валентина Степановна Гризодубова — командир полка.

— Да поцелуйте же меня! — смеется.

А я смеяться не могу, не шевелится лицо. Кое-как поцеловал. Она говорит:

— Где ваша семья? Куда послать телеграмму?

Летчики понесли меня в столовую. Пахнет едой, белые скатерти. У меня туман в голове, есть не могу, не хочу. Говорю:

— Потом, потом.

Летчики сгрудились вокруг меня:

— Павел Никитич, прежде всего объясните, как лучше заходить, откуда? Объясните обстановку. Плотность грунта и так далее...

Вопросов были десятки. Я отвечал. Понимал — это необходимо. Видел, как смеются и радуются летчики: теперь они больше не боялись летать к партизанам. Забегаю вперед: следующей ночью, на 11 ноября, в наше партизанское соединение вылетело с посадкой во-

семь тяжелых бомбардировщиков. Повезли боеприпасы, взрывчатку, одежду, медикаменты. Вывезли более восьмидесяти раненых.

А что со мной? Прежде всего в баню. Валентина Степановна приказала:

— Подберите ему командирскую форму.

Она меня зачислила на довольствие, назначила (пока условно) командиром корабля. Понимала, конечно, что мне нужно раньше в госпиталь, но по ее приказу были выданы хлебные и прочие талоны, я получил удостоверение.

— Отдохните два дня и отправляйтесь к командиру дивизии. Скажите ему... Да я и сама похлопочу: вы нам нужны, нашему полку,— единственный летчик, так хорошо знающий партизанскую обстановку.

Самое трудное было найти мне сапог на правую ногу, ни один не хотел налезать. Когда сапог с помощью друзей удалось натянуть, я отправился в Москву, доложил по начальству...

После госпиталя меня к Гризодубовой не отправили. Оставили при штабе Главного маршала авиации.

...Однажды, пролетая над Черниговом, уже освобожденным от немцев, я сбросил вымпел, где просил передать привет всем партизанам-черниговцам от первого партизанского летчика Володина.

Что еще рассказать? Могу много, очень много. И о боевых вылетах и о послевоенной работе летчиком-испытателем. Но это сюда уже не относится...

А теперь, Алексей Федорович, решайте сами: был я партизаном или не был, достоин носить медаль как боевую награду? Говорил и говорю: всю войну я оставался летчиком, летчиком, всегда летчиком!

## РУССКАЯ ПОХОДКА

Эту историю надо, пожалуй, начать с рассказа... об иглоках, о самых обыкновенных швейных иглах.

В юности после демобилизации из Красной Армии я поступил помощником крепильщика на строительство туннеля железной дороги Мерефа — Херсон и поселился в местечке Мандриковка. Так вот в этой самой Мандриковке месяца три кряду происходила со мной какая-то чертовщина. Пойду с ребятами и девушками гулять, и обязательно глаз мой заметит: что-то на дороге поблескивает. Наклонюсь — иголка. Был случай — даже темной ночью при свете керосинового фонаря я нашел крошечную иголочку. Не попадались мне ни ржавые, ни поломанные иглы — только новые. Когда об этом рассказывал, меня поднимали на смех: мол, сам разбрасываю, сам же, на радость девушкам, подбираю. Я обижался, мне иголки попадались не только на улицах, во дворах и в огородах, в клубе и на клубной сцене.

Наконец это наваждение прекратилось. Со временем я заподозрил, что меня кто-то из ребят разыгрывал: подбрасывал иголки, чтобы посмеяться — вот, мол, чем этот хлопец добивается внимания к своей особе.

Так или иначе, с иглоками кончилось. Зато появился другой поток совпадений, который ни я, ни кто-либо иной подстроить не мог. Случись мне заглядеться на девушку и попросить с ней познакомиться, она протягивала руку и представлялась:

— Дуся.

Некоторые назывались полным именем — Евдокия, некоторые по старинке — Авдотья. Кончилось тем, что в одну из Евдокий я по уши влюбился, женился, и мы прожили с ней сорок семь лет.

А лет шесть назад, когда я уже работал в Киеве и занимал, как и ныне, пост министра социального обеспечения, мне, по странному стечению обстоятельств, встретились два ничуть не близких человека, каждый из которых — один прозвищем, другой фамилией — был связан с рогатым парнокопытным, то бишь с козлом. После чего я и сам принялся разыскивать Козловых, Козленко, Козинцевых, Козловских... Но это уже были не совпадения, а планомерные действия...

Пожалуй, я далеко забрел. Первая встреча, с которой и началась «козлиная» история, произошла в ФРГ, точнее говоря — в Кёльне.

Да, так вот, в старинном немецком городе Кёльне я пробыл десять дней. Не на экскурсию приехал, не любоваться величественным собором и Рейном, а по делу. Видел из окна гостиничного номера живую зеленовато-серую реку, ярко раскрашенные моторные суда, тяжело груженные баржи, но так и не удосужился спуститься к пристани, прокатиться на прогулочном парходике. Время, может быть, для этого и нашлось бы, но, правду говоря, мы, советские люди, чувствовали себя в этой стране и в этом городе неуютно, пожалуй даже скованно. При том, что, как говорил молодой коридорный гостиницы, быстрый и ясноглазый Ганс, а может, и Мориц, все было «о'кей!». Этот легкокрылый курносый купидон являлся по звонку, кланялся, расшаркивался и лопотал что-то по-английски, по-французски, по-итальянски. Мы его просили принести газированной воды, или кофе, или завтрак, обращаясь к нему по-русски, и... он нас понимал, не переспрашивая выполнял наши заказы бессловесно и быстро. Входя в номер, он внимательно оглядывал и оценивал все, что попадало в поле его зрения: раскрытый чемодан, деловые бумаги на столе, пузырек с лекарством, измятые и брошенные в корзину бумажные салфетки. Похоже было — он настороженно приюхивается, чем мы, советские, пахнем... Меня он особо отметил, то и дело останавливая взгляд на моем лице, на золотых звездах, прикрепленных к пиджаку: казалось, он вот-вот что-то мне скажет. Нет, так он ни разу и не заговорил. Я ему тоже не задавал вопросов.

В ФРГ я в тот раз попал впервые. Шел август 1968 года. Отношения между нашими странами были прохладными, однако к делу это не относилось. Министры социального обеспечения Российской Федерации, Белоруссии и Украины прибыли для участия в конференции МАСО, что означает Международная ассоциация социального обеспечения. Члены ассоциации — представители многих государств мира — могли бы с таким же успехом встретиться в Москве, в Праге, в Париже или в Нью-Йорке. На этот раз местом встречи был выбран Кёльн, вследствие чего я как представитель Украины сюда и прибыл.

Конференция происходила в актовом зале Кёльнского университета, расположенного в предместье города в просторном здании современной архитектуры. Работа начиналась в десять утра и кончалась в семь вечера, с двухчасовым перерывом на обед. Помимо того, после двух-трех докладов делали короткий перерыв, и многонациональная пестрая толпа делегатов растекалась по широкому светлым холлам, где вдоль стен расположились стойки, а возле них круглые столики. Можно было перекусить — взять бутерброд, порцию сосисок, выпить кофе, кружку пива, стакан кока-колы, рюмку коньяка.

Я не собираюсь рассказывать, какие проблемы и какие дебаты возникали на конференции. Это тема особая. Сейчас о другом, об удивительной встрече, о коротком и малоприятном разговоре с человеком, чем-то похожим на коридорного. Да, да, на того расторопного служащего гостиницы, который вызвал во мне ощущение показной учтивости, смешанной с деловитым любопытством. Утром, выходя из лифта, я с этим коридорным столкнулся. Он поклонился и прово-

для меня взглядом с многозначительной улыбкой: будто сегодня что-то должно случиться. Я дернул плечом и сказал себе: «Чепуха какая-то!»

Однако и, впрямь случилось.

Утром я поздно проснулся, не успел позавтракать, а мой организм приучен так: только поднимусь, после бритья и душа надо плотно поесть... Первый доклад очень уж затянулся. На счастье, после него объявили перерыв. Я поторопился захватить в холле столик. Кельнер принес по моей просьбе двойную порцию сосисок, кофе... Только я взялся за вилку и нож, кто-то пододвигает стул и по-русски спрашивает:

— Вы не возражаете?

Отвечаю:

— Пристраивайтесь, о чем разговор.

А сам занимаюсь сосисками. Решил, что кто-то из наших, советских. Но подошедший как-то слишком торжественно произносит:

— Здравствуйте, Алексей Федорович!

С членами наших делегаций я здоровался утром, вместе выходили из отеля, усаживались в автобус. Поднимаю голову.

— Здравствуйте,— отвечаю,— если не шутите.

И тут только понимаю — это чужой, определенно чужой. Непохоже, что репортер — не видно фотоаппарата, блокнота. Однако нет в петлице пиджака и карточки с обозначением принадлежности к той или иной делегации. Одет в синий костюм средневропейского образца. Вообще ничем не примечательный человек. Довольно плотный, среднего роста, немного курносое лицо, никаких национальных признаков не имеет: русский, немец, швед, кто его знает! Помню только, сразу же мне кинулось в голову, что этот незнакомец смахивает на коридорного гостиницы, хотя тому вряд ли больше двадцати лет, а этому далеко за пятьдесят. Сходства определенного нет, но что-то проскальзывает... Думаю: ладно, пока помолчу. Незнакомец сделал заказ, потом наклонился и негромко с ясной улыбкой проговорил:

— Давненько мы с вами, Алексей Федорович, не виделись. Лет двадцать пять... Точно — двадцать пять лет и три месяца.

— Как вы сказали?

Я нарочно спросил. Все слышал, но захотелось подсчитать: двадцать пять лет и три месяца... Получается, если этот дядька не брешет, виделись мы с ним в мае 1943 года, когда наше партизанское соединение обосновалось в Боровом. Бойцов к тому времени насчитывалось у нас около трех тысяч. Разве каждого упомнишь... Может, этот тип в плен попал, а потом не вернулся на родину... Одного такого я встретил во Франции и еще одного в Бельгии. Но те были из соседних отрядов...

Ладно. Продолжаю как ни в чем не бывало уплетать за обе щеки свои сосиски, смотрю равнодушно. Он во весь рот улыбается. Улыбка приятная, располагающая. Говорит:

— Я вас сразу узнал. Вы мало изменились. Да и как не узнать своего командира — сурового, но всегда справедливого...

Я на него косо глянул: ишь ты, «сурового и справедливого». Говорит как пишет. Жалко, нет рядом никого из наших — вот бы послушали. Прошел индус в белых штанах, за ним смуглый алжирец, а этот, который сидел против меня, что-то в моем взгляде подметил. И хоть старался быть естественным, улыбку с его лица смыло.

— Могу,— говорит,— назвать вам батальонных командиров: Балицкий, Николенко, Кравченко, Лысенко... Начальник штаба соединения, среднего роста шатен,— Дмитрий Иванович Рванов. Ваш заме-

ститель по разведке — Солоид. Всех этих людей и десятки других будто сейчас вижу перед собой...

Резануло выражение «среднего роста шатен», будто примета из досье. Я глотнул кофе, вытер рот салфеткой. Он ждет, как откликнусь.

Отвечаю спокойно:

— А что особенного? Фамилии и внешний облик этих партизанских командиров легко найти в моей книге. Она, кстати, издавалась и на немецком. Замечу, что Кравченко в Боровом не было. Вы... если действительно партизанили с нами, скажите попросту: кем были, в каком подразделении. Назовитесь. Есть же у вас имя, фамилия...

Опять он принялся улыбаться:

— Вы правы, Алексей Федорович. Но... видите ли... имя и фамилия того времени ничего не значат. Николай Иванов, Василий Петров, Мыкола Иваненко, Василь Петренко... По роду службы нам подбирали псевдонимы обыденные и распространенные. Догадываетесь? Я был у вас, если так можно выразиться, представителем абвера...

У меня дух перехватило. Провокация? Этот тип ищет скандала? Ждет, что взвобьюсь, прогоню, наору, влеплю пощечину? Конечно, внутренне я взъярился, но твердо решил: черта с два ты меня доведешь, радости тебе не доставлю. Улыбаешься, могу и я улыбнуться!

Говорю ровным голосом, хотя вилку и нож сжимаю как боевое оружие:

— Понятно... Подошли, чтобы похвастаться: дескать, не всех, кого к нам немецкая разведка засылала, мы выловили. Что ж, вполне допустимо... Ну а теперь... Дальше-то что? Зачем вам эта комедия понадобилась?

Он прижал руку к груди и заговорил быстро-быстро:

— Поверьте, не комедия... Я подошел... Я надеялся. Помню вас очень хорошо. И своих, то есть ваших, боевых товарищей... Вы можете подумать, что я сейчас в тех же целях... Нет-нет, с этим давно покончено. Я частное лицо... А в то время, в те два месяца у вас я, сообщая своему командованию о партизанских силах, всегда преувеличивал вашу мощь... Не в этом дело, этого я себе в заслугу не ставлю. Умоляю выслушать. Я был русским комсомольцем, учился в саратовской девятилетке... Мой отец немец, владелец дома и яблоневого сада на окраине города Энгельса... В двадцать девятом году, когда кулаки... когда зажиточные немцы выезжали в фатерланд, мой отец... Это было глупо—и он сам и его отец, мой дед, родились в России... Я ехать не хотел, но был несовершеннолетним, не посмел послушаться родительской воли. Мы поселились под Гамбургом, натерпелись нужды, я работал на заводе, вступил в юнгштурм, а в тридцать третьем году, когда Гитлер...

Слишком уж он горячился. Я его излишества остановил:

— Пожалуй, хватит, давняя песня... Мы ее слышали от тех, кому не повезло, кого мы разоблачили... Под угрозой концлагеря вы изменили свои убеждения? Потом спецкурсы или разведшкола? Потом вас заслали в наше соединение... Так?

Он напрягся, посмотрел прямо в глаза и сказал твердо:

— Ошибаетесь. Убеждения мои остались при мне: своей комсомольской юности я не изменил!

— Тогда почему ж вы не пришли ко мне или к комиссару?

— О нет! Это означало расстрел.

— Могли и повесить,—сказал я.

— Да,—согласился неизвестный.—Так бы оно и получилось.

Потому-то я и пошел другим путем — стал у вас хорошим пулеметчиком... С первого дня прихода Гитлера к власти я возненавидел штурмовиков, гестаповцев, эсэсовцев... Когда был у вас... им отомстил... в бою под Скрыгаловом.

Я отвернулся к подошедшему кельнеру, стал рассчитывать. А неизвестный продолжал:

— ..после скрыгаловской операции меня представили к ордену... Это... я... хотел... сказать...

Он протянул мне руку. Я руки не заметил. Лицо его передернулось. Мелькнула мысль: вдруг все, что он рассказал, правда? Превозможно недоверие. Я сухо кивнул, и он было повернулся уходить, но что-то вспомнил и сказал как-то уж слишком открыто, не боясь, что кельнер тоже может знать русский язык:

— Фамилия ни к чему. Так. Но запомните прозвище. Пожалуйста. Мне будет приятно, если ваши и мои боевые товарищи расскажут о моем подвиге. Партизаны прозвали меня Козел. Это было не обидно, только смешно.

И он ушел. Как вдруг возвращается и почти весело говорит:

— Обратите внимание на мою походку. Никогда не мог понять. Инструктор на курсах то и дело повторял: «Вглядывайтесь, учитесь, подражайте этому парню: у него русская походка. Это много значит. Очень!»

Он все еще надеялся, что я им заинтересуюсь, и добавил:

— Мы с женой своего единственного сына научили говорить по-русски...

Раздался звонок. Я вместе со всеми пошел в актальный зал. А этот, который назвался Козлом, повернулся в противоположную сторону, к выходу. Я невольно обернулся и увидел то, чего я до сих пор объяснить себе не могу: у него действительно была русская походка. Не датская, не французская, не английская, не немецкая — настоящая русская свободная, размашистая походка.

Позднее я подумал, что это ерунда — никакой русской походки не существует. А вслед затем подумал: может, мать его русская? Ах, да не все ли равно! Жалкий, никчемный человек! Заняв свое место в зале и приладив наушники, я стал прилежно слушать очередного оратора.

Больше я этого человека с «русской походкой» не видел.

Между прочим, в оставшиеся до конца конференции два дня наш гостиничный коридорный, встречаясь со мной, делал вид, что меня не замечает. Если я на него смотрел, он круто поворачивался или принимался читать одно из многочисленных объявлений. А я все больше утверждался в мысли, что коридорный похож на Козла, чем-то неуловимо похож. Может быть, Козленок?

\* \* \*

Долго я никому о кельнской встрече не рассказывал. Не очень мне нравилось собственное поведение. Надо было бы сразу этого типа отшить: «Сделайте милость, отойдите или, по крайней мере, замолчите!» Нет, резкость в таких случаях неуместна, с упрямыми «Козлами» особенно...

Спустя год был у меня случай на аэродроме в Риме. Только я вышел из самолета, ко мне поспешил сержант полиции в полной форме. Крепко сбитый, широкоплечий. Отдал честь и попросил разрешения обратиться... Я был гостем итальянских партизан, прилетел с группой товарищей и переводчиком — Анатолием Алексеевичем Крыловым. Увидев сержанта, Анатолий встревожился. Оказа-

лось же вот что. Отец этого полицейского, рядовой солдат-кавалерист, при наступлении на Сталино попал в переделку. Их эскадрон наши минометчики сильно потрепали, его конь был убит, а сам Миколино Капрони остался на поле боя со сломанной ногой.

— Вы понимаете, синьор, мой отец не успел вовремя спрыгнуть, конь упал на него, сломал ему ногу...

Сержант обращался ко мне, стараясь говорить как можно громче, я из-за этого плохо слышал переводчика. Вытащив бумажник, сержант показал мне фотографию молодого мужчины:

— Это мой отец Миколино, а я—его сын Бьянконе. Мы оба Капрони, но я сержант полиции, да еще столичной, а мой отец был простым крестьянином, его взяли по мобилизации... После того, что с ним случилось, он остался в степи и ему удалось кое-как выбраться из-под лошадиной туши. Он отполз в кусты. Следом за нашими кавалеристами пошли немецкие танки, потом наступила тишина. Мой отец Миколино старался не стонать: надеялся, что за ним вернутся наши. Я хочу сказать, что он боялся попасть в немецкий госпиталь... Если бы о нем вспомнил командир эскадрона и послал людей на его поиски, то есть если бы его подобрала свои, они бы его направили в итальянский госпиталь. К фрицам мой отец не хотел, там бы ему было плохо. Уже темнело, когда пришли две крестьянки—одна молодая, другая постарше. С большими во-от такими ножами. Вы меня понимаете, синьор? Мой отец Миколино, увидев ножи, поднял руки и назвал коммунистом из Генуи... Он им соврал, синьор, чтобы они к нему лучше отнеслись. Сказал, что, если попадет в гестапо, ему конец, в немецком госпитале без гестапо не обойдешься. Мой бедный отец Миколино Капрони коммунистом не был, но фашистом он тоже не был. Простой крестьянин из пригорода, он выращивал розы на продажу. До последнего дня, до самой мобилизации занимался этим делом и знать не хотел никаких партий...

Анатолий еле успевал повторять по-русски все, что говорил сержант. Он не хотел его перебивать. Видел, с каким вниманием мы слушаем. И все-таки пришлось сержанта остановить, иначе рассказу не было бы конца. Я попросил сказать, что сделали с его отцом женщины, вооруженные ножами. Он расхохотался:

— Они этими ножами рубили кусты, чтобы набрать себе дров. А когда услышали слово «коммунист» (мой отец Миколино тыкал себя в грудь пальцем, все время повторял: «Коммунист, коммунист, коммунист...»), женщины отнесли его в свой дом, спрятали в подвале. Они только и поняли, что он итальянский коммунист и боится гестапо. Эти крестьянки прятали моего отца больше года, кормили, поили, приводили к нему фельдшера, меняли повязки, мыли за ним... В деревне о нем знали несколько человек, никто его немцам не выдал. Все считали отца коммунистом. Партизан в том месте не было, но через год пришли русские войска, и тогда эти женщины передали моего отца военным и он как пленный был отправлен под Новосибирск. Вот смотрите, тут у меня записано: Катарина и Мария Головка, а место, где они жили, называлось Х у т о р... Не надо смеяться, синьор. Мой отец три года назад умер. Перед смертью он повторял много раз: «Бьянконе, это были святые женщины, молись о Катарине и Марии, сделай все, чтобы их найти,—они меня спасли, они меня с риском для жизни прятали, потому что считали коммунистом. Передай им, что, вернувшись домой, я вступил в Коммунистическую партию Италии. Пригласи их. Помни: Катарина и Мария. Мать и дочь из деревни Хутор под городом Сталино».



Я попросил переводчика сказать, что слово «хутор» не название, это всего лишь определение того, что деревня маленькая. Сержант кивнул и ответил, что и другие русские, с которыми он говорил, давали точно такое объяснение.

— Но поймите, сеньор, отец другого адреса не помнил. Он твердил одно только название: Хутор. Вы знаете город Сталино? От него километров двадцать... Неужели так трудно отыскать? Я же называю фамилию и два имени — Катарина и Мария, и название места. Мы хотим их пригласить, вся моя семья, мы о них молимся и молимся, чтобы они приехали к нам, погостили у моря. Наша деревня стоит на берегу, у нас много винограда и вина, я отпрошусь в отпуск, буду их всюду возить, показывать наш цветущий край. Мы люди небогатые, но возьмем на себя оплату дороги и в нашем доме отведем лучшую комнату... Деревня Хутор под Сталино. Вы меня понимаете, сеньор?

Я сказал, что понимаю, и обещал сделать все, чтобы найти этих женщин.

— Можно ведь это сделать через полицию, сеньор. Наша полиция всегда отыщет любого человека...

— У нас милиция тоже этим занимается,— поспешил я уверить молодого сержанта.— Я непременно выполню обещание.

Мы обменялись адресами и распрощались, довольные друг другом. Однако он шел за нами и все говорил, говорил:

— Как только увижу кого-нибудь из России, я каждого прощу. Потому что меня перед смертью заклинал мой отец Миколино Капрони: «Найди во что бы то ни стало этих добрых женщин». Он мне сказал: «Не забывай, сынок, что мы Капрони. И я, и твой дед, и твой прадед — все мы Капрони и должны быть настойчивы и упрямы в достижении цели». Я молюсь за своего отца, чтобы ему было хорошо на небесах. И я, так же как все Капрони, молюсь за Катарину и Марию... Да, сеньор, мой отец вступил в компартию, но это не помешало ему остаться до конца жизни добрым католиком, в этом он тоже оставался Капрони.

\* \* \*

По возвращении из Италии я, конечно, сделал попытку найти с помощью милиции Екатерину Головку, у которой есть дочь Мария. В донецких хуторах таких обнаружилось девять. Все их адреса я переслал в Рим, после чего Бьянконе Капрони сообщил мне, что всем послал письма, но ответы пока получил только от трех семей, которые отца его не спасали. Сержант Капрони умолял меня продолжать поиски.

Тут кто-то объяснил мне, что фамилия Капрони происходит от слова «козел». Стало понятно, почему римский полицейский говорил о настойчивости и упрямстве всех Капрони.

Невольно вспомнился другой, кельнский Козел. Правду говоря, хоть я никому о нем не рассказывал, забыть эту встречу не мог.

Первое, что приходило на память: странность, ненужность разговора. Зачем он ко мне подошел? Неужели не было у него цели? В это не верилось. Не верилось теперь и в то, что он хотел меня раздражить, спровоцировать. Было, конечно, обидно, что партизанская контрразведка его проворонила, но ведь и наши разведчики проникали не то что во фронтовые подразделения фашистов, были такие, которые благополучно возвращались из самой ставки Гитлера. Вот только никто и никогда не переходил на сторону врага...

А Козел? Тут другое дело. Если он и правда родился в России, если был комсомольцем, если идеи коммунизма жили в нем с детства...

Вспомнилось, что коридорный гостиницы стал меня избегать. Вроде бы в чем-то разочаровался. Воображение рисовало: в то утро он меня проводил загадочным взглядом, ожидая, чего добьется его отец, встретившись с бывшим партизанским командиром. Может быть, отец ему рассказывал, как его насильно завербовала немецкая разведка и впоследствии забросила в наше соединение, а он, продолжая чувствовать себя комсомольцем, обманул фашистское начальство и гордился этим... Потом отец ему рассказал, как в холле Кёльнского университета протянул мне руку и... рука его повисла — я не пожелал отвечать на приветствие, смотрел презрительно, слова цедил сквозь зубы. Обидно...

Да, пожалуй, действительно так: Козел и Козленок. Эта моя догадка подтверждалась тем, что коридорный, хоть никогда и не произнес ни слова по-русски, понимал нас и выполнял охотно и быстро все, о чем мы его просили. Помните, я говорил — он вроде бы принохивался, чем мы, советские, пахнем. Разве нельзя предположить, что мы в нем вызвали повышенный интерес именно тем, что и отец его и дед родились в России, что там родина... Скорее всего сын первым узнал, кто я есть, и рассказал отцу, а тот пошел на заседание конференции и отыскал меня... Одно оставалось непонятным: почему он скрывал, что знает русский язык. Но и этому впоследствии нашлось объяснение, сведущие люди мне рассказали: выходцы из России и их потомки считаются немцами второго сорта. А их не так уж мало, они образуют негласное землячество. Разумеется, реваншистские агрессивные круги пытаются использовать их в своих целях, но это им далеко не всегда удается.

Так постепенно я пришел к мысли, что напрасно оттолкнул Козла и Козленка, вполне возможно, они были искренни. С той поры я стал расспрашивать своих боевых друзей, бывших партизан нашего соединения, обо всех Козловых, Козленко, Козачинских — о тех, кого сам не помнил. Был у нас начштаба одного из отрядов, смелый и находчивый партизан Василий Козлов. Подозревать его в шпионаже можно бы с таким же основанием, как и меня самого. Был Николай Козлюченко — его после тяжелого ранения отправили на Большую землю в партизанский госпиталь. Был парень, фамилию которого не помню. Этого прозвали Козлом за то, что росла у него длинная и узкая борода, сам же он гордился ею, всем говорил, что похож на поэта Некрасова, и при всяком удобном случае декламировал поэму «Кому на Руси жить хорошо».

Разные товарищи по-разному относились к моему рассказу о встрече в Кёльне. Но все без исключения поначалу настаивали на провокации, иначе и быть не может! Или попытка влезть в доверие. И все же, подумав, соглашались: может, и правда сдает человека тоска по родине. И то, что его насильно, под угрозой заключения в концлагерь сделали шпионом, опять же не исключено. Старались мне товарищи помочь и отыскать партизана с кличкой Козел. Вот, к примеру, начальник милиции города Ровно Федор Быков, участник операции под Скрыгаловом, — он тогда был у нас взводным в батальоне Балицкого, — клятвенно меня уверял, что после окончания боя встретился с неким Козлом, в котором местные жители признали полицаю, а он взял его под защиту, потому как видел в бою на стороне партизан. Позднее тот Козел, фамилия которого так и осталась неизвестной, исчез. Получалось нечто весьма неопределенное. Что же до внешности быковского Козла, он по описанию ничем не был

схож с тем, который подошел ко мне на конференции МАСО в Кёльнском университете.

...Летом 1971 года я ездил в Чернигов. Меня соблазнил прокатиться на моторной лодке начальник областной рыбоохраны Павел Казимирович Ракита. Славно мы провели время. И покатались и ушицы сварили на костре. Павел Казимирович, бывший наш партизан, был пулеметчиком в разведвзводе. Как и всегда, конечно, потекли воспоминания о бранных наших делах, об эпизодах смешных и страшных. По ходу рассказов Ракита упомянул о скрыгаловской операции, в которой самолично участвовал. Я не преминул описать ему историю, случившуюся со мной в Кёльне. Спросил:

— Может, ты, Павел Казимирович, слышал о парне с прозвищем Козел?

Он не сразу откликнулся, пошевелил хворостиной уголь в костре, помедлил, как-то неопределенно усмехнулся и только тогда заговорил:

— Короткое время я не то чтобы знал, а непосредственно соприкасался. Потому как именно в скрыгаловской операции ко мне представили вторым номером новичка. Помните, под Боровым мы понабирали в соединение всякий народ — и местных, и приматов, и окруженцев. Попал тогда в хозроту парень годов что-то около тридцати. Пробыл там с неделю, может и поболее, прошел проверку. А так как, по его рассказам, в Красной Армии он служил пулеметчиком, его на этом испытывали, и подтвердилось: свободно управляется и со станком и с «дегтярем». Случилось к тому времени, что у меня приболел мой второй номер Иван Кузя. И прикрепляют до меня этого самого из хозроты. Я смотрю — вроде бы парень ничего, хотя и не особо отесанный да и не дуже торопкий. Курносая ряшка: жрать да спать.

— А фамилия?

— Вы ж меня о прозвище спрашивали, а не о фамилии. Прозвище, то бишь кличка, это уж точно — Козел. Имя тоже помню — Мыкола.

— Может, Петренко?

— Ну как тут вспомнить, Алексей Федорович, двадцать пять лет прошло. Может, и Петренко.

— А не Иваненко? Походка вразвалочку...

— Точно! Выходит, и вы его припомнили?.. Тогда будем считать по-вашему, пусть будет Иваненко. Кликали же его Козлом.

— Как же ты не удержал в памяти фамилию своего напарника? Худенький, чернявый?

— Так ведь я ж на него анкеты не заполнял. И всего-то он со мной ходил не более десяти дней. Только не худенький, не чернявый. В хозроту если тощий попадал, за неделю отъедался. Что же до масти — скорее он был сивенький, голубые глазки... Вы вот все перебиваете. Лучше я буду вам рассказывать, а вопросы оставим до конца собеседования. Такой был порядок в партизанах, верно? На всех учениях и политзанятиях, чтобы не было сумятицы, вопросы в конце.

— Что было, то было, — согласился я и невольно улыбнулся. — Тогда рассказывай. Только чтобы без вранья. Идет?

— Эх, Алексей Федорович, — сказал Ракита с укоризной. — Вы ж для истории спрашиваете, для книги? Зачем же я буду врать, когда правда получается хуже всякой брехни, а смех хуже, чем слезы. Я в тот раз со смеху чуть не погиб. Вот ведь как бывает в жизни при исторических обстоятельствах. Теперь слушайте дальше все, как оно было по порядку. Вызывает до себя начштаба соединения нашего Антона... Что значит, какого Антона? Теперь я вас уличаю, что вы не помните командира разведвзвода при штабе... Правильно, Антон Сева-

стьянович Сидорченко! Так вот ему начальник штаба Дмитрий Иванович Рванов ставит задачу. Дескать, по агентурным данным, в Скрыгалов прибыло эсэсовское пополнение — зондеркоманда «десять-а», о которой известно, что она славится зверствами. Общепризнанные каратели наивысшей классификации. Вот кому надо делом показать, что есть партизанская сила и хитрость. Дальше так. Антон собирает нас, боевых своих разведчиков, и разъясняет это дело. По условию главные силы вступят позднее, а нашему взводу предписывается зондеров раздразнить, чтобы они себя обнаружили. Пока что известно одно: прибывшее пополнение расположилось в двухэтажном кирпичном здании школы, где активно отдыхает с выпивкой и песнями. Согласно плану штаба, мы должны подобраться по-пластунски с разных сторон, бесшумно снять охранение, но только, боже сохрани, языка не брать, потому как сразу станет понятно, что происходила боевая разведка. Нет, мы своими небольшими силами, разбившись на группы, подымаем шум. Одна группа забрасывает термитными шашками окна школы и вызывает пожар, чтобы эти зондеры повыскакивали и показали свою вооруженность и выучку. Когда выскочат, другие группы должны дать огонька, пострелять из автоматов, пустить мину из ротного миномета, дать две-три пулеметные очереди и по сигналу ракеты смываться. А когда они будут праздновать победу и решат, что партизаны в страхе перед их мощью от штурма отказались, вступят наши ударные силы: батальоны Балицкого и Николенко. Антон нас специально предупредил, чтобы не задерживались и не путались под ногами.

Рассказывая, Павел Казимирович поглядывал на меня и как-то странно похохатывал.

Говорю:

— Чего смеешься? Задача как задача.

— Так вы ж, Алексей Федорович, главного пока не знаете. Мы сейчас на мирной природе, когда от смеха ничего случиться не может. А в тот раз... Я, значит, с моим напарником подполз по-за кусточками на необходимое расстояние, поставил «дегтяря» на ножки, залег. Рядом со мной этот самый новичок, мой, стало быть, второй номер Мыкола Иваненко...

— Петренко,— поправляю я Ракиту.

— Пусть Петренко, но мне он был известен как Козел. Опять перебиваете. Штука-то ведь вышла слишком серьезная именно потому, что смешная... Так вот — школа видна, плац перед ней виден, на плацу пусто. И вдруг появляется одна живность, а за ней другая. И... начался у меня приступ. До того стало невмоготу, что я рот зажал рукой: хохот разбирает, нет сил удержаться. Идут в нашу сторону козел с бородой и козленок, который возле него прыгает. Обыкновенное дело — мирная скотина. Козленок резвится, а козел... нагнул рогатую голову и прямым ходом на Мыколу.

Я не удержался, снова перебил Ракиту:

— Насколько я помню, домашний скот по ночам спит.

— Так ведь не ночь, не ночь — сумерки... Мы ждем, что сейчас наши ребята забросят в окна термитные шашки — запалят школу, и нам надо будет допустить, чтобы выбежали эсэсовцы, и дать по ним очередь, а на меня вопреки дисциплине напал хохот, потому как козел — вы понимаете? — идет на Козла. Я умом соображал, что ужас и глупость. Там в окнах эти в черных мундирах, и их даже видно: дышат, сволочи, свежим воздухом, опираются локтями на подоконники и дышат, а я себе рот зажимаю обеими руками — вот-вот прысну... Тут как раз летят в окна термитные шашки и сразу же начинается пожар. Я уже не хохочу, но все равно меня грубо отталкивает

Мыкола, хватается за ручки пулемета и, как только объявляются на плацу и строятся черные мундиры, нажимает гашетку и тра-та-та длинную очередь. А те выволакивают «универсал» и миномет, занимают позицию... Куда тот козел с козленком подевались, я не знаю. Тут взвивается зеленая ракета, мы обязаны отступить, и я уже не шепчу, кричу: «Мыкола, давай ходу!» Как раз! Мой Мыкола, забыв все на свете, ставит второй диск, ждет... И он правильно ждет, потому как пожар все пуще и выбегают на плац обезумевшие со страху зондеры из знаменитой части «десять-а». Загораживают толпой свой пулемет, чем пользуется Мыкола и снова дает длинную очередь, и снова, и снова... Я его, Алексей Федорович, за ноги оттащил вместе с «дегтярем». Я ему потом такую выволочку устроил... Но герой, факт, что герой... Что же до меня, признаюсь, оказался не на высоте. Так ведь стихийное явление. Против чоха, когда нет сил удержаться, имеется давнее средство — надо пальцем нажать на верхнюю губу. А если дурацкий хохот нападёт, получается вроде временного помешательства, и рецепта нема...

Я пока что не смеялся, думал. Немного погодя спросил:

— А не помнишь, Павел Казимирович, почему того Мыколу прозвали Козлом? Была причина?

— Прозвали? Как не помнить! Взводный, было дело, послал его по дрова, а он перед тем ходил по воду. Вот и стал ворчать: «Что я вам, отпущенный козел!» Надо «козел отпущения», а он вдруг — «отпущенный козел». Так его и нарекли. Потом «отпущенный» отвалилось, и кликать его стали Козлом, тем более он от этого свирепел. На шутку, знаете, свирепеть получается хуже.

Я, признаться, заподозрил, что весь этот рассказ про козла и козленка Ракита сочинил. Но последняя подробность насчет того, как Козел получил свое прозвище... такую штуку с ходу не придумаешь. Говорю:

— Ну-ну, ребятушки, тоже мне, называется, разведчики. Ведь он себя той фразой выдал. Тут бы его и хватать. Ясно же, что за годы жизни в неметчине русский язык подзабыл. А вы... прозвать прозвали, да прозевали.

— Но ведь мы ж были боевые разведчики, Алексей Федорович, а людей проверять да ловить на слове — это касалось Особого отдела. Хотя, конечно, бдительность обязательна для каждого партизана... Получилось, выходит, упущение...

— А куда же тот Козел делся?

Ракита махнул рукой:

— На переходе к Лобному побежал как-то в село разжиться молочком. Мы дальше идем. А Мыколы нет как нет. Вернулись, стали расспрашивать крестьян. Говорят: «Побежал вас догонять». Не догнал. Ну, решили — перехватили его полицаи, а может, попал в руки к бендеровцам. Помню, вроде его уж и к награде представили: ведь он на том плацу перед школой уложил не менее тридцати этих самых зондеров... Вы бы видели, Алексей Федорович, сколько в лице его проступило злобности. Я-то думал — со страху дрожит, а на поверку выявилось, что от ненависти. Будто знал, кого бьет и лично мстит... С того случая у нас во взводе к нему стали по-другому относиться: заслужил отчаянной смелостью, которую в партизанах уважали...

У Ракиты даже восторг появился в голосе. А я про себя отмечаю: ничего себе «наши ребята»! Как-то это дико звучит: с одной стороны, «представитель» абвера, а с другой — наш парень. Полная путаница.

— И это все? Больше ничего о Козле не знаешь? Не жалко тебе его?

— Как не жалко, Алексей Федорович! Пропал хлопец. Официально — пропал без вести. А это бывает даже хуже, чем смерть.

— Да... Хуже, чем смерть, — повторил я за Ракитой. Но тут же и спохватился: — Как же так, Павел Казимирович? Мы с тобой вроде в то далекое время обмишулились, упустили шпиона, а теперь готовы возвести его в герои.

— Так ведь это жизнь, товарищ Федоров! Вы когда мне рассказывали о своей встрече в том немецком городе, я по вашему голосу понял: хочется вам верить в добро, в то, что были среди немцев не одни лишь гитлеровцы и фашисты. Мы всюду во всех статьях и воспоминаниях немецкую армию называем сплошь фашистской. А разве так могло быть?! Вспомните, в самом начале войны мы все ждали, что к нам станут перебегать целые воинские подразделения. Солдаты — они из рабочих и крестьян. Как же нам было обидно, что их сумели охмурить и завлечь своими лозунгами геббельсы, геринги и бесноватый фюрер... Однако ж был у нас и Швейлик, переводчик, — чистокровный немец. А помните, паровозный машинист перебежал в батальон Балицкого: настоящая рабочая душа. А те, что попадали в плен, они действительно все как один сразу же говорили, что Гитлер капут, что они коммунисты. Вот только ни разу мы не встретились с какой-нибудь организованной коммунистической группой. А хотелось, ой как хотелось!

— Вот тут ты прав, — сказал я, и стало нам обоим грустно, поплыли потихоньку к дому.

*(Окончание следует)*



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

Ю. ЖУКОВ, В. СЕДЫХ



## ПИСЬМА ИЗ РАМБУЙЕ

**В** первых числах декабря 1974 года на долю авторов этих строк выпала честь участвовать в освещении советско-французской рабочей встречи в верхах, которая проходила в небольшом французском городке Рамбуйе, неподалеку от Парижа. Там находится старинный королевский замок, сооружение которого началось еще в XIV веке. Теперь он служит загородной резиденцией президентов Французской Республики.

Каждый день мы передавали из Рамбуйе в «Правду» свои корреспонденции. Само собой разумеется, в жестких рамках газетных полос мы могли уместить лишь самое важное, самое главное, что являлось итогом текущего дня. В наших блокнотах накапливалось большое количество фактов и сведений, относящихся к ходу переговоров. Так родились эти письма из Рамбуйе в редакцию «Нового мира», которые мы предлагаем вниманию читателя в надежде, что они помогут ему более наглядно представить себе картину важного политического события, каким являлась очередная советско-французская встреча в верхах.

Из Парижа в Рамбуйе ведет широкая автомагистраль, по которой мчатся тысячи автомобилей, едущих на юг Франции через Лион. Но мы сейчас думаем не об этой дороге, а о другой, чисто символической: о том большом и интереснейшем историческом пути, который привел в Рамбуйе Генерального секретаря ЦК КПСС и президента Французской Республики, о той восходящей линии, по которой развивались отношения между нашими двумя государствами на протяжении многих лет.

Поистине знаменательно, что встреча в Рамбуйе происходила в период, когда СССР и Франция отмечали пятидесятилетие установления дипломатических отношений между ними. Она вновь подтвердила устойчивость политики согласия и сотрудничества между обеими странами, проводимой уже с 1966 года, когда СССР посетил тогдашний президент Франции генерал де Голль.

И прежде чем читатель ознакомится с нашими письмами из Рамбуйе о ходе последней советско-французской рабочей встречи в верхах, хочется дать ему возможность вместе с нами пройти по той исторической дороге, которая привела в Рамбуйе, начиная с памятной даты установления дипломатических отношений между СССР и Францией.

Откуда берут начало родники советско-французской дружбы, которые, сливаясь, образуют нарастающий поток, оказывающий благотворное влияние на международный климат? Односложно ответить на этот вопрос так же нелегко, как определить истоки всех вод, наполняющих нашу могучую Волгу или ее французскую сестру Рону. Огромное значение здесь, несомненно, имеет близость демократических, свободлюбивых традиций. Известно, с каким пристальным вниманием и надеждой следили за революционным движением во Франции Чернышевский, Белинский, Добролюбов, Герцен и другие русские революционеры-демократы, передовая интеллигенция России.

В первый же свой приезд во Францию в 1895 году Владимир Ильич Ленин пришел к Стене коммунаров на кладбище Пер-Лашез, чтобы почтить память ге-

роев, дерзнувших весной 1871 года ринуться «на штурм неба», славных борцов первой в истории пролетарской революции. В. И. Ленин тщательно изучал исторический опыт Парижской коммуны и других выступлений французского пролетариата, высоко ценил демократические и революционные традиции народа этой страны, давшей миру выдающихся мыслителей, «Марсельезу», «Интернационал».

В свою очередь, французские пролетарии и демократы активно поддерживали революционное движение в России. Так было в 1905 году, когда Жан Жорес писал, что победа русской революции создаст предпосылки для «подлинного франко-русского союза, который станет могучим фактором мира в Европе». Так было и после Великого Октября, когда в защиту Республики Советов выступили Марсель Кашен и Поль Вайян-Кутюрье, Анри Барбюс и Ромен Роллан, Поль Ланжевен и многие другие прогрессивные деятели, истинная совесть Франции.

«Руки прочь от Советов!» — под этим боевым лозунгом французские пролетарии разворачивали широкое движение солидарности с революционной Россией. Здесь особенно уместно подчеркнуть, что рабочий класс, трудовые массы Франции оказывали и оказывают мощное воздействие на руководящие круги страны, постоянно подталкивая их к согласию с Советским Союзом. Франция — одна из тех капиталистических стран, где сила рабочего класса и его боевого авангарда — Коммунистической партии играет исключительно важную роль в сближении и сотрудничестве с Советским Союзом.

А родство двух культур, освященных именами Льва Толстого и Бальзака, Тургенева и Гюго? Разве творения этих и многих других мастеров не помогали взаимному знакомству обоих народов, не облегчали взаимопонимание, не прокладывали многочисленные мостики между ними?

Однако для добрых межгосударственных отношений недостаточно одних только традиций, сколь бы благородными и прочными они ни были. Решающее значение в политике имеют такие факторы, как изменения в соотношении сил на мировой арене, общность или близость взглядов на важнейшие вопросы современности, взаимовыгодность экономических и других связей и т. д. Мы помним, как тридцать лет назад генерал де Голль говорил, что совместные действия наших двух стран являются непреложным условием их безопасности. «К общему несчастью, — подчеркивал он в одном из своих выступлений, — слишком часто на протяжении столетий на пути франко-русского союза встречались помехи или противодействия, порожденные интригами или непониманием. Тем не менее необходимость в таком союзе становится очевидной при каждом новом повороте истории». Этот вывод вытекал из сурового опыта военных лет, в горниле которых закалялось боевое братство наших народов, бок о бок сражавшихся за свободу и независимость.

Люди старшего поколения хорошо помнят, что путь к тому дружественному взаимовыгодному мирному сосуществованию СССР и Франции, свидетелями и участниками которого мы с вами, читатель, являемся сегодня, был нелегок и непросто. Силы, не желавшие примириться с существованием в Европе социалистической державы, не раз пытались задуть советскую власть — даже вопреки коренным национальным интересам, диктовавшим необходимость установления прочного франко-советского сотрудничества, которое является краеугольным камнем мира и безопасности в Европе.

Но, к счастью для всех европейцев, мудрый картезианский дух французского народа восторжествовал, и вот в конце 60-х и начале 70-х годов на глазах у всего мира произошел крутой конструктивный поворот в наших отношениях, значение которого предвидел выдающийся советский дипломат ленинской школы Чичерин. Выступая на экстренном заседании Центрального Исполнительного Комитета СССР, который собрался в десять часов вечера 28 октября 1924 года, чтобы дать ответ на предложение Эррио о восстановлении дипломатических отношений, Чичерин говорил: «Нельзя не видеть громадной важности этого шага для всей международной политики... Вступление в дружественные отношения Франции с Союзом ССР будет иметь серьезнейшие результаты для всего международного положения на материке Европы, а также и в других частях света».



И сегодня, когда предвидения Чичерина сбылись, нельзя не воздать должное последовательным и настойчивым усилиям тех, кто, преодолевая все трудности, добивался и добился установления этих дружественных отношений.

Что касается Советского Союза, то Ленин, его ученики и последователи всегда выступали за развитие сотрудничества с Францией. Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Брежнев говорил на XXIV съезде нашей партии 30 марта 1971 года: «Дружба наших народов опирается на прочные исторические традиции. У наших государств и сегодня обширная область общих интересов. Мы — за дальнейшее развитие и углубление отношений между СССР и Францией». Этот курс нашей партии и государства остается неизменным. Правильность его подтверждена самой жизнью.

Вспомним хотя бы в самом сжатом, конспективном виде, как развивалось франко-советское сотрудничество в последнее десятилетие, когда встречи на высшем уровне вошли в систему, знаменуя собой новый этап в развитии отношений между нашими странами.

**Год 1966, июнь.** Президент де Голль в Советском Союзе. Он ведет переговоры с товарищами Брежневым, Подгорным и Косыгиным. Происходит обмен мнениями по важнейшим международным проблемам, намечаются основные направления в развитии советско-французских отношений, подписывается советско-французская декларация, открывающая возможности для активного сотрудничества между обеими странами, прежде всего в политической области. Последовавшие затем визит Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина во Францию в декабре 1966 года и визит в СССР в июле 1967 года господина Помпиду в качестве премьер-министра послужили дальнейшему развитию советско-французского сотрудничества.

**Год 1970, октябрь.** В СССР снова приезжает господин Помпиду, на этот раз уже как президент республики. Он ведет переговоры с товарищами Брежневым, Подгорным и Косыгиным. Принимается целый ряд важнейших решений, поднимающих франко-советское сотрудничество на новую ступень. 13 октября подписывается протокол о консультациях, в котором сказано: «В случае возникновения ситуаций, создающих, по мнению обеих сторон, угрозу миру, нарушение мира или вызывающих международную напряженность, правительства СССР и Франции будут незамедлительно вступать в контакт друг с другом с целью согласования своих позиций по всем аспектам таких ситуаций и мер, которые позволили бы справиться с такими ситуациями».

**Год 1971, октябрь.** Во Францию прибывает Л. И. Брежнев. Этот визит имел особое значение. Он поднял советско-французское сотрудничество во всех областях, и прежде всего в политической области, на новый, более высокий уровень, явился важным вкладом в обеспечение международной разрядки, содействуя дальнейшему практическому развитию мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества государств с различным общественным строем.

Тот исключительно теплый, радушный прием, который был оказан французским народом Генеральному секретарю ЦК КПСС, выразительно показал, что новое, конструктивное и многообещающее развитие отношений между нашими странами, начавшееся с 1966 года, отвечает коренным национальным интересам СССР и Франции, интересам всей Европы и потому находит самую широкую поддержку. В советско-французской декларации, опубликованной в итоге этого визита, был подчеркнут «особый характер отношений дружбы и взаимного уважения, которые существуют между народами СССР и Франции». Было записано, что «этот визит придаст новые масштабы советско-французскому согласию и сотрудничеству, поставленным на службу мира».

Мы не будем повторять содержание этого документа — он у всех в памяти. Особо подчеркнем лишь записанное в нем обязательство сделать политику согласия и сотрудничества между СССР и Францией постоянной политикой в их отношениях и постоянным фактором международной жизни. Это обязательство сохраняет всю свою силу и все свое значение и сегодня.

Очередной официальный визит — на этот раз в Советский Союз — оставался за французской стороной. Его должен был совершить президент Ж. Помпиду, но состояние здоровья мешало ему предпринимать длительные поездки. Тем не менее встречи на высшем уровне не прекращались — была выработана практика рабочих встреч, менее продолжительных, исключая протокольные мероприятия и целиком посвященных деловым переговорам.

**В начале 1973 года** была встреча Леонида Ильича Брежнева и Жоржа Помпиду в Белоруссии, в городе Заславле. Там было объявлено о предстоящем подписании программы углубления советско-французского сотрудничества в области экономики, техники, промышленности, рассчитанной на десятилетний период, — такая программа разрабатывалась впервые в практике отношений между государствами, принадлежащими к различным общественным системам. Как помнит читатель, в дальнейшем эта программа была подписана министром экономики и финансов В. Жискара д'Эстэнэ, нынешним президентом. Что касается международных проблем, то там же, в Заславле, было подчеркнуто, что областью конкретных усилий Советского Союза и Франции на этом этапе является в первую очередь подготовка и проведение общеевропейского совещания. Напомним, что усилия СССР и других государств увенчались успехом, и вскоре общеевропейское совещание приступило к работе.

**В июне 1973 года** состоялась рабочая встреча Леонида Ильича Брежнева и Жоржа Помпиду во Франции, в Рамбуэе. Они подвергли там всесторонней оценке в европейском и глобальном масштабе наиболее важные события мировой политики. Эти беседы имели особое значение в связи с тем, что закончившимися советско-американскими переговорами на высшем уровне. Было отмечено большое сходство взглядов по обсуждавшимся вопросам и выражено удовлетворение крепнувшим сотрудничеством.

«Крепнущее советско-французское сотрудничество, — сказал Л. И. Брежнев, выступая 26 июня в Рамбуэе, — по нашему мнению, остается хорошим образцом мирного сосуществования, налаживания отношений дружбы и добрососедства между крупными государствами, принадлежащими к различным социальным системам. Важно, на наш взгляд, чтобы и дальше рождались конструктивные идеи, которые могли бы воодушевить народы, открыть перед ними надежные и устойчивые перспективы мирной жизни».

**В марте 1974 года** в Советском Союзе, на Пицунде, состоялась еще одна рабочая встреча Л. И. Брежнева и Ж. Помпиду, прошедшая, так же как и предыдущие, в обстановке дружбы, взаимного доверия, уважения, откровенности и реализма. В итоге встречи на Пицунде была подчеркнута готовность СССР и Франции расширять и в дальнейшем политические консультации, связи в торгово-экономической, научно-технической и других областях, а также достигнута договоренность о продолжении систематических контактов между СССР и Францией на высшем уровне.

И вот очередная, седьмая по счету, советско-французская встреча в верхах — снова в Рамбуэе. На этот раз Л. И. Брежневу предстояло установить рабочий контакт с новым президентом Франции В. Жискара д'Эстэнэ.

### Письмо первое

3 декабря 1974 года.

### НАКАНУНЕ

Итак, до очередной франко-советской рабочей встречи в верхах остаются считанные часы. Завтра вечером на парижском аэродроме Орли приземлится самолет, в котором сюда прилетит Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. Его встретит президент республики В. Жискара д'Эстэнэ, и сразу же с аэродрома кортеж автомобилей направится в старинный замок Рамбуэе, находящийся в семидесяти километрах от столицы, — там и состоятся переговоры.

В этой резиденции уже проходила одна из предыдущих франко-советских рабочих встреч на высшем уровне — 25—27 июня 1973 года Л. И. Брежнев вел

здесь переговоры с Ж. Помпиду. Генеральный секретарь ЦК КПСС и сопровождающие его лица будут жить и работать в той же старинной круглой башне, построенной еще в XIV веке, где размещались они и в прошлый раз. Там же, в замке, будут вестись и переговоры. Резиденция знакомая; эта деталь лишний раз напоминает о преемственности и последовательности в развитии франко-советских отношений, об их устойчивости.

Значение этой устойчивости, характерной для франко-советских отношений, подчеркнул в беседе с нами еще прошлым летом В. Жискар д'Эстэн, который был во время первой рабочей встречи в Рамбуйе министром экономики и финансов. «Среди крупных несоциалистических стран, — сказал он нам тогда, — Франция первой в послевоенный период вступила на путь политики тесного, основанного на доверии сотрудничества с Советским Союзом, и мне представляется вполне логичным, что давность наших усилий придает нашему сотрудничеству особенно дружественный и глубокий характер. В этой связи я должен сказать, что мы во Франции, видя, как другие западные страны вступают на путь, который мы открыли, этому радуемся и испытываем известную гордость, чувство, понятное у зачинателей этого дела».

Сегодня, когда в Москве и в Париже только что отметили пятидесятилетие установления дипломатических отношений между Францией и СССР, эти слова приобретают особую злободневность. Между прочим, в эти часы в Большом дворце в Париже заканчиваются последние приготовления к открывающейся на днях советско-французской выставке, посвященной этой дате. Многочисленные документы и экспонаты, собранные на выставке, красноречиво показывают поистине давний характер отношений между нашими странами — они восходят ко времени княгини Анны Ярославны, которая еще в XI веке стала королевой Франции, и Петра I, приехавшего в Париж с деловым визитом.

Выставку открывает раздел, рассказывающий о пребывании В. И. Ленина в Париже в 1895 и 1908—1912 годах. Посетители увидят парижские письма Владимира Ильича к матери, к сестре Марии Ильиничне, афиши о его выступлениях в Париже, книги о Парижской коммуне.

Телеграммы, которыми обменялись в октябре 1924 года глава французского правительства Эдуард Эррио и председатель ЦИК СССР Михаил Иванович Калинин, верительные грамоты первых послов Л. Б. Красина и Ж. Эрбетта расскажут о признании Францией Советского государства. Будут показаны новые материалы о советско-французском боевом сотрудничестве в годы Великой Отечественной войны, об участии французского авиационного полка «Нормандия—Неман» в сражениях на советско-германском фронте. Тексты договоров и соглашений поведают посетителям выставки о развитии политических, торгово-экономических, научных и культурных связей между СССР и Французской Республикой.

Но центральное место на выставке, естественно, займет показ современного этапа франко-советских отношений. Ведь никогда еще связи между нашими странами не были столь развитыми и глубокими, какими они стали за последние пятьдесят лет, и особенно в 60-е и 70-е годы. Это единодушно признают сейчас все: и те, кто приветствует такое развитие франко-советских отношений, и те, кому они не по душе, — есть и такие люди в определенных кругах, хотя они в явном меньшинстве.

Это развитие приобрело поистине всесторонний характер, и советские люди хорошо представляют себе его масштабы. Но надо быть здесь, во Франции, чтобы в полной мере ощутить, какой популярностью оно пользуется в самых широких французских кругах. Ходишь в эти дни по оживленным, как всегда, улицам Парижа, едешь по французской земле, встречаешься повсюду с самыми различными политическими деятелями и рядовыми людьми — в огромном Лионе или крохотном, затерянном в горах Верхней Юры Сен-Клоде, в шумном Марселе или в тихом Арбуа, — и явственно чувствуешь, как напряженно бьется пульс этой крупнейшей европейской державы.

Тридцать лет мирной жизни, завоеванной дорогой ценой в годы нашей совместной борьбы против фашизма, дали возможность народу Франции, которая

была одной из жертв гитлеровской агрессии, восстановить и развить свою экономику, двинуть вперед науку. Здесь хорошо помнят и не забывают ту роль, которую сыграл в освобождении Европы Советский Союз, и знают цену франко-советской дружбе, в которой французские патриоты видят оплот европейской безопасности.

Сейчас Франция переживает сложный период резкого обострения экономических и финансовых трудностей. Ее все сильнее затрагивает общий кризис, охвативший капиталистический мир. Не случайно, видимо, свою пресс-конференцию 24 октября президент республики начал предупреждением о том, что «это продолжительный кризис. Это не временная пертурбация; это, по существу, осознание длительного изменения». Инфляция, безудержный рост цен, увеличение безработицы вызывают острые социальные конфликты.

Но тем знаменательнее, что в этой сложной обстановке понимание жизненной необходимости дальнейшего упрочения сотрудничества с Советским Союзом проникает во все более широкие слои населения и в правящие круги страны. С кем бы мы ни заговорили в эти дни, везде и всюду находит свое выражение одна и та же мысль, отлично сформулированная председателем Национального собрания Франции Эдгаром Фором на недавней встрече с делегацией Верховного Совета СССР: «Мы вместе страдали, вместе воевали, вместе победили и вместе должны бороться за мир и благополучие наших народов».

Мы покривили бы душой, если бы сказали, что такое понимание национальных интересов нынче уже не встречает сопротивления. Нет, здесь все еще активно действуют неразоружившиеся духовные наследники Пуанкаре и Мильерана. Не случайно именно в эти дни по страницам тех буржуазных газет, чьи политические пристрастия носят «атлантический» оттенок, волнами прокатывается одна антисоветская кампания за другой.

И все же можно со всей определенностью заявить, что, несмотря на это и вопреки этому, советско-французское согласие и сотрудничество становятся, по выражению парижской газеты «Монд», «ведущей линией» в отношениях двух стран, постоянным фактором международной жизни. Это важнейшее положение, закрепленное в знаменитых Принципах сотрудничества между Союзом Советских Социалистических Республик и Францией, находит свое отражение в повседневной практике отношений наших двух государств.

Нам довелось беседовать в эти дни со многими представителями политических и деловых кругов Франции. В секретариате Елисейского дворца, в министерстве иностранных дел на Кэ д'Орсе, в министерстве экономики и финансов, в других ведомствах заканчиваются последние приготовления к встрече в Рамбуйе. Непрерывно поддерживаются живые деловые контакты между заинтересованными французскими ведомствами, посольством СССР в Париже, нашим торгпредством и другими советскими учреждениями; все это содействует сближению Советского Союза и Франции, способствует созданию деловой, дружественной атмосферы перед встречей на высшем уровне.

Недавно из поездки в нашу столицу вернулся в Париж государственный секретарь по вопросам внешней торговли Франции Н. Сегар. В ходе его московских встреч подводились предварительные итоги истекающего в нынешнем году советско-французского пятилетнего соглашения, уточняются планы делового сотрудничества на будущее. Обе стороны намерены поднять это сотрудничество на еще более высокий уровень.

Немало интересного и в обширной сфере научно-технических и культурных связей между нашими двумя государствами. Представители Национального центра космических исследований, например, только что провели пресс-конференцию, посвященную предстоящему совместному франко-советскому опыту «Аракс». Суть этого эксперимента состоит в том, чтобы создать искусственное полярное сияние с помощью специальных ракет, снабженных ускорителями частиц, перемещение которых в земном магнитном поле будет изучаться на огромном протяжении — от острова Кергелен в Индийском океане до Архангельска. Сегодня, когда в безбрежном космическом океане плывет очередной «Союз» с двумя нашими ге-

роями соотечественниками на борту, мы не раз слышали поздравления от французских специалистов, которые вместе с советскими учеными проводят немало интересных экспериментов в области освоения космоса.

Не менее плодотворная, имеющая важное научное и практическое значение совместная работа осуществляется советскими и французскими специалистами в сфере мирного использования атомной энергии, океанографии, медицине и других перспективных отраслях.

А многочисленными обмены и контакты на ниве культуры, искусства, которые сближают человеческие сердца, помогают укреплению взаимопонимания и дружбы между народами? В эти дни в парижском дворце спорта у Версальских ворот с огромным успехом проходят выступления старого и доброго знакомого французских зрителей — Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии. Одновременно в театре Елисейских полей и в других лучших концертных залах столицы начался фестиваль русской музыки. Симфонический оркестр Парижа под управлением советского дирижера Е. Светланова исполняет шедевры Прокофьева, Скрябина и других прославленных композиторов нашей страны. 4 декабря в Париже и Гавре в седьмой раз во Франции открывается неделя советского кино. В программе фестиваля — фильмы, выпущенные студиями Москвы, Ленинграда и ряда союзных республик.

Всего лишь несколько примеров, но они прекрасно иллюстрируют растущий интерес французов к жизни советских людей, их стремление к расширению и углублению всесторонних связей с нашей страной.

Все это вызывает законное удовлетворение у обеих сторон. Во многих беседах с корреспондентами «Правды» члены правительства, государственные, общественные деятели Франции выражают в эти дни глубокую убежденность в том, что предстоящая встреча в Рамбуйе знаменует собой новый этап в развитии всестороннего советско-французского сотрудничества.

— Франция остается верной политике дружбы и сотрудничества с Советским Союзом, завещанной генералом де Голлем, — сказал в беседе с нами премьер-министр Жак Ширак. — Эта политика имеет огромное значение для упрочения нашей независимости.

— Советско-французские отношения развиваются гармонически и конструктивно в Европе и за ее пределами, — заявил министр иностранных дел Франции Ж. Сованьяр. — И мы не сомневаемся, что рабочая встреча Генерального секретаря ЦК КПСС с президентом Французской Республики будет плодотворной. Они рассмотрят все проблемы, стоящие перед ними, в обстановке взаимопонимания, отвечающей нашим коренным интересам.

Радостная, приподнятая атмосфера царит сейчас в обществе «Франция — СССР». Принимая нас, президент этой ассоциации Ги Дессон рассказал о многих собраниях и встречах, проведенных обществом в последние недели и посвященных визиту во Францию Л. И. Брежнева и пятидесятилетию установления дипломатических отношений между нашими двумя странами.

Сегодня в Елисейском дворце, где живет и работает президент республики, его представитель по связям с прессой принял журналистов, аккредитованных для участия в освещении рабочей встречи в Рамбуйе. Он рассказал о том, как планируется ход переговоров, и выразил уверенность в их конструктивном исходе.

### Письмо второе

4 декабря 1974 года.

### ПЕРСПЕКТИВЫ

Сегодня днем, пользуясь тем, что до прилета Леонида Ильича Брежнева оставалось несколько свободных часов, мы, предъявив свои служебные пропуска, вошли за ограду старинного замка Рамбуйе, прогулялись по величественным аллеям его знаменитого парка, поднялись по каменным ступеням массивного здания, осмотрели приготовленный к рабочей встрече зал, украшенный красивой резьбой по дереву.

В памяти вновь ожили прошлогодние переговоры, которые в этом же зале Леонид Ильич вел с предшественником Валери Жискара д'Эстэна Жоржем Помпиду на обратном пути из США. Это был важный этап движения к разрядке — вслед за Францией ФРГ, а затем и Соединенные Штаты Америки и другие западные державы вступили на путь взаимовыгодного делового сотрудничества с Советским Союзом и братскими социалистическими странами. Здравый смысл, таким образом, одерживал верх над слепым антисоветизмом.

Итак, завтра в этом замке вновь начнутся переговоры. Тут же заработает полным ходом пресс-центр, расположенный в здании городского муниципалитета, находящийся в двух шагах от замка, за небольшой площадью, заполненной до отказа автомобилями. Застучат телетайпы, зазвонят телефоны — во все концы света полетят срочные сообщения о начале встречи, которая, как об этом говорят здесь с уверенностью, должна будет открыть новые перспективы развития франко-советских отношений и содействовать упрочению мира в Европе и во всем мире.

А пока что в пресс-центре тихо. Там хлопочут лишь инженеры французской службы связи, отлаживающие и проверяющие коммуникации, которые завтра заработают на полную мощность...

Во второй половине дня мы отправились в Орли, где Франция встречала Л. И. Брежнева.

После торжественного приема в салоне для почетных гостей, который, кстати сказать, в аэропорту в шутку прозвали «русской избой», поскольку визиты гостей из Москвы стали регулярными, кортеж машин направился в Рамбуйе, где Л. И. Брежнев и его спутники будут отдыхать до утра. И хотя в этот час моросил холодный дождь, многие жители ближайших селений вышли к дороге с флагами и приветственными плакатами, чтобы встретить советских гостей. Тем временем журналисты помчались в редакции своих газет и на корреспондентские пункты, чтобы побыстрее написать отчеты.

Впечатлений и раздумий у журналистов много. Сегодня в ожидании самолета из Москвы на трибуне, отведенной для корреспондентов, мы толковали со своими коллегами, в том числе и с ветеранами журналистики, которые хорошо помнят все этапы развития франко-советских отношений. Они вспоминали, что это был не простой путь. История, как писал Чернышевский, не тротуар Невского проспекта; идти пришлось по целине, и надо было шаг за шагом прокладывать маршрут мирного сосуществования и сотрудничества между государствами, принадлежащими к противоположным социальным системам, преодолевая силу инерции длительного периода «холодной войны».

Достигнуты уже немалые результаты. Но впереди еще очень большая работа. Ведь жизненно важно, как об этом неоднократно говорил Л. И. Брежнев, сделать разрядку в международных отношениях необратимой. И в этой связи весьма знаменательно, считают многие французские деятели, что нынешняя франко-советская рабочая встреча в верхах вписывается в целую серию важных дипломатических акций, осуществляемых сейчас обеими сторонами на высшем уровне.

Л. И. Брежнев недавно встречался и вел переговоры с канцлером ФРГ Г. Шмидтом, затем с президентом США Дж. Фордом. В. Жискара д'Эстэн, в свою очередь, недавно встречался с канцлером ФРГ. Впереди у него, как напомнила вчера газета «Монд», совещания с главами правительств стран — участниц Западноевропейского экономического сообщества в Париже, а затем встреча с президентом США, которая намечена на 14—18 декабря на острове Мартиника.

В этой связи наши парижские коллеги в своих статьях неоднократно возвращаются к важным итогам советско-американской встречи в верхах, состоявшейся во Владивостоке, — буквально все сегодняшние парижские газеты на первых полосах публикуют сообщения о предстоящем прилете Генерального секретаря ЦК КПСС и посвящают начинающейся рабочей встрече многочисленные комментарии. В статьях подчеркивается большое значение предстоящих бесед

и анализируются проблемы, которые, по мнению политических обозревателей, будут являться предметом обсуждения.

На днях мы беседовали с членом ЦК ФКП, заведующим международным отделом Центрального Комитета Жаном Канапой. Как известно, французские коммунисты, стоящие на платформе совместной программы союза левых сил, выступают против нынешнего правительства и критикуют его по коренным вопросам политики. Но тем не менее они активно выступают в поддержку франко-советской встречи в верхах.

— Расширение деловых связей с Советским Союзом и со всеми странами социалистического содружества, — заметил Жан Канапа, — приобретает для Франции еще большее значение в условиях растущих экономических трудностей, которые переживают капиталистические государства. Все это, — заключил наш собеседник, — лишний раз подчеркивает важность предстоящих переговоров на высшем уровне, призванных открыть новые перспективы дальнейшего развития франко-советского сотрудничества, отвечающего чаяниям наших двух народов и интересам всеобщего мира.

Недавно мы побывали в целом ряде департаментов (областей) Франции. Встречались там с самыми различными деятелями и всюду слышали все тот же лейтмотив: да, развитие франко-советского сотрудничества открывает новые перспективы в обеспечении международной разрядки, и крайне важно использовать эти перспективы в конструктивных целях.

Вот что говорил, например, 27 октября, принимая делегацию Верховного Совета СССР, префект (представитель правительственной власти) департамента Юра господин Роже Дюмулен:

— Франко-советская дружба восходит к дальним временам. Нас соединяют узы долговременных экономических, научных, культурных связей. Мы высоко ценим ваше искусство. Я могу сказать, что наша культура испытывает немалое влияние вашей великой страны. Мы гордимся также тем, что и советский народ высоко ценит культуру Франции. В годы войны наши страны плечом к плечу боролись за победу демократии над фашизмом. И когда я сейчас вспоминаю обо всем этом, я прихожу к выводу о том, как важно развивать и укреплять наше политическое сотрудничество. Это тем более важно, что такое сотрудничество имеет большое значение для укрепления мира во всем мире. Мы помним: всякий раз, когда между нашими странами были прочные связи, в Европе царили мир и спокойствие.

В таком же духе высказывался два дня спустя, принимая участников коллоквиума, посвященного пятидесятилетию установления отношений между СССР и Францией, мэр города Лиона Прадель. Мэр напомнил, что его предшественником на этом посту был видный французский государственный деятель Эррио, боровшийся против Пуанкаре, Мильерана и Клемансо, которые не желали признавать молодое Советское государство.

Врезалась в память встреча советских парламентариев с мэром города Сен-Клод Жюйоном, который принадлежит к одной из буржуазных партий. Этот город был награжден военным крестом за заслуги его мужественных граждан в движении Сопротивления.

— Мы пережили, — говорил взволнованно мэр города, — пять лет траура, несчастий и трудной борьбы. Ваше присутствие здесь напоминает нам о пережитом. Мы помним, что обязаны своим освобождением Советскому Союзу, другим союзникам Франции, героям нашего движения Сопротивления. И мы должны сделать все, чтобы это единство, достигнутое в годы совместной борьбы в войне, было восстановлено и упрочено в годы мира.

С этим высказыванием перекликается выступление мэра города Аннеси сенатора Боссона, который также принадлежит к буржуазной партии:

— Мы гордимся солдатами Сталинграда, — сказал он, принимая делегацию Верховного Совета СССР. — Чтобы жители города всегда помнили о том, чем мы им обязаны, мы назвали именем Сталинграда одну из площадей города. И мы

очень рады, что теперь наше сотрудничество продолжается и успешно развивается.

И так повсюду. Куда бы мы ни поехали, с кем бы мы ни повстречались, все — «и те, кто верует в небо, и те, кто в него не верует», как писал поэт Луи Арагон в своем замечательном стихотворении, посвященном героям движения Сопротивления, — единодушны в главном: жизненные интересы Франции требуют неуклонного развития сотрудничества с Советским Союзом.

Вот почему в эти часы здесь с таким интересом ждут начинающих завтра утром переговоров в замке Рамбуйе.

### Письмо третье

5 декабря 1974 года.

### РАБОЧИЙ ДЕНЬ

В этот поздний вечерний час, когда мы пишем свое очередное письмо, пристроившись у краешка длинного стола в переполненном журналистами до отказа пресс-центре, который расположен в помещении муниципалитета Рамбуйе, окна находящегося рядом замка все еще ярко освещены — там продолжают беседы между Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым и президентом Франции В. Жискаром д'Эстэнном. Одновременно проходят встречи между министрами иностранных дел, между министрами, ведающими вопросами экономического сотрудничества. Участникам переговоров помогают эксперты, занятые разработкой политических, экономических и финансовых проблем.

Как подчеркнули сегодня в осведомленных кругах обеих сторон, переговоры начались в конструктивном духе и деловой обстановке. Такая обстановка стала привычной для советско-французских встреч на высшем уровне.

Буквально каждый час, каждая минута этой встречи посвящены делу — нет никаких формальных церемоний протокольного характера. По существу, у участников переговоров сегодня не было даже перерыва — они позавтракали, что называется, на ходу, в узком кругу, после чего рабочие встречи продолжались. В восемь часов вечера в столовой замка состоялся обед, на который, помимо участников переговоров, были приглашены председатель Национального собрания Франции и еще несколько видных французских деятелей. За обедом Л. И. Брежнев и В. Жискара д'Эстэн обменялись речами, в которых был подведен итог первого дня переговоров. Затем за чашкой кофе деловые беседы продолжались за полночь.

Тексты речей Л. И. Брежнева и В. Жискара д'Эстэна доставили в пресс-центр представители обеих сторон; они были быстро размножены и розданы журналистам, которые буквально расхватывали их и тут же передавали в телеграфные агентства, студии радиостанций и в редакции газет. Все восемнадцать телефонных аппаратов в крохотных будках вокруг большого стола, стоящего посредине парадного зала мэрии Рамбуйе, который был превращен в центральное помещение пресс-центра, и все телетайпы, заполняющие дополнительные помещения, сразу же заработали на полную мощность — корреспонденты толпились у них в очередь.

Составляя на ходу свои корреспонденции, большинство журналистов, как мы это успели заметить, выделяли в речи Л. И. Брежнева то место, где выражается надежда, что новая встреча будет полезной и плодотворной:

«У нас есть основания положительно оценивать развитие советско-французских отношений. — заявил Генеральный секретарь ЦК КПСС. — Совместные усилия позволили нам заложить надежный фундамент взаимовыгодного сотрудничества. Это относится и к политической сфере, и к экономике, и к нашим научно-техническим и культурным связям. Конечно, есть и вопросы, требующие решения, есть и определенные сложности, которые предстоит преодолевать.

Мы приехали сюда, — продолжал Л. И. Брежнев, — исполненные искреннего желания совместными усилиями дать новый импульс советско-французскому сотрудничеству. К этому же, как мы понимаем, стремится и французская сторона».



«Франко-советское сотрудничество представляет собой основополагающий элемент внешней политики», — сказал со своей стороны, выступая в Рамбуйе, президент В. Жискара д'Эстэн.

Большое впечатление произвело напоминание Л. И. Брежнева о том, что в будущем году исполняется тридцать лет с того дня, когда на европейской земле замолкли пушки и перестала литься кровь. Французы, так же как и советские люди, не могут забыть минувшей войны — самой тяжелой, самой кровопролитной в истории человечества. Как заявил в своей речи президент В. Жискара д'Эстэн, дружба и взаимопонимание между Францией и Советским Союзом закалились в совместной борьбе в защиту свободы.

Здесь с пониманием встречают слова Леонида Ильича, подчеркнувшего, что общий долг всех, кто заинтересован в том, чтобы трагедии прошлого никогда более не повторились, — сделать все для надежного закрепления устоев европейского мира.

Практические результаты продолжающихся в замке обсуждений, естественно, станут известны позднее. Но, судя по первым впечатлениям, есть все основания надеяться на то, что эти результаты будут весомыми. Люди видят, что в международных отношениях сейчас более чем когда-либо приобретают важное значение Принципы сотрудничества между Союзом Советских Социалистических Республик и Францией, подписанные товарищем Л. И. Брежневым и Ж. Помпиду в октябре 1971 года в Париже. Они послужили и служат, как здесь выражаются, хорошей моделью, то есть образцом для целого ряда аналогичных документов, призванных регулировать двусторонние и многосторонние отношения между государствами, которые принадлежат к различным социальным системам.

Что же касается советско-французских отношений, то для них эти Принципы являются незыблемым краеугольным камнем.

Недавно мы встретились с академиком Морисом Шуманом, который сейчас является сенатором. Он напомнил нам, что, будучи министром иностранных дел, участвовал в выработке этих Принципов.

— Я счастлив, — сказал он, — тем, что на мою долю выпало участвовать в этой работе, увенчавшейся принятием поистине исторического документа. Теперь эти Принципы стали законом, и изменить их уже невозможно.

Так развитие франко-советского сотрудничества постепенно приобретает необратимый характер. Этому, отмечают в политических кругах Парижа, в огромной степени содействует то, что франко-советские встречи в верхах вошли в систему, стали важнейшим направляющим моментом в отношениях между нашими двумя странами.

Позавчера, накануне приезда Л. И. Брежнева, в кругах, близких к президенту Франции, нам заявили, что нынешние переговоры, которые продлятся до субботы, дадут возможность, как считает французская сторона, продемонстрировать и развить франко-советское сотрудничество во всех его формах.

— Действительно, наши отношения, — сказали нам, — показывают, что Франция и Советский Союз могут играть важную роль в мировых делах и способствовать развитию экономических и культурных отношений между народами Европы. С другой стороны, широкие перспективы открываются в области дальнейшего развития двустороннего делового сотрудничества между Францией и Советским Союзом.

Отметив, что твердой повестки дня встречи нет, наш собеседник — а то был советник президента по вопросам информации К. Гуйу-Бошан — тем не менее коснулся ряда важных вопросов, которые могут быть затронуты в ходе переговоров. Это международные проблемы, и в частности вопрос о европейском совещании по безопасности и сотрудничеству, и ближневосточный вопрос. Наряду с этим, видимо, будут рассмотрены эволюция франко-советских экономических связей, которые развиваются успешно, и вопрос о подготовке ряда важных соглашений, относящихся к этой области.

В том же духе высказываются и парижские газеты, единодушно отмечающие важность начинающихся переговоров. Многочисленные комментарии, в частности, посвящаются в эти дни проблемам общеевропейского сотрудничества и обеспечения безопасности. Естественно, в центре внимания находится вопрос о перспективах завершения совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Газеты отмечают, что в ходе второго этапа этого совещания уже достигнуты значительные результаты. Газета «Монд», в частности, опубликовала большую статью бывшего генерального директора ЮНЕСКО Рене Майо «За общеевропейское сотрудничество». Возвращаясь к известной идее генерала де Голля о строительстве «большой Европы» с участием социалистических стран, автор подчеркивает, что этот план приобретает новую, еще большую актуальность сегодня в связи с теми трудностями, с которыми столкнулись строители «малой Европы» в рамках «Общего рынка» десяти западноевропейских государств. Дело в том, указывает он, что часть этих государств в одностороннем порядке ориентируется в сторону Атлантики.

В этой связи Рене Майо высказывается за то, чтобы Франция вместе с СССР проявила инициативу в строительстве «большой Европы», содействуя скорейшему успешному завершению общеевропейского совещания, участники которого, занятые подготовкой итоговых документов, далеко продвинулись вперед. Отметив значение проблем культурного обмена, обмена информацией и «контактов между людьми», по которым еще не достигнуто полного согласия, автор статьи в «Монд» в то же время справедливо говорит о том, что кое-кто пытается использовать постановку этих вопросов в целях, не имеющих ничего общего с задачами международного сотрудничества.

Вопросу о том, как должно быть завершено общеевропейское совещание, посвящено несколько статей в газете «Фигаро». В частности, ее обозреватель Жак Ольястро пишет, что в этом вопросе может быть сделан новый шаг вперед. Он напоминает, что до сих пор Франция не давала согласия на то, чтобы третий, завершающий этап общеевропейского совещания был проведен на высшем уровне, за что высказывается целый ряд его участников. Французская дипломатия, указывает он, ссылаясь на то, что надо сначала посмотреть, какими будут итоги нынешнего, второго этапа. Теперь, по мнению обозревателя «Фигаро», пришло время занять определенную позицию на сей счет, причем позиция эта должна быть положительной. Так же как и Рене Майо, Жак Ольястро считает, что совещанием уже проделана большая работа, и поэтому он заключает:

— Это пункт, по которому президенту республики было бы не очень трудно дать своему собеседнику доказательство доброй воли... Встреча в верхах в Хельсинки? Почему бы и нет?

Со своей стороны, еженедельник «Юманите диманш», касаясь задач, стоящих перед участниками франко-советской рабочей встречи в верхах, пишет: «Интересы Франции и СССР требуют более тесных, согласованных действий в области политики, чтобы обеспечить подлинную безопасность в Европе и содействовать решению многих международных проблем». Именно эти хорошо осознанные интересы Франции, отмечает «Юманите диманш», поддерживают миллионы и миллионы демократов, которые желают реального успеха встрече в верхах.

Член Политбюро Французской коммунистической партии сенатор Жак Дюкло в беседе с нами так сказал об этом:

— Трудящиеся Франции приветствуют визит в нашу страну Генерального секретаря ЦК КПСС, видя в его лице посланца первой в истории страны социализма. Французские патриоты не забыли и никогда не забудут решающей роли, которую сыграл Советский Союз в освобождении Франции и всей Европы от гитлеровского ига. Они дорожат франко-советской дружбой, имеющей большое значение для сохранения и укрепления всеобщего мира.

Только ничтожная кучка маньяков «холодной войны» все еще злобствует против такого позитивного развития, выдавая себя с головой своими хулиганскими выходками. Вчера ночью, например, молодчики из фашистской группировки под названием «Создать фронт» попытались поджечь советский танк

«Т-34», который несколько месяцев тому назад был преподнесен Советским Союзом в дар вооруженным силам Франции в память о совместной борьбе против гитлеровского фашизма и теперь стоит на почетном посту в центре Парижа, перед старинным дворцом, в котором размещен военный музей. Газета «Орор», ослепленная антисоветизмом, поспешила вчера напечатать на первой полосе сделанный ее фотографом в момент покушения снимок этого акта вандализма, не подумав о том, что тем самым она выдает свое сотрудничество с этими бандитами.

Фашистская выходка вызвала всеобщее осуждение, и сегодня в пресс-центре многие коллеги, в том числе и стоящие на идейных позициях, противоположных нашим, выражали свое негодование тем, что произошло, и с презрением отзывались о поведении редакции «Орор».

Многие комментарии прессы вчера и сегодня посвящаются ближневосточной проблеме, которая также, как полагают, обсуждается сейчас участниками рабочей встречи в верхах. В осведомленных кругах нам заявили, что позиции сторон по этой проблеме весьма близки, если не идентичны. Эта мысль находит свое отражение в ряде газет. Излагая позицию Франции, газета «Фигаро», к примеру, писала вчера: «Жискара д'Эстан считает, что положение в этом районе мира опасно и даже чревато взрывом. Он полагает, что только признание Израилем палестинской реальности может позволить «деблокировать переговоры»...»

#### Письмо четвертое

6 декабря 1974 года.

### ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

Идет второй день рабочей встречи в Рамбуйе. Как нам сообщили сегодня, в центре переговоров по-прежнему находятся важнейшие политические проблемы, представляющие взаимный интерес для обеих сторон. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, справедливо подчеркнула сегодня парижская газета «Эко», прибыл во Францию для того, чтобы «прежде всего обсудить с президентом Жискара д'Эстаном политические вопросы, сколь бы значительным ни представлялось развитие экономического сотрудничества между двумя государствами».

В беседе с нами сегодня представитель Елисейского дворца К. Гуйу-Бощан снова подчеркнул, что эти обсуждения носят конструктивный и дружественный характер и что есть все основания ожидать, что в итоге переговоров представится возможным добиться прогресса в решении назревших политических проблем.

Конечно, отмечают здесь, между двумя сторонами могут быть известные расхождения, еще не все вопросы решены, существуют определенные сложности. Но главное — это близость или совпадение позиций по важнейшим проблемам современности, стремление обеих сторон к согласию и дальнейшему укреплению и развитию всестороннего сотрудничества.

Вместе с тем, как сообщают в осведомленных кругах, участники переговоров уделили пристальное внимание взаимовыгодным экономическим связям между Францией и Советским Союзом. Сегодняшний день был в этом отношении весьма примечательным.

Подводя первые итоги переговоров, заведующий дипломатической службой официального агентства Франс Пресс Мишель Лелё сегодня передал из Рамбуйе следующую оценку:

«На второй день переговоров в Рамбуйе все свидетельствует о том, что франко-советский диалог обрел второе дыхание и что эта, седьмая с 1966 года, франко-советская встреча на высшем уровне будет успешной. На этот раз обе стороны, судя по всему, хотят использовать все возможности, создаваемые «политическим реализмом», чтобы вернуть отношениям между этими двумя странами «с различным общественным строем», если использовать классический эвфемизм, характер «примера», который они имели прежде.

Особое внимание в этих переговорах, отмечают с французской стороны, обращает на себя то, что политическое и экономическое сотрудничество, судя по всему, должно отныне идти параллельно и развиваться вместе...

После десятка часов переговоров с глазу на глаз или между делегациями можно выделить совпадение мнений по следующим вопросам:

1. Важнейшее дело совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое тянется уже более двух лет то в Хельсинки, то в Женеве, судя по всему, сдвинулось с мертвой точки. В коммюнике о переговорах в Рамбуйе, видимо, будет намечена ориентация, «открывающая путь» для проведения торжественного совещания в Хельсинки, которое должно увенчать это мероприятие в 1975 году...

2. Позиции по Ближнему Востоку очень близки как в отношении анализа нынешнего положения, считаемого опасным, потому что ничего еще не урегулировано, так и в отношении интеграции палестинского государства в район, где пространство ограничено. Если Советский Союз действительно стремится к возобновлению работы Женевской конференции, то Франция желает ему удачи. Она не участвует в ней, но нельзя блокировать ни один путь, ведущий к миру. Когда-нибудь Франция, быть может, будет играть более активную роль в установлении «справедливого и прочного» мира, если речь пойдет о гарантировании границ государств этого района, всех государств.

3. Перспективы экономического сотрудничества по-прежнему очень обширны, а его развитие, безусловно, связано с политическим согласием... Французский президент и советский руководитель в пятницу сами подписать пятилетнее соглашение об экономическом сотрудничестве».

И вот сегодня во второй половине дня здесь, в одном из залов замка, Л. И. Брежнев и В. Жискара д'Эстэн подписали соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Французской Республикой об экономическом сотрудничестве на период 1975—1979 годов. Это событие вызвало огромный ажиотаж среди корреспондентов. В пресс-центре шла поистине яростная борьба за получение пропусков в зал, где должно было произойти подписание документа: как он ни просторен, но уместиться в нем все журналисты, аккредитованные для освещения переговоров, не смогли бы.

В замок были допущены лишь представители телевизионных агентств, основных телевизионных и радиостанций и газет. И все же, когда перед нами раскрыли двери и репортеры, вооруженные кинокамерами и фотоаппаратами, осветительной аппаратурой и магнитофонами, ринулись в зал, казалось, что началась атака, и Жискара д'Эстэн, улыбаясь, воскликнул:

— Осторожнее, господа! Можно подумать, что это вы, а не мы будем подписывать соглашение...

Журналисты плотным кольцом обступили стол, за который сели Генеральный секретарь ЦК КПСС и президент Франции. Зажужжала киноаппаратура, вступили в действие телевизионные камеры — началось подписание документа. Л. И. Брежнев и В. Жискара д'Эстэн находились в хорошем расположении духа, явно удовлетворенные ходом переговоров. После подписания соглашения к столу подошли министр внешней торговли СССР Н. С. Патолитчев и министр экономики и финансов Франции Ж.-П. Фуракад и подписали целый ряд документов практического характера, закрепляющих развитие экономического сотрудничества между обеими странами.

Когда подписание документов закончилось, Генеральный секретарь ЦК КПСС и президент Франции побеседовали с журналистами. Л. И. Брежнев отметил, что состоялись плодотворные и полезные переговоры.

— Были подписаны документы исключительной важности, — сказал Леонид Ильич. — Мне кажется, что и президент Франции тоже доволен и разделяет мое мнение.

К этой оценке полностью присоединился В. Жискара д'Эстэн.

Далее в беседе с корреспондентами «Правды» президент Франции особо подчеркнул, что подписанные в Рамбуйе экономические соглашения дадут хорошую

основу для дальнейшего развития крупномасштабного делового сотрудничества промышленности Франции с промышленностью Советского Союза.

— Я имею в виду, — уточнил В. Жискара д'Эстэн, — в частности, крупные долгосрочные проекты на компенсационной основе, когда страны, закупая оборудование для своих строящихся предприятий, расплачиваются в дальнейшем за него не деньгами, а продукцией этих предприятий, после того как они войдут в строй.

Однако и Л. И. Брежнев и В. Жискара д'Эстэн в своих беседах с журналистами подчеркнули, что главное значение закончившихся сегодня переговоров, конечно, относится к политической области. Встреча подтвердила преемственность политики согласия сотрудничества между обеими странами, которая является одной из основных составных частей их внешней политики и важным постоянным фактором углубления разрядки в мире и упрочения международной безопасности.

Большое удовлетворение подписанными соглашениями выразили и министры, участвовавшие в выработке документов. В частности, министр экономики и финансов Франции Ж.-П. Фурадак сказал нам:

— Переговоры по вопросам сотрудничества были очень плодотворными. Они привели к принятию ряда важных документов, открывающих перед нашими странами новые перспективы в этой области.

Политические обозреватели здесь придадут особое значение тому, что основополагающее соглашение об экономическом сотрудничестве между СССР и Францией на 1975—1979 годы было подписано Генеральным секретарем ЦК КПСС и президентом Франции. Этот факт, говорят они, подчеркнул важность нового пятилетнего соглашения и значение, которое придается двумя нашими государствами поступательному развитию деловых отношений.

В соглашении отмечается убежденность советского и французского правительств в том, что экономическое сотрудничество «имеет первостепенное значение для развития отношений между обеими странами», и их желание «более полно использовать возможности, которые открывает промышленно-технический прогресс». В соглашении подчеркивается также стремление обеих сторон продолжать и укреплять сотрудничество на основе равноправия и взаимной выгоды.

Об этом стремлении свидетельствуют и другие советско-французские документы, подписанные сегодня. Речь идет прежде всего о протоколе по вопросам расширения сотрудничества в области экономики и промышленности на десятилетний период. Заключено также соглашение о предоставлении Францией кредитов Советскому Союзу на закупку оборудования, машин и приборов, включая крупномасштабные проекты на компенсационной основе. Министры подписали соглашение о дополнительных поставках во Францию начиная с 1980 года полутора миллиарда кубометров советского природного газа в год.

Назовем также подписанный сегодня представителями соответствующих советских организаций и французских фирм протокол о переговорах между всесоюзным объединением Металлургимпорт и французской фирмой «Пешинэ — Южин — Кюльман» о сотрудничестве в строительстве в Советском Союзе в 1975—1979 годах крупнейшего в мире алюминиевого комплекса.

Даже одно лишь простое перечисление помогает яснее представить себе обширный круг экономических проблем и областей, затронутых в ходе ведущихся ныне на разных уровнях советско-французских переговоров. «Это самый большой пакет экономических соглашений, одновременно подписанных между СССР и Францией» — таково единодушное мнение французской и советской сторон.

Каковы, по мнению наших французских собеседников, наиболее характерные черты нынешнего этапа развития деловых отношений между двумя странами? Здесь отмечают прежде всего, что объем франко-советского экономического сотрудничества непрерывно растет. В него втягиваются не только крупнейшие промышленные корпорации и объединения, но и средние и мелкие предприятия, разбросанные по всей стране. Недавно, например, нам довелось побывать в сравнительно небольшом городе Бург-ан-Бресс. Что же мы там узнали? Находящийся в этом городе филиал автомобильного предприятия «Берлие» собирает грузовики

для СССР; местный кабельный завод изготавливает для нас кабель; мастерская автомобильных кузовов сооружает изотермические кузова для машин-холодильников, которые фирма «Савнем» поставляет в Советский Союз. Картина типичная. Она во многом объясняет растущий интерес широкой общественности к торговле с СССР — увеличивается объем торговли, возрастает занятость; а сейчас, когда число безработных во Франции перевалило за полмиллиона, это немаловажный плюс для французов.

В Марселе на центральной улице города, знаменитой Канебьер, близ живописного старого порта высится здание торгово-промышленной палаты, своего рода штаб-квартиры деловых кругов. Именно тут в один из погожих ноябрьских дней проходила встреча, организованная по инициативе редакции газеты местных коммунистов «Марсейез» и посвященная советско-французским экономическим отношениям. К встрече был приурочен необычный (на французском и русском языках) совместный номер «Марсейез» и газеты «Знамя коммунизма», выходящей в Одессе, породненной с Марселем. В этом издании обстоятельно рассказывалось об истории и нынешнем состоянии деловых связей, существующих между этими крупными портовыми городами-побратимами, между нашими двумя странами.

Прения были на редкость интересными, чувствовалось, что тема дискуссии, как говорится, всех взяла за живое. Председатель торгово-промышленной палаты Ж. Дегинь и заместитель мэра города Б. Лечиа, председатель марсельского автономного порта Р. Блюм и директор «Марсейез» Ж. Ригетти, торговый представитель СССР во Франции Л. Ежов и многие другие ораторы, делясь своими соображениями о ходе советско-французского делового сотрудничества, особо подчеркивали одну мысль: исторический опыт и современность убедительно свидетельствуют о взаимовыгодности франко-советских торгово-экономических связей.

Участники встречи вспоминали об известном ленинском указании, сделанном в 1922 году: «Всякое сближение с Францией для нас чрезвычайно желательно, особенно ввиду того, что торговые интересы России настоятельно требуют сближения с этой сильнейшей континентальной державой».

Немало коренных изменений произошло в мире и во франко-советских отношениях с тех пор, как были сказаны эти слова. Ныне уже многие капиталистические страны заинтересованы в расширении деловых связей с социалистическим содружеством, и в частности с Советским Союзом, обладающим огромными возможностями торгово-экономических обменов с внешним миром. Но и советско-французское сотрудничество, познавшее на протяжении полувека периоды и подъемов и спадов, вступило на путь активного развития.

Советский Союз поставляет во Францию жидкое и твердое топливо, руды, цветные металлы, пиломатериалы, целлюлозу, хлопок, химические продукты, различные консервы и другие товары. В последний период несколько увеличился ввоз во Францию наших станков, кузнечно-прессового оборудования, подшипников, экскаваторов, тракторов, часовых механизмов, оптических приборов и т. д. Однако, конечно, французские фирмы могли бы более активно закупать машины и другую готовую продукцию в Советском Союзе.

Подобное замечание тем более правомерно, что основную часть французского вывоза в нашу страну составляют машины и другие готовые изделия. Речь идет о комплектном оборудовании для наших предприятий, о судах, трубах, а также о товарах широкого потребления. Кроме того, мы покупаем у Франции эфирные масла, пряжу, ткани, кожу и другие товары.

Традиционные формы обмена все чаще сочетаются с более совершенным комплексным экономическим сотрудничеством. Мы имеем в виду прежде всего перспективные крупномасштабные проекты. В рамках осуществления этих проектов государственная фирма «Рено», например, поставляет оборудование для наших автомобильных предприятий на Каме (КамАЗ), в Ижевске, в Москве. С помощью другой французской фирмы, «Содетег», в Минске сооружается крупный завод, рассчитанный на производство примерно 500 тысяч холодильников в год. Франция поставляет оборудование для ряда советских химических предприятий — скажем, по производству стирола с годовой мощностью до 300 тысяч тонн, поли-

стирола — 200 тысяч тонн. Представители французских деловых кругов не раз говорили нам о своем интересе к возможностям совместной разработки некоторых видов полезных ископаемых и ряду других весьма многообещающих планов.

Растущую роль в последнее время играет двустороннее сотрудничество на компенсационной основе. Подписан, например, контракт на поставку французского оборудования для Усть-Илимского целлюлозного комбината. За это оборудование СССР будет расплачиваться не деньгами, а частью продукции, когда предприятие вступит в строй. На этом же принципе строятся расчеты за оборудование, которое Франция поставляет для строящихся в Советском Союзе химических заводов и некоторых других промышленных объектов. Наконец, на этом же принципе строится заключенное сейчас с французской стороной соглашение о поставках оборудования для сооружения в СССР крупнейшего комплекса по производству алюминия.

Называют немало и других проектов. Представитель Елисейского дворца говорил, например, о возможных сделках, касающихся поставок в нашу страну оборудования, предназначенного для производства гелия, парафина, метанола, алюминиевой фольги, современной телефонной аппаратуры и т. д.

Касаясь советского экспорта во Францию, отмечают значение поставок нашего оборудования и машин для железнодорожного строительства, текстильной промышленности, щебеночных заводов, предприятий по переработке пластмасс.

Специалисты обращают также внимание на богатые возможности промышленной кооперации между советскими организациями и французскими фирмами. Имеется в виду, например, сотрудничество в области атомной энергетики, включая создание атомных реакторов, в области производства сельскохозяйственных машин, совместного производства большегрузных контейнеров и т. д.

— Сейчас начинается поистине новая страница в летописи франко-советского делового сотрудничества, — сказал нам государственный секретарь по вопросам внешней торговли Франции Н. Сегар. — Эту страницу открывает встреча Брежнева с Жискаром д'Эстэном, в ходе которой приняты важные документы. Я уверен, что это будет очень интересный, насыщенный раздел современной истории франко-советского делового сотрудничества.

Придав своему сотрудничеству стабильный, постоянный характер, СССР и Франция решили планировать совместную работу с дальней перспективой, на длительный срок. В этой связи в Париже и в Москве придадут большое значение подписанным в прошлом году и рассчитанным на десятилетний срок программам углубления советско-французского сотрудничества в области экономики и промышленности, а также в научно-технической сфере.

— Эти программы, — сказал нам председатель Франко-Советской торговой палаты Р. Нюнжессер, — способствуют осуществлению многих крупномасштабных проектов. В этих условиях возрастает роль и нашей палаты. Она стремится как можно шире знакомить французские деловые круги с советским рынком и побуждает их смелее использовать новые возможности, которые открывают долговременные перспективные программы.

Вместе с тем в Париже и в Москве отнюдь не склонны переоценивать положительные результаты, достигнутые в области двусторонних деловых связей. Все согласны с тем, что в этой области существуют огромные, еще не использованные возможности дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества. Здесь напоминают, что по общему объему экономических связей с СССР Франция все еще отстает от целого ряда европейских стран, в частности от ФРГ, Англии и Финляндии.

**Письмо пятое**

7 декабря 1974 года.

## ЧИСТОЕ НЕБО

Закончилась в аэропорту церемония проводов Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, отзвучали гимн Советского Союза и французская «Марсельеза», утих в декабрьском небе рокот могучих двигателей бело-голубого

лайнера «ИЛ-62», взявшего курс на Москву. Государственные и политические деятели, присутствовавшие при проводах, вернулись в Париж, а во французской столице продолжают оживленно комментировать итоги только что закончившегося визита.

Проводы были исключительно теплыми. В салоне почета собрались виднейшие французские деятели, представители посольства СССР и других советских учреждений во Франции. Галерея для прессы была переполнена.

Когда Л. И. Брежнев в сопровождении В. Жискара д'Эстэна вошел в салон, раздался гром аплодисментов. Обращаясь к присутствующим, Л. И. Брежнев сказал, что он доволен итогами переговоров — они будут содействовать развитию советско-французского сотрудничества в политической, экономической, научно-технической и культурной областях.

— Мы ехали сюда с добрыми намерениями и уезжаем с полным удовлетворением, — подчеркнул Л. И. Брежнев.

— Мы видим, что вы в прекрасном настроении, — заметил один из французских обозревателей.

— Понятно почему, — ответил, улыбаясь, Леонид Ильич. — Переговоры были хорошими, результаты отличные.

В. Жискара д'Эстэн, стоявший рядом, подтвердил эту оценку. Когда же самолет поднялся в воздух, он вернулся в салон почета, где его ждали журналисты, и провел импровизированную пресс-конференцию, в ходе которой, в свою очередь, высоко оценил практические результаты, достигнутые в итоге только что закончившейся франко-советской рабочей встречи в верхах.

— Мы с Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, — сказал он, — вели в течение трех дней весьма позитивные, весьма полезные и сугубо деловые переговоры. Содержание бесед будет опубликовано в самое ближайшее время, в момент, установленный с общего согласия с учетом времени прибытия господина Брежнева в Москву, то есть в семь часов по московскому и в пять по парижскому времени. Мы рассмотрели все важные проблемы, касающиеся как международных, так и двусторонних отношений, и смогли отметить совпадение взглядов по этим проблемам между Советским Союзом и Францией. Сотрудничество между нашими двумя странами не зависит от обстоятельств, оно не связано с неустойчивыми факторами международной политики, оно соответствует тщательному анализу политических и географических условий нашего времени. Я убежден, что визит господина Брежнева в Париж не только упрочит сотрудничество между Советским Союзом и Францией, но и обеспечит его новый подъем, новый размах. Это отвечает интересам наших двух стран, это послужит великому делу мира во всем мире. Перед самым отъездом сегодня утром господин Брежнев пригласил премьер-министра посетить в ближайшее время Советский Союз. Премьер-министр, специально прибывший в Орли, принял это приглашение и вскоре посетит Советский Союз. Что касается меня, то вы знаете об официальном приглашении мне посетить Советский Союз в семьдесят пятом году. Сегодня утром мы договорились, что этот визит состоится осенью, в начале будущей осени. В коммюнике вы увидите очень подробное и очень ясное изложение совместной позиции Советского Союза и Франции по проблеме безопасности в Европе, свидетельствующее о большом значении, которое мы придаем этой проблеме. Скажу вам, что личный аспект отношений — это важный фактор. Я был просто поражен той сердечностью, непосредственностью, откровенностью, которыми отличались переговоры с господином Брежневым. Господин Брежнев участвовал в беседах, которые были очень продолжительными — ведь мы беседовали несколько раз по несколько часов. И еще сегодня утром он продемонстрировал на этих переговорах, я должен сказать, очень ясное понимание вопросов, очень глубокое знание проблем и в то же время проявил очень большую откровенность в их изложении. Я старался отвечать тем же самым. Я только что проводил господина Брежнева к самолету... Мы обсудили вопрос о безопасности в Европе, о ее организации и о совещании, положение на Ближнем Востоке (и в этой связи я отметил полное совпадение взглядов, в том числе и по вполне конкретным во-



просам, между Советским Союзом и Францией) и, наконец, развитие двусторонних отношений и очень широкий размах, который будет придан, как вы знаете, различного рода обмену, отношениям, сотрудничеству между двумя великими индустриальными державами, каковыми являются Советский Союз и Франция. Благодарю вас. Спасибо. (Это слово президент Франции произнес по-русски.)

— Теплые проводы Генерального секретаря ЦК КПСС, — заявил нам председатель Национального собрания Франции Эдгар Фор, — невольно напоминают нам о том, что, сказав сегодня друг другу «до свидания», Леонид Ильич Брежнев и Валери Жискар д'Эстэн в семьдесят пятом году скажут друг другу «здравствуйте» — впереди официальный визит президента Франции в Советский Союз. Советско-французские встречи в верхах вошли в систему. В них есть большая потребность — они играют определяющую роль в наших двусторонних отношениях и в совместных усилиях, направленных на решение назревших международных проблем.

Эдгар Фор видит глубокий смысл в том, что закончившиеся франко-советские переговоры вписываются в рамки целой серии проводимых сейчас Генеральным секретарем ЦК КПСС встреч на высшем уровне, смысл которых был образно сформулирован Л. И. Брежневым в Рамбуйе. «Нет цели более важной и благородной, — сказал он, — чем обеспечить чистое, мирное небо над всей нашей планетой. Во имя этого не жаль никаких усилий, никаких трудов». Эти слова вчера и сегодня широко комментируются парижской печатью и выносятся в заголовки местных газет.

В этом духе в Париже и рассматривают результаты только что закончившейся рабочей встречи в Рамбуйе. В полной мере эти результаты можно будет представить себе завтра, когда в Париже и в Москве будет опубликовано итоговое коммюнике. Но уже сейчас можно со всей определенностью сказать, что нынешняя встреча знаменовала собой новый, весьма важный этап на пути «от стадии разрядки напряженности к стадии согласия», как выразился, выступая в Рамбуйе, президент Французской Республики.

Л. И. Брежнев в своей речи заявил: «Не будет преувеличением сказать, что Советский Союз и Франция совместными усилиями в немалой степени способствовали оздоровлению политического климата в Европе, да и не только в Европе. Позиции наших стран по ряду ключевых вопросов современной международной обстановки близки или совпадают. А это значит, что существует поле для дальнейшего конструктивного сотрудничества в интересах дальнейшей разрядки международной напряженности».

Напомнив об этих словах, один из журналистов, освещающих визит, сегодня в пресс-центре справедливо заметил:

— Это поле засеяно сейчас добрыми семенами, и можно надеяться, что они своевременно дадут свои всходы.

Французская печать, радио, телевидение, агентство Франс Пресс чрезвычайно широко освещают переговоры, подчеркивая их конструктивный, плодотворный характер. Вот, к примеру, заголовки первых полос некоторых парижских газет. «Юманите»: «Прогресс в Рамбуйе». «Фигаро»: «Новый подъем в отношениях между Парижем и Москвой». «Орор»: «Соглашения в Рамбуйе придадут новый размах франко-советскому сотрудничеству».

Газеты публикуют заявление Генерального секретаря ФКП Ж. Марше о его встрече с Л. И. Брежневым. Ж. Марше отметил, что это была братская и теплая беседа, какие могут происходить между коммунистами.

В официальном сообщении об этой беседе отмечается, что товарищ Л. И. Брежнев информировал руководителей Французской компартии о мерах, осуществляемых ЦК КПСС для дальнейшего углубления международной разрядки на основе ленинских принципов мирного сосуществования государств с различным социальным строем. Было подчеркнуто особое внимание, которое ЦК КПСС уделяет развитию традиционной дружбы между советским и французским народами, между СССР и Францией.

Французские товарищи в беседе высказывали свою высокую оценку результатов внешнеполитической деятельности КПСС, способствующей успешной борьбе народов за мир, национальную независимость и социальный прогресс. Они говорили о твердой решимости ФКП и впредь активно содействовать позитивному вкладу Франции в дело разрядки и сотрудничества, развитию франко-советских отношений как важного фактора, отвечающего национальным интересам Франции, интересам мира и безопасности в Европе.

Товарищ Л. И. Брежнев вновь подтвердил братскую солидарность КПСС с благородной, глубоко патриотической и последовательно интернационалистской деятельностью французских коммунистов.

Было отмечено благотворное влияние братского сотрудничества между обеими партиями на развитие дружбы между народами Советского Союза и Франции и подчеркнута намерение обеих партий и впредь углублять это сотрудничество.

Беседа и встреча прошли в обстановке сердечной дружбы, солидарности, полного взаимопонимания.

Прогрессивные французские круги отмечают, что нынешнее позитивное развитие обстановки на международной арене, в котором важную роль призвано играть традиционное франко-советское сотрудничество, является прямым следствием последовательного осуществления Советским Союзом Программы мира, принятой XXIV съездом КПСС и активно поддержанной братскими социалистическими странами и всеми миролюбивыми силами.

В посольство в эти дни поступают письма и телеграммы, авторы которых высказывают именно такую оценку и приветствуют успехи, достигнутые Советским Союзом в борьбе за мир.

Вот что пишет, например, Альбер Гран из Гровиля:

«Я выражаю свои самые искренние восхищение и признательность Советскому Союзу за его неутомимую деятельность в пользу всеобщего мира. Я всегда верил, даже в годы «холодной войны», в то, что ваша страна призвана сыграть важную роль в борьбе за упрочение мира во всем мире. Теперь это стало очевидным для всех».

Как подчеркивали вчера и сегодня в руководящих кругах Франции, нынешняя рабочая встреча в Рамбуйе дала возможность еще больше расширить конструктивное взаимодействие наших двух стран в международных делах, не говоря уж о том, что здесь был разработан и подписан сегодня целый ряд важных соглашений, направленных на расширение советско-французского делового сотрудничества.

Не будет преувеличением сказать, что эти соглашения могут послужить примером для аналогичного сотрудничества с другими западными державами, — Франция явно выходит вперед по сравнению с некоторыми из них в своих экономических связях с социалистическими государствами, проявляя реализм и заботу о своих национальных интересах.

Но главное значение, повторяем, имеет согласование позиций СССР и Франции по целому ряду назревших международных проблем. Газета «Фигаро» в этой связи еще вчера, подводя итоги первого дня переговоров, писала: «Два прочных результата являются итогом первого дня бесед в Рамбуйе между В. Жискард д'Эстаном и Л. И. Брежневым. Как было сообщено официально, подтверждена воля обоих собеседников продолжать политику особо тесных связей между Москвой и Парижем. Как мы узнали в официозном порядке, президент республики дал согласие направиться в Хельсинки на большую общеевропейскую встречу в верхах, которой ознаменуется завершение работ конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе».

В этой связи здесь вспоминают, что около полутора лет назад, в июне 1973 года, в Рамбуйе, проводя очередную рабочую встречу с президентом Помпиду, Л. И. Брежнев, говоря о значении общеевропейского совещания, выразил уверенность, что его участникам предстоит как бы заглянуть в будущее нашего континента, найти пути развития взаимоотношений между государствами в условиях мирного сотрудничества. «Это — задача поистине исторического масштаба, — ска-

зал-он тогда, — решить ее — значит не только сказать новое слово в Европе, но и подать пример, имеющий широкое международное значение».

Факты говорят о том, что ныне участники общеевропейского совещания идут к выполнению этой задачи действительно исторического масштаба. Подтверждением этого является тот красноречивый факт, что Л. И. Брежнев и В. Жискард д'Эстен пришли к соглашению о необходимости завершить работу совещания в кратчайший срок и провести третью заключительную фазу его на высшем уровне.

Президент Французской Республики вчера в беседе с нами в зале Рамбуэе подтвердил прогнозы, публиковавшиеся в печати на сей счет, и сказал, что уже достигнуто соглашение об этом. Таким образом, число стран — участниц общеевропейского совещания, высказывающихся за скорейшее проведение заключительного этапа, и притом на высшем уровне, растет.

Весьма важное значение имело, отмечают в информированных кругах, детальное и конструктивное обсуждение острых проблем Ближнего Востока, где положение, по мнению обеих сторон, остается взрывоопасным.

Наконец, политические обозреватели с интересом отмечают определенный прогресс, достигнутый в жизненно важной области борьбы за ограничение и сокращение вооружений. Мы имеем в виду, в частности, вопрос о созыве Всемирной конференции по разоружению в соответствии с известным решением Генеральной Ассамблеи ООН.

Итак, завершившаяся сегодня рабочая советско-французская встреча в верхах красноречиво подтвердила, что политика согласия и сотрудничества стала постоянной линией в советско-французских отношениях, а регулярные политические консультации между Советским Союзом и Францией, в том числе и на высшем уровне, дают возможность успешно находить новые и новые конструктивные решения и вопросов двусторонних отношений и важных международных проблем.

«Дружба Советского Союза и Франции — это ценное достояние народов наших стран, мы призваны крепить и развивать ее, — говорил в своей речи в Рамбуэе Л. И. Брежнев. — Этим руководствуются Коммунистическая партия Советского Союза, наше правительство, весь советский народ».

### Письмо шестое

8 декабря 1974 года.

### **НОВЫЙ ЭТАП**

Опустел старинный замок в Рамбуэе. Вновь воцарилась тишина в аллеях его обширного парка. Специалисты министерства связи демонтируют аппаратуру, верой и правдой служившую в эти дни сотням корреспондентов, которые освещали франко-советскую встречу в верхах, и помещение мэрии приобретает свой обычный будничныи вид. Журналисты уже вернулись в редакции своих газет. Но проблемы франко-советских отношений остаются в центре всеобщего внимания. Больше того: позавчера, вчера и сегодня они являются темой номер один в разговорах, которые ведутся в самых различных кругах Парижа.

С этой темы начинают свои передачи обе телевизионные программы, ей уделяют широкое внимание радиокомментаторы, всестороннее отражение она находит на страницах газет. В кулуарах Национального собрания и в проходных заводах и фабрик, в светских салонах и в кафе — всюду толкуют о соглашениях, подписанных в Рамбуэе, об основных положениях итогового коммюнике, которое здесь было обнародовано в пять часов вечера в субботу, 7 декабря.

Само собой разумеется, в этих беседах можно различить разнообразные оттенки — в зависимости от того, какой политической ориентации придерживаются их участники. Но при всем том со всей определенностью можно сказать, что доминирует чувство глубокого удовлетворения тем, что, как подчеркнула сегодня газета «Журналь дю диманш», никогда не отличавшаяся симпатиями к тем идеям, какие лежат в основе нашей системы, нынешняя встреча увенчалась очень большим успехом.

Не только орган французских коммунистов «Юманите», но и «Фигаро», стоящая на антикоммунистических позициях, сейчас подчеркивает, что итоги рабочей встречи в Рамбуйе вписываются в рамки выполнения Программы мира, провозглашенной XXIV съездом КПСС. Та же «Фигаро», к примеру, писала на днях, что «Программа мира, провозглашенная на XXIV съезде Коммунистической партии Советского Союза, кажется, проводится в жизнь более успешно, чем когда-либо. Разрядка в отношениях с Соединенными Штатами была укреплена во Восточной Европе, хорошие отношения с ФРГ были подтверждены в Москве во время визита Г. Шмидта, доброе согласие с Францией только что было вновь продемонстрировано в ходе трехдневных переговоров в Рамбуйе».

Почему же эти итоги встречают здесь столь впечатляющую поддержку? Ответы на этот вопрос мы получили в беседах с деятелями, принадлежащими к самым различным политическим течениям Франции, которые находятся, как известно, в состоянии борьбы друг с другом, но в то же время выступают за развитие отношений мирного сосуществования с социалистическими странами, что является весьма важным знаменем времени.

Премьер-министр Франции Жак Ширак сказал нам вчера на аэродроме Орли, где состоялась проводы Л. И. Брежнева, что последовательное развитие всестороннего сотрудничества Франции с Советским Союзом, за которое столь активно выступал генерал де Голль, отвечает ее жизненным национальным интересам, и в частности интересам безопасности страны. Он заявил, что преемственность в осуществлении политики, направленной на упрочение дружбы с СССР, выразительным свидетельством чего являются итоги встречи в Рамбуйе, закономерна и что можно не сомневаться — осуществление важных решений, записанных в совместном коммюнике, будет содействовать упрочению мира в Европе, и не только в Европе.

Член Политбюро Французской коммунистической партии, политический директор газеты «Юманите» Ролан Леруа в беседе с нами подчеркнул: советско-французское коммюнике и заключенные в Рамбуйе соглашения показывают, что встреча между Л. И. Брежневым и В. Жискаром д'Эстэном была очень позитивной.

— Мы, — сказал он, — без всяких оговорок рады этому, и вместе с нами должны радоваться все, кому дороги национальные интересы, и все, кто искренне действует в пользу мира и разрядки.

Наконец, видный деятель партии деголлевцев «Союз в защиту республики», депутат Национального собрания Луи Жокс, являющийся одним из президентов общества «Франция — СССР», заявил, что все деголлевцы бесспорно удовлетворены новым подъемом в развитии франко-советского делового сотрудничества — и в двустороннем плане и на международной арене.

Телевидение, радио и газеты подробно изложили беседы товарища Л. И. Брежнева и В. Жискара д'Эстэна с журналистами в Рамбуйе после подписания экономических соглашений 6 декабря и вчера в аэропорту перед отлетом Генерального секретаря ЦК КПСС и сопровождающих его лиц в Москву. Миллионы французов увидели на экране улыбающееся лицо Л. И. Брежнева и услышали, какую высокую оценку он дал итогам переговоров, его слова тут же перевел на французский язык обозреватель французского телевидения Зитрон.

Эти слова воспроизвели все массовые средства информации — радио и газеты. Они подчеркнули, что положительную оценку, данную итогам переговоров в Рамбуйе Генеральным секретарем ЦК КПСС, полностью подтвердил президент Франции.

Комментируя эти итоги, французские политические обозреватели прежде всего отмечают значение достигнутого участниками переговоров согласия по важнейшим политическим проблемам и по вопросу о завершении общеевропейского совещания. Буквально все средства массовой информации цитируют соответствующий пункт советско-французского коммюнике, в котором записано, что сейчас «созданы хорошие предпосылки для завершения совещания в кратчайший срок, для проведения его третьего этапа и подписания заключительных документов на высшем уровне». При этом подчеркивается, что такая договоренность не сопро-

вождается никакими условиями и оговорками, она сформулирована без всяких «но» и «если».

Таким образом, есть все основания считать, что встреча в Рамбуйе дала новый мощный импульс конструктивному развитию отношений СССР и Франции во всех областях. Без преувеличения можно сказать, что эти отношения вступают в новый этап, перспективы которого широки и ободряющи для всех тех, кому дорог мир и международное сотрудничество.

Перед нами вчерашний номер газеты «Фигаро». Она открывается передовой статьей ее директора академика Ж. д'Ормессона, который никогда не скрывал своей открытой неприязни к коммунистическим идеям. Тем интереснее, что эта статья под красноречивым названием «Очень сильный друг» целиком посвящена защите идеи мирного сосуществования.

«В глазах советских людей,— пишет Ж. д'Ормессон,— мирное сосуществование не означает прекращения идеологической борьбы. Л. Брежнев не согласен с нашей концепцией демократии. Мы не согласны с идеями коммунизма. Вещи таковы, какими они являются. Но главное заключается в том, что и СССР и Франция хотят мира... Франко-советская дружба традиционна,— провозглашает директор «Фигаро»,— поскольку она необходима. Она жизненна, поскольку закалилась в борьбе против общего врага». Исходя из этого, он и приветствует достигнутое соглашение.

Ну что же, Ж. д'Ормессон в данном случае прав. Идеологическая борьба будет продолжаться, и мы еще не раз скрестим шпаги с воинствующими антикоммунистами, в распоряжение которых часто предоставляются страницы руководимой им газеты, как и ряда других буржуазных органов печати. Но эта борьба идей не может и не должна приобретать характер вмешательства во внутренние дела друг друга, и она не будет мешать развитию плодотворного делового сотрудничества между обеими странами.

Чем лучше будут отношения СССР и Франции, чем шире будет их сотрудничество, чем крепче будет взаимное доверие, тем лучше для дела прочного мира в Европе и во всем мире. Как сказал Л. И. Брежнев в своей речи в Рамбуйе, прошедшие годы подтвердили плодотворность политики всестороннего развития советско-французских дружественных отношений, убедительно показали, какие возможности заложены в них. И можно не сомневаться, что новый этап в развитии советско-французских отношений, открытый встречей в Рамбуйе, принесет добрые плоды.

\* \* \*

Прошло без малого три месяца с тех пор, как закончилась встреча в Рамбуйе, которой мы посвятили эти письма. Три месяца — срок не столь уж большой, но, оглядываясь на пройденный путь, можно с уверенностью подтвердить, что наш парижский коллега был глубоко прав, когда сказал: посеянные в Рамбуйе семена дадут хорошие всходы.

Как было отмечено в постановлении Политбюро ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР об итогах этой встречи, опубликованном 10 декабря 1974 года, результаты переговоров в Рамбуйе подтвердили устойчивость проводимой с 1966 года политики согласия и сотрудничества между Советским Союзом и Французской Республикой. Именно эта политика стала во многом исходным фактором разрядки напряженности, перестройки отношений между странами Востока и Запада на принципе мирного сосуществования государств с различным социальным строем.

Визит товарища Л. И. Брежнева во Францию вновь продемонстрировал важную роль регулярных встреч на высшем уровне для решения назревших международных проблем, для продолжения процесса разрядки, развития взаимовыгодного сотрудничества государств.

Как известно, вскоре после советско-французской встречи на высшем уровне в Рамбуйе состоялись переговоры руководителей девяти стран — членов Западно-европейского экономического сообщества в Париже, а затем встреча прези-

дентов Франции и США на острове Мартиника. Небезынтересно в этой связи вспомнить, что говорил 21 декабря по возвращении в Париж Жискар д'Эстэн.

— У меня сложилось твердое впечатление,— заявил он,— что Брежнев движим глубоким и сознательным стремлением к миру и что он не мыслит такой внешней политики Советского Союза, которая должна или может сопровождаться военным вмешательством. У меня создалось впечатление, что я имею дело с человеком, который руководствуется подлинным стремлением к миру.

Президент Франции указал, что в ходе встреч в Рамбуйе было уделено большое внимание работе совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

— До сих пор,— сказал он,— некоторые страны говорили: в зависимости от результатов мы посмотрим, нужно ли будет проводить заключительный этап совещания на высшем уровне. Что касается нас, то нынешние обстоятельства позволяют занять принципиальную позицию в пользу его проведения на высшем уровне.

По мнению В. Жискара д'Эстэна, совещание достигло значительного прогресса.

— Пока еще остается ряд проблем,— отметил он,— но при нынешнем положении вещей можно считать желательным завершение общеевропейского совещания в первой половине семьдесят пятого года.

Президент заявил далее, что Франция готова внести свой вклад в борьбу за всеобщее разоружение.

Касаясь проблем, стоящих перед странами Западной Европы, президент Франции констатировал, что «в данный момент нет никакой совместной внешней политики «девятки», но делаются усилия, чтобы такая политика была». Он далее отметил, что в области энергетики, где «в прошлом году происходили столкновения, точки зрения и сейчас не идентичны». Говоря об отношениях между Францией и НАТО, президент подчеркнул, что в этом вопросе «не произошло никакого изменения».

Жискар д'Эстэн заявил, что соглашение на Ближнем Востоке невозможно без решения палестинской проблемы, являющейся, как сказал он, главной проблемой. По существу, продолжал президент, на Ближнем Востоке есть три проблемы: палестинская, оккупированные арабские территории и Израиль. По этому поводу русские думают так же, как мы.

Касаясь франко-американской встречи на высшем уровне на Мартинике, В. Жискар д'Эстэн дипломатично сказал:

— Отношения с Соединенными Штатами затруднены в силу разных размеров наших стран.

Он добавил, что легче поддерживать «равные отношения» с СССР, ибо, заметил он, «здесь все проблемы могут разрешаться между правительствами, тогда как в отношениях с Соединенными Штатами проблемы решаются в иных сферах, помимо правительственных».

Тем временем повседневная, кропотливая, будничная работа по развитию франко-советских отношений, как она была предопределена в Рамбуйе, шла своим чередом. 7 января 1975 года в Париже открылась двенадцатая сессия смешанной советско-французской комиссии по научно-техническому сотрудничеству.

— Эта сессия,— сообщил журналистам глава советской делегации Д. М. Гвишиани,— проходила под знаком претворения в жизнь тех направлений сотрудничества, которые были определены на советско-французской встрече на высшем уровне в Рамбуйе.

Понадобились бы десятки страниц для того, чтобы лишь перечислить эти направления,— они охватывают многие, и притом сложнейшие, проблемы науки и техники, экономики и планирования, строительства, градостроительства и архитектуры, технологии сельскохозяйственного производства и т. д.

На сессии комиссии были рассмотрены также крупные промышленно-экономические проекты, в том числе проекты, осуществляемые на компенсационной основе. Было отмечено, что дело это продвигается вперед успешно. Наконец, участники переговоров уделили большое внимание вопросам выполнения соглашения

об экономическом сотрудничестве на 1975—1979 годы и других соглашений, подписанных в Рамбуйе. Речь шла, в частности, о том, что практически нужно сделать, чтобы выполнить достигнутую в Рамбуйе договоренность: удвоить в предстоящем пятилетии товарооборот и предпринять все необходимое, чтобы его утроить, а также обеспечить сбалансированное развитие договорного обмена между Советским Союзом и Францией.

Но наибольшее внимание обеих сторон, конечно, по-прежнему привлекает развитие политического сотрудничества между нашими странами. Важнейшим полем приложения усилий СССР и Франции в борьбе за укрепление мира и международной безопасности является в эти дни, в частности, общеевропейское совещание в Женеве. В Париже, как и в Москве, должны помнить, что в Рамбуйе было отмечено: на втором этапе этого совещания уже достигнут существенный прогресс в выработке проектов экономических документов. СССР и Франция заявили о своей решимости «активизировать усилия по согласованию вопросов, которые еще остаются несогласованными», чтобы завершить второй этап работы. При этом стороны констатировали, что сейчас уже «созданы хорошие предпосылки для завершения совещания в кратчайший срок, для проведения его третьего этапа и подписания заключительных документов на высшем уровне».

Сейчас самое время для практического осуществления этой договоренности!

Важное значение для дальнейшего развития всестороннего политического сотрудничества СССР и Франции имеют дальнейшие межгосударственные контакты на правительственном и парламентском уровнях. Сейчас, когда мы дописываем эти строки, идет практическая подготовка к предстоящему визиту в Советский Союз премьер-министра Франции Ширака, а также к очередному совместному заседанию комиссий по иностранным делам Верховного Совета СССР и Национального собрания Французской Республики.

Таким образом, советско-французские отношения получили новый импульс в итоге встречи в Рамбуйе. Достигнутая там договоренность развивать их на прочной, стабильной основе открывает широкие перспективы в борьбе за упрочение мира и безопасности в Европе. Вот почему эта встреча вызвала самые широкие благожелательные отклики во всем мире.

Как писала «Правда» в своей передовой статье, посвященной итогам встречи в Рамбуйе, 11 декабря, «наш народ единодушно приветствует плодотворные результаты советско-французской встречи в верхах. Трудящиеся Страны Советов целиком и полностью одобряют ленинскую политику КПСС. Эта мудрая политика вдохновляет миллионы строителей коммунизма на новые успехи в созидательном труде на благо Родины, во имя укрепления дела мира».

Париж—Москва,  
декабрь 1974—февраль 1975 года.



---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ГЕНРИХ БОРОВИК



## МАЙ В ЛИССАБОНЕ

*Записки о первых днях португальской весны*

Без малого полвека назад мировая печать сообщила о военном перевороте в Португалии и об установлении там режима, который его создатели назвали *estado novo* — новое государство. С переворотом пришла диктатура реакции и началась фашизация Португалии. А «новое государство» было одним из симптомов будущего гитлеровского «нового порядка».

Полвека шла борьба против португальского фашизма. В ней участвовали прогрессивные силы в самой стране и национально-освободительные движения в колониях.

Автор настоящих записок побывал в Лиссабоне через несколько недель после свержения фашистского строя. Не ставя перед собой задачи дать полную картину апрельских событий и их последствий, писатель рассказывает о первых днях португальской весны, коим был свидетель, и о том, как люди из различных слоев португальского общества, с которыми он познакомился, восприняли «самый большой политический сюрприз в Европе второй половины двадцатого века».

**Ж**

урналист улетал из Москвы вскоре после Дня победы. В сквере возле Большого театра люди искали однополчан или хотя бы бойцов с одного фронта. Искали, находили, не находили, расспрашивали, отвечали, обнимались, молчали, плакали. День был жаркий, и многие, устав искать, отвечать и расспрашивать, просто подолгу сидели, вдавившись в глубокие садовые скамьи.

На них смотрели любопытные.

Журналист долго стоял у одной из скамеек. На ней сидели рядом ветераны. Один спал, сморенный жарой, положив голову на плечо соседа и надвинув на красное лицо серую шляпу, будто сделанную из проржавевшей жестяной терки. Другие застыли в одинаковых усталых позах, сложив руки на животах. Ордена и медали перечеркивали их сплошной линией длиной в скамью. Все молчали, и только дородная женщина с крупным лицом, в погонах сержанта еще отвечала на вопросы. Уже все рассказала — и как была санитаркой, и как после войны вернулась в деревню, пахала на корове, как потом сделалась трактористкой, но еще позже все-таки ушла в город и поступила в госпиталь, снова санитаркой. И до сих пор там работает. Гимнастерка на ней выцвела пятнами и была во многих местах аккуратно заштопана и залатана кусками чужой материи, та самая гимнастерка, чистая, святая, в которой вернулась с войны и долго еще носила не снимая, потому что ничего другого не было, а сейчас надевает каждый год 9 мая. Женщина отвечала и за остальных, что сидели на скамейке, — представляла по имени, отчеству, званию. Подходили новые люди к скамье, иногда пожилые, иногда совсем молодые. И снова спра-



шивали, а она снова отвечала. Негромко, чуть с грустью. Соседи соглас-но кивали головами время от времени не в силах сами поддерживать раз-говор и передоверив все ей, этой рослой санитарке, которая была крупнее каждо-го из мужчин на скамейке.

Кто-то сказал, не скрывая восхищения:

— Смотри, орденов-то не меньше, чем у мужиков!

Она улыбнулась, довольная:

— Раньше тонюсенькая была, дак вся грудь в орденах. Генерал наш гово-рил: «Евдокия, еще бы дал, дак вешать некуда». А сейчас раздалась, и вроде меньше их стало. Есть куда новые бы положить. Дак теперь не дают. А генерал погиб в самом конце войны, в марте...

Самолет летел над Европой. Она была так далеко внизу, что совсем легко было представить себе ее в той почти тридцатилетней давности, только что вы-шедшей из самой тяжелой войны в истории разрушенной, сожженной, пропах-шей дымом из печей Майданека и Освенцима, только что повергнувшей фа-шизм.

И самолет своим маршрутом тянул ниточку от 9 мая 1945 года прямо к 25 апреля 1974 года — дню, когда рухнул самый старый фашизм в Европе — португальский.

Рухнул совсем, казалось бы, неожиданным образом. Неожиданным, во вся-ком случае, для нас. Борьба против фашизма начиная с Испании 1936 года и до дня победы в 1945-м всегда означала кровь, смерть, высшее напряжение сил.

А здесь, на этом дальнем краю Европы, в Португалии, фашизм рухнул, казалось, сам собой, практически без боя, под песню «Грандула, моя смуглянка». Это радовало и тревожило одновременно.

В самолете португальской авиакомпании ТАП, идущем по курсу Париж — Лиссабон, стоит устойчивый запах крепкого кофе и такой напряженный шелест газет, будто несколько десятков человек одновременно и с остервенением рвут их на части.

Газеты передают из рук в руки, их вымалывают, их делят на страницы, их читают жадно от названия до некролога, рассматривают фотографии, из них, вы-зывая возмущение окружающих, вырывают какие-то особо важные статьи и прячут в карманы, над ними спорят, над ними волнуются, радуются, возмущаются, удивляются, восторгаются.

Все понятно: в самолете свежие, сегодняшние лиссабонские газеты и не-сколько десятков португальцев, возвращающихся на родину после событий 25 ап-реля. Такое сочетание дает бурную реакцию.

— Бог мой! «Броненосец «Потемкин»! — удивляется седой человек и всплес-кивает руками.

В результате этого неосторожного жеста газета моментально оказывается в руках его соседа по креслу. Сосед пристально рассматривает сообщение о демон-страции в Лиссабоне великого фильма, будто изучает подлинность типографской краски и газетного листа. Неужели это правда, неужели не сон, не подделка, не шутка, не розыгрыш — неужели и до Лиссабона наконец доплыл мятежный бро-неносец?!

Газеты полны сообщений, которые три недели назад показались бы любому португальцу фантастическими.

Генерал Спинола объявлен Советом национального спасения президентом республики и сегодня в пять вечера будет официально принимать эту должность. Завтра вступают в должность министры временного правительства. Премьер-ми-нистром будет Карлуш из народно-демократической партии, министром без порт-феля — Алваро Куньял, Генеральный секретарь Португальской компартии, мини-стром труда — тоже коммунист Авелино Пашеку Гонсалвиш, министром иностран-

ных дел — социалист Мариу Соареш, министром общественных средств связи (бывшее министерство информации) — социалист Рауль Рего (редактор газеты «Республика»). Арестованы еще пять бывших агентов ПИДЕ. Распущена фашистская партия. Назначен новый ректор Лиссабонского университета. На днях начнет выходить легально газета компартии «Аванте!»...

Газет на всех не хватает. К каждой освободившейся странице, даже к оторванному куску ее тянется одновременно несколько рук. Измятые полосы передают от кресла к креслу, из рук в руки. Возбужденные глаза, многозначительные взгляды — вся гамма чувств от бурного открытого торжества до страха, спрятанного глубоко в затылке, возле самого мозжечка.

Разные люди летят в Лиссабон в мае 1974 года. И те, для кого события 25 апреля — счастье. И те, для кого они — опасность.

Шелестят, шелестят газетные страницы. Так громко шелестят, что даже утробный гул самолетных двигателей, кажется, отступает.

А внизу лежит древняя спокойная земля Португалии — зеленая и желтая, будто сшитая из кусков старого бархата, местами потертого, местами сильно тронутого молью. Бархатная мантия гор, край которой полощется в воде Атлантики.

Кто мог думать, что на этой земле так неожиданно свершатся события, о которых заговорит весь мир. Казалось, фашизм здесь не только стар, но и крепок, крижист, врос в землю вместе с тюрьмами. Казалось, что ПИДЕ, созданная с помощью гитлеровских нацистов, возвела вокруг диктатуры мощную линию укреплений, гарантирующую от всяких неожиданностей.

Кто в мире мог вечером 24 апреля 1974 года предположить, что на другой день утром будет свергнуто фашистское правительство Томаша — Каэтано, что через несколько дней в Португалию вернутся из эмиграции и будут восторженно встречены многотысячной толпой Генеральный секретарь Португальской компартии Алваро Куньял, руководитель Социалистической партии Мариу Соареш! Кто, скажем, в середине апреля взялся бы предсказывать, что через месяц в Португалии будет образовано временное правительство, в которое войдут два коммуниста?!

В аэропорту у пограничника, проверяющего визы в паспортах и ставящего штемпеля о прибытии, округлились глаза: вполне возможно, впервые в жизни видит документ с серпом и молотом на обложке.

Затем на лице появилась дружеская улыбка, а в паспорте штемпель «entrada» — въезд, удостоверяющий прибытие в Португалию. Означает ли этот штемпель, что его обладатель может в Португалии находиться, журналист, честно говоря, еще не знал, но надеялся, что да, означает. И вообще, увидев еще до «entrada» улыбку на лице пограничника, журналист почувствовал полную уверенность, что все будет хорошо.

В зале скромного аэропорта, заполненного возбужденными пассажирами, у которых из карманов и дорожных сумок торчат обрывки лиссабонских газет, защищенных в самолете, спокойно, но со значением расхаживают два солдата в масккомбинезонах, с автоматами на животах. Всего двое на весь довольно большой зал ожидания лиссабонского аэропорта. И всё. Больше солдат не видно.

И журналиста, всего за несколько месяцев до этого посылавшего репортажи с фашистских границ Чили, знающего досконально, как мстит фашизм, начинает тревожить вопрос: не мало ли — два солдата в аэропорту всего через полтора десятка дней после свержения полувекового фашистского режима, самого старого фашистского режима в Европе? Но задать этот вопрос некому. Поэтому журналист задает его самому себе и, естественно, не получает ответа.

Чуть позже журналист, правда, видит целый грузовик, заполненный вооруженными солдатами в масккомбинезонах, которые куда-то едут мимо здания аэровокзала — может быть, менять караулы, — и немного успокаивается. И начинает

даже посмеиваться над-собой: ну, тебе-то какое дело, неужели без тебя португальцы не знают, что такое фашизм и как охранять самих себя от его возвращения? Неужели ты думаешь, что они ничего не слышали об 11 сентября 1973 года в Чили? Или не знают о 22 июня 1941-го? Или об Испании 1936-го?

Аналогии. Параллели. Они возникают в сознании произвольно. На что похожа Португалия? Испания 1934-го года, после свержения монархии? Чили в августе 1973-го? Перу? Эквадор? Нет, нет, все здесь совершенно особое, свое, португальское, неповторимое. Удивительное, неожиданное и вместе с тем органичное. Вот так. Бескровная победа над фашизмом. Несмотря на трагический опыт Чили, несмотря на испанские события 1936—1939 годов, несмотря на «зиг-хайль», навязанный почти всей Европе в 40-е годы.

Кто-то написал: «25 апреля в Португалии — самый большой политический сюрприз второй половины XX века». Может быть. Но «сюрприз» совершенно естественный, потому что в число определяющих характеристик XX века входит все-таки не возникновение фашизма, а уничтожение его.

Машина остановилась у отеля с названием, которое звучало очень дорого — «Амбассадор», что означает «Посол» и по-португальски произносится «Эмбайшадор». «Посол» стоял почти в самом центре города, на некотором возвышении, держал важного швейцара в ливрее у входа, но, несмотря на высокий дипломатический ранг, ценил свои услуги вполне скромно, как какой-нибудь простой атташе.

Итак, Лиссабон. Отель «Эмбайшадор». Восьмой этаж. Номер 807. Кровать, шкаф, кресло, нечто вроде письменного стола, телефон. Теперь это корреспондентский пункт, почти дом. Сюда журналист будет возвращаться каждый день поздно ночью, здесь будет корпеть над пишущей машинкой, отсюда на рассвете, вызывая ненависть соседей, будет диктовать московской стенографистке свои корреспонденции, здесь будет вести дневник обо всем, что увидит, услышит, переживет в Португалии, чтобы потом «вызвать к жизни вновь» эти удивительные дни португальской весны, начавшейся 25 апреля 1974 года.

ТЕРЕЗА, служащая отеля «Эмбайшадор». Лет двадцать пять, наверное. Портье про нее говорит:

— Это наша Мэрлин Монро. Пойдет сниматься в кино — всех затмит! Только в Португалии своего кино нет, а иностранные режиссеры в нашем «Эмбайшадоре» не останавливаются.

Тереза слушает, смеется, о 25 апреля рассказывает с восторгом.

— Мама утром разбудила, кричит мне шепотом в ухо: «Ужас какой! Доченька, вставай! Война! Столько крови, столько крови!» Какая война? Кого? С кем? Не знает. Услышала по радио. В чем дело, не очень разобралась. Но поняла, что случилось что-то страшное. Что на свете самое страшное? Конечно, война! Я вскочила, бросилась к радио. Слышу: «С прежним правительством покончено, всю ответственность за положение в стране берет на себя армия. Жителей просят оставаться дома». Я, честно говоря, тоже ничего не поняла. И сразу на улицу. Выстрелов не слышно. Убитых не видно. Следов крови нет. Наоборот — люди веселые. Все бегут к центру города, у некоторых цветы в руках. Я проходила по городу весь день. Было так хорошо, так радостно! Такое счастье вдруг пришло и так неожиданно, что прямо никто не верил, честное слово. Мама вначале все боялась, головой качала. А вечером обняла меня и говорит, опять шепотом: «Терезочка, неужели действительно будет хорошо? Я так их ненавидела, только не говорила тебе — не хотела, чтобы тебе было трудно»... А потом — Первое мая. Я не видела такого никогда. Половина города будто вымерла. Пустая. Все ушли на другую половину, туда, где была демонстрация. Столько народа! И все счастливые. Все-все! Ни одного грустного лица. И у всех гвоздики. В дулах винтовок, на пиджаках, у женщин на голове или у пояса. Я тоже купила букетик. И потом мне еще дарили. Больше половины, наверное, я солдатам раздала и все равно целую охапку принесла домой. Подумайте, как удачно: революция, а тут как раз гвоздики цветут!

ШОТЛАНДЕЦ, лет шестидесяти двух — шестидесяти трех. Рыжеволосый. Живет в Португалии уже пятнадцать лет. Приехал преподавать английский язык, да так и остался — наверное, теперь уж навсегда. Женился здесь («Мы, шотландцы, знаете, поздно женимся»). Работает в компании «Маркони», преподает английский, на котором сам лично разговаривает — может быть, впрочем, только в свободное от работы время — с ужасающим шотландским акцентом.

— Утром я собрался на работу. Радио не включал, ничего не знал. Вдруг звонит приятель, говорит: «Не смей выходить, сегодня компания закрыта, в городе танки, центр окружен, стреляют, много убитых, переворот». Кого, спрашиваю, переворачивают? Не знает. То ли, говорит, революция, то ли контрреволюция. Я думаю: ну, чтобы была контрреволюция, нужно как минимум иметь революцию, а тут революцией и не пахло. Значит, не контрреволюция. Значит, что-то другое. Немедленно беру жену, на улицу, и сразу поехали в центр — смотреть. До центра не доехали — слишком много было народа. Действительно — танки, солдаты. Но выстрелов нет. Вышли из машины, пошли пешком. Пока шли, расспрашивали. Никто толком ничего не знал, но настроение у всех было прекрасное, будто у каждого день рождения. Хуже, чем было, скажу вам совершенно искренне, быть не могло. Поэтому, наверное, все и решили, что будет лучше. Так потом и оказалось. Почему я сразу поехал в центр? Почему не испугался? Надо знать этот народ. Это замечательный народ — португальцы. Испанцы зовут их «мармеладом». Очень мягкие, миролюбивые люди. Если бы такое произошло у испанцев, море крови пролилось бы, поверьте! А здесь, я знал, все произойдет мирно. Португальцы ведь даже быка во время корриды не убивают. Откровенно говоря, потому-то я у них и остался. Женился на португалке и остался. Думаю, навсегда. Хотя гражданство еще не менял. Они не любят драк, не любят ссор, не любят крови. Иногда возле стадиона спорят — ну вот возьмутся за ножи или за пистолеты! Но нет, только покричат, а потом вместе идут пиво пить. У нас в Шотландии в такой момент бьют друг друга по голове пустыми бутылками из-под виски. Иногда полными. А у них, я знал, не будет крови, поэтому взял жену и поехал. Были бы дети — и детей бы взял. Война? Вы имеете в виду войну в колониях? Знаю, знаю. И насчет легиона знаю. И насчет отрезанных голов и насчет пыток — это все я знаю. Но это делал не народ. Это — фашисты.

ЛУИС ГОНСАЛВИШ (двадцать восемь лет, работает в Демократическом движении) в ту ночь был у Клары. Он холост. Но дети живут с ним, шестилетний Карлуш и восьмилетний Фернандо. Луис часто оставляет их одних дома. Прислуга приходит раз в два дня только убираться. Ребята сами себе умеют готовить, растут самостоятельными. Обедают они в школе. Луис платит большие деньги за частную школу, но лучше за деньги воспитать хороших ребят, чем бесплатно сделать из них никчемных сорванцов.

Так вот, он был у приятельницы. Хотел вернуться домой к восьми утра, чтобы успеть подвезти детей в школу — она недалеко от лиссабонского телевидения. Встал в семь, побрился, принял холодный душ, надел брюки и рубашку, сварил себе на кухне кофе. Потом потрепал спящую Клару по щеке и пошел вниз. Дверь подъезда оказалась запертой. Он удивился — никогда в такое время ее не держали закрытой. Постучал привратнице, которую знал давно. Та выбежала к нему с набитым ртом — что-то дожевывала — и неизмеримым желанием выложить новость. Как, разве сенсор ничего не знает? Но ведь на улице бой! Кажется, чей-то десант — парашютисты или моряки. Она точно не знает чей. Господи, что такое творится! Откуда ей известно об этом? Ну как же откуда! Ей сказала привратница из соседнего дома. Та слушает радио.

Луис выскочил на улицу, чертыхнулся на не сразу заведшийся мотор и, вырвав на дорогу, тут же набрал скорость, какую только мог позволить в пригороде. Ехать до дома минут тридцать, если улицы пусты. Но будут ли они сейчас пустыми? Что-то произошло. Возможно, политический переворот. Но чей? Последнее время все ждали каких-то событий. Воздух был насыщен переменами. То, что переворот мог быть только справа, Луис был уверен. Но кто решился? Кто повел?

Сам президент Томаш? Вряд ли. Кто-нибудь из самых реакционных генералов? После попытки Каулса де Арриага, хоть она и кончилась неудачей, переворота можно ожидать только оттуда. Каэтано никого не удовлетворял. Помещики на юге, некоторые генералы и финансисты типа Хосе Гонсало Коррейры де Оливейры, открыто тосковали по Салазару, не скрывали этой тоски и не боялись говорить о ней так, чтобы Марселу Каэтано знал об этом. С Салазаром всегда было известно, чего от вас хотят. Каэтано же был неопределенен, неопределим, многолик, нерешителен. Либералы ненавидели его за то, что он хоть и любил говорить о демократии, но практически ничего не менял в стране («Этого лицемера хватило только на то, чтобы переименовать ПИДЕ в Генеральное управление безопасности»). А правые ненавидели за то, что он хотя и не менял ничего в стране, но любил говорить о демократии («Даже переименовал, подлец, ПИДЕ — зачем?»). Ясно, что если привратница сказала правду, если действительно произошел переворот, значит, пришел конец Каэтано. Во главе страны встанет какой-нибудь генерал-ублюдок, который будет жестче, но глупее Салазара и без авторитета покойного диктатора.

Все эти мысли неслись в голове Луиса, пока он включал и настраивал приемник в машине на ту радиостанцию, которую обычно слушал по утрам. Что-то не ладилось с приемником, он трещал, где-то контактил на массу. Наконец треск кончился и Луис услышал музыку. И, узнав песню, он вдруг поднял брови и присвистнул удивленно, даже притормозил на мгновение: передавали одну из запрещенных песен Жозе Афонсо. Пластинки с записями этой песни можно было достать в Лиссабоне только из-под полы. Ее записали во Франции и потихоньку, контрабандой ввозили в страну. Но, может быть, это случайность — не разобрались в суматохе. Он повернул ручку регулятора на другую станцию, услышал другую песню и хлопнул себя по коленке — это была еще одна песня Афонсо. Тоже запрещенная в Португалии. Ее пели иногда в компаниях совсем своих людей, когда были уверены, что среди гостей нет никого, кто донесет. А когда через минуту он услышал, как эта песня сменилась еще одной песней того же Афонсо, знаменитой «Грандула, моя смуглянка», он понял, что произошло что-то невероятное, неожиданное. Если это переворот, то его сделали не справа, а слева. Он понял это по песням. И когда диктор сообщил, что «фашистское правительство низложено демократическим движением молодых офицеров, которые видят своим долгом установление в многострадальной Португалии демократического строя с выборным парламентом и демократическим правительством», это уже не было для Луиса сюрпризом. Диктор объявил также, что премьер Каэтано и президент Томаш скрылись в казармах Карму, что единственная военная сила, которая их поддерживает, это национальная гвардия, но казармы окружены. Диктор обращался к населению Лиссабона с просьбой оставаться дома, не выходить на улицы, чтобы избежать ненужного кровопролития в случае вооруженного столкновения между повстанцами и национальной гвардией. Здание бывшей ПИДЕ тоже окружено. Всем сотрудникам и агентам ПИДЕ предлагалось немедленно сдать власть. Когда Луис подъехал к дому, он знал о событиях почти все, что знали другие. С тревогой он посмотрел на балкон своей квартиры. Из-за этой проклятой привратницы он все-таки опоздал. Ребята, ни о чем не подозревая, наверно, уже ушли в школу, и это значит — с ними могло произойти все что угодно.

Он бросил машину посреди улицы и помчался к себе. Не стал ждать лифта и побежал вверх, перепрыгивая через три ступеньки. Загадал, как в детстве: если ни разу не сорвется, значит, все будет в порядке, дети дома. Он сорвался дважды и ругнул себя за такое глупое гадание, надо было загадать на чет или нечет прыжков, это всегда можно устроить как надо. Он со страхом открыл дверь ключом.

Ребята были дома и мирно уплетали жареную треску, залитую яйцами. Оба степенные, они спокойно рассказали отцу, что в городе происходит что-то странное. Папе звонили разные его приятели, но, узнав, что его нет дома, строго-настрого приказывали ребятам не выходить на улицу. Причину объясняли по-раз-

ному. Один сказал, что началось небольшое землетрясение, другой — что идут военные маневры, третий — что река Тежу вышла из берегов и может залить улицы. Больше всего им понравилось насчет реки. Можно будет плавать по улицам на лодке, ловить рыбу, а к их дому, возможно, причалит крейсер. Они долго стояли на балконе и ждали, когда же начнет заливать улицы, но так и не дождались, проголодались и пошли есть жареную треску. Теперь пусть папа им расскажет, что же все-таки в действительности случилось в городе. Но если бы папа сам знал, что произошло. Кажется, что-то хорошее, но что именно, он точно не знал. Во всяком случае, беспокоиться, наверное, не надо. А как же со школой? Сегодня туда можно не ходить. Это сообщение было встречено ребятами бурной радостью. Лунс радовался не меньше их, хотя еще не знал точно чему.

КАПИТАН МАЙА получил инструкции касательно 25 апреля вечером 23-го. И хотя, кажется, все было продумано заранее, все учтено, но в последний момент, когда получили сигнал, возникло ощущение, что все надо начинать сначала. Ну, кто мог предполагать, когда разрабатывали детали плана, что стартер у бронетранспортера выйдет из строя, что запас горючего окажется критическим, что крепления для пулеметов... Ну, в общем, десятки, десятки всяких «что». Устранить их нужно было за одни сутки и так, чтобы никто ничего не заметил. Это уж само собой (ох если бы действительно «само собой»!). Работа 24-го была такой лихорадочной, настолько все они, кто посвящен, кто знал — хоть и не много их, — были возбуждены, что полковник, командир части, что-то заподозрив, забеспокоился и вызвал нескольких капитанов к себе для объяснения. Объяснение было найдено, в общем-то, не самое хитроумное: «Как, разве вы забыли, господин полковник?! Ведь еще две недели назад мы сообщали вам, что готовим выход машин с тренировочными целями!» — но сработало оно безотказно: полковник морщил лоб, тер затылок, напрягал память и в конце концов не решился признаться, что не помнит ни такого сообщения, ни своего согласия. Он кивнул головой, пробормотал:

— Ах вот оно что, да, да, но я, помнится, имел в виду более поздний срок. Разве нет? Ну, ладно.

Однако тревога не оставляла полковника. К концу дня он, видимо, решил все-таки положиться на свою интуицию, а не на слова капитанов. Беспокойство взяло верх над соображениями престижа, и он отдал распоряжение запретить тренировочный выезд. К счастью, это произошло только в самом конце дня, когда у капитанов почти все было готово, гаражи заперты и в них стояли подготовленные к выступлению машины.

В офицерских комнатах капитаны продолжали уточнять детали. Важно было, чтобы агенты ПИДЕ, которые дежурили в кварталах, окружающих казармы, ничего не заподозрили. Поэтому решили, что семейные офицеры, которые живут за пределами части, уйдут, как обычно, вечером домой, но позже, переодевшись в штатское, вернуться.

Вечером 24 апреля капитаны сидели у радиоприемника и слушали лиссабонскую радиостанцию «Возрождение». В одиннадцать диктор объявил: «А теперь послушайте одну из песенок, премированных на недавнем международном конкурсе». И полилась ручейком знакомая затрепанная мелодийка, означавшая для них, что все остается в силе, никаких изменений в плане нет.

Теперь нужно было ждать еще одного сигнала — песню Жозе Афонсо «Грандула, моя смуглянка». Капитаны знали ее отлично. Она начиналась звуком спокойной поступи десятков, а может быть, сотен людей, идущих по дороге, — крестьян, возвращающихся с поля. Шаги, а потом голос самого Афонсо, чуть хрипловатый, совсем не актерский, голос крестьянина, простуженный родниковой водой, прожаренный на солнце, продублированный ветром, голос с пылью на зубах: «Грандула, моя смуглянка...»

Слова они знали наизусть еще до того, как песня была избрана сигналом для восстания. Афонсо, создавая ее, зрад ли думал, какую роль сыграет она в исто-

рии Португалии, в предстоящем восстании. И все же писал ее именно для восстания, для восставших.

Ее первые такты прозвучали в эфире без десяти минут час ночи уже 25 апреля. Им достаточно было услышать эти мерные шаги, еще не сопровождавшиеся мелодией, чтобы понять — началось, отступления не будет, восстание двинулось вперед, теперь его ничто не сможет остановить, кроме поражения. Но о поражении они в этот момент не думали.

Маиа дал приказ собрать офицеров части и сержантов-резервистов в одной из комнат. Большинство из них не знало, зачем он их позвал. Непосвященные думали, что речь покончено об очередных ночных учениях. Об истинной цели предстоящего похода знала лишь небольшая группа офицеров — его друзей. Капитан решил, что не имеет права вести людей за собой, не сообщив, куда и зачем они идут. Поэтому он сказал:

— Друзья, все мы знаем, что государства существуют разные. Есть государства капиталистические, есть социалистические, есть корпоративные, и есть государство, к которому пришли мы. Сегодня, в эту знаменательную ночь, я надеюсь, будет покончено с государственным строем, к которому мы пришли.

Он сделал паузу, достаточно большую, чтобы каждый мог уяснить, о чем идет речь, принять собственное решение, и достаточно короткую, чтобы дать понять: он лично, их капитан, не сомневается, что в этой шеренге не найдется человека, который бы отказался идти с ними.

И такого человека действительно не оказалось.

Чтобы поставить все точки над «и», Маиа прочитал им прокламацию Движения. Закончив, снова сделал небольшую паузу и посмотрел на собравшихся. Но никто не покинул строя, он не заметил даже движения, которое выдавало бы нерешительность. И Маиа внутренне порадовался тому, что каждое произнесенное им здесь слово, как видно, выражало и мысли его подчиненных.

Через пять минут колонна в составе 165 стрелков на 10 бронетранспортерах, 10 грузовиках, при двух санитарных автомашинах и одном «джипе» вышла из расположения бронетанковой школы и двинулась на Лиссабон, не нарушив ни одной буквы приказа полковника о запрещении «тренировочного похода» сегодня ночью, ибо этот поход был не тренировочным, а самым настоящим боевым. И каждый, кто находился в колонне, понимал это прекрасно. Нарушен, таким образом, был лишь дух приказа.

Нельзя сказать, что поход был подготовлен безукоризненно. После неудачного выступления военной части из Кальдасы в марте командование передислоцировало складские помещения, и теперь склады с боеприпасами и снаряжением, приданные бронетанковой школе в Сантаре, находились в Санта Маргариде. Поэтому на каждое орудие приходилось лишь по четыре снаряда. А одно вообще оказалось без боеприпасов. Не было патронов для спаренного пулемета. Пришлось заменить его обыкновенным. Но для обыкновенного не нашлось станины, и его укрепили на бронетранспортере простой проволокой. На двух машинах отсутствовали стартеры, и их водители получили строжайший приказ — ни в коем случае не глушить моторы, даже если колонна стоит на месте, не глушить до самой победы. У одного бронетранспортера обнаружили неполадки в системе тормозов, и поэтому он не мог развивать нужную скорость. Так обстояло дело с материальной частью. К этому остается лишь добавить, что все остальные машины были весьма почтенного возраста, и никто не мог похвастать уверенностью, что в решающий момент не подведет какой-нибудь агрегат.

Но других машин у них не было. А сигнал о начале операции был получен. И приблизительно в половине второго ночи 25 апреля колонна вышла из Сантаре и направилась в Лиссабон.

Они шли с довольно приличной средней скоростью. Но сейчас любая скорость показалась бы им недостаточной, потому что их прямой задачей было достичь столицы как можно скорее, и уж, во всяком случае, до того момента, когда войска, которые вознамерятся защищать правительство, придут в боевую готовность.

Сантаренская полиция видела, как в сторону Лиссабона пошла колонна военных автомашин и бронетранспортеров, и немедленно сообщила об этом в столицу. Оттуда спросили, с какой скоростью движутся машины и каков характер их движения. Полиция доложила, что колонна движется с малой скоростью и правил уличного движения не нарушает. Услышав такое, в Лиссабоне успокоились и приказали сантаренской полиции не волноваться — речь, видимо, идет о самых обычных маневрах. К счастью, никто не догадался позвонить полковнику — командиру части, который спокойно спал в своей квартире, уверенный в том, что молодые капитаны четко выполняют его распоряжение.

Безо всяких инцидентов они прошли всю дорогу до Террейры ду Пасу, а там встретили взвод разведки бронетанковой части. Командир взвода ничего не знал о том, что происходит, но когда капитан Майа ввел его в курс дела, он безо всяких колебаний присоединился к повстанцам.

Следующей целью похода было окружение здания военного министерства в Лиссабоне. Его охраняли два взвода военной полиции под командованием двух младших офицеров. Но и эти двое, узнав, в чем дело, не выразили никакого желания драться против повстанцев, тем более когда оказалось, что капитан Майа был их командиром на офицерских курсах. В результате кольцо обороны министерства немедленно превратилось в кольцо его окружения.

По приказанию высших офицеров, находившихся уже в здании министерства, к нему были вызваны танки под командованием подполковника Ферру ди Альмейды, чтобы одним ударом покончить с мятежниками. Но, прежде чем открыть прямой наводкой огонь по колонне капитана Майа, подполковник благоразумно решил выяснить, чего добиваются мятежники. Капитан в общих чертах рассказал ему о программе Движения. Подполковник выслушал очень внимательно и объявил, что сдастся.

Все это происходило под окнами министерства, и отсюда легко было наблюдать за всеми перипетиями бескровной борьбы. Некий рассерженный генерал, увидев из окна подполковника, который все не открывал и не открывал огня по мятежникам, закричал, чтобы тот немедленно вошел в здание министерства и поднялся к нему для доклада. Подполковник внизу развел руками и сказал, что рад бы выполнить приказ генерала, но сделать этого не может — арестован. Все шло превосходно.

Но вскоре случилось неожиданное. Откуда-то появилась еще одна колонна танков. Две головные ее машины вошли в квартал, в другом конце которого стояли бронетранспортеры капитана Майа. Вошли на большой скорости и остановились. Дула орудий медленно приподнялись, качнулись из стороны в сторону и застыли, уставившись гигантскими зрачками в машины повстанцев.

В следующее мгновение могли раздаться выстрелы и началась бы битва. Танковая битва на узкой улице. А стоило начаться здесь — и бой пошел бы по всему городу, загромыхал на всех его семи холмах.

Противников разделяло несколько десятков метров не очень широкой улицы Арсенал. С одной стороны стояли три боевых машины капитана Майа, с другой — два танка противника. День был сумрачный. Мостовая, не освещенная солнцем, выглядела грязно-серой. Валялись обрывки газет. К тротуару прижались три пустые легковые машины. В ветровых стеклах отражались зеленые бронированные громады. На одной стороне улицы высилось большое, светлого камня административное здание, а на другой тянулось друг за другом несколько магазинчиков с вывесками. По тротуару мимо вывесок спокойно шли люди. И это поразило капитана Майа. Люди шли по тротуару между пятью танками, которые стояли, тыча друг в друга указательными пальцами орудий, готовые каждое мгновение начать перестрелку и разнести весь квартал на мелкие куски. А люди как ни в чем не бывало шли по тротуару, даже не глядя на боевые машины. Только мальчик лет десяти не отрываясь глазел на них. Он шел рядом со старой женщиной, одетой в черное, и нес в обеих руках по кошелке, видимо с ее покупками.

Вся эта картина во всех деталях, даже рваный башмак на мальчишеской но-



ге, мгновенно с физически острой ясностью — будто кто-то вдруг осветил улицу вспышкой гигантского фотографического блица и яркий свет резанул по глазам — запечатлелась в сознании капитана Майа. «Они же не понимают, что происходит! — вдруг понял он. — Они не знают. Они думают, что танки просто так стоят друг против друга. Вот почему они не боятся».

Не раздумывая ни секунды, Майа выскочил из машины и побежал в сторону противника. На бегу он видел, как танковые пулеметы немедленно взяли его на прицел, еле заметно повели стволы за ним, опускали их ниже и ниже, по мере того как он приближался к танкам.

«Неужели вот так просто все кончится?» — подумал Майа.

Он пробежал половину расстояния, которое отделяло его от правительственных машин, когда вдруг почувствовал: если сделает еще хоть один шаг, начнут стрелять. Он даже ощутил, как прозвучит первый выстрел — единственный выстрел, который он услышит, — как заполнит он до отказа всю улицу, стесненную с двух сторон каменными домами.

И капитан остановился. Он раскинул руки, будто защищая улицу, и свою колонну, и прохожих, и мальчишку с кошелками от пуль и снарядов, которые сейчас полетят в них.

— Не стреляйте! — закричал он. И ему показалось, что дула пулеметов дрогнули от неожиданного человеческого крика. — Не стреляйте!

Вслед за криком мог последовать выстрел. Но выстрела не было. А из-за танков показались каски солдат, с любопытством выглянувших, чтобы увидеть, что делается впереди и кто это кричит.

— Не надо стрелять! — уже спокойнее и тише, но все равно так, что было слышно на всей улице, прокричал капитан. — Мы не хотим крови. Идите к нам. Мы хотим мира и свободы...

Он заметил, что, услышав его крик, вдруг остановились и тут же бросились бежать в ужасе все те, кто до того спокойно шел по тротуару. Только мальчишка не хотел уходить и глядел во все глаза на то, что происходило. А женщина в черном тянула его за собой и что-то кричала в самое ухо.

Но Майа уже знал — выстрелов не будет. Он не смог бы объяснить, почему. Просто знал. Чувствовал. Хотя пулеметы все еще держали его на прицеле. И орудия противника все еще смотрели в упор на его машины, оставшиеся за спиной. Но выстрелить они уже не могли.

И они действительно не выстрелили.

А через короткое время, после переговоров, экипажи двух головных танков перешли на сторону повстанцев. Еще через десяток минут их примеру последовала вся колонна, которая растянулась по боковой улице и вначале не имела представления, что происходит на улице Арсенал и чем вызвана задержка в движении.

Теперь, по расчетам капитана Майа, между его колонной и казармами Карму, где находились, как он уже знал, премьер-министр Марселу Каэтано и другие министры фашистского правительства, не осталось правительственных войск, если не считать частей национальной гвардии, которые непосредственно занимали казармы.

Однако он ошибся. Ему пришлось встретиться еще с одной частью — ротой Первого пехотного полка, о которой его никто не предупредил. Командир роты потребовал встречи с Майа. Капитан вышел к нему.

— Господин капитан, — сказал офицер, отдавая честь, — я нахожусь здесь по приказу правительства, чтобы задержать продвижение вашей колонны.

— Зачем же вы попросили встречи со мной? Чтобы уговорить меня не двигаться дальше?

— Нет, для того, чтобы сказать вам следующее: я предпочел бы присоединиться к вам и двигаться вместе с вами туда, куда движетесь вы, — сказал офицер не моргнув глазом.

— Хорошо, — ответил Майа, стараясь ничем не выдать своей радости и сохранить деловую невозмутимость. — В таком случае присоединяйтесь к нам. Мы движемся к казармам Карму...

Так колонна капитана Майа, усиленная частями, перешедшими на ее сторону, а также толпой ликующего народа, которая, все увеличиваясь, двигалась рядом с колонной, прибыла к казармам Карму и окружила всю зону.

Военная операция по окружению шла довольно своеобразно. Дело в том, что капитан Майа не знал кварталов вокруг казарм Карму. Так случилось, что он никогда здесь не бывал раньше. Военной карты этого района у него тоже не было (офицеру его ранга такой карты иметь не полагалось, а просить у кого-нибудь значило вызвать ненужные подозрения). Поэтому к окружению и возможному штурму казарм капитан Майа с друзьями готовился по картам, которые имеются в брошюрках для туристов. На таких картах подробно обозначены музеи, рестораны, ночные клубы, но для планирования военной операции они, что говорить, мало подходят. Поэтому, приближаясь к казармам, капитан Майа чувствовал себя не особенно уверенно.

Однако его опасения оказались напрасными. Проводником капитана стала та самая толпа, которая двигалась вместе с его колонной. Каждый раз, когда он испытывал какое-либо затруднение, связанное с незнанием местности — даже до того, как он мог его испытать! — из толпы безо всякой его просьбы обязательно подходил кто-нибудь (чаще это были женщины) и говорил: «Послушайте, господин капитан, Касальда да Глориа господствует над всем Карму». И по распоряжению капитана взвод солдат в полном вооружении поднимался на трамвайчике-фуникулере на холм Глориа, который действительно контролировал всю местность. Потом появлялся кто-нибудь еще: «Послушайте, господин капитан, в казармах есть ворота с другой стороны. Как бы они не бежали через них!» Капитан посылал солдат и туда. Еще кто-то: «С моего балкона все видно, господин капитан». И Майа посылал нескольких человек на чей-то балкон, чтобы оттуда ему доносили о положении дел.

Так при полной поддержке всего населения шла оккупация зоны Куартелу Карму.

Можно наверняка сказать: не будь этой поддержки, не было бы того ошеломительного и бескровного успеха, которого добились капитаны 25 апреля.

Уже с семи часов утра, то есть с тех пор, как вокруг колонны капитана Майа начала скапливаться и расти толпа радостных людей, он получил возможность узнать от них об обстановке в городе, о передвижении правительственных войск гораздо полнее и раньше, чем по рации из центра руководства восстанием. К нему подбегали мужчины и женщины, пожилые люди и дети, чтобы рассказать, когда и какие боевые машины выступили от Террейру ду Пасу, какого они были типа, с какой скоростью и в каком направлении двигаются, какие передвижения военных сил происходят в Маркес ду Помбал, и о многом, многом другом. Все это передавали ему люди, многие из которых никогда ранее не были военными, никогда не служили в разведке и, уж тем более, никогда не принимали участие в антиправительственных восстаниях. Но ненависть к фашистскому режиму была такой жгучей, уверенностью, что солдаты, идущие свергать правительство, делают это для народа, такой глубокой, что восстание, подготовленное небольшой группой офицеров, в первые же утренние часы 25 апреля стало фактически народным.

И многие проблемы, которые тревожили капитана Майа и его друзей ночью перед выступлением, чудесным образом исчезли утром.

Те два «пэнхарда», с которых какие-то осторожные полковники сняли стартеры, жрали уйму и без того дефицитного горючего. «Пэнхард», у которого тормоза могли отказать в любую секунду, так как в их гидравлической системе почти не оставалось жидкости, двигался все медленнее и медленнее. Как только об этом узнали в толпе, окружавшей колонну, обе проблемы были решены моментально. Люди раздобыли дряхлый грузовичок, проехали сквозь полицейские заграждения, всполошили все бензоколонки в Россиа и Санта Апполониа, доставили и горючего, и тормозной жидкости, и еще всякой всячины — смазочных масел, каких-то болтов, неведь откуда взявшийся кусок гусеницы и даже полировоч-

ный состав (человек, который принес его, сказал: «Ваши танки должны блестять, как солнце!») — и все это отдали повстанцам.

Когда горожане узнали, что люди капитана Майа не ели с вечера, появился хлеб, появилась картошка, жареная и вареная треска, ветчина, пиво, сыр.

И еще появились цветы. Цветов было больше всего!

Все это произвело огромное впечатление на военных. И на тех, кто был в рядах повстанцев, и на тех, кто собирался защищать правительство.

Кого защищать? От кого защищать? Кого же представляет правительство, если весь народ против него? Эти вопросы неизбежно, по-видимому, задавали себе и тот подполковник, который сдался повстанцам под окнами военного министерства, и те танкисты, против которых вышел безоружный Майа, и тот командир роты, который присоединился к нему и вместе с ним пошел на Карму. Своим успехом Майа был обязан не только военным помощникам, друзьям, тем, кем он командовал или кто командовал им, но прежде всего людям, доселе ему совершенно неизвестным и малейшего понятия не имевшим о готовившемся восстании. Капитаны из Движения никогда не решились бы прежде обсуждать с этими людьми свои будущие действия и на помощь их, честно говоря, совсем не рассчитывали, ибо были уверены: за сорок восемь лет фашизм заложил в сердце каждого португальца ржавую мину страха, заставлявшую беспрекословно подчиняться всему, что приказывали власти.

День 25 апреля еще раз доказал, что человеческое сердце сильнее фашизма.

Итак, сами окруженные восторженной толпой народа, войска под командованием капитана Майа окружили казармы Карму, в которых с самого утра спрятались члены фашистского правительства и премьер Марселу Каэтано, надеясь на защиту национальной гвардии.

— Около трех часов дня, — рассказывает капитан Майа, — я получил приказ немедленно заставить капитулировать Куартел ду Карму. Капитуляция правительства и премьера означала бы, что всякое сопротивление прекращено и революция победила. Получив этот приказ, я сразу же предъявил ультиматум тем, кто находился в казармах. Но положение продолжало оставаться сложным. Похоже, что они там, в Карму, не хотели иметь дело с простым капитаном. Похоже, для них было большой проблемой — как это сдаться обыкновенному капитану! Мне же, честно говоря, было совершенно безразлично, кому они хотят сдаться — мне или кому-либо еще, лишь бы сдались. И вот я попросил полковника Абрантеса ди Силву, который был в наших рядах, пойти к ним в качестве нашего представителя и принять капитуляцию, дабы их не оскорбляла мысль, что войну против них выиграл простой капитан. А чтобы там, в казармах, они не могли сыграть с нами полковником какой-нибудь скверной штуки, я объявил, что в качестве заложника буду держать у себя майора республиканской гвардии, которого взял в плен еще утром. Когда прошло десять минут с момента, как полковник ди Силва ушел (срок, который я назначил), я приказал полоснуть из пулемета по стенам казарм, чтобы они там не думали, будто мы пришли сюда шутить. Сразу после выстрела нам сообщили, что казармы согласны сдаться, но ставят условие, чтобы мы вошли туда. Зачем, спрашивается, входить туда? Ну хорошо, мы войдем, а они откроют огонь по нам со всех сторон. В общем, я подозревал западню и вводить туда своих людей отказался.

Ситуация продолжала оставаться сложной, и как ее решить, я в эти минуты не очень себе представлял. Но тут появился доктор Фейтор Пинто с посланием от генерала Спинолы бывшему премьеру. Это была неплохая помощь в том положении. Доктор Пинто (о Фейторе Пинто рассказ чуть позже. — Г. Б.) вошел в казармы. А вернувшись, сказал, что Марселу Каэтано согласен капитулировать, но просит, чтобы при этом присутствовал сам генерал. Каэтано передает ему власть, чтобы она «не упала к ногам толпы». Я дал «джип» доктору Пинто, и он уехал к Спиноле. А я остался там и, честно говоря, не мог избавиться от подозрения, что вся эта история с генералом только маневр, чтобы выиграть время. И тогда я решил: пока суд да дело, войду и разужу все сам. Начал переговоры с команди-

ром сил охраны. Потребовал от него, чтобы меня отвели к человеку, который командует всей обороной Куартел ду Карму. Он отвел меня к генералу. Поговорил я с генералом минут десять и понял — не командует этот генерал здесь ничем. Просто так — пустое место с генеральскими погонами. Послушал я его, послушал и говорю: «Благодарю за беседу, господин генерал, но только теперь я хотел бы поговорить с тем, кто действительно командует здесь». Генерал сделал вид, что обиделся, но на самом деле, по-моему, обрадовался. и тут же отвел меня к бывшему премьеру. Пришлось идти через вестибюль. Там собрались члены бывшего правительства и высшие офицеры национальной республиканской гвардии. Когда я вошел, все замолчали и застыли как вкопанные. Только лица поворачивались — знаете, как в строю, когда проходит начальство. Ввели меня в кабинет, где находился Каэтано. До этого я видел его только на портретах и на парадах. Сейчас вид у него был, конечно, иной. Подавленный был вид. Но собою владел. Говорили мы с ним недолго. Я спросил, что, в конце концов, происходит. Он ответил, что принял решение сдать и лично звонил уже генералу Спиноле, чтобы тот принял капитуляцию, генерал обещал немедленно приехать, как только получит мандат от руководителей восстания. Это меня удовлетворило, я вернулся к своим и тут же сообщил по радию в штаб о том, что мне сказал Каэтано. А через несколько минут об этом уже передавали по радио для всех.

Позже я узнал от офицеров национальной республиканской гвардии, что Марселу Каэтано принял решение сдаваться еще в восемь тридцать утра. И только искал какого-нибудь генерала. Не мог без генерала! Если бы я знал об этом раньше, ситуация была бы решена немедленно! Но я не знал об этом. А посредники не желали, чтобы эти сведения стали известны мне.

Но, так или иначе, все закончилось благополучно. Последнее, что я сделал в тот день — послал колонну боевых машин вперед, чтобы она расчистила дорогу в толпе и чтобы можно было вывезти в броневике Марселу Каэтано и других членов правительства, считавшихся арестованными. Колонна двинулась исправно. Но потом к ней хлынуло уж такое количество народа, что никакими силами пробиться было нельзя. Люди забирались на броню, садились на башни, на стволы орудий, обнимали солдат, дарили им цветы. В общем, движение колонны застопорилось через несколько минут после того, как началось. А наша машина, в которой я вез членов бывшего правительства, и машина генерала Спинолы оказались отрезанными от колонны. В этот момент, конечно, многое могло случиться, но, к счастью, не случилось, все в конце концов обошлось благополучно. Наша машина выбралась другой дорогой, и колонна тоже все-таки освободилась из плена. Хотя, возможно, солдатам не очень-то и хотелось из него освобождаться...

Так прошел этот день для капитана Майя, одного из капитанов Движения. Допускали ли они возможность поражения? Допускали. И предусмотрели план отхода на этот случай. План был таков. Колонна отступает обратно на Сантарен, в расположение своей части, поскольку там для обороны самые подходящие условия и местность, известная как собственная ладонь. Оборону должны были держать танками. Общая численность обороняющихся достигла бы около тысячи человек. Эта тысяча могла рассчитывать на 4 исправных танка и на 9 машин, у которых не работали моторы, но которые можно было бы использовать как орудия. Рассчитывали они и на 12 броневиков, которые стояли в Сантарене на ремонте. Несколько зенитных орудий, находившихся там, могли пригодиться на случай, если бы авиация пошла против повстанцев. К счастью, план отступления и обороны не пришлось проводить в жизнь.

Несколько слов о самом капитане Майя.

Салгейру Майя родился 1 июля 1944 года в Кастелу де Виде. Отец был железнодорожником. Мать умерла, когда Салгейру было четыре года. Стал жить в семье дедушки и бабушки. Закончив семь классов школы, поступил в военное училище. В декабре 1967 года в звании младшего лейтенанта был послан в Мозамбик. Вернувшись оттуда, работал в бронетанковой школе в Сантарене. После этого служил под командованием генерала Спинолы в Гвинее.

В армии, и особенно служа в колониях, молодой офицер своими глазами увидел все страшные детали войны. Движение началось в армии, потому что именно там четче всего была видна бессмысленность кровавой войны и резче, чем где бы то ни было еще, обозначались хаос в стране и бессилие власти. Конкретным толчком к волнениям в армии послужили правительственные декреты, которые задели интересы среднего командного звена, прежде всего капитанов и майоров. Первыми на эти декреты прореагировали майоры. И скоро в декретах появилась оговорка, которая предусматривала восстановление льгот для майоров. Затем последовали протесты капитанов и низших офицеров. Но о них никакой оговорки принято не было. Этим, между прочим, кое-кто объяснял тот факт, что основу Движения составили капитаны.

Однако главной проблемой для офицеров все-таки была колониальная война, которую, как они поняли, обычным путем, при помощи оружия, закончить невозможно. Нужны были политические решения всего колониального вопроса. Некоторые надежды на выборы октября 1973 года закончились крахом. Режим показал, что все разговоры по поводу либерализации строя остаются лишь разговорами. О свободе выборов невозможно было даже мечтать. Именно после октября 1973 года встал вопрос о необходимости насильственных действий.

Вернувшись из Гвинеи, Майа с большим удивлением слушал на торжественных митингах речи политических деятелей, которые доказывали, что Португалия защищает в колониях «свои принципы, свои идеалы, свою национальную гордость, а также жизнь и благополучие народов, вверивших Португалии свою судьбу». Капитан, однако, точно знал, что Португалия там, в колониях, ничего не защищает, кроме интересов тех, кому эти колонии приносят прибыль. Он знал, что в Гвинею многие думают так же, как он. В Лиссабоне — убедился — тоже. Стал активным участником тайных политических офицерских собраний. Вскоре был назначен представителем молодых офицеров бронетанковой школы Сантарена на этих собраниях. С 16 марта 1974 года его телефонные разговоры стали прослушиваться агентами ПИДЕ, и за ним установили постоянную слежку.

Руководство Движения решило временно заменить капитана Майа другими людьми. Его функции возложили на капитана Бернарду и капитана Гарсиа Коррейю. И месяц, оставшийся до 25 апреля, Майа «не участвовал» в Движении. Ну, а накануне 25 апреля, когда был получен приказ все подготовить к выступлению и ждать сигнала по радио, он снова приступил к исполнению своих обязанностей. И, как мы теперь уже знаем, справился с ними неплохо, совсем неплохо. Настолько неплохо, что кто-то предложил назвать одну из улиц Сантарена его именем. Только капитан Майа категорически отказался.

«КУРЬЕР ИСТОРИИ». Так он сам назвал себя. Человек лет, видимо, тридцати пяти, худощавый, беспокойный в движениях. Беспокойство проступает прежде всего в подчеркнутом достоинстве, с которым он дает интервью иностранным журналистам. Он лично не считает себя фигурой значительной. «Просто так угодно было распорядиться истории, что я оказался ее, так сказать, курьером в прямом и переносном смысле». Я впервые услышал имя Фейтора Пинто, когда пришел в министерство общественных средств связи (бывшее министерство информации). Фейтор Пинто в тот день был самым деятельным лицом там. До 25 апреля он являлся помощником самого министра информации, ответственным за газетные, журнальные и прочие подобные дела. После 25-го старого министра убрали, а новый министр — Рауль Рего — должен был вот-вот вступить на свой пост вместе с другими министрами временного правительства. Таким образом, Фейтор Пинто был в те дни самым высокопоставленным должностным лицом в министерстве, оставленным от старого режима. Пинто подписывал аккредитационные документы, принимал иностранных и португальских корреспондентов, давал интервью и т. д. и т. п. Впервые я увидел его, когда он сидел в большом, отделанном мрамором зале библиотеки. Вдоль стен от пола до потолка шкафы с книгами, забранные солидной металлической решеткой. Расположившись в кресле, обитом светлым шелком, сеньор Пинто рассказывал корреспонденту мексикан-

ского телевидения о том, как живут на острове Мадейра под домашним арестом бывший президент Португалии Америку Томаш и бывший премьер-министр Марселу Каэтано. А также другие находящиеся под арестом министры фашистского правительства. Впрочем, сам Пинто слов «фашистское правительство» не употреблял.

Итак, рассказ Фейтора Пинто о том, как прошел в его жизни день 25 апреля 1974 года.

— Меня разбудили в четыре утра двадцать пятого. Не буду говорить — кто разбудил, это не имеет значения. В половине шестого я вышел на улицу и взял такси. «Что происходит? — спросил меня таксист. — На аэродроме танки и солдаты». Я ничего не ответил ему, но понял: все ключевые позиции заняты. В шесть я был здесь, в министерстве, в моем кабинете. В десять приехал министр информации. Его, между прочим, тоже звали Педро Пинто. То есть я хочу сказать — зовут Педро Пинто. Как меня. Только я еще и Фейтор. А он нет. Широко мыслящий человек — я достаточно долго работал с ним, чтобы понять его хорошо. В десять утра мы оба уже отлично знали, что произошло, и принялись обсуждать положение.

Могу засвидетельствовать — мысль о том, чтобы власть взял генерал Спинола, первому пришла министру информации. Я имею в виду — бывшему министру. Может быть, конечно, одновременно и другие думали об этом. Но я лично мысль о Спиноле впервые услышал от министра информации. И согласился.

Министр сел и тут же составил послание генералу Спиноле о том, что интересы родины и народа требуют, чтобы он, генерал Спинола, в этот критический момент нашей истории встал у руля государства. Послание надо доставить генералу. И выбор министра падает на меня и еще на одного сотрудника. Мы едем к Спиноле. Тот принимает идею министра, но требует, чтобы на передачу ему власти согласился премьер Каэтано. И для этого посылает меня и того сотрудника к Каэтано с посланием. В послании говорилось приблизительно следующее: «Я не лидер этого движения, но сейчас мы должны думать об одном — чтобы не была пролита португальская кровь. Поэтому попробую, если мне удастся, взять под контроль создающуюся ситуацию». Было это во второй половине дня. И вот тут я и становлюсь, так сказать, курьером истории.

Премьер Каэтано — то есть бывший премьер — с утра находился в казармах Карму; где стояла национальная гвардия. Премьер полагал, что на нее он мог рассчитывать. Казармы были окружены мятежниками. То есть я хочу сказать — так их тогда называли. Мне и сотруднику, который был со мной, надо было пройти сквозь линии повстанцев, а потом сквозь линии национальной гвардии. Я никогда не воевал — не довелось. И скажу вам откровенно, всегда меня мучил вопрос: храбр я или нет, достанет ли у меня мужества и отваги подвергнуть свою жизнь опасности ради чего-то. В тот же день я понял — мне очень скоро предстоит самому ответить на свой вопрос... Знаете, к какому выводу я пришел? Дело не в храбрости или трусости. Дело в способности человека принять решение. Нет ни храбрости, ни трусости. Есть лишь умение или неумение принять решение. Сумел принять решение — и тебе не страшно, ты просто не вспоминаешь о страхе.

Извините, что я говорю об этом дне с очень личных позиций, но это невероятно интересно — наблюдать самого себя в критической ситуации.

Итак, мы подошли к казармам Карму. Мрачные монастырские дома с толстыми мрачными кирпичными стенами. А перед ними — повстанцы. Вокруг солдат огромная толпа народа. Люди стоят, смотрят, ждут, чем все это кончится. Орудия бронемашин наведены на казармы. Я разыскал среди повстанцев офицера и сказал ему, что нам поручено передать Марселу Каэтано послание от генерала Спинолы. Он сразу понял, что за послание мы собираемся передать, и, оборотившись к казармам, закричал в мегафон: «Тут у нас два посланца, которым необходимо пройти внутрь, в ваши казармы! Мы сейчас отправляем их! Если с ними что-нибудь случится, немедленно открываем огонь!» Сказав это, он опустил мегафон и кивнул нам — идите, мол.

До казарм несколько десятков метров. Пустая земля. Ни единой души. Земля, которая, мы понимаем, простреливается с двух сторон. Каждый миллиметр простреливается, каждый камушек, каждая песчинка. Если начнут стрелять от казарм — спрятаться негде. И вот тут наступает самое важное: решишься ты пройти эти несколько десятков метров или нет. Даже не пройти, нет, а просто сделать шаг вперед, отделиться от цепи солдат, за которой только что стоял, и оказаться на виду у всех. У всех, кто держит в руках автоматы. Сзади остаются солдаты, остается толпа людей — все вытягивают шеи, смотрят. А ты один, точнее вдвоем, но это не имеет никакого значения, на ста метрах пустой земли. Решишься или нет?

И вот ты переступаешь черту, которой нет. И капитан сзади еще раз кричит в мегафон в сторону казарм: «Два посланца!» А мы идем к стенам, вернее к воротам. Оттуда не слышно ни звука. Сзади тишина. Это начинает беспокоить: почему сзади такая тишина? Хочется оглянуться. Но, наверное, оглядываться нельзя. Я не знаю, можно или нельзя, но решаю не оглядываться. Перед воротами не видно никого, не заметно никакого движения. Кто же нам откроет ворота? Мы приближаемся. И вдруг видим — ворота открыты. Проходим сквозь туннель под зданием. Темный, низкий. Проходим и оказываемся во внутреннем дворе, окруженном с четырех сторон зданиями. И он — пуст! Совершенно пуст! Мы поднимаем головы вверх и видим: в каждом окне голова, или две, или даже несколько — в касках. И торчат автоматы. А в некоторых окнах пулеметы. Я останавливаюсь, у меня перехватывает дыхание, но я кричу громко: «У меня послание от генерала Спинолы! Я должен видеть премьер-министра!» А сам стараюсь, чтобы голос не сорвался. Но ни одна голова в окнах не двигается, ни одна каска не шевелится, ни одно пулеметное или автоматное дуло не исчезает, не поднимается вверх, не выпускает нас из-под прицела. Будто там, в окнах, восковые или даже металлические, каменные люди. Жуткое ощущение!

И вдруг на земле за колонной, в тени я вижу человека. Он в военной форме, но без стальной каски. Нормальные растрепанные человеческие волосы на голове — и все. Никакого шлема. Вы знаете, когда на вас из окон смотрят люди в касках, а вы стоите в центре замощенной камнями площади внизу, безо всякого оружия, если в этот момент вы увидите человека без каски, то вас вдруг тянет к нему, как будто он единственное живое существо в мертвом царстве, будто это ваш друг. Я делаю несколько шагов к этому человеку без каски. И говорю: «У меня есть послание. Мне необходимо видеть премьера Каэтано». Человек смотрит на меня то ли испуганно, то ли растерянно и кивает: «Да, сеньор». И ведет меня к премьеру. Потом я узнал, что человек этот совершенно случайно оказался тогда за колоннами и никем не был уполномочен ни выслушивать меня, ни вести к премьеру. Кажется, он был простым шофером. Но так случилось, что именно он проводил меня к премьеру. А не окажись он тогда во дворе, неизвестно, чем кончилась бы моя миссия...

Премьер вышел ко мне. Увидел меня, развел руками: «Ну, вот мы и здесь...» Я сказал: «Вы помните, господин премьер, разговор, который был между нами? Я всегда говорил вам, что это все может кончиться печально...» Он снова развел руками: «Помню». После этого я передал ему предложение сдать власть генералу Спиноле. Премьер не колебался ни минуты. «Да, генерал Спинола достойный человек, — сказал он. — В его руки можно сдать власть. Я согласен. Я делаю это для того, чтобы власть не упала на улицу...»

Я снова вышел во внутренний двор казарм. Там ничего не изменилось, в окнах все сидели солдаты в касках, с автоматами и пулеметами. Миновал ворота, прошел обратно те сто метров, достиг линии повстанцев и попросил немедленно предоставить мне машину. Мне дали «джип». Солдат, который сидел за рулем, спросил: «Куда мы едем?» Я сказал: «К генералу Спиноле домой». Генерал принял нас немедленно. Он был в штатском платье. Я дал ему запись беседы с Каэтано, сделанную мной сразу после разговора. Он прочел, вначале кивнул, а потом покачал головой: «Но это написано не рукой Каэтано. А мне нужно письменное уведомление от него». Я сказал: «Генерал, вы должны идти туда

и брать власть, иначе время уходит, там, у казарм, очень много вооруженных солдат и каждую секунду может начаться трагедия. Тогда прольется португальская кровь». Генерал раздумывал. В это время зазвонил телефон. Генерал взял трубку. Я стоял рядом с телефоном и услышал в трубке голос премьера. Звонил Каэтано. Закончив разговор, генерал Спинола повернулся ко мне: «Каэтано подтвердил то, что сказали мне вы. Но для того, чтобы брать власть, я должен иметь мандат от руководителей Движения молодых офицеров. Потому что не я руководжу этим Движением...»

Да, что говорить, это был день больших сюрпризов. Я снова сел в «джип» и снова поехал к казармам Карму. Там все было по-прежнему. Стояли на улицах рядом танки и легковые машины. Стояли солдаты с автоматами, и девушки с цветами в волосах пели песни, а мальчишки сидели на деревьях и крышах домов. Один фоторепортер забрался на полосатую черно-белую сторожевую будку. Если бы началась стрельба, он погиб бы первый — в него попали бы и те и другие. Я вылез из «джипа» и пошел искать командира. Тут произошла смешная история. Вдруг слышу крик: «Педро! Педро!» Оглядываюсь — вижу, это зовет меня Хут Эшкубар, моя приятельница, знаменитая бразильская актриса, великолепно, между прочим, играет в брехтовских пьесах. Стоит на балконе и кричит: «Что ты тут делаешь? Иди к нам на балкон! Отсюда очень хорошо видно!» Я делаю знак рукой — не могу, мол, спасибо. Она удивляется: «Почему?» Тогда я кричу: «У меня здесь важные дела! Я не могу идти к тебе на балкон!» Она отвечает: «Как хочешь! Жалко! Отсюда так прекрасно видно всю революцию!» Я подошел к какому-то офицеру и спрашиваю: «Кто здесь командует?» — «Где?» — «Здесь, среди тех, кто окружил казармы Карму». — «У нас никто не командует. Мы все командуем». — «Ну хорошо, а кто у вас тут старший по званию офицер?» — «У нас нет старших по званию. Мы все в одном звании — мы капитаны». — «Но мне нужен как минимум полковник. Потому что генерал может разговаривать только с полковником». — «Какой генерал?» — «Генерал Спинола». — «Тогда вам надо идти в штаб». — «А где находится штаб?» — «В казармах Понтинья. Там штаб Движения».

И я поехал в Понтинья. Офицер там, у бараков Карму, дал мне пароль, чтобы пройти в штаб. Пароль был «Мужество». А отзыв — «Ради победы». Так я попал в штаб. В жизни не был ни в одном военном штабе! И тут оказался, по моему, единственным гражданским лицом в этом здании, все остальные были в военной форме. Ко мне подошел майор и спросил: «Кто вы по званию? Почему здесь?» Я ответил: «Мое звание такое же, как и у вас. Я португалец». И объяснил причину моего прихода. Через некоторое время офицеры из штаба позвонили генералу Спиноле и дали ему по телефону мандат на власть. А я снова поехал в казармы Карму. Снова прошел туда и тут же встретился с премьером. То есть с бывшим премьером. «Ну что?» — спросил он. «Все в порядке», — ответил я и подумал, что, может быть, это не очень тактичный ответ. Премьер сказал: «Передайте генералу Спиноле — пусть приходит». А Спинола был уже там, возле казарм. Он вошел, отдал военный салют и сказал: «Господин премьер, я нахожусь здесь, чтобы принять сдачу полномочий вашего правительства». Премьер ответил: «Я согласен сдать власть, принадлежавшую мне и моему правительству. — И добавил то, что сказал раньше мне: — Чтобы эта власть не упала на улицу...»

Так все это произошло. Я спрашиваю иногда себя: почему вдруг ты, именно ты, Педро Фейтор Пинто, оказался в центре всей этой истории? И ответа не нахожу. Наверное, его и не найдешь. Как гражданин Португалии, я очень горжусь тем, что во время всех этих событий не была пролита португальская кровь. Я думаю, что благодарить надо наш португальский характер. У нас, вы знаете, совсем не такой характер, как, например, у испанцев. Мы мягче характером, нежнее. Может быть, потому, что живем на берегу океана. Мы всегда готовы найти компромисс и пойти на него. Вы, наверное, знаете — ведь мы не убиваем быка на наших корридах. Его просто валят и живого утаскивают с арены. По моему, это не случайно.



ГАШПАР Р — А услышал автомобильные гудки ночью, по-видимому, незадолго до рассвета. Это были странные гудки — прерывистые, будто тот, кто сидел в машине, подавал сигналы по азбуке Морзе: точка-тире-тире-точка. Но в те минуты Гашпар не знал, было ли это ночью и откуда шли сигналы. Просто в сознание вошли прерывистые гудки, значения которых он не понял и источника которых тоже не знал. Запомнил лишь, что была морзянка. И лишь много дней спустя, когда кто-то при нем рассказал, что перед рассветом 25 апреля около тюрьмы Кашиас появилась автомашина, из которой подавали сигналы, чтобы заключенные знали о происшедшем, только тогда он связал воспоминание о почти физическом усилении, с которым хотел впитать в себя значение необычных звуков из внешнего мира, с этим рассказом. А тогда, перед рассветом 25-го, он не знал, что был автомобиль, не знал, что наступило 25-е, и не понял значения сигналов — либо не хватило сил, либо сигналы водителя машины были не той системы, что знал Гашпар.

Охранник тоже услышал сигналы, встал со стула и подошел к окну. Прислушался, тоже ничего не понял и забеспокоился: на отрезке дороги возле тюрьмы Кашиас подавать автомобильные сигналы запрещалось и обычно в камеру не залетали звуки из внешнего мира.

Пока охранник вставал и подходил к окну, Гашпар, кажется, уснул на мгновение, но тут же сам проснулся, ожидая наказания за секундный сон.

Шли тринадцатые сутки бессонницы заключенного камеры № 49. Пытка бессонницей началась на третий день после ареста.

Допрашивал его инспектор Тиноко. Знаменитый инспектор, о котором Гашпар слышал еще на свободе. Впервые увидев его, Гашпар удивился — у Тиноко были грустные, добрые, большие глаза. Устало он задал несколько обычных вопросов: членом какой подпольной организации является Гашпар, где его явки, какая установлена система оповещения, сколько других членов организации он знает, как часто они встречаются, как поддерживают связь с заграницей и т. п. И когда Гашпар в ответ на каждый вопрос качал отрицательно головой, Тиноко утвердительно кивал, будто соглашался с арестованным. А потом уложил свой подбородок в ладони рук и долго сидел, задумавшись, не обращая внимания на заключенного и поглаживая подушечками пальцев кончик своего большого рыхлого носа. Затем, оторвавшись от дум, сказал тихо, со вздохом:

— Мне кажется, вы неглупый человек, Гашпар Р — а, во всяком случае, ваши документы говорят о хорошем образовании. Так постарайтесь понять. — Он поднялся со стула, как учитель в классе, приступающий к объяснению теоремы (вот сейчас возьмет кусочек мела и подойдет к доске), и стал расхаживать по комнате. — Не ответив на мои вопросы, вы вступили в борьбу со мной. Теперь взвесьте свои шансы. Вы впервые попали сюда, вы новичок. А я работаю здесь годы. Вы одиночка. А за мной вся эта махина. — И он показал глазами на потолок, на стены, на стол. — Я совершенно точно, до малейшего движения мысли и тела могу предсказать ваше поведение. Я сейчас могу рассказать в деталях, что вы будете чувствовать и даже о чем думать на третий, на пятый, на седьмой день, проведенный в тюрьме. А вы не имеете малейшего понятия, что я сделаю даже через секунду, уж не говоря о том, как поступлю с вами на шестой день вашего пребывания здесь. — Инспектор остановился перед Гашпаром, смотрел на него с доброй, сочувствующей улыбкой. — Вы думаете сейчас: вот он, инспектор Тиноко, о котором я уже слышал. Зверь, палач, жестокий человек. — Он покачал головой. — А это не так. Я — профессионал. Скажем, вам, журналистам, нельзя без цепкости, нельзя без умения, быстро собрав иногда, извините, скороспелые чужие выводы, выразить их так, будто они результат ваших собственных долгих раздумий. Такова профессия. — Тиноко развел руками. — А моя профессия — иметь дело с заключенными. — Он положил обе руки на плечи Гашпару. — Узнавать от таких, как вы, то, что следует узнать. Следователь — это профессия. А узник, даже если он сидит в тюрьме всю жизнь, — это не профессия, это психология, дорогой вы мой Гашпар, состояние духа. А раз так, значит, вас можно предсказать, вас можно вычислить. Потребуется лишь небольшие поправки на характер, на силу

или слабость воли. А меня вычислить вы не можете, потому что имеете дело не с психологией, а с профессией.

Следователь снова сел за стол и сложил руки перед собой, как прилежный ученик.

— Вот вы думали, что своим отказом отвечать вызовете во мне приступ ярости. («Я действительно так думал», — с неприязнью отметил мысленно Гашпар.) А все обстоит как раз наоборот: мне вас стало жаль. Жаль по-отцовски. Я говорю — по-отцовски, имея в виду не разницу в возрасте, а разность опыта. Если бы я решил вдруг заняться журналистикой, — он снисходительно улыбнулся этой своей мысли, — вам, возможно, стало бы тоже по-отцовски жаль меня. — Голос зазвучал сухо, значительно. — Но только у меня гораздо больше оснований вас жалеть. Потому что впервые стать заключенным тюрьмы Кашиас — это куда рискованней и опасней, чем впервые попробовать себя в журналистике. Можете верить...

Сейчас инспектор сидел за столом, уложив подбородок в ладонь правой руки, и поэтому, когда говорил, голова его поднималась и опускалась.

— Вы все одинаковы. Все приходите сюда почти героями. Во всяком случае, так вы сами думаете. И все уверены в победе надо мной. Но когда вы впервые появляетесь здесь, никто из вас по-настоящему не знает, что такое не спать двенадцать или пятнадцать суток подряд. По рассказам это представить невозможно. Даже я, наверное, по-настоящему не знаю, что это такое, потому что не испытал. Видел, но не испытал. Однако я все-таки знаю лучше, чем вы. Это дрянная штука, поверьте. Даже если выдержите, даже если не сойдете с ума. Все равно дрянная.

Тинок опустил руки на стол и погладил ладонями его гладкую деревянную поверхность, видимо, решая что-то. Потом встал, подошел к металлическому конторскому серому шкафу и выдвинул из него узкий ящик, какие бывают в библиотечных каталогах. Так же, как в библиотеке, ящик был плотно уставлен картонными карточками с индексами. Инспектор провел по ним пальцами, как пианист беззвучно трогает клавиши, чтобы разбудить их, прежде чем начать играть, и вынул наугад несколько карточек. Надев очки, бегло их просмотрел.

— Здесь зарегистрированы те, кто сидит сейчас в тюрьме, — сказал он негромко, не глядя на Гашпара. — Если заключенного освобождают, мы перекладываем его документы в другой ящик. Если заключенный умирает в тюрьме, его бумаги уходят в третий ящик. Однако, — он сделал паузу, — мертвые есть и среди тех, кто еще жив. Вот посмотрите.

И Тинок протянул Гашпару небольшой квадратный листок бумаги, лежавший в одной из карточек. Гашпар не взял листка из протянутой руки инспектора. Тогда инспектор сделал шаг к нему и повернул листок так, чтобы Гашпар смог увидеть и прочесть слово, крупно напечатанное на листке: MORTE — смерть. Кроме этого слова, оттиснутого типографским способом черной краской, на листке ничего не было. Инспектор показал обратную сторону — она тоже была чиста.

— А вот человек, к которому относится этот листок.

И Тинок показал две обыкновенные тюремные фотографии — в фас и в профиль, с шестизначными номерами внизу, — приклеенные к картонке. Инспектор показал фотографии издали так, что Гашпар не разглядел лица и не смог прочесть фамилии.

— Вы хотите знать, что означает это слово? Это не приговор. И человек этот, повторяю, жив. Не сошел с ума. Ест, пьет, ведет себя почти как каждый нормальный человек, даже выглядит неплохо. — Тинок вложил документы обратно в ящик, снял очки и приблизил лицо к Гашпару. — Но он перестал существовать как личность. Нас он больше никогда не заинтересует. Да и ваших друзей тоже. Человек в нем кончился, разрушился. — Он произнес последнее слово еще раз по складам: — Раз-ру-шил-ся. И таких тут довольно много.

Инспектор приподнял ящик наклонно и показал Гашпару картошку. Не из одной, из нескольких карточек торчали белые листочки с надписью «MORTE».

— Это обозначение, конечно, неофициальное. Только для меня, для нас, для профессионалов.

Он вставил ящик в гнездо металлического шкафа и вдвинул его до конца.

— А теперь подумайте, стоит ли рисковать. Ни вы, ни мы не знаем, когда наступает та самая неуловимая секунда, когда человек вдруг ломается. У одних это происходит на семнадцатый день, у других на девятнадцатый, у третьих на двенадцатый. Кто-нибудь из нас приходит на очередной допрос и вдруг видит: человека нет. Довольно неприятное чувство видеть перед собой живого мертвеца.— Он помедлил.— Угадываем мы безошибочно. Мы только не можем предугадать сроки. Не в силах. У каждого свой.— Инспектор снял очки, положил в карман.— Кто знает, может быть, вы дотянете до двадцатого дня, может быть, сломаетесь на двенадцатом. Может быть, и вообще не сломаетесь. Такое тоже бывает. Эксперимент с бессонницей — все еще эксперимент, к сожалению. У нас нет возможности проверить и обосновать его научно.— Он поморщился.— Все спешка, текучка. Да и средств мало. Приходится действовать эмпирически. Так вот подумайте, стоит ли рисковать. Все равно кто-нибудь расскажет то, что знаете вы. А ваши товарищи могут подумать, что это сделали именно вы. В нашей власти оставить дело именно так. Мы ценим тех, кто нам добровольно рассказывает то, что знает. Тогда мы отвечаем добром на добро. Честолюбие таких людей не страдает. Там, на воле, никто и никогда не знает, кто и что говорит здесь. Если вы расскажете нам то, что знаете, мы сделаем все, чтобы сохранить вашу репутацию среди ваших товарищей. Если нет,— он поднял брови,— завтра мы будем вынуждены начать бессонницу...

Этот разговор был двенадцать дней назад. И двенадцать ночей.

Допрашивали его по нескольку раз в сутки. Каждый новый допрос следователь начинал с четко выговариваемого стереотипного предостережения: «Сегодня пошел такой-то день вашей бессонницы. Вам осталось очень немного, чтобы потерять рассудок. Опомнитесь, пока не поздно». Эти предостережения давали ему возможность знать счет дням и ночам. Сам он не смог бы его вести. После четырех суток без сна дни и ночи слились в сплошную серую поверхность чего-то огромного, давящего. Иногда эту шершавую плоскость освещало солнце, иногда свет электрической лампы. Но никогда не наступала темнота. И даже если оно закрывал на мгновение глаза, все равно сила света не угасала. Ему стало казаться, что он уже разучился закрывать веки плотно. Чтобы проверить — пытался зажмуриваться. Но от этого резко терял силы — голова кружилась, он чуть не падал со стула.

Ему разрешалось сидеть. А напротив него на другом стуле всегда находился охранник. Охранники сменялись каждые три-четыре часа. Вначале он различал их лица, выражение глаз, потом все лица слились в желтоватое пятно на той серой поверхности. Пятно, постоянно маячившее перед глазами, мучительно раздражало.

От пятна приходило самое страшное. Как только ему казалось — вот сейчас он уснет, потеряет наконец сознание, погрузится в блаженный покой, оттуда, со стороны пятна, раздавалось резкое постукивание ключиком о деревянную поверхность стола. Если бы раньше кто-нибудь сказал молодому и здоровому Гашпару, что он не сможет спать из-за легкого постукивания металлическим ключиком по столу, он только рассмеялся бы. Но оказалось, что это так. Три-четыре коротких удара ключиком — и сердце болезненно вздрагивало. Он жил в постоянном страхе услышать эти удары. И когда слышал, казалось, вот сейчас сердце не выдержит, разорвется. Так продолжалось несколько дней. Но однажды он не услышал удара ключиком, а вместо этого ощутил легкое постукивание пальцем по своей голове. Вначале он обрадовался: больше они не будут стучать по столу! Постукивание мягкой подушечкой среднего пальца по затылку, по темени, по лбу — неприятно, но почти беззвучно. Он обманет их, он уснет! Он будет спать с открытыми глазами, и они даже не заметят этого.

Но удары пальцем по голове оказались еще страшнее легкого постукивания ключиком по столу. Он мечтал, чтобы они вернулись к ключу. Но они не воз-

вращались. Три-четыре удара концом указательного пальца. Казалось, он мог бы выдержать любые мучения. Иголки под ногти, горящую сигарету к телу, голод, жажду — только не эти легкие вежливые постукивания по затылку. Иногда он поднимал вверх руки и осторожно ощупывал свою голову, потому что временами был совершенно уверен: у него уже нет черепной коробки, ее удалили незаметно, может быть, под наркозом, и сейчас живой теплый мозг покрыт лишь тонкой пульсирующей пленкой. И когда охранник стучит пальцем, он стучит по этой тонкой пленке.

Еще в детстве он где-то читал, что самое большое лакомство китайских мандаринов — проломить черепную кость у живой обезьяны и ложками прямо из черепа брать теплый живой мозг, макать его в чашечку с соевым соусом и есть. Именно об этом он вспомнил, когда в первый раз почувствовал щепкие и твердые ударчики пальца по голове...

Ему исправно давали еду. Но он не ел уже несколько дней. Организм отказывался принимать пищу. Последний раз, когда к нему в камеру принесли и поставили на столе жестяную миску с кисловато пахнущим супом, его вырвало и долго выворачивало до острой невыносимой боли в желудке. Даже пить не хотелось. Гашпар пил лишь несколько глотков воды в день.

Иногда он впадал в забытие. Но это не был сон, даже несколько минут которого, казалось, вернули бы ему силы, принесли бодрость и свежесть мысли. Главное — свежесть мысли. Нет, это был не сон, а мучительное состояние, знакомое каждому усталому и одновременно возбужденному человеку, который хочет заснуть: с радостью он замечает, что вот начинают путаться мысли, но именно эта радость отпугивает сон, как встревоженный зверек, он вдруг исчезает.

На пятые сутки он услышал — его зовет Мария. Совсем рядом с ним она явственно произнесла его имя — Гашпар. Произнесла тихо, но четко, как обычно звала его по утрам, когда нужно было будить его. Гашпар вздрогнул и обернулся. Обернувшись, никого не увидел. Повернул голову назад и встретился взглядом с охранником. Тот смотрел на него понимающе, будто тоже слышал голос Марии. И даже легонько кивнул головой: да, мол, я знаю, что ты слышал голос жены.

На седьмой или восьмой день сквозь непрестанно мигающие веки (он пытался заставить себя не мигать, но глаза тогда нестерпимо резало) Гашпар вдруг увидел, как в углу комнаты, внизу, слева от зарешеченного окна, через которое комната пронзал пыльный, почти физически ощутимый упругий луч света, в тени зашевелились лепестки цветов. Кончики лепестков были темно-синими, а сердцевина красная, темно-красная, почти коричневая. Вначале цветы появились лишь в темном углу комнаты, но потом очень быстро вся их масса двинулась к центру камеры, к столу, за которым сидели он и охранник.

Гашпар всегда любил цветы. Но эти были мрачными. Они копошились грязно. Взламывая пол, появлялись все новые и новые, нечистоплотные, скользкие, покрытые болотной слизью.

Почему-то они напомнили ему тех саламандр, о которых он читал в книге не то чешского, не то польского писателя (книга была запрещена в Португалии, ее передавали нелегально из рук в руки, и та, что попалась ему, была без обложки, так что он не знал ни названия ее, ни автора). Цветы были похожи на саламандр, но только крохотного размера. «Они не посмеют войти в полосу света», — подумал Гашпар. И цветы действительно остановились перед световым пятном на полу, будто не решаясь войти в него, будто боясь обжечься. Но прождав несколько секунд, все же переступили границу, вошли в свет и потушили его.

Копошась и толкаясь, саламандры все двигались и двигались к нему, пока не столпились у ног, и он почувствовал холод их лепестков. Он отдернул обе ноги и испуганно взглянул на охранника: неужели тот ничего не видит!

Охранник смотрел на Гашпара внимательно.

— Крысы?

— Нет, цветы! — ответил Гашпар. И тут же от звука своего шепота понял, что это не цветы и не саламандры — это галлюцинация.

— А, цветы! — равнодушно согласился охранник. — Значит, крысы еще будут.

Крыс Гашпар увидел, кажется, на другой день. Они бежали по полу жирные и мокрые, оставляя за собой следы лапок, хвоста и брюха. Они бежали, визжали, дрались, пока не заполнили всю комнату сплошным копошащимся серым телом и пока Гашпар не потерял сознание. Очнулся от мерзкого холода на спине — охранник лил холодную воду из кувшина ему за воротник.

Чуть позже он увидел на полу свои кости. Они валялись в беспорядке. И он в испуге нагнулся, чтобы скорее собрать их — для чего, не знал.

И снова охранник понимающе сказал:

— Кости собираешь?

Гашпар пришел в себя и вспомнил слова инспектора Тиноко о том, что можно предсказать каждое движение мысли и тела Гашпара...

Тиноко пришел в камеру на двенадцатый день. Гашпар точно помнит, что это был двенадцатый день, потому что инспектор явственно и очень четко произнес:

— Сегодня одиннадцать дней, как вы не спите, Гашпар. Слышите? Одиннадцать дней! Вам осталось очень немного. Очень немного. Вы скоро сломаетесь.

Инспектор говорил медленно, выговаривая слова четко и громко, чтобы Гашпар его понял. Гашпар понял. И слова об одиннадцати днях и о том, что ему «осталось немного». Перед глазами встал белый листочек с надписью «MORTE». Но усилием воли, ее остатков, ему удалось остановить мысль о белом листе и направить ее в другую сторону. После долгого и тяжелого путешествия по запутанному лабиринту других мыслей и ассоциаций, путаясь и спотыкаясь, он наконец все-таки вывел сознание к чистой и ясной, очень нужной ему мысли о том, что все-таки, значит, он ничего не сказал. Ни в бреду, ни в беспамьятстве, ни во время галлюцинаций — ничего не сказал им. За одиннадцать дней они не добились от него ничего. И он почувствовал некоторое облегчение и даже спокойствие.

В ту ночь он услышал морзянку автомобильного гудка. Морзянка то приближалась, то удалялась. Он решил, что это один из тех самых неожиданных звуков, которые теперь произвольно возникали вокруг него: зов жены, крики детей, крики людей под пыткой, плач матери и хор голосов, что-то выкрикивающих или заунывно поющих. Он только рассердился на себя, почему не может понять смысла сигналов. Ведь это морзе, а он знал морзе. Он должен был понять, но ничего не принимал и сердился на себя.

Наступило утро. При солнечном свете — это Гашпар запомнил твердо, — при солнечном свете снова появился Тиноко. Инспектор подошел к охраннику, что-то сказал, и охранник быстро ушел. Тиноко похлопал Гашпара по плечу и сказал:

— Молодец, теперь можешь спать. Я добился, чтобы они прекратили это истязание над тобой. Я добился отмены этой ужасной пытки. Запомни это, запомни!

Эти слова вдруг встревожили Гашпара. Спать? Почему спать? Разве он что-то им сказал, разве они что-то узнали от него? Нет, нет, он не будет спать, потому что это обман. Он ничего не сказал, ничего!.. Тиноко сам поднял его со стула и почти на руках перенес к нарам.

Невыносимо болел затылок. Он ждал и ждал удара пальцем по живому мозгу. Спать? Почему спать? Почему ушел охранник? Он же ничего не сказал. Ничего не сказал. Это какой-то трюк. Что-то здесь придумано... Спать?! Почему спать?! Нельзя спать! Нельзя спать! Спать... спать... спать...

Он проспал сутки. Много раз просыпался от ударов ключиком. Но не видел перед собой охранников и снова засыпал. Окончательно проснулся лишь 26 апреля утром, когда дверь с шумом открылась и в нее вошел человек в форме военноморского офицера. А за ним матрос с автоматом в руках и с патронташем на шее. Офицер был торжествен, а матрос сиял улыбкой.

— Ваше имя? — спросил офицер, убедившись, что Гашпар проснулся.

Гашпар действительно проснулся, и первая мысль, что пришла ему в голову, была все та же тревожная: «Они мне разрешили спать, значит, я что-то сказал им, на что-то намекнул, что-то дал им узнать».

— Ваше имя? — повторил офицер.

Гашпар молчал.

— Ваше имя Гашпар Р — а? — спросил офицер несколько озадаченно.

— Вы же знаете сами, — устало сказал Гашпар.

Офицер вобрал в себя воздух и, заметно волнуясь, произнес:

— Вы свободны, сеньор Гашпар Р — а!

Гашпар не пошевелился «Провокация, — подумал он. — Они хотят скомпрометировать меня».

— Вы свободны! — повторил офицер с некоторым удивлением.

«Это как раз то, о чем говорил инспектор в первый день, — подумал Гашпар, не вставая с койки. — Они получили какие-то сведения и хотят сделать так, чтобы мои решили, будто это я предал».

— Вы можете выходить из камеры, — сказал офицер настойчиво и, как показалось Гашпару, даже несколько обиженно. — Там вас, наверное, встречают.

— Кто? — удивился Гашпар.

— Я не знаю кто, — пожал плечами офицер, — может быть, родственники.

— Никакие родственники меня встречать не могут, — сказал Гашпар как можно более спокойно, — я не собираюсь выходить из тюрьмы.

— То есть как не собираетесь? — уже возмутился офицер. — Но вы свободны!

Гашпар покачал головой. Настала странная пауза.

— Он же ничего, наверное, не знает! — вдруг удивленно пршептал матрос за плечом офицера. — Может, был без памяти!

— Он спал, — громко сказал кто-то за дверью, и Гашпар, взглядевшись, узнал лицо одного из охранников. Сразу заболел затылок. — Мы не хотели его будить, не хотели тревожить... так хорошо спал сеньор...

— Ах вот что! — засмеялся офицер облегченно, подошел к Гашпару и взял его за руку. — Вчера на рассвете было свергнуто фашистское правительство Каэтано, — сказал он ласково, как ребенку. — Власть перешла к Совету национального спасения во главе с генералом Спинолой. Все политические заключенные — противники прежнего режима по решению Совета освобождаются сегодня вечером. Об этом уже объявлено в газетах. Сегодня все политические заключенные Кашнас и других тюрем выйдут на свободу. Так что если у вас есть родственники или друзья, они обязательно будут вас встречать...

— Этого не может быть! — решительно произнес Гашпар.

Это действительно не могло быть. Что они, считают его дураком? Устроили этот странный театр!

— Может! — радостно сказал офицер. — Я позавчера тоже думал, что не может. Может! Каэтано и Томаш арестованы. Арестованы также многие сотрудники ПИДЕ и администрация этой тюрьмы. — Он обернулся к двери: — Слушайте, принесите кто-нибудь ему газету! Вот положение, честное слово! Его выпускают, а он не верит.

— А где инспектор Тиноко? — неожиданно для себя шепотом спросил Гашпар.

Охранник за дверью радостно закивал головой и показал пальцы, сложенные в виде решетки.

— Инспектор Тиноко помещен в камеру номер шестьдесят три, — официально сообщил офицер и показал рукой на дверь, приглашая Гашпара выйти.

Еще не веря и уже веря, Гашпар сделал два шага к двери. Офицер и матрос посторонились. В коридоре стояла толпа моряков, охранников и еще каких-то людей. Они смотрели на Гашпара и улыбались.

«Заключенные! — вдруг решил Гашпар. — Заключенные! Значит, действительно...»

Он сделал еще шаг к двери и упал головой вперед...

РАЗГОВОР С ЖОЭЛЕМ СЕРРАО, португальским социологом и историком.

— Вы хотите, чтобы я дал оценку событий двадцать пятого апреля с точки зрения историка и социолога. Правильно я понял вас?

— Совершенно.

— Но это почти невозможно. Историк, как и писателю, нужна дистанция времени. Нельзя писать историю сегодняшнего дня. Это будет не история, а журналистика.

— Но я не поверю, что сегодня вы не размышляете об исторических процессах, протекающих именно сегодня.

— Ну что ж, согласен.

— Тем более что социология, как я ее понимаю, это как раз история дня сегодняшнего, если даже не завтрашнего.

— Не хотите ли вы сказать, что намереваетесь узнать у меня историю не только дня сегодняшнего, но и завтрашнего?

— В какой-то степени, потому что один из моих вопросов к вам — о влиянии событий двадцать пятого апреля на сознание людей.

— Ну хорошо, давайте попробуем. Хотя действительно очень трудно представить всю картину влияния событий двадцать пятого апреля на Португалию и португальцев. Самая непосредственная реакция абсолютного большинства, тех, кто перенес на своих плечах сорок восемь лет португальского фашизма, это чувство внезапно свалившегося на тебя счастья. Я бы сказал, что это главное эмоциональное проявление политического процесса.

— Видимо, ощущение счастья усилено еще и тем, что эти колоссальные изменения произошли без трагедии, без кровопролития, хотя и насильственным путем.

— Согласен с вами. Очень многие называют то, что произошло двадцать пятого апреля, абсолютно уникальным в истории событием. Я думаю, это не совсем так. Я думаю, что в португальской истории можно разыскать модели сегодняшних событий. Возьмите хотя бы тысяча восемьсот двадцатый год, год избавления от феодализма. Тогда восстание тоже было поднято военными — гарнизоном в Порту, а потом в Лиссабоне. И оно тоже прошло мирно. Нет, нет, я вовсе не собираюсь сравнивать эти два события. Нельзя сравнивать ни армию тысяча восемьсот двадцатого года с нынешней армией — ее социальная композиция совершенно другая, — ни страну, ни значение событий. Я только говорю о некоторых психологических чертах народа, которые проявились и в тысяча восемьсот двадцатом и в тысяча девятьсот семьдесят четвертом годах. Если хотите, можно взять модель и еще более раннюю — тысяча шестьсот сороковой год, избавление от испанского владычества. Мы очень часто не обращаем внимания на детали, мы считаем, что фраза «избавление от испанского владычества» все вмещает в себя. Но она пуста, она лишена плоти, крови, нервов, костей. Только деталь делает историю живой наукой.

— Еще Вольтер сказал, что бог — в деталях.

— Согласен с Вольтером на сто процентов. Так вот, избавление от испанского владычества тоже произошло мирным путем. Португальцы окружили замок, в котором сидели испанцы, — он тут неподалеку, всего в часе езды от Лиссабона, — и потребовали убраться подобру-поздорову. Те трезво взвесили соотношение силы и приняли благоразумное решение — удалиться. Если не считать одного человека, который то ли выбросился из окна, то ли был выброшен из него, то ли просто свалился и разбился насмерть, жертв не было. Правда, потом испанцы трижды пытались восстановить свое господство в Португалии, трижды посылали войска и трижды были биты. Конечно, лилась кровь. Но она лилась не по вине португальцев, а по вине испанцев.

— А как совместить миролюбивый характер, о котором вы говорите, например, с жестокостью в колониальной войне?

— Это жестокость не народа. Это жестокость режима. По солдатам, которые участвуют в несправедливой войне, нельзя судить о характере народа, к которому они принадлежат.

— Согласен с вами, мне кажется, что миролюбивый характер народа не есть непреодолимая преграда для жестокости, в том числе и массовой. Просто для проявления того или иного нужны разные обстоятельства. Я вообще не знаю немиролюбивых народов.

— Я тоже думаю, что ни один народ мира не хочет войны. Но есть сложившаяся история. У одних она полна войн, кровавых внутренних событий. У других нет. А история создает традиции, традиции — характер, прошлое оказывает воздействие на будущее. В конце концов, и в завтрашний и в сегодняшний день мы посмотрим через призму вчерашнего.

— Чилийские события показали, что традиции — категория не особенно прочная. Но мне хотелось бы попросить вас продолжить вашу мысль о дне завтрашнем.

— Ну что ж, я оптимист. Оптимизм мой основан в том числе и на том, что этой весной впервые в истории фашизм погиб не в результате кровавой бани, а скончался, так сказать, «под песню, под цветами». Я все-таки еще раз хочу сказать, что это очень соответствует португальскому характеру, и это тоже говорит о том, что впереди у Португалии — хорошее будущее, светлое. Я не хотел бы, чтобы вы меня поняли так, будто я не предвижу трудностей. Просто я хочу сказать, что история не проходит даром, и наша история, в том числе и тяжелая история, будет так или иначе отражена в нашем будущем.

— Вы имеете в виду внутри- или внешнеполитическое будущее?

— И то и другое. Но если говорить о внешнеполитическом, то тут тоже есть трудности. Скажем, наши связи с Бразилией. Это ведь совсем не простой вопрос. Если бы в Бразилии не было столь сильной реакционной струи — я имею в виду существующий режим, — я бы сказал, что наше будущее в крепких связях с этой страной. Тем более что они традиционны. Но после двадцать пятого апреля это представляется мне маловероятным. Тем более что Бразилия, надо думать, попытается получить выгоду от предполагаемой независимости португальских колоний. Не исключаю, что она сделает не одну попытку проникнуть туда. А это довольно серьезная угроза. Итак, мы сейчас между двух огней — между Европой и Бразилией. Интеграция и с тем и с другим огнем — проблема довольно сложная. Она будет влиять и на положение в самой Португалии.

— Когда вы говорите о Бразилии, вы имеете в виду только ее?

— Я говорю о Бразилии. Но никому не возбраняется проводить аналогии и параллели. Так или иначе, но ситуация сложная, она требует внимательного изучения и, конечно, воображения.

— Воображение — это опять-таки больше категория будущего, чем прошлого.

— Ну а для чего же вообще существует история? Конечно, для будущего. Это если всерьез.

— Гибель фашизма, конечно, отразится на португальской исторической науке?

— Безусловно. В частности, нам необходимо очень глубоко изучить фашизм, что нельзя было сделать раньше, при его существовании. Фашизм навязывал свои мнения историкам. Он был заинтересован в немедленном, утилитарном для сегодняшнего дня решении исторических вопросов. Он не задумывался серьезно о будущем, потому что не верил в него. Поэтому ему не нужна была серьезная историческая наука. Такие науки, как историю, социологию, даже экономику, фашизм только терпел, не более. И сейчас их развитие — огромное поле деятельности. Мы говорили о необходимости временной дистанции для историка. Сегодня преобладают эмоции. Еще трудно трезво судить о проблемах, которые стоят перед нами, потому что нас захлестывают чувства. В этом эмоциональном захлесте некоторые молодые люди полагают, что нужно забыть обо всем прошлом и идти по совершенно новому пути. Это толкает к анархизму — я имею в виду не столько организованное анархистское движение, сколько анархистский подход



к вопросу, — а это опасно, тем более что анархизм имел довольно серьезные позиции в Португалии, как и в Испании, еще до фашизма.

— Чем, по вашему мнению, португальский фашизм отличался от фашизма, скажем, германского и итальянского?

— Если сравнивать португальский фашизм с немецким, итальянским и испанским, то я бы сказал, что португальский фашизм ближе всего все-таки был к фашизму германскому. И меньше всего он схож с фашизмом испанским. Эта схожесть или несхожесть, конечно, весьма относительна, потому что португальский фашизм все же совсем не германский, совсем не итальянский и не испанский. Несмотря на многие общие точки соприкосновения, португальский фашизм отличался от всех трех. Главное, что их объединяло — это страдание народа. И общность между политической и экономической властью. Хотя не думаю, что португальский фашизм можно понять, исходя лишь из его экономических характеристик. Некоторые секторы португальской экономической элиты были заинтересованы в уничтожении фашизма. Это бесспорно. Вы видите, я говорю очень общо, но в своих исканиях, я думаю, вы сможете конкретизировать эти положения. Одно из серьезных отличий португальского фашизма от немецкого и итальянского состоит в том, что большая часть населения Португалии живет при условиях, которые не характерны для развитого капиталистического общества. И как это ни кажется парадоксальным, отсюда следует оптимистический вывод. Эта характеристика португальского капитализма означает, что нет необходимости слишком много уничтожать, чтобы строить будущее. Португальцы имеют возможность построить действительно очень интересное будущее, чисто португальское, со всеми характеристиками Португалии. И если, например, мы пойдем к социализму, то португальский социализм, конечно, будет иметь свои чисто португальские особенности.

Два слова о самом историке, с которым шел этот разговор. Жоэль Серрао — один из самых высокообразованных людей в Португалии. При фашизме ему не давали читать лекции в университете. Даже не допускали к участию в конкурсе на замещение профессорской должности.

Куда прежде всего идет журналист в незнакомом городе? Ну, конечно, к своим коллегам. В редакцию газеты. В Лиссабоне он пошел в «Республика».

Журналисту никогда раньше не приходилось видеть, как работает редакция небольшой ежедневной газеты на двадцатый день после свержения фашизма. И он с интересом наблюдал, как в небольшой комнате два десятка энергичных людей стучали на машинках, разговаривали друг с другом и по телефону, думали, читали, сверяли, вычитывали, диктовали машинистке, писали ручкой, грызли ее задумчиво, рассказывали свежие политические анекдоты, громко делились впечатлениями о только что прочитанном, смотрели телевизор, кричали друг на друга и в телефон, доказывали, что некий Родригес вовсе не фашист, а демократ, слушали радио, ходили от стола к столу, взобравшись на стул, вывинчивали перегоревшую лампочку под потолком и винчивали новую (окна маленькие, дневного света не хватает), курили сигареты, хвастали только что приобретенной книгой, смеялись, составляли макет полосы, пили кофе, бросали через всю комнату из угла в угол и ловили металлическую линейку, клялись, что некий Родригес — чистейший фашист и только маскируется под демократа, радостно и шумно хлопали по плечу первого в истории этой газеты советского журналиста, появившегося в редакции, наперебой давали ему советы, звонили куда-то, чтобы помочь ему с его первыми контактами, и т. д. и т. п.

В первые же минуты общения с этими шумными, энергичными, преимущественно лысыми, преимущественно бородатыми и преимущественно молодыми людьми журналист получил массу ценнейших для себя сведений и советов: к а п и т а н ы интервью не дают; лучшее место для обеда — тут, совсем рядом с редакцией; прежде всего необходимо аккредитоваться в бывшем министерстве информации; самое популярное и, кстати, вкусное блюдо в Португалии — треска, имеется сто рецептов ее приготовления; нет на свете более схожих по характеру

и внешности народов, чем русские и португальцы; если хочешь получить конкретную помощь, в любом учреждении лучше всего идти к бывшему фашисту, который еще не уволен, — он в лепешку разобьется, чтобы помочь и тем самым доказать, что сам он никогда не был фашистом, а всегда был сторонником демократии; сегодня в пять часов вечера министры временного правительства будут вступать в исполнение своих обязанностей; на «Броненосец «Потемкин» нельзя достать билетов; Испания сосредоточивает войска на границах с Португалией; аккредитовываться в бывшем министерстве информации совсем не обязательно — все равно сейчас никто никаких документов ни у кого не спрашивает; португальский язык безумно похож на русский язык; кто будет новым редактором газеты вместо Рауля Рего, который становится сегодня в пять часов новым министром бывшего министерства информации, а ныне — министерства общественных связей, неизвестно; в Португалии после 25 апреля никто не спал подряд более четырех часов... и т. д. и т. п.

Все это журналист узнал в течение тех нескольких минут, которые понадобились ему, чтобы пройти между двадцатью письменными столами из конца в конец единственной редакционной комнаты и оказаться в крохотном фанерном закутке, где помещался один-единственный старый-престарый стол, сотни четыре книги на полках и на полу, несколько десятков газетных подшивок разных названий, множество отдельных газетных листов и почти незаметный во всем этом ералаше главный редактор газеты. Главный был человеком небольшого роста, лысоватый, с красными от усталости веками, в грибоедовских металлических очках. Он занимался тем, что тщетно пытался запихнуть в свой старенький портфель как можно больше бумаг со стола. Человек был похож на сельского учителя, окончившего занятия и собиравшего в портфель детские тетради, чтобы дома их проверить. Был этот человек Раулем Рего, будущим (через несколько часов) министром общественных связей и бывшим редактором этой самой «Республика».

Он посмотрел на журналиста поверх своих очков, протянул одну руку для рукопожатия, другой продолжая запихивать бумаги в портфель, сообщил без вступления, что времени у него нет ни секунды, что редакторский пост покидает безо всякой охоты, но что все-таки надо либо—либо, а то последнее время ему практически приходилось быть одновременно и редактором и уже фактическим министром. Сказал он также, чтобы журналист непременно приходил в президентский дворец на церемонию принятия постов министрами временного правительства, а позже, вечером, домой к министру, где он, может быть, все-таки выкроит полчаса для беседы. После этого Рауль Рего засунул портфель под мышку и умчался.

Пробыв десять минут в редакции, журналист не может не прийти к выводу, что в газете переход от фашизма к демократии происходит в обстановке довольно изрядной суматохи. И только на улице журналист снова видит спокойствие и размеренный порядок.

В патриархальном трамвайчике-фуникулере, мирно спускающемся в центр города с холма, где находится редакция газеты «Республика», кондуктор в нетерпеливой задумчивости ковыряет в носу.

Сойдя с фуникулера, журналист оказывается среди разноцветных столиков кафе, высыпающих на тротуар. Здесь мяукают американские туристаришки: «Изн'т ит уандрфул?! Изн'т ит чаминг?! Изн'т ит?» — и рокоцуще бьют представительные американские туристарики в панамках, брючках чуть ниже колен, в клетчатых пиджачках, с выправкой опытных бойцов гольфовых полей.

Во дворе бывшего министерства информации стоит небольшой — в человеческий рост — памятник какому-то тонкогубому старику в длинном бронзовом плаще. Лицо старика кажется журналисту знакомым, он подходит к памятнику и читает надпись: «С а л а з а р». Рядом с бывшим диктатором служители надраивают белым порошком медные поручни парадной лестницы министерства.

На узких улицах старой части города (их пять, районов, сохранившихся после землетрясения 1775 года) сушится на веревках, натянутых между балко-

нами, вдоль стен домов, белье. Реклама обещает в воскресенье очередную корриду. Рабочие с деревянными гymbами в руках мостят мелкими разноцветными гранитными камешками виньетки на площади в центре города.

Все как обычно.

И солнце как обычно. И море как обычно. И небо. И крик петухов, который слышен по утрам на восьмом этаже отеля «Эмбайшадор».

Журналист должен признаться, что нетронутое уличное спокойствие и безмятежность вызывают в нем не то что тревогу, но некоторую неловкость, что ли, какое-то тревожащее неудобство. Все-таки падение фашизма для него всегда ассоциировалось с другими уличными картинами.

Из-за этого два фотоаппарата с пятью объективами, которые он взял с собой из Москвы, чтобы запечатлеть на пленку новую Португалию, покоятся нетронутыми в кожаной сумке через плечо.

Никаких внешних проявлений недавно происшедших событий. Если не считать газетных и журнальных киосков. С их витрин смотрят на прохожих капитаны и майоры, иногда суровые, иногда смеющиеся. И с некоторым удивлением глядят на соотечественников человек с генеральскими погонами и с моноклем в глазу — генерал Спинола, глава Совета национального спасения.

Еще один видимый диссонанс: несколько перевернутых, сожженных и поэтому кажущихся проржавевшими легковых автомашин на улице перед зданием, где помещалась фашистская газета «Эпоха». Машины принадлежали журналистам из этой газеты. Машины свидетельствуют о том, что старую «Эпоху» ненавидели и что она кончила свое существование и в узком и в более широком смысле.

Такие же сожженные и перевернутые машины валяются и возле здания ПИДЕ — португальского гестапо...

Следуя советам, полученным в газете «Республика», журналист просит в министерстве информации приема у сеньора Т., который занимал довольно высокий пост в старом министерстве и точно такой же занимает в новом. Категоричные советчики из «Республики» рекомендовали обратиться именно к нему («Он фашист самой неприятной разновидности — интеллигентствующий фашист. Среди фашистов считался либералом. Разобьется в лепешку, но все сделает, поможет, чтобы доказать лояльность новому правительству. Что с ним будет дальше — пока неизвестно. Всех уверяет, что всегда был антифашистом в душе. Иногда ему говорят прямо: вы занимали такой высокий пост при фашизме, какой же вы антифашист?! Он в таких случаях отвечает, что занимал высокий пост, жертвуя собой, что шел на эту жертву сознательно, потому что если бы тот пост занимал настоящий фашист, людям было бы гораздо хуже. Каково, а?»).

Сеньор Т. — сама любезность, приветливость, откровенность, само обаяние («Если бы я не считал своим гражданским долгом работать здесь, я, конечно, стал бы журналистом или писателем. Самая интересная деятельность на свете!»). Он одет в элегантную тройку, и на лацкане пиджака у него алеет гвоздика — цветок революции. Он рассказал журналисту несколько интересных эпизодов, связанных с 25 апреля, подчеркнув не раз, как важно сейчас не отстать от участия в новой жизни по формальному признаку тех, кто работал при старой системе и даже занимал иногда высокий правительственный пост. Как важно разобратся в душе каждого человека, потому что ведь можно работать у фашистов, но в душе оставаться ярым антифашистом и делать всю свою жизнь скромное, но нужное антифашистское дело.

Сеньор Т. очень добросовестно записал в блокнотик с золотым обрезом все, о чем просил его журналист, и тут же, поднявшись от кофейного столика, за которым шел разговор, к большому рабочему столу, все эти просьбы выполнил, связавшись с кем нужно по телефону, кого-то попросив, а кому-то дав вежливое, но твердое распоряжение.

Помимо этого сеньор Т. был настолько любезен, что тут же, изредка сверяясь все с той же книжечкой с золотым обрезом, продирижовал по телефону кому-то из своих помощников список людей (имя, фамилия, профессия, долж-

ность, телефон, адрес — все как полагается), с которыми, по его мнению, совершенно необходимо встретиться в Лиссабоне советскому журналисту. Там были и художники, и литераторы, и банкиры, и актеры, и кого там только не было. Через минуту список, напечатанный на белейшей бумаге с водяными знаками, был принесен секретаршей сеньора Т. и вручен журналисту (копия — самому сеньору Т., который аккуратно положил листок на свой обширный стол).

— Кроме того, вам, конечно, необходимо побывать в руководстве главных политических партий.

— Конечно, — согласился журналист.

— Запишите, — обратился сеньор Т. к секретарше и на память продиктовал телефоны и адреса нескольких партий. — Ну а с руководством компартии, — он улыбнулся понимающе, — у вас контакт, конечно, уже установлен.

— Нет, — сказал журналист. — Еще нет.

— Неужели?! — удивился сеньор Т. — Вы не знаете их адреса?

— Представьте.

Тогда сеньор Т. собственноручно добавил к новому списку адрес и телефон руководства Португальской коммунистической партии. И сказал несколько слов о том, какая это сплоченная и организованная партия, «по существу, единственная организованная партия в Португалии», и еще о том, что лично он, сеньор Т., как португалец гордится таким замечательным человеком, таким выдающимся интеллектуалом, как Генеральный секретарь ПКП Алваро Куньял. Хотя, конечно, добавил он, Мариу Соареш, руководитель Социалистической партии, тоже личность незаурядная...

Сеньор Т., казалось, вершит чуть ли не всеми делами министерства. Значит, министерство, с некоторым удивлением решил журналист, действует под началом одного из помощников прежнего министра.

Однако это оказалось не совсем так. Кроме сеньора Т. и некоторых других старых руководителей, в министерстве находился военный человек, майор Фернандуш, делегированный сюда Движением молодых офицеров и фактически осуществлявший контроль за работой ведомства. Он располагался (с достаточным значением) в кабинете бывшего министра и был человеком молодым (не более тридцати лет), высоким, сдержанным в движениях и в высказываемых суждениях.

Сеньор Т., который сам взялся проводить журналиста к делегату вооруженных сил, держался с майором с величайшим почтением и, представив журналиста, тут же вышел.

Журналист расстался с сеньором Т. почти с сожалением: уж очень интересно было наблюдать этого человека, которого так честили журналисты из «Республики» (прежде всего за то, что он не просто фашист, а фашист «интеллигентствующий»), в «работе», в критической для него ситуации.

Прежде чем начать разговор, майор Фернандуш сказал, что капитаны и майоры из Движения сейчас действительно интервью не дают. Журналист спросил, принадлежит ли сам майор Фернандуш к Движению. Конечно! Значит, на интервью с ним рассчитывать нельзя? Можно. Но в виде исключения. Так и состоялось это небольшое интервью — в виде исключения.

Среди многих вопросов, которые задавал журналист, он не мог не спросить своего собеседника о том, как он объясняет «мирный» конец фашизма. Майор не стал говорить о португальском характере и упоминать о быке, которого не убивают на португальской корриде. Майор мыслил политически.

Режим был настолько коррумпирован, настолько ненавистен народу, что правительство совершенно четко поняло: никакой поддержки ниоткуда оно ожидать не может. Поэтому оказывать сопротивление, например, силами национальной гвардии было абсолютно бессмысленно и равносильно самоубийству. А в правительстве Каэтано не было людей, готовых отдать жизнь, защищая свои принципы.

Кроме того, переворот был подготовлен так мастерски, что через четыре часа после начала восстания правительство все еще ничего не знало о нем.

Бывают случаи, продолжал майор, когда правительство или его отдельные члены наивно верят если не в народную любовь и поддержку, то хотя бы в то,

что их не оставят без помощи те круги, чьим интересам они служат. Но правительство Казтано не могло питать иллюзий и на этот счет. Лучше всего степень безнадежности положения фашистского правительства выразилась экономически. В течение месяца до переворота большие суммы денег были переведены богатыми людьми из Португалии в другие страны. Это не значит, что они ожидали переворота, это лишь значит, что они начали понимать: дело фашистского режима проиграно, рано или поздно он падет.

В кабинет к майору вошел секретарь в штатском и напомнил, что майору надо ехать в президентский дворец, его ждет машина. Майор встал, извинился перед журналистом, надел лайковые перчатки, фуражку и, пропустив журналиста перед собой, вышел из кабинета, стройный, изящный, щеголеватый.

Вскоре после этого разговора журналист тоже мчался в такси к президентскому дворцу по набережной, идущей вдоль реки Тежу, той, что в нашей школе называют на испанский манер Тахо и которая еще со школьных лет запомнилась журналисту как часть самодельной считалочки, почему-то включавшей все главные реки Пиренейского полуострова:

Эбро, Дуэро, Тахо, Гвадал.  
Кто — квивир, тот у-гадал!

Машина миновала порт, откуда начиналась паромная линия на другой берег Тежу, в рабочие городки, Барейру и Алмада, и через несколько километров прошла под самым длинным в Европе мостом, соединяющим берега Тежу. На мосту чернели огромные буквы, выбитые в камне: «МОСТ САЛАЗАРА». А ниже тоже огромными буквами, выведенными чьей-то поспешной и размахистой рукой при помощи распылителя черной краской, значилось: «МОСТ 25 АПРЕЛЯ!» И даже восклицательный знак стоял после этих слов как протест против того имени, что значилось выше.

Таксист нажимал на акселератор.

— Большой город Лиссабон,—сказал журналист, выражая свое действительное впечатление о городе и желая сделать приятное таксисту.

Таксист сухо ответил:

— Нет, маленький.— И кивнул головой, будто поставил под своими словами печать.

Журналист вспомнил, как несколько месяцев назад в Лиме, в Перу, городке куда как меньшем, чем Лиссабон, он завел разговор о городе с мальчишкой — чистильщиком ботинок. И мальчишка, подняв улыбающееся лицо к солнцу, воскликнул: «Правда, Лима — это сказка?»

И хотя журналист не считал Лиму такой уж прямо сказкой, ему пришлось по душе и слова мальчика и его восторженная улыбка. Некоторое преувеличение достоинств своего города было совершенно естественным.

— Но очень красивый Лиссабон,— продолжал журналист налаживать контакт с таксистом.

— Не очень.— Водитель, как видно, попался упрямый.

— Почему? Возьмите хотя бы старые кварталы.

— Вот и возьмите. Вы на них смотрите снаружи, а мы изнутри. Снаружи, конечно, красиво.

Помолчали.

— Как все-таки теперь будут называть мост — имени Салазара или имени Двадцать пятого апреля?

Таксист сказал:

— Имя не важно. Важен мост.

(Окончание следует)



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ФЕЛИКС КУЗНЕЦОВ



## С ВЕКОМ НАРАВНЕ

Пути сегодняшней прозы

**В**ремя в его поступательном движении по-особому остро ставит в современной литературе проблему духовных ценностей.

Диалектика жизни такова, что чем полнее и эффективнее будет решаться в нашем обществе вопрос о хлебе насущном, тем неотступнее будет вставать перед людьми весь непростой комплекс вопросов, связанных с хлебом духовным. Курс на резкое повышение материального благосостояния в условиях развитого социализма и научно-технической революции с неизбежностью диктует нам и столь же резкое повышение внимания к духовным, нравственным началам жизни, ибо наш коммунистический идеал качественно отличен от бездуховных идеалов так называемого общества потребления, от нравственности буржуазной, мешанской. Об этом со всей определенностью было сказано на XXIV съезде КПСС.

Извечный вопрос о смысле жизни, осмысленности человеческого существования — главный вопрос в системе духовных ценностей — каждым человеком и каждой эпохой на новом витке исторической спирали решается конкретно и как бы заново. Вот почему вопрос этот, определяющий систему ценностей, сложнейшие проблемы внутреннего бытия человека, личности в ее непростой диалектике социально-психологических взаимоотношений с обществом, все с большей властью притягивает сегодня внимание и писателей и читателей. Мы убедились в том, обращаясь в своих критических разборах конкретно к произве-

дениям Ч. Айтматова и В. Быкова, Ф. Абрамова и В. Белова, В. Тендрякова и Г. Владимова, Ю. Трифонова и В. Распутина.

Следует обратить внимание: советская проза во многих произведениях последнего времени, названных и не названных нами, чутко откликается на эту общественную потребность, все более остро и смело вмешиваясь в философский, мировоззренческий спор эпохи, все весомее утверждая в нашей действительности духовные и нравственные ценности социализма. В конечном счете и резко возросший в последние годы историзм нашей литературы, углубление ее философских исканий, и литературные споры вокруг проблемы культурного наследия, национального и народного, и обострившееся патриотическое чувство, гражданское отношение к действительности — это различные стороны единого, глубокого, мировоззренческого по своей сути процесса, развивающегося в современной литературе. Процесса, требующего самого внимательного, системного, научного осмысления. Процесса, обусловленного временем, и прежде всего — насущными духовными потребностями общества зрелого, развитого социализма и научно-технической революции, обращающей внимание литературы ко всему сложнейшему комплексу духовно-нравственных проблем.

Не будем закрывать глаза и на то, что поиск ответа на вопрос о духовных ценностях времени в современной литературе и критике идет в разных, не всегда результативных направлениях, о чем мы говорили в предшествовавших статьях. Ответ на него порой ищут и там, где его практически нет, не может быть.

Последние годы наша литературная критика вела, в частности, спор с внесоциальными, внеклассовыми представлениями о нашем прошлом и настоящем, когда истоки

---

Этой статьей автор завершает цикл литературно-критических выступлений, начатый статьями «Судьбы деревни в прозе и критике» («Новый мир», 1973, № 6) и «Духовные ценности: мифы и действительность» («Новый мир», 1974, № 1).

духовных ценностей современного социального общества пытались отыскать в мире патриархального крестьянства, в сфере абстрактно понимаемого «национального духа». В этом своем внесоциальном, внеклассовом подходе авторы иных литературно-критических работ забывали о ленинском учении о двух нациях в каждой нации, двух национальных культурах в каждой культуре. А так как для любого направления мысли гребутся теоретический фундамент, требуются предшественники, на первый план выходила не передовая, демократическая линия, но идеалистическая, консервативная линия в русской общественной мысли, обозначившая себя в славянофильстве, почвенничестве, в философии Вл. Соловьева, К. Леонтьева, В. Розанова и других.

Идеалистическая традиция в течение долгих веков отдавала весь комплекс духовных и нравственных ценностей религиозному, идеологическому миросозерцанию, претендовавшему, как известно, на монополию в вопросах человеческого духа. Поскольку наше общество впервые в истории формирует личность на началах материалистических и научно-атеистических, перед нами встает качественно новая, чрезвычайно трудная теоретическая и практическая задача: дать реальный историко-материалистический ответ на вопрос о смысле бытия, о нравственности и совести, о гуманистических ценностях человеческой личности.

Исследуя нашу действительность и человека, сформированного социализмом, советская литература утверждает духовное богатство общества, духовные ценности личности, произрастающие на основе качественно новых, справедливых общественных отношений. Выбор решений здесь лежит в качественно иной системе координат — не в плоскости религиозных или идеалистических абстракций, но в сфере общественно-преобразующей деятельности человека, трудом и борьбой формирующего себя и новую жизнь. Это направление поиска и утверждения духовных и нравственных ценностей имеет свою — и немалую — историческую традицию, связанную с историей русского освободительного движения, с трудом и борьбой народных масс за свое освобождение. Традицию, утверждавшую себя в деятельности декабристов и демократов-шестидесятников, народников и народолюбцев. Именно она, эта традиция, была определяющей для судеб русской

общественной мысли XIX века и развивалась в непрекращающейся борьбе с идеологией крепостничества и реакции.

Достоевский в «Дневнике писателя» так писал о своем знакомстве с Белинским: «Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма... Он знал, что основа всему — начала нравственные... Но как социалисту, ему прежде всего следовало изложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинаться с атеизма. Ему надо было изложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества».

В этом свидетельстве с достаточной точностью отражено соотношение двух духовно-нравственных концепций жизни, борьба между которыми во многом определила развитие русской литературы XIX века. Проповедь Белинского и Герцена, Чернышевского и Дроблюбова сформировала духовные и нравственные основы русской демократической интеллигенции прошлого столетия.

И не случайно печально знаменитый сборник «Вехи», явившийся своеобразным апогеем в борьбе консерватизма и реакции с русским революционно-освободительным движением, имел красноречивый подзаголовок: «Сборник статей о русской интеллигенции». Вспомним ленинскую характеристику его: «Назвав «Вехи» «сборником статей о русской интеллигенции», авторы сузили этим подзаголовком действительную тему своего выступления, ибо «интеллигенция» выступает у них на деле в качестве духовного вождя, вдохновителя и выразителя всей русской демократии и всего русского освободительного движения»<sup>1</sup>.

Тотальный характер идеологии «Вех» как своего рода энциклопедии того реакционного миросозерцания, которое противостоит идеям революции, материализма и социализма, и предопределил интерес к «веховству» современного антикоммунизма. Не будет преувеличением сказать, что именно «веховство» все в большей степени выходит на первый план в современной идеологической борьбе.

Расчет тут прост: направить против миросозерцания современного научного социализма, против социалистической концепции человека всю ту аргументацию, которая

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 19, стр. 167—168. В последующем ссылке см. в тексте.

выдвигалась против революционеров, социалистов и атеистов в прошлом, аргументацию, наиболее полно и исчерпывающе представленную именно в «Вехах».

В книге «Тревоги мира и сердце писателя» В. Озеров, анализируя опусы современных «советологов», такие, как «Русские классики в советских обложках» М. Фридберга, «Религиозные начала в советской литературе» А. Тодда, «Русская литература при Ленине и Сталине. 1917—1953» Г. Струве, «Икона и топор. Аналитическая история русской культуры» Дж. Биллингтона и другие, писал: «Где-то уже встречались подобные же поношения революционных демократов и тоска по идеализму, православию. Да, все это уже было: широкое наступление на свободолюбивые идеалы передовой русской общественной мысли развернулось еще в начале XX века. И не приходится удивляться, что Дж. Биллингтон столь благосклонно пишет о периоде после поражения первой русской революции: в это десятилетие, по характеристике Горького — самое мрачное и позорное для русской интеллигенции, шумно заявили о себе идейные предтечи и духовные отцы современных «советологов». Родословную их взглядов легко обнаружить в той, пользуясь выражением Ленина, «энциклопедии либерального ренегатства», каким явился печально знаменитый сборник «Вехи». С идеологией и эстетикой «Вех», — справедливо замечает В. Озеров, — внутренне «связаны многие страницы последующей борьбы против материализма и революционной демократии, вплоть до плеяды белоземigrants вроде Г. Струве, М. Слонима, их единомышленников типа Дж. Биллингтона».

Нельзя не согласиться с В. Озеровым: в своем походе на материалистическое мировоззрение, марксистскую идеологию, демократическое искусство авторы «Вех» предвосхитили сегодняшних «советологов». И наоборот: «советологи» стремятся активно использовать идеологию «Вех» в борьбе с марксистско-ленинской концепцией духовных и нравственных ценностей.

Пример тому — издание в Париже в связи с пятидесятилетием Великой Октябрьской социалистической революции третьего веховского сборника «Из глубины». Сборник этот, составленный из статей А. Аскольдова, Н. Бердяева, С. Булгакова, В. Иванова, А. Изгоева, П. Струве, С. Франка и других веховских авторов, имеет подзаголовок «Сборник статей о русской революции» и

продолжает два предыдущих: «Проблемы идеализма» и «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции». Он был подготовлен к выпуску в Советской России в 1918 году, но остановлен революционной цензурой. Теперь сборник выпущен за рубежом с предисловиями «мэтров» «советологии» Никиты Струве и Н. Полторацкого, представлен читателю как крупнейшая акция современного антисоветизма.

«Революция 17-го года перед лицом русской религиозно-философской и религиозно-общественной мысли — таково, сведенное к одной фразе, значение сборника», — пишет в предисловии «Пророческая книга» Никита Струве. И продолжает: «Познание своей скверны» через обращение к незабываемым истинам прошлого уже началось, как показывают покаянные мотивы и защита древних ценностей, у некоторых «советских» писателей... Не к воображаемой молодежи, а к конкретному «советскому» юноше конца шестидесятих годов обращены слова П. Струве: «России безразлично, веришь ли ты в социализм, в республику или общину, но ей важно, чтобы ты чтил величие ее прошлого и чаял и требовал величия для ее будущего»...»

Слова эти — из статьи П. Струве «Исторический смысл русской революции и национальные задачи», опубликованной тут же в сборнике. П. Струве в этой статье утверждал: «Прошлое России, и только оно, есть залог ее будущего... Это — целая программа духовного, культурного и политического возрождения России, опирающаяся на идейное воспитание и перевоспитание образованных людей и народных масс».

Такую программу, ориентирующую на прошлое России в «веховском» его понимании, и предлагают Н. Струве и Н. Полторацкий современному «советскому юноше». «Этими убеждениями горят уже некоторые в теперешней России. Они найдут в сборнике подтверждение их правоты и вдохновения для их дела».

Можно сказать, что в своем отношении к прошлому авторы сборника демонстрируют последовательно классовый подход. Их далеко не все устраивает в русском национальном прошлом. Хотя Н. Струве и пытается объединить «миллионы русских людей, помещиков и крестьян, богачей и бедняков» в одно якобы неразрывное национальное целое, авторы веховского сборника решительно отмежевываются от той национальной культуры прошлого, которая выра-



жала интересы «крестьян и бедняков». Как раз в борьбе с демократической культурой прошлого видят они значение сборника «Вехи». «Они («Вехи». — *Ред.*) хотели лишь указать, что путь, по которому шло до сих пор господствующее течение русской интеллигенции, есть неправильный и гибельный путь, — пишет П. Новгородцев, автор статьи «О путях и задачах русской интеллигенции», — и что для нее возможен и необходим иной путь, к которому ее давно призывали величайшие представители, как Чаадаев, Достоевский, Влад. Соловьев. Если вместо этого она избрала в свои руководители Бакунина и Чернышевского, Лаврова и Михайловского, это великое несчастье и самой интеллигенции, и нашей родины».

Совершенно очевидна та прямолинейная политическая тенденция, которая продиктовала эти строки. Перетолковывая на свой лад наследие таких сложных мыслителей, как Чаадаев и Достоевский, веховцы в сборнике «Из глубины» не скрывают действительных мотивов своей ненависти к демократической русской культуре. «Русская интеллигенция не оценила и не поняла глубоких духовно-общественных прозрений Достоевского и совсем не заметила гениального Константина Леонтьева, — обличает демократическую интеллигенцию С. Франк, — тогда как слабая, все упрощающая моральная проповедь Толстого имела живое влияние и в значительной степени подготовила те кадры отрицателей государства, родины и культуры, которые на наших глазах погубили Россию... И не рукоплескала ли вся интеллигенция России цинически-хамскому бунтарству тех босяков и «бывших людей» Горького, которые через двадцать пять лет после своего столь шумного успеха в литературе успели захватить власть и разрушить русское государство?»

Таковы вполне откровенные, в конечном счете обнаженно классовые мотивы неприятия веховцами традиций русской демократической интеллигенции, русского освободительного движения, традиций Белинского и Герцена, Чернышевского и Добролюбова, Толстого и Горького, традиций русской революции и социализма в принципе.

Эту-то злобу, эту черную реакцию на революцию и социализм и пытаются выдавать сегодня за некий «позитив», за «открытие истины», за принципиально новое и современное решение вопроса о человеке и его ценностях, о путях развития нашей страны и общества. Вчитаемся, вдумаемся в то

определение современного «веховства», которое дает в книге автор второго предисловия Н. Полторацкий: «Веховство надо будет определить как такое идейное течение, характерными особенностями которого являются отрицание атеизма, материализма, социализма, интернационализма, революционизма и политической диктатуры (вплоть до тоталитаризма), предельным выражением коих является большевизм-коммунизм, — и утверждение начал религии, идеализма, либерализма, патриотизма, традиционализма и народоправства».

Идейный и политический смысл «веховства», его «программа идейного воспитания и перевоспитания образованных людей и народных масс» обозначены здесь с предельной ясностью. Они в том, чтобы «под покровом религии и защитой кнута» проповедовать «ложь и безнравственность как истину и добродетель».

Эти слова принадлежат Белинскому и, хотя были сказаны примерно за шесть десятилетий до появления «Вех», вполне применимы к ним.

### Контекст проблемы

Перечитывая Белинского, поражаешься, в какой мере живо его слово для наших дней, как много ответов на неясные или трудные вопросы современного развития литературы оно содержит.

Наследие Белинского сегодня особенно важно потому, что критика наша все в большей степени устремлена к проблемам нравственности, духовности, к целостному, философскому осмыслению бытия. Критике уже недостаточно благополучных творческих портретов, рецензионности, добродушных рассуждений о мастерстве, скромных радостей и горестей по поводу творческих удач иль неудач. Главным становится познание закономерностей литературного развития, постижение философии времени, которую выражают те или иные писательские судьбы, те или иные тенденции в литературе.

«Критика... есть сознание действительности», «сознание философское, а искусство — сознание непосредственное», — определял Белинский. Наследие Белинского убеждает нас, что проблема идеала изначально была важнейшей для русской литературы и критики. Для Белинского она была неотрывна от проблемы мирозерцания художника, определявшего и идейно-художественно

ственный пафос и существенное содержание творчества. «Искусство без разумного содержания, имеющего исторический смысл, как выражение современного сознания, может удовлетворять разве только записных любителей художественности по старому преданию», — писал великий критик. «Содержание в искусстве не всегда то, что можно с первого взгляда выговорить и определить; оно не есть воззрение или определенный взгляд на жизнь, не начало или система каких-либо верований и убеждений, род философской школы или политической категории; содержание есть нечто высшее, из чего вытекают все верования, убеждения и начала; содержание есть мирозерцание поэта...»

Последовательно отстаивая мысль о работанном мирозерцании, о масштабе личности писателя как условия художественного творчества, Белинский всегда вкладывал в это требование острогражданственный смысл. «Для успеха в поэзии теперь мало одного таланта, — писал он, — нужно еще и развитие в духе времени» (разрядка наша. — Ф. К.); «...каждый век и каждое время питает свою думу о жизни, стремится к своим целям, и источником всех своих побуждений имеет единое начало, — и чем поэт выше, тем более выражается в нем эта дума его времени».

Масштаб личности художника и истинность его творчества определяются, по мысли Белинского, тем, с какой полнотой художник воспринял и выразил дух своего времени в прогрессивных его тенденциях, главную думу времени о жизни народа, судьбах мира и отечества.

Критик не терпел «добродушного невежества», безразличия к социально-философской мысли современности. Писатель — «член общества, гражданин своей земли», «гражданин своего отечества, горячо принимающий к сердцу его интерес», он не может не заботиться о своем мирозерцании, о том, чтобы оно выражало «современное сознание», «современную думу о значении и цели жизни», передовые общественные идеалы современности.

Я привел эти высказывания неистового Виссариона потому, что они крайне важны для современности. Наша обязанность — помнить о главном, без чего нет литературы. Разве и сегодня литература, критика наша в конечном счете не размышление о судьбах отечества, о счастье народа, о путях движения к нему!

В недавнем диалоге о молодых, который мы вели на страницах «Литературной газеты» с В. Шугаевым, я уже обращался к одному важному высказыванию Л. Н. Толстого, приведенному в книге «Вблизи Толстого» А. Б. Гольденвейзером; повторю его и здесь: «Достоевский часто так скверно писал, так слабо и недоделанно с технической стороны, но как у него всегда много было что сказать!.. А техника теперь дошла до удивительного мастерства, — саркастически замечал Л. Н. Толстой. — Какая-нибудь Лухманова или Дмитриева так пишет, что просто удивление; где уж Тургеневу или мне, она нам сорок очков вперед даст!»

При всей ироничности этого пассажа, смысл его серьезен. Толстой имел в виду — и говорил об этом неоднократно, — что мастерство и талант есть только условие творчества; основой же при наличии таланта является личность писателя, масштаб этой личности, напряжение его гражданской совести, глубина и мощь, истинность его гуманистических идей. Чтоб «было что сказать» людям.

И разве среди современных литераторов нам не встречались люди, у которых, говоря словами Белинского, «нет ни взгляда на жизнь, ни кровных убеждений, составляющих верование души и сердца, ни доктрины, ни начал», которые связаны с жизнью народа «только внешними узами, а не духовным родством, основанным на пафосе к идее века и общества»?

Заметили ли вы, как постепенно меняется в окраске так называемая серость в нашей литературе? Об этом напомнила нам недавняя дискуссия «Литература и литературщина» в «Литературной газете», начатая статьей «Дым без огня» В. Гусева. Раньше любимым средством разоблачения серости и посредственности для критики было непосредственное цитирование, наглядно демонстрировавшее дурновкусицу, пошлость и литературную неумелость того или иного автора. Теперь примеры такого рода стали пореже. Серость, посредственность все в большей степени овладевает навыками «мастерства», вернее — мастерovitости, необходимым минимумом чисто внешней писательской культуры, не переставая при этом оставаться собой. Критик метко замечает: «Есть люди, которые все умеют, которые, кажется, с пеленок профессиональны, квалифицированы, которые с молчаливой деловитостью поделили между собой различные ходовые ампулы. Кто «почвенник» и долбит

об «извечных» заветах родной земли; кто весь нацелен на пятисотый век, при этом не умея связать двух слов по реальным проблемам, волнующим нас сегодня; кто бесконечно жонглирует словами «вечность», «красота», «мироздание», «блистательный», «вещный», «лазурный» и соседними с ними; кто работает под задушевность и песенность, будучи при этом весьма трезвым человеком; кто решает насущные производственные задачи, наскоро «опрокинутые» в прямолинейные, как шест, «характеры» очередного «новатора» и очередного «консерватора»; кто сочиняет еще одну слезную бытовую драму с прицелом на роли для любимых публикой актеров... И всё это было бы так-сяк, если бы это было свое, заветное».

Вторичность! — говорит В. Гусев о такой литературе. Вторичность и полная внутренняя пустота, добавим мы от себя.

Впрочем, речь наша не о серости, но о подлинных талантах. Всегда ли, во всем ли современные художники в своих представлениях о времени и мире, в своей социальной философии жизни идут «с веком наравне»? Вот вопрос, который все чаще занимает воображение критики, когда она размышляет о творческой судьбе талантливых молодых — да и немолодых — писателей. Потому что главное, что сегодня сдерживает развитие некоторых из них, — именно невысокий социально-философский уровень мысли, ограниченность нравственно-эстетического идеала, а порой даже отсталость взгляда на мир.

Стала модной позиция, суть которой в ориентации на «внутри», на непосредственные впечатления от жизни, на интуитивистские представления о самой природе художественного творчества. Позиция, которая в конечном счете оправдывает и «добродушное невежество» и нежелание учиться, заниматься самообразованием, постигать мир на уровне современного знания о нем. Позиция, крайне опасная для судеб таланта.

Истинно гражданское мирозерцание сегодня может расти только из научного взгляда на мир и быть связанным с борьбой народа за коммунизм. Оно возникает как следствие активного познания жизни и максимально полного овладения всеми духовными богатствами, которые выработало человечество, как результат настойчивой учебы, самообразования, самовоспитания и самосо-

вершенствования, самостоятельной работы сердца и ума.

Общезвестно: без знания жизни нет литературы. Но не сводим ли мы это требование порой всего только к эмпирике, к знанию деталей и подробностей? Это необходимо, но еще далеко не достаточно для художественного творчества. Знание жизни художником с неизбежностью включает в себя и понимание ее. «Знание жизни» для художника — категория не житейская, но мировоззренческая. Оно результат не только биографического, трудового и душевного опыта, но и плод образованности, работы духа, интеллектуального богатства, цельности и последовательности мировоззрения. Неудачи сегодня чаще всего возникают не просто от литературной неумелости — молодой писатель ныне, как правило, мастеровит! Ограничивает талант чаще всего невысокий уровень социально-философского осмысления жизни, художнической мысли о ней.

Вот почему и к нашему времени, к нашей литературе вполне применимы слова Писарева: «Надо смотреть на жизнь серьезно, надо внимательно вглядываться в физиономию окружающих явлений, надо читать и размышлять не для того, чтобы убивать время, а для того, чтобы выработать себе ясный взгляд на свои отношения к другим людям и на ту неразрывную связь, которая существует между судьбой каждой отдельной личности и общим уровнем человеческого благосостояния. Словом: надо думать».

В этих двух словах выражается самая сущная, самая неотразимая потребность нашего времени и нашего общества».

Писарев призывал людей думать, вырабатывать гражданские убеждения, цельное общественное мирозерцание.

И сегодня цельное мирозерцание, и прежде всего научное мировоззрение, выработанная система общественных убеждений — неперемнное условие правильного подхода к проблеме «человек и его ценности». Литература ищет ее решения, пылливо вглядываясь в прошлое, внимательно исследуя настоящее.

### Вопрошая прошедшее

«Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль; но какое это слово, какая мысль — об этом пока еще рано нам хлопотать, — пи-

сал в 1847 году В. Г. Белинский. — Наши внуки или правнуки узнают это без всяких усилий напряженного разгадывания, потому что это слово, эта мысль будет сказана ими...»

Сегодня невозможно чувство национальной гордости, самая мысль о «национальной жизни», судьбах отечества вне великих свершений советского народа, построившего социализм, поднявшего нашу страну на небывалые в ее истории вершины авторитета, славы и могущества, как невозможно в литературе выразить «сокровенную думу всего общества», «не частное и случайное, но общее и необходимое, которое дает колорит и смысл всей его эпохе» (Белинский), вне этих основных, определяющих социальных констант времени.

Русская литература всегда была не только человековедением, но и обществоведением. Вне чувства гражданской ответственности перед обществом и родной страной, вне патриотической думы о благе отчизны и ее народа, о наиболее прямых и верных путях движения к всеобщему благу, вне современного социального знания и труда, напряженнейшей работы мысли, ума и совести художника никогда не было и не будет подлинного, большого искусства. Этот закон творчества, выведенный еще Белинским, полностью относится и к современной литературе. Успех и ныне сопутствует тем талантам, для которых литература «есть выражение, осуществление в изящных образах современного сознания, современной думы о значении и цели жизни. О путях человечества, о вечных истинах бытия...»

Это не значит, что наше «современное сознание» равнодушно к отечественной истории, национальному прошлому. Напротив — ему-то именно и присущ подлинный историзм! Есть глубокий смысл в том, что наша литература снова и снова «вопрошает и допрашивает прошедшее», чтобы, говоря словами Белинского, оно «объяснило нам наше настоящее и наметнуло нам о нашем будущем», помогало находить ответы на коренные вопросы современности. И прежде всего на вопрос о духовных и нравственных ценностях жизни современного человека. Исторический и философский подход к изображаемой действительности, стремление осмыслить самые сложные проблемы жизни и человеческого духа все в большей степени отличают наиболее заметные произведения нашей отечественной прозы.

Мы имеем в виду не только произведения

исторической темы — скажем, «Нетерпение» Ю. Трифонова или роман-исследование «Личность Достоевского» Б. Бурсова, исторические романы «Господин Великий Новгород» и «Марфа-посадница» Д. Балашова или недооцененные критикой работы знатока отечественного прошлого С. Маркова; мы имеем в виду сами принципы подхода к жизни, утверждающиеся в прозе, в книгах не только о вчерашнем, но и о сегодняшнем дне нашей жизни.

Обратимся ли мы к произведениям Ф. Абрамова, его «Пряслиным», составившим трилогию о жизни северной, архангельской деревни, спектаклю «Деревянные кони», вошедшему в себя повести «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони», с таким блеском поставленному в Театре на Таганке; или к рассказам и повестям В. Белова — «Привычное дело», «Плотничьи рассказы», «За тремя волоками»; к повестям и рассказам В. Астафьева — «Последний поклон», «Пастух и пастушка», «Ода русскому огороду»; или Е. Носова — «Объездчик», «Шопен, соната номер два», «Шуба» и др.; к «Живому» Б. Можая или «Последнему сроку» и «Живи и помни...» В. Распутина — в каждом из этих произведений мы ощутим, почувствуем опору на прочный, незыблемый фундамент народной жизни, осмысляемой писателями исторически. Это та самая, говоря щедринским языком, «чудище рыба-кит», на которой спокон веку стоит русская земля, та «главная устроительная сила истории», в которой, писал Салтыков-Щедрин, «заключается начало и конец всякой индивидуальной деятельности». Взгляд на народ как воплотителя идеи демократизма, свойственный современной нашей прозе, в том числе и прозе, посвященной деревне, коренным образом отрицает «веховство», он всегда обращен к великим демократическим традициям русской литературы.

Проза, проникнутая уважением к духовным и нравственным ценностям народной жизни, помогает и критике вырабатывать правильную методологию подхода к нашему историческому прошлому. Критика должна видеть две крайности, две опасности: опасность негативизма по отношению к отечественному прошлому, а с другой стороны — опасность внесоциального, внеклассового подхода к истории родной страны, что ведет к идеализации прошлого, антиисторизму в подходе к нему.

Иногда прозу о деревне упрекают в идеализации патриархальности. Основания для

таких упреков есть там, где невысок уровень осмысления социальных процессов действительности.

К счастью, лучшие произведения такой прозы принадлежат подлинному реализму, и мысль их не в утверждении и защите старины ради старины, но в убеждении, что духовные ценности современного советского человека берут начало в народной нравственности.

В полемике с идеализацией патриархальных начал русской деревни — полемике, методологически важной для критики и литературы, — нельзя вместе с водой выплескивать и ребенка, забывать об этических ценностях народного характера, народной трудовой нравственности, такого глубинного истока человеческой одухотворенности и совести, как любовь к родине. Здесь особенно важна ясность и точность позиций, исключающая крайности, полное понимание того, что народная, трудовая нравственность никак не сводится к патриархальному сознанию. Наше отношение к ценностям народного духа, к богатствам трудовой народной нравственности и определяется тем, что, как говорится в Программе КПСС, «коммунистическая мораль включает основные общечеловеческие моральные нормы, которые выработаны народными массами на протяжении тысячелетий в борьбе с социальным гнетом и нравственными пороками».

Наследуя традиции великой русской литературы, современная советская проза в своих духовно-нравственных исканиях опирается на те чистые начала народной нравственности, которые формировались трудом человека и которые противостояли духу собственности, социального эгоизма, всему тому, что было следствием социальных условий, неравноправных общественных отношений. Она доказывает, что наша новая, социалистическая нравственность уходит корнями в то лучшее, что было накоплено трудящимся народом на протяжении тысячелетий. Наша литература настойчиво утверждает, что прочность духовных основ советского человека определяется тем, что он унаследовал могучую нравственную традицию, вырос на почве богатейшей народной культуры, формировавшейся трудом, борьбой, преобразованием земли. Стойкость советского характера, проявившего себя в годы войны, — в органической слитности социалистической идеи с лучшими вековыми традициями

народной нравственности. Именно в таком советском, народном характере (вспомним Пряслиных из трилогии Ф. Абрамова, бабушку Катерину Петровну и ее детей из «Последнего поклона» В. Астафьева) и олицетворяется в книгах о нашей деревне родина — вчерашняя, сегодняшняя и завтрашняя Россия.

Забота о гуманистических ценностях, их наследование и развитие революцией и социализмом — одна из главных забот советской литературы. В подтверждение тому сошлемся хотя бы на творческий опыт Леонида Леонова, который с самых первых шагов своих в литературе мучался этим комплексом вопросов.

«Вберет ли в себя этот новый завет также и «неосуществленные скорби и горести дедов наших», ту «память рода человеческого о былом», в которой и «плач от развалин знаменитейших храмов», и «христианского мучения кровинка и пепла щепотка из еретицкого костра»? Вот вопрос, который ставит Леонов в «Воре», пишет в книге «Проблемы века — проблемы художника» Е. Сурков. Вот побудительный мотив, заставляющий Фирсова сказать Дмитрию Векшину при первом же свидании с ним: «В судьбе вашей заключена для меня весьма острая и злободневная темка: овладения культурой... без чего весьма многое может у нас обернуться в высшей степени наоборот».

Уже тогда, отмечает Е. Сурков, волновал Л. Леонова вопрос: в каком отношении находится победившая революция к старым концепциям гуманизма? «Означает ли она только разрыв с ними, как в ту пору казалось разного рода «левым радикалам», мелкобуржуазным упростиелям, вульгарным социологам, или она и есть живое осуществление и революционно действенное развитие тех лучших нравственных, истинно гуманистических ценностей, какие были накоплены человечеством в прошлом. Овладение культурой, о котором говорит Фирсов Векшину, расшифровывается поэтому в романе как овладение нравственными ценностями, составляющими неразменный капитал человечества, как необходимость проверки свершающегося еще и при свете вечных гуманистических идеалов».

Вне этого мировоззренческого, методологического ключа нам не понять, не объяснить такое значительное явление нашей духовной культуры, как Василий Шукшин. То общественное признание, которое столь

сильно проявилось после безвременной и потому особенно трагической смерти писателя, как бы высветило истинный масштаб и значение его разностороннего, сильного дарования. В уста одному из своих героев Василий Шукшин вложил такие слова: «Есенин мало прожил. Ровно — с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает».

О чем же такая короткая и такая щемящая песня Василия Шукшина, актера, режиссера, но, конечно же, прежде всего писателя? Помнится, после выхода на экраны фильма «Калина красная» и присуждения ему премии Международного кинофестиваля некоторые зарубежные кинокритики недоумевали: фильм, утверждали они, проповедующий христианские, православные начала крестьянской души, не только вышел на экраны в этом таинственном СССР, но и получил официальную поддержку?!

Какое поразительное непонимание как природы дарования Василия Шукшина, так и природы русского крестьянина! Еще в 1847 году Белинский писал по схожему поводу Гоголю: «По-вашему, русский народ самый религиозный в мире: ложь!.. Приглядитесь попристальнее, и вы увидите, что это по натуре глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности... мистическая экзальтация не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме, и вот в этом-то, может быть, огромность исторических судеб его в будущем».

Есть у Шукшина рассказ «Верую!». В рассказе этом звучит коренная, первостепенная для Шукшина тревожная, мучительная тема: «Душа болит...» Она, эта тема, слышна и в рассказе «Мастер», где «непревзойденный столляр» и неудачник Семка Рысь плал потому, что для него «так — хоть какой-то смысл есть», и стремился к красоте, потому что «так просила душа»; и в рассказе «Билетик на второй сеанс», где кладовщик Тимофей Худяков юродствует потому, что «жалко себя, жалко свою прожитую (без смысла прожитую.—Ф. К.) жизнь. Не вышло жизни»; и в рассказе «Бессовестные», где старики пенсионеры Глухов и Малышева спорят все о том же: «Прожить можно и сто лет... А смысл-то был? Слоны по двести лет живут, а какой смысл?» И разве не над высочайшими воп-

росами мироздания бьется совхозный механик Роман Звягин в рассказе «Забуксовал», обнаружив вдруг, что в знаменитой гоголевской тройке («Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься?») едет... Чичиков! Таковы они, нелепые, смешные, полубразованные, так сказать, дети полукультуры, но от этого не менее даровитые и неожиданные герои Шукшина. Писатель часто до жестокости правдив в жизнеописании этих открываемых им современных, вполне типических характеров. Характеров, принадлежащих времени, когда, как говорит один из его героев, «все устремились»... Характеров, выразивших целую эпоху переселения деревни в город, постепенного, но неуклонного приобщения ее к городской культуре.

Чего-чего, а уж ни благолепия, ни идилличности не встретишь в творчестве Шукшина. И как тут не согласиться с критиками И. Соловьевой и В. Шитовой: «Если бы по коренной своей природе Василий Шукшин не был так внетенденциозен, не был бы так сердечно и юмористически объективен, можно было бы прочесть его «Характеры» как выступление полемическое, как «свое слово» в диспуте о типологии и судьбе народного характера. Его рассказы антиидилличны, они могут походить раздражить и обидеть тех, кто верует в сохранность золотого фонда психологических генотипов в дальних бревенчатых заповедниках. Но Шукшин не полемизирует. Он просто знает, что никаких заповедников нет, что течет жизнь, которой принадлежат все» («Свои люди — сочтемся», «Новый мир», 1974, № 3).

Но сказать о Шукшине, что он, «свой среди своих», отнюдь «никого не идеализирует», еще не значит сказать все об этом своеобразном, ни на кого не похожем художнике. Не идеализирует — да. Видит все, как говорится, теневые стороны народной жизни и бесстрашно их рисует. Но не в этом суть нравственно-эстетического идеала художника, его «современной думы» о мире, о народе, о родной стране. Она, эта дума, не всегда легко уловима, но по-шукшински щедрa в его творчестве, и это не просто дума, но кровное убеждение, цельное и высокое мирозерцание, сообщающее творчеству Шукшина живую страсть, пафос, в котором проявлялась вся полнота и целостность его нравственного бытия, «ту субъективность, которая не допускает его с апатическим равнодушием быть чуждым

миру, им рисуемому, но заставляет его проходить через свою душу живую явления внешнего мира, а через то и в них вдыхать душу живую...» (Белинский).

Мы прикоснемся к этой «субъективности» Шукшина в каждом его творении, но далеко не каждый его рассказ или киноновелла дают возможность понять то сокровенное, заветное, во имя чего художник жил и творил. Таким сокровенным и заветным были для него коренные ценности народной нравственности в современных формах ее проявления, так же как для большинства его героев таким сокровенным и заветным были поиски высокого смысла существования, осмысленности бытия.

В рассказе «Верую» герой, колхозник Максим Яриков, у которого «болит душа», идет к приехавшему в деревню на лечение попу, чтобы узнать — «у верующих душа болит или нет?». Максим узнает за банкой спирта, что «душа болит» и у попа, потому что «бога нет». И вместе с тем, утверждает поп, «бог — есть. Имя ему — Жизнь. В этого бога я верую. Это — суровый, могучий бог... Поэтому, в соответствии с этим моим богом, я говорю: душа болит? Хорошо. Хорошо! Ты хоть зашевелился, ядрена маты! А то бы тебя с печки не стащить с равновесием-то душевным... Ты пришел узнать: во что верить? Ты правильно догадался: у верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в Жизнь».

Это один из немногих рассказов Шукшина, где он высказывает важные, исповедальные для себя мысли «своим голосом», потому что, конечно же, за размышлениями этого по-шукшински парадоксального и комического пьяного попа слышатся размышления самого Шукшина. Финал рассказа чисто шукшинский:

«Поп легко одной рукой поднял за шкирку Максима, поставил рядом с собой.

— Повторяй за мной: верую!

— Верую! — сказал Максим.

— Громче! Торжественно: верую! Вместе: ве-ру-ю-у!

— Ве-ру-ю-у! — заблажили вместе.

Дальше поп один привычной скороговоркой зачастил:

— В авиацию, в химизацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у! В космос и невесомость — ибо это объективно-о! Вместе! За мной!..

...Когда Илюха Лапшин продрал глаза, он увидел: громадина-поп бросал с маху

вприсядку могучее тело свое и орал, хлопывая себя по бокам и по груди:

— Эх, верую, верую...»

Но иногда Шукшин прибегал к испытанному приему лирического, публицистического отступления, и тогда мы, читатели, напрямую соприкасались с тревожной работой его мысли и души. Именно так заканчивается у Шукшина «Дядя Ермолай», автобиографический рассказ о деревенском бригадире, в далеком детстве поразившем его обостренным правдолюбием, мучительным стремлением к честности: «Стою над могилой, думаю. И дума моя о нем — простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или — не было никакого смысла, а была одна работа, работа... Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей.. Войсе не лодырей, нет; но... свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю иначе! Но только когда смотрю на их холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее?»

Вот какие вопросы мучили Шукшина. Приехав в столицу из алтайской деревни, он с неутомимой жадностью впитывал в себя воздух культуры и современного знания, чтобы в просвещении стать с веком наравне, он смог подняться до самых высот культуры, сохранив в неприкосновенности память, верность родной алтайской земле. Это-то сочетание и позволило ему избежать односторонности и узости взгляда на жизнь, тех затеняющих истину шор, которые мешают видеть мир во всей его целостности и объеме, многоцветье и глубине. Культура и знание, то есть повседневный и неустанный труд ума и души, помогли раскрыться в полную мощь его природному таланту.

Шукшин не спел до конца свою песню и, хотя очень многое успел сказать, недосказал многого.

Последний его фильм «Калина красная» редкостным сплавом актерского, режиссерского и писательского дарования, быть может, больше сказал нам о Шукшине, чем все другое, им до того созданное.

Бунт Егора Прокудина против самого себя, против тягостных обстоятельств своей непутевой жизни, против «блатного» мира, его сердечное влечение к Любе (образ,

столь глубоко и точно воссозданный в кино Л. Федосеевой) — это бунт против бессмысленности прежнего существования, тяга к подлинной человечности.

В этой же связи мне хочется поговорить еще об одном новом произведении нашей литературы — романе Григория Коновалова «Предел», художника крупного и самобытного, опубликованном в минувшем году журналом «Москва».

Роману «Предел» была посвящена короткая дискуссия в журнале «Литературное обозрение», где шла речь и о его художественном своеобразии и о его сильных и слабых сторонах.

У меня более локальная задача: всмотреться в роман «Предел» под углом зрения тех идейно-нравственных исканий, которые идут в советской прозе.

Приведу оценку романа, принадлежащую критику В. Лукьянину: «Давняя и, видимо, очень дорогая писателю мысль о преемственности народной жизни, о решающем значении исторической памяти народа («Народ, теряющий историческую память, перестает быть великим», — писал в одной из своих статей Г. Коновалов) стала смысловым стержнем романа. Именно неразрывная связь с родной землей, ее заботами и судьбами, с духовным наследием трудившихся на ней поколений отличает героев, которым отдает свои симпатии автор, — отца и сына Сауровых, Филиппа Сынькова... Все лучшее, что есть в Иване и Ольге, тоже дано этой связью. Возвратившись из дальних скитаний в родные края, к истокам, обретает достоинство и нравственную силу Терентий Толмачев, и брат его Андриян, ощутив близость неминуемого конца, устремился к родному пределу...»

Историческая память народа, как мы уже убедились, очень важна в общей сумме духовных ценностей нашего времени. Времени, которое, по справедливому мнению Г. Коновалова, далеко ушло от тех трудных лет, когда «добродетели работающих измерялись процентами выполнения плана». Сегодня даже Елисей Кулаткин, поглощающий в романе суету и тщету бездуховности, начинает подумывать о совести («Что это? С чем едят?», о душе. «Только стыдишься ее, — говорит ему Филипп Сыньков, — скотиной прикидываешься или топором забуренным. А ведь побаиваешься вечной-то пустоты? Улетишь, и дырка будет зиять?»)

Об этом роман — о человеческой душе, о духовном обеспечении человеческой дея-

тельности. И историческая память в романе не закрытая в себе ценность, но важный залог одухотворенности человеческого существования.

Роман «Предел» современен и важен постановкой вопроса о духовности. Читая его, мы как бы физически ощущаем всю напряженность, непривычность и новизну для писателя этой его сегодняшней «мысли о мире», к постижению которой он идет порой ощупью и которая развивается подчас в неразрешимых для писателя противоречиях. Критика верно уловила четкую, несколько даже риторичную антитезу в романе между духовностью и бездуховностью (Толмачевы, Сыньковы и Сауровы, с одной стороны, и Кулаткины, это суетное воплощение зла, вместе с «исчадием ада» Узюкиной — с другой). Но критика прошла мимо того, что в «Пределе» дано два различных решения поставленной проблемы, две взаимоисключающие концепции духовности. А в соответствии с этим и два круга, два сонма характеров, как бы сосуществующих один с другим.

«Что составляет в человеке его высшую, его благороднейшую действительность? — спрашивал Белинский. И отвечал: — Конечно, то, что мы называем его духовностью, то есть чувство, разум, воля, в которых выражается его вечная, непреходящая, необходимая сущность». Осознание человеком своей необходимой человеческой сущности, своего предназначения в мире может быть различным. Духовные сферы в романе как раз и разграничены этим неодинаковым пониманием духовности.

Мы встречаемся в романе с Андрияном Толмачевым, который продолжает дело отца, Ерофея Толмачева, основателя советской власти в округе. Характеры эти близки внутренне Крупновым, героям романа Г. Коновалова «Истоки». Ерофей Толмачев «ставил правду на ноги» в родном краю. Младший сын его Андриян вернулся домой после гражданской войны «прокаленный туркестанскими знойными ветрами». «Машинным маслом пахла гимнастерка, кожаная тужурка. Тяжел был сундучок со слесарными инструментами, раздулся вецевой мешок от книг». Душой не принял он страсти к стяжательству, развившейся у старшего брата Терентия после гражданской. «Все-таки не для того воевал он, чтобы красное знамя держать над хлевами брата, чтобы село плодило богатых и бедных, подавленных и нахрапистых». Ушел Андриян



от брата в город, получил образование, вернулся на родину, поднимал индустрию в родном краю. Директор огромного металлургического завода, инженер, строитель, создатель, он в деле, в деянии во имя людей, в продолжении заветов отца обрел высший смысл жизни. И предъявил брату Терентию суровый гуманистический нравственный счет: «Не вяжутся у тебя слова с делами: человек должен жить в миру и с миром, говоришь ты, а сам вложил в свой хомут, жену, детей захомутал, рвешься изо всех сил и жил... повыше всех норвишь стать. И бога своего придумал наособицу, неспроста, а чтобы с ним как с работником обращаться, мол, ты хоть и бог, а я хитрее, тебя... сам создал».

Терентий Толмачев, которого критик В. Лукьянин, поверяя характеры отношением к «родному пределу», как вы помните, уравнивал с Андрияном Толмачевым, на самом-то деле антипод младшему брату. Пройдя после раскулачивания, как говорится, огонь, воды и медные трубы, он из собственника превратился в богоискателя, укрепился в своей придуманной в молодости вере — она-то и сообщает, по своеобразной логике автора, осмысленность его бытию. Именно этот характер находится как бы в центре духовной проблематики романа: к Терентию тянутся и Агния, несчастливая жена Мефодия Кулаткина, которая обрела счастье и душевный покой в религии, и племянница Терентия странница Палага, также нашедшая себя в обращении к богу, и сын Агнии Иван Сынков — характер очень важный в идейной структуре романа. Все это люди, лишённые земного, житейского счастья, но зато высоко одухотворенные, убеждает нас автор. И духовность они обрели на путях, качественно отличных от пути Ерофея и Андрияна Толмачевых.

По-своему, вроде бы отлично от Терентия и Агнии, ищет осмысленность существования Иван Сынков. «Простота его хуже воровства, откровенность на грани малолетнего при какой-то странной загадочности душевной», — сообщает нам автор. Кончил техникум, «экзамены по машиноведению сдал с какой-то четкой злостью, мол, знаю механизмы, но не удивляют они меня. Завел трактор, довольно лихо взрыхлил плугом первые борозды, а потом, глуша мотор, откидываясь назад, будто вожжи натягивая, заорал «тиру». Потом бросил трактор («железную дуру»), ушел в пастухи — «не просто, как иные, а со значением, вроде

укорял кого-то, и одновременно чаял услышать что-то от звездного безлюдья в степи».

В. Чалмаев («Литературное обозрение») увидел в этом характере противопоставление «природного и машинного». В. Лукьянин возражал ему: «Соблазнительная, повторяю, версия, к тому же тренированное воображение сразу начинает подкашивать многочисленные литературные параллели, рассуждение надежно утверждается на накатанной колее... Но беда в том, что Иван Сынков, который действительно в начале романа трактор бросил... потом все-таки возвратился к машине, сел на экскаватор, и это воспринимается при чтении не как отрицание его от прежних идеалов, а как признак достижения им духовной зрелости».

Все правильно: Иван Сынков и в самом деле достигает «духовной зрелости», но не ценой отрицания своих «прежних идеалов» и «философских соображений», а скорее — в развитие их. Что это за «соображения»? Читаем в романе: «Чает он найти какое-то слово, не то какой-то свет увидеть меж двух зорь. Ради того, говорит, готов идти хоть за смертью... Вспоминает будущее... Говорит, что душа его посылает лучи в далекое будущее, они отражаются и возвращаются к нему с образами того далекого...»

В этой наивной метафизической мешанине, в этих мечтаниях о «неведомых пределах», о каких-то «высотах души» много самых разных влияний — от фильма «Воспоминание о будущем» до наивного руссоизма и пантеизма. Все это можно было бы объяснить молодостью героя, но какова же здесь позиция автора? Какое из двух возможных решений проблемы духовных ценностей он сам считает истинным? Ответа на этот вопрос в романе нет. Терентий и Андриян Толмачевы, начавшие с непримиримого спора и борьбы, приходят чуть ли не к полному примирению, в чем я вижу насилие над правдой жизни.

Достоверность же характеров Терентия Толмачева и Ивана Сынова в том, что они выражают реальные черты современного богоискательства. Смысл его как раз в этическом обосновании религии и, с другой стороны, в религиозном обосновании нравственности. Но это иллюзия духовности.

Подлинная духовность, неподдельная одухотворенность отличают, конечно же, Ерофея и Андрияна Толмачевых. Она — в заботе о людях, о судьбе народа, в гражданском взгляде на жизнь. «Перед тобой, — го-

ворит Андриян брату,— земля бескрайняя, народ молодой и смекалистый, а пашут мелко, урожай сиротские, заводы устарели, да и тех маловато. Работа на земле и на заводах тяжелая, а жизнь небогатая. Со всех сторон недружелюбные взгляды... Что будешь делать? Какой хочешь видеть свою Державу? Наверно, образованной, сильной, умной».

Вот где должно бы пролегать, где пролегал в реальной жизни, направление истинного поиска духовности!

### Всматриваясь в настоящее

Характеры Ерофея и Андрияна Толмачевых в романе «Предел» принципиально важны тем, что в них живет новая человеческая духовность, народная по своей основе, которую вырабатывали в людях революция и социализм. Этим новым было стремление человека «дышать одной грудью с народом» и заглядывать «в завтрашний день», думать не только о себе, о своей семье, о близких, но и о «дальних», подниматься в мыслях «на самый верх Державы» и думать о том, какой ей быть... Этим новым было расширение и обогащение гражданских, общественных интересов личности, активизация социальных ее забот, приобщение человека к сознательному творчеству истории, осмысленному выбору своего места в ней.

Новое качество человеческой одухотворенности имело истоком несравнимое с прежней жизнью богатство действительных отношений, вооружавшее человека высокими социальными нравственными целями.

Неверно думать, будто социальное, гражданское решение проблемы ценностей не имело традиций в нашем отечественном прошлом. Напротив, именно такое понимание ценностей в противовес религиозному обоснованию нравственности отстаивала демократическая мысль, оно лежало в основе этической концепции русской демократической интеллигенции.

Вспомним Белинского: «Живой человек носит в своем духе, в своем сердце, в своей крови жизнь общества: он болеет его недугами, мучится его страданиями, цветет его здоровьем, блаженствует его счастьем, вне своих собственных, своих личных обстоятельств... Любить свою родину — значит пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому».

Белинский, революционные демократы

мечтали о том, чтобы поднять крестьянство, народ до такого уровня понимания патриотизма и любви к родине, до осознания своих кровных нужд и чаяний; они стремились поднять, расширить горизонты социального сознания, социальной активности тружеников.

Значение современной историко-революционной прозы для решения проблемы ценностей мне видится в том, что в таких произведениях, как «Соленая Падь» С. Залыгина, «Открытие мира» В. Смирнова, «Сибирь» Г. Маркова, «Кровь и пот» А. Нурпеисова, исследуется именно этот процесс духовного пробуждения крестьянства, постепенного приобщения его к историческому творчеству. В них показывается, как зарождается в народе общественное, гражданское самосознание, та активная, любовь к людям, которая и составляет фундамент социалистических духовных и нравственных ценностей.

В выступлении на XXII съезде КПСС А. Т. Твардовский, вспоминая одно из высказываний Н. К. Крупской, сказал:

«Как бы отвечая на вопрос о том, что побудило Владимира Ильича вступить на путь революционной борьбы, она просто говорит: он очень любил рабочих людей. Действительно, только обладая чувством большой человеческой любви к людям труда, можно было постигнуть всю меру их страданий и унижений под гнетом эксплуататоров и не ограничиться сочувствием, как это делали многие почтенные либеральные интеллигентные люди, а обратить чувство в действие, избрать тернистый путь профессионального революционера. Любовь к людям! Не та христианская, евангелическая любовь, которая призывает людей к смирению и послушанию, а та коммунистическая любовь, которая пробуждает в людях чувство человеческого достоинства, попранного угнетателями, веру в свои силы и готовность на борьбу во имя справедливости».

Такая любовь к людям — основа ленинской, коммунистической нравственности. Это нравственность не в бытовом ее понимании, а в высшем, духовном, гражданском смысле, в том именно смысле, в каком всегда понимали нравственность русские демократы, как она формировалась в душах интеллигенции русским освободительным движением.

Современная советская проза в лучших своих образцах опирается на гуманистические, духовные и нравственные ценности

нашей революции, которые нашли свое воплощение в облике героев прошлых лет, и в первую очередь в облике Владимира Ильича Ленина. Это воистину героические характеры!

Отечественная история нам говорит: не церковники, не духовенство, не веховцы, но русские революционеры, атеисты и безбожники, отдававшие свои жизни ради торжества человеческого счастья и справедливости, составляют героический пантеон, который вобрал в себя высочайшие и благороднейшие явления человеческого духа.

Речь идет не только о декабристах или шестидесятниках, народниках и народо-вольцах. Характеры, запечатленные в широко известных произведениях советской литературы — «Чапаеве» Фурманова и «Разгрома» Фадеева, «Как закалялась сталь» Н. Островского и «Поднятой целине» Шолохова, — с неопровержимостью свидетельствуют, что Октябрьскую революцию совершили люди высокой одухотворенности.

В пламени революции, в боях гражданской войны, в труде пятилеток, в схватке с фашизмом ковались характеры новых людей, революционеров, подвижников. В открытом классовом конфликте с миром эксплуатации, с варварством фашизма открывался людям во всей своей одухотворенности этот человеческий тип, аккумулировавший в себе идейные и нравственные ценности социализма, выражавший самые прогрессивные, передовые тенденции времени, — именно поэтому он стал героем нашей литературы.

Перед критикой стоит ответственная задача: в свете новых потребностей времени, под углом зрения важнейшего, на наш взгляд, мировоззренческого спора современности, спора о духовных и нравственных ценностях, осмыслить, понять и открыть читателю самую суть, духовную основу этих героических характеров. Ибо здесь наш ответ на один из важнейших вопросов эпохи. И кажется, что мы кресты, хотя умудряемся выглядеть подчас как золушки.

В современной советской прозе создан целый ряд впечатляющих характеров, которые помогают нам воочию ощутить первозаданную нравственную красоту идеалов революции, их гуманность, одухотворенность, подлинную народность. Они очень разные — скажем, крестьянский командир Ефрем Мещеряков в «Соленой Пади» С. Залыгина и малограмотный киргизский учитель Дюйшен в повести «Первый учитель»

Ч. Айтматова, нестягаемый коммунист Сотников в одноименной повести В. Быкова и неистовый, непримиримый Кистерев в повести «Три мешка сорной пшеницы» В. Тендрякова. Основа их духовной высоты одна: и дейность. Вера в социальные идеалы революции, их гуманизм и человечность.

Вглядимся пристальней в один из таких характеров — характер председателя сельсовета коммуниста Конкина в романе «Память земли» В. Фоменко. Характер этот привлекателен как раз высокой идейностью и правдоискательством, подвижничеством в борьбе за правду, за торжество убеждений.

Председатель сельсовета Конкин — невелика власть на хуторе Кореновском. Однако кореновский сельсовет стал самым людным местом на хуторе, а сам Конкин — авторитетнейшим руководителем, действительным представителем власти в тех местах. Случилось это по той несложной причине, что Совет под руководством Конкина стал действительно Советом, то есть местом, куда люди шли советоваться о государственных и личных делах. Было в Конкине «что-то от человека, который в девятнадцатом году — позавчерашний батрак, вчерашний красногвардеец — вдруг получил в свои руки державу и не переставал по-ребячьи радоваться: «Как же это здорово, когда труженики сами решают свою судьбу!»

Характер у него был не из легких: азартный, резкий, угловатый, неуживчивый. Он из тех, чья неуступчивая прямота приносит немало хлопот и огорчений, но Конкин притягивал к себе, заставлял уважать себя потому, что эта его колючесть, неуживчивость была следствием все того же — непримиримой, глубокой коммунистической убежденности и неиссякаемой любви к людям.

В. Фоменко показывает нам казачий хутор Кореновский в труднейший момент его многовековой истории: задумано строительство гигантского водохранилища и хутор должны сносить. Получен приказ о переселении жителей в дальние степные районы. Ситуация драматичная. Вот он — конфликт общественного и личного в крайне резком своем проявлении: колхозникам предложено отказаться от самого дорогого, близкого, родного ради интересов общества, ради того, чтобы страна имела дополнительную электроэнергию, массивы орошаемых земель. Выгоды, которые они получают от переселения, представлялись им неясными и отдаленными, жертвы же были реальными и вполне ощутимыми. Все это раскрыло душу

каждого до дна. За несколько дней жителей Кореновского словно подменили. Одни стали крепче, будто вчерашнее железо зазвенело сталью от белого огня и воды; другие сникли; третьи, как ненужную одежку, сбросили годами накопленную «сознательность».

В. Фоменко показывает, что переселение явилось испытанием не только для жителей хутора Кореновского, но и для руководителей, которые были призваны в это трудное время организовать и повести за собой народ, прежде всего для молодого секретаря райкома партии Голикова и председателя райисполкома Орлова.

Председатель райисполкома Орлов — антитеза Конкину. Хотя эти два человека почти не сталкиваются в романе, они ведут между собой безмолвный, но принципиальный, жестокий спор.

По деловой хватке, по складу воли Орлов был работником широких, по крайней мере областных, масштабов и попал в район на тесную, незначительную для него должность случайно, споткнувшись на пустяке. Смысл его жизни теперь заключается в том, чтобы, показав себя на этой низовой работе, вновь вернуться в область, получить «соответствующую» работу. Сущностью Орлова как руководителя района было глубокое и полное равнодушие, при безукоризненной правильности его общих деклараций и слов, к нуждам и запросам, к жизни тех людей, которыми он призван был руководить. Чем пристальнее всматривался секретарь райкома Голиков в Орлова, тем больше понимал: главным стимулом деятельности Орлова было стремление к тому, чтобы район числился «на хорошем счету».

Что стоит за конфликтом, отделившим Орлова от Конкина и Голикова, да и от всего коллектива колхоза? Неправильные методы руководства председателя райисполкома? А что за ними? В корне неверное представление о путях созидания нового общества. Орлов мог согласиться с тем, что колхозники — хозяева своей земли; но хозяев, на его взгляд, «будь они в заводских комбинезонах или в деревенских ватниках, надо вести!..». Он признавал боевое звучание слов о народе — хозяине своей судьбы в старых комсомольских песнях и в книгах, считал верным, что за такие книги дают премии, но в служебной практике идеи этих книг не применял, считая, что «излишняя демократия вредит практике, как вредит излишний сахар организму человека».

Голиков и Конкин убеждены, что люди в заводских комбинезонах и деревенских ватниках должны быть — и ощущать себя — действительными, подлинными хозяевами жизни, что нельзя «не считаться с их активностью, их творчеством, идущим от пупка, от земли», «с кровью их сердца». Более того, только этим путем можно поднять уровень их сознания, повысить их «духовный потенциал».

Роман Владимира Фоменко — о том, как вырабатывается в душах колхозников это «хозяйское» чувство ответственности за дела колхоза, как сообща, коллективно решают они свою судьбу, как уходит из людских душ самое страшное — равнодушие.

Писатель чутко исследует, как прорастают в этом нравственном климате, сменившем атмосферу, которую в течение долгих лет насаждал в районе Орлов, ростки нового, гражданского отношения людей к коллективному труду, своему коллективному хозяйству.

Удивительно ли, что требование Орлова гнать переселенцев на новые земли, игнорируя их коллективное решение, «в шею. Всех! Вместе с их верой...» представляется Голикову и Конкину «хуже убийства». Потому что «убитый фашистской пулей, павший за свою Родину, — объясняет Голиков Орлову, — мертв, окружен славой. А выгнанный по вашей, Борис Никитич, методе, взащей — он душевно опроституирован. Нет, он не станет врагом, он будет завтра же голосовать за любое решение, будет говорить с трибуны правильные слова, но он — уже порченый! — будет делать это неискренне, жить со вторым дном».

В этих размышлениях Голикова, как и в комсомольском задоре Конкина, сохранившего себя таким, каким его сформировало время революции и гражданской войны, в их понимании «духовного потенциала» трудящегося человека — ленинская основа.

Роман «Память земли» мне представляется недооцененным в критике, принципиальным явлением в нашей прозе потому, что в нем с полной определенностью была выражена крайне важная для современного решения проблемы человека и его ценностей мысль о самосознании и самостоятельности тружеников, о чувстве хозяина жизни, хозяина земли как главном условии роста «духовного потенциала», одухотворенности.

Собственно, это та мысль, которую развивал в споре с богоискателем Рыльнико-

вым в повести В. Тендрякова «Апостольская командировка» председатель красноглинского колхоза Густерин. Догматам веры он противопоставлял убежденность красноглинцев в своем праве самостоятельно решать все колхозные дела: «Не арифметически, не разложить по карманам, а с прицелом: что же нам завтра делать, как завтра жить? Так сказать, в будущее проникнуть, предугадать его». Иначе красноглинцы, объясняет Густерин, «людьми себя не чувствуют, потому что красноглинца много лет учили: не лезь с суконным рылом в калашный ряд...». А в результате у людей пропадало желание думать об артельном, о «мирском»: красноглинец «переставал возражать, заодно соображать и чем-либо интересоваться». Он утрачивал чувство хозяина жизни, а вместе с ним и высший смысл существования. И чтобы пробудить в красноглинце личность, человека в высшем значении этого слова, сделать осмысленным его труд, а следовательно, и существование, необходимо, утверждает В. Тендряков, чтобы он почувствовал право и ответственность за что-то большее, чем он сам, чтобы он ощутил право думать, решать, заботиться — что же нам (колхозу, совхозу, предприятию, обществу в целом) завтра делать, как завтра жить. Заветная идея В. Тендрякова, которую он так или иначе проводит последовательно из произведения в произведение, — именно чувство хозяина родного колхоза, родной земли, именно развитое гражданское, общественное самосознание и есть то принципиально новое, что несет с собой в качестве фундамента духовных ценностей человеческой личности социализм!

В. Тендряков неоднократно повторяет в своих произведениях, что такого рода посягательства на социалистическое чувство хозяина, на гражданские права личности всегда приносят не только хозяйственный, но и серьезнейший нравственный ущерб. Об этом, в частности, его сравнительно давние повести «Ненастье», «Тугой узел», «Кончина». Об этом же в значительной степени новейшие произведения писателя — очерк «Новый час древнего Самарканда», повесть «Три мешка сорной пшеницы».

Повесть и очерк по тональности стоят словно бы на разных полюсах, с предельной резкостью обозначая ту историческую черту, от которой пришлось двигаться и развиваться нашей деревне после войны, и ту экономическую и нравственную верши-

ну, которая взята передовыми земледельцами сейчас.

«Три мешка сорной пшеницы» — повесть трагедийная, близкая по духу романам о войне и послевоенных испытаниях в деревне, известной трилогии Ф. Абрамова, повести «Последний поклон» В. Астафьева. Это повесть о подвиге колхозного крестьянства в лютую пору войны, она исполнена глубочайшего уважения, боли и сочувствия к людям, выдержавшим испытание голодом, холодом и непосильным трудом и при этом сохранившим, как говорит в повести председатель сельсовета Кистерев, совесть живой.

Писатель показывает, что и в эту трудную пору люди, в первую очередь коммунисты — председатель сельсовета Кистерев, секретарь райкома Бахтияров, вернувшийся по ранению с фронта, совсем юный Тулупов, — вели споры о жизни, о совести, о принципах, на которых строить грядущую послевоенную жизнь, не принимая той выморочной скудости жизненных идеалов, которую пытался навязать им уполномоченный по хлебозаготовкам Божеумов.

Конфликт с закоренелым догматиком Божеумовым выписан в повести с большой художественной силой. За ним — все та же проблема, давно и остро волнующая В. Тендрякова: преодоление в жизни всескреп и пут, мешавших и мешающих проявлению и развитию в людях подлинно социалистических, высоконравственных начал. Начал гражданственности.

Пути и методы пробуждения гражданственности, воспитание в людях чувства социальной ответственности, высоко развитого общественного самосознания — тема, к которой писатель обращается не только в прозе, но и в публицистике, благо здесь простор для прямых размышлений и выводов. Эта же тема в центре его очерка «Новый час древнего Самарканда», опубликованного в «Дружбе народов». В. Тендряков поехал в древний Самарканд не ради экзотики, но ради того, чтобы на передовом, современном опыте организации труда хлопкоробов «еще раз попристальней взглядеться во взаимосвязь — человек и труд». И хоть разговоры там он ведет в первую очередь о хлопке, но «хлопок хлопком, а в голову лезут извечные вопросы человеческого бытия».

Его интересует здесь, как в условиях сложнейшего современного производства наладить повсеместный, всенародный, по ле-

нинским заветам учет и контроль коллективного труда. Он видит в этом проблему не только экономическую, но социальную и нравственную. «Если рядовой труженик сумеет освоить учет и контроль над своим производством в целом,— утверждает писатель,— значит, он перестанет смотреть на коллективный труд сквозь узкую щель рабочего места, охватит его взглядом целиком, поймет его нужды и возможности, то есть обретет хозяйскую сознательность. Свершится величайший в истории переворот».

Переворот крайне важный для экономики, но не менее важный и для нравственности. Ибо именно «хозяйская сознательность» и превращает труд в творчество, в школу «понимания человека человеком, уважения человека человеком». Общая заинтересованность тружеников в деле не только убивает равнодушие к жизни и труду, но еще и учит самой необходимой в жизни науке — общению. А ведь «нельзя мечтать о взаимопонимании всех членов общества, если основные человеческие отношения — трудовые — будут строиться по принципу: приказываю — исполни, знать и думать тебе необязательно...».

Недавно вышедшая в издательстве «Современник» книга Бориса Можаяева «Лесная дорога» посвящена примерно тому же кругу проблем. Писатель полемически защищает в книге право и обязанность литератора заботиться не только о вечном, но и злободневном, полагая, что для истинного писателя забота «о так называемом общественном устройении» ничуть не менее важна и интересна, чем «тонкие интимные переживания, вызванные прикосновением к вечной теме любви или ненависти». Он доказывает эту мысль, ссылаясь на Щедрина: «Олимпийское равнодушие к текущим (или, как обыкновенно говорится, временным) интересам действительности понятно только тогда, когда интересы эти устраиваются сами собой, идут своим чередом, по разведенному порядку... Но когда действительность втягивает в себя человека усиленно, когда наступает сознание, что без нашего личного участия никто нашего дела не сделает, да и само собой оно ни под каким видом не устроится, тогда необходимость сознать себя гражданином, необходимость принимать участие в общем течении жизни, а следовательно, и иметь определенный взгляд на явления ее представляются настолько настоятельными, что едва ли кто-нибудь может уклониться от нее».

Не будет преувеличением сказать, что в этой мысли М. Е. Салтыкова-Щедрина, приведенной в авторском вступлении к сборнику «Лесная дорога», ключ к творчеству Можаяева, к дорогим ему характерам.

Писатель показывает, как меняется жизнь в колхозе, если труженики поставлены в разумные, экономически выгодные условия труда, развивающие их инициативу. Если они чувствуют себя в колхозе хозяевами и в современном, гражданском значении этого слова.

Как добиться, чтобы «сделать в всех хозяевами»? Как устроить, чтобы «каждый человек выгоду делал и хозяином своего дела был»? Чтобы человек и колхозная земля были связаны «и по любви и по расчету»? Такими «проклятыми вопросами» мучаются герои произведений Бориса Можаяева.

Собственно, это вопросы не только Можаяева, не только Тендрякова, не только Фоменко. Вспомним, с какой остротой и силой поставил их в свое время Валентин Овечкин. Над ними бился в своем творчестве Александр Яшин. Этим же вопросам был посвящен очерк «Вокруг да около» Федора Абрамова. Да и внутренний путь Михаила Пряслина в трилогии «Пряслины» не что иное, как формирование его как хозяина колхоза, хозяина земли.

Я не случайно подчеркиваю, с какой гражданской озабоченностью, последовательностью наша проза о деревне на протяжении долгих лет продолжает одну линию исследования. Это ли не свидетельство ее незаурядной зоркости! Дело в том, что хозяйское, то есть гражданское, нравственное, чувство труженика, развитие в нем социальной активности, общественного самосознания и есть реальная, а не иллюзорная основа осмысленности его бытия. Эти-то качества в первую очередь и превращают труд из унылой и тягостной работы в социальное творчество. Они не только резко повышают результативность самого труда, но и дают внутреннее удовлетворение труженику, таят в себе эффект не только экономический, но и нравственный.

Гражданственность — вот альфа и омега нашего времени, продолжение традиций революционной идейности в современных формах труда и борьбы. Гражданственность в наших социалистических условиях есть важнейшее «составляющее» человеческой одухотворенности. Гражданское отношение к жизни и к делу — это путь наиболее полного выявления творческих возможностей

человеческой личности. Социальная активность, продиктованная общественной сознательностью, нравственное отношение к своему делу, личная ответственность за то, что происходит вокруг, готовность на борьбу за истину и справедливость, за общенародные интересы — таковы черты подлинно социалистической личности, которые как воздух необходимы нашему времени. Время требует, чтобы «каждый чувствовал себя гражданином в полном смысле этого слова, заинтересованным в общенародном деле и несущим за него свою долю ответственности» (Л. И. Брежнев. Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду партии).

Литература наша чутко реагирует на эту современную потребность, раскрывая гражданские начала как определяющие духовную структуру личности передового человека наших дней, утверждая чувство социальной ответственности за судьбы народа, общества, государства.

За все в ответе — определил гражданскую суть характера советского человека А. Т. Твардовский.

Стремление к тому, чтобы каждый труженик чувствовал себя хозяином в своем колхозе, на своем заводе и, более того, чувствовал себя «представителем страны» (Ленин), неотделимо в жизни и литературе от противодействия всему тому внутреннему и внешнему, что мешает формированию и проявлению в человеке социальной активности, гражданского отношения к жизни. Неотделимо от борьбы, которая в зависимости от результатов ускоряет или замедляет ход общественного развития, потому что мелкобуржуазная, мещанская философия жизни, противостоящая нравственности гражданской, не только главный источник бездуховности, но и тормоз общественного прогресса. Современный гражданский характер в советской литературе раскрывается в противостоянии тем социальным явлениям, которые можно обозначить формулой «мертвый хватает живого». Это борьба с социальным эгоизмом мещанина, приспособляющегося к социалистическим условиям существования, с мелкобуржуазным анархизмом и расщепленностью, отвергающими дисциплину, с обывательским «моя хата с краю», с карьеризмом и бюрократизмом, убивающими инициативу, самостоятельность и самодеятельность тружеников.

Мы отмечаем тридцатилетие Победы.

Подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны всегда был и будет

высочайшим критерием нравственности и одухотворенности. В этике существует тезис: перед лицом смерти человек не волен солгать. Такой исчерпывающей проверкой каждого человека и всего советского народа явилась Великая Отечественная война. Война как, пожалуй, ничто другое выявила наши духовные и нравственные ценности, продемонстрировав всему миру, что это ценности в первую очередь идейные.

Современная советская проза утверждает духовные ценности социализма, исследуя героические характеры, рождавшиеся в пламени революции и Великой Отечественной войны. Эти характеры (вспомним Белинского) есть высочайшее и благороднейшее явление человеческого духа, они возбуждают удивление, восторг и любовь человечества, поддерживая в людях веру в великое и истинное.

Но героизм личности в каждую эпоху проявляется по-своему. Для нынешнего этапа нашей жизни характерен героизм в мирных, будничных обстоятельствах. Хотя эти обстоятельства могут быть суровыми и исключительными — вспомним опубликованный в «Комсомольской правде» очерк К. Симонова «В свои восемнадцать лет».

«На смертельный риск пошел человек твердый, человек с самообладанием, решивший исполнить свой долг так, как он его понимал, и надеявшийся, что он сумеет это сделать, сумеет оказаться победителем в этой схватке со стихией... Человек, умирающий в больнице, бросающийся в огонь не очертя голову, он не был самоубийцей и ценил себя и свою жизнь не меньше, чем другие люди. Но в его понимание цены человека, в том числе и собственной цены, очевидно, входило понимание цены выполненного или невыполненного долга», — пишет об Анатолии Мерзлове К. Симонов.

Газетный очерк Константина Симонова важен в том разговоре о нравственных ценностях, который идет сегодня в нашей литературе и критике.

Анатолий Мерзлов погиб, спасая колхозный трактор. Стоит ли жизнь человеческая трактора?.. Вопрос кощунственный. «...на что способен человек, живущий в постоянном сознании того, что его жизнь дороже всего остального? — спрашивает К. Симонов. — Способен ли вообще что-нибудь спасти — винтовку, трактор, самолет, да и самое главное — другого, попавшего в беду человека, — тот, кто в решительное мгнове-

ние, перед тем, как пойти на риск, начнет считать — что сколько стоит?..»

В поступке Мерзлова есть для Симонова нечто, ставящее его в один ряд с солдатами, заставляющее думать о нем как о человеке, не только готовом первым броситься в огонь, спасая трактор, но и первым подняться в атаку.

Бывают в жизни людей часы и минуты, размышляет писатель, когда родина становится до предела конкретным и точным понятием. Иногда это винтовка, которую, и теряя сознание, не выпускают из рук, иногда это человек, которому отдают свою кровь, а иногда это хлеб, который надо сохранить. Писатель уверен: «...в те секунды, когда Мерзлов бросился спасать свой трактор, этот трактор был для него какой-то частицей его страны или, еще точнее: его отношение к этому своему трактору было какой-то частицей его отношения к своей стране. Были в его душе незримые нити, которые связывали одно с другим. И эти молчаливые и крепкие нити не порвались, не лопнули в душе этого человека в минуту одного из тех испытаний, когда нашу человеческую душу пробуют на разрыв».

«Душу на разрыв» пробуют подчас и обстоятельства вовсе не исключительные, обстоятельства повседневного труда, из которых в основном и складывается наша жизнь.

В этой связи обратимся еще к одной газетной публикации — письму «Бить гражданином» Юрия Залатдинова («Известия», 18 октября 1974 года). Автор письма, электросварщик ленинградского завода железобетонных изделий № 3, размышляет об особенностях и трудностях борьбы с недостатками, которая требует от человека совершенно особого — гражданского! — мужества. «Гражданское мужество потому и есть мужество, что дается оно не просто», — говорит рабочий Ю. Залатдинов и приводит много самых что ни на есть простых, житейских примеров того, чем человек может заплатить в жизни за гражданскую честность, гражданское мужество. «Но как ни крути, а если ты в важном и принципиальном разговоре ушел в сторону или промолчал, ты не можешь считать себя порядочным человеком... Важно, чтобы в тебе никогда, ни на минуту не угасала вера, что ты поступаешь по совести, что справедливость есть, что ты ее добьешься».

Это письмо заставляет задуматься о многом. В том числе и о проявлении героиче-

ского в повседневности, о современных формах борьбы.

Идеал одухотворенной и высоко нравственной личности связан для нас с качествами идейности, с чертами борца за добро и правду. Такими были герои революции, гражданской войны, Великой Отечественной.

Гражданское мужество — вот что отличает современный героический характер в нашей жизни и литературе. Гражданское мужество порой требует не меньших волевых, душевных затрат, чем воинская доблесть. В основе подвига военного всегда качества гражданские, нравственные: беспринципный приспособленец не пойдет на подвиг самопожертвования, не ринется в битву за правое дело. Чтобы хранить верность принципам и убеждениям и быть граждански честным человеком, надо эти принципы и убеждения иметь, вот почему современный героический характер — это прежде всего характер коммуниста по убеждениям, характер борца.

Но борьба здесь особого рода, качественно новая по своим формам и проявлениям.

Не случайно В. И. Ленин с первых шагов мирного социалистического строительства приковывал внимание партии, внимание революционеров к новым формам борьбы, отличным от той, которую вела партия до завоевания власти.

Чрезвычайно показательно в этом отношении письмо Ленина одному из хозяйственных работников, И. К. Ежову, от 27 сентября 1921 года. Письмо было ответом на записку Ежова, который жаловался на многовластие и борьбу отдельных ведомств между собою, на море бумаги, которое пришлось исписать, по одному конкретному практическому делу. Кончалась записка словами: «Боюсь, что если сам В. И. Ленин не вмешается в эту возмутительную волокиту, дело так и не кончится: ведь я уже чуть не десять раз доводил дело, казалось, до конца, а еще снова конца не видно».

Вот что ответил Ежову Ленин:

«В волоките я не могу не винить и Вас. «Три года кричим», «Доводил чуть не 10 раз, **казалось**, до конца», — пишете Вы. Но в том-то и дело, что *ни разу* Вы не довели дело *до конца* без «казалось»...

Вы ни разу не довели до конца...

Эта борьба трудна, слов нет.

Но трудное не есть невозможное.

Вы опускали руки, а не боролись, не исчерпали всех средств борьбы».



Так, уже в самые первые годы строительства социализма В. И. Ленин по-новому осмыслил понятие борьбы применительно к новым революционным задачам. Он подчеркивал всю трудность этой качественно новой борьбы за интересы партии и народа, требовал самоотверженности, упорства, даже искусства в ее ведении.

В докладе на II Всероссийском съезде поллитпросветов в октябре 1921 года, как бы развивая свои мысли, высказанные в приведенном выше письме, Ленин спрашивал: что мешает такой борьбе? наши законы? «Напротив! Законов написано сколько угодно! Почему же нет успеха в этой борьбе? Потому что нельзя ее сделать одной пропагандой, а можно завершить, только если сама народная масса помогает. У нас коммунисты, не меньше половины, не умеют бороться, не говоря уже о таких, которые мешают бороться».

В последних, в тех, кто из личных, корыстных, карьеристских интересов «мешали бороться» за подлинно партийное, государственное, народное отношение к делу, В. И. Ленин видел главную опасность и требовал очищать партию от них.

Партийность для Ленина в этих новых условиях, в обстоятельствах мирного, созидательного труда, прежде всего в качествах делового, государственного мышления, в убежденной верности общенародному интересу, в «рукастости», как любил говорить он, то есть в умном, творческом, инициативном и наиболее результативном подходе к порученному партией делу, в готовности на борьбу с любой антигосударственной практикой хозяйствования, которую рождает бюрократизм, равнодушие, карьеризм, безответственность, индивидуализм.

Партийность для Ленина неотделима от честности, правды, совести. Ее подлинными носителями — люди высокоидейные и высоконравственные, люди гражданского мужества и гражданской честности.

Уже первое определение Лениным партийности — «...материализм включает в себя, так сказать, партийность, обязывая при всякой оценке события п р я м о и о т к р ы т о становиться на точку зрения определенной общественной группы» (разрядка наша. — Ф. К.) — органически включает в себя, подразумевает гражданскую позицию личности.

Гражданственность и партийность в современном значении этого слова, проявляющие себя прежде всего в работе, в деле, — основа характера героя нашей жизни и ли-

тературы, определяющая его одухотворенность и общественную нравственность.

Роман Олега Куваева «Территория», посвященный, казалось бы, обстоятельствам и характерам исключительным, приковывает к себе внимание не только и, пожалуй, не столько своей «клондайковой», романтической экзотикой, сколько гражданской позицией героев и автора.

Роман о геологах, золотоискателях, их тяжелой и героической работе на Дальнем Севере, территории «Северстроя». Но не это — не исключительность ситуаций и характеров, проявляющаяся в трудной борьбе с природой, — главное для О. Куваева, а следовательно, и для читателя романа. С большим напряжением читатель следит за борьбой точек зрения на то, как лучше, правильнее, результативнее, целесообразнее осваивать далекий, холодный, неведомый край.

Здесь идет борьба умов, стратегий, а в конечном счете — борьба двух разных подходов к делу: профессионального и непрофессионального, талантливого и бесталанного, гражданского и обывательского. Именно эта борьба и придает роману не просто экзотический — нравственный, гражданский интерес.

И. Дедков в своей содержательной и верной статье об этом романе «Напряжение поиска» («Новый мир», 1974, № 10) сосредоточил внимание прежде всего на характере Сергея Баклакова, в самом деле значительном. Для меня «Территория» — роман прежде всего о талантливом, незаурядном геологе Чинкове, «шамане золотоискательства», его борьбе. Чинков знает, где найти золото и как найти его. Но для этого Будде, как зовут Чинкова северстроевцы, надо победить не только природу, сопротивление сверхдальнего Севера на отведенной его управлению «территории», во многих местах которой не ступала нога человека. Ему надо победить еще и сопротивление главного инженера «Северстроя» Робыкина, сделавшего карьеру вследствие своей «заурядности». Воевать с робыкиными, свидетельствует роман, порой ничуть не легче, чем воевать с безлюдной и опасной тундрой.

Мы с увлечением следим за всеми извилистыми и трудными перипетиями борьбы Чинкова, борьбы, в которой твердых правил нет, потому что для Робыкина цель оправдывает средства, а цель его в том, чтобы оставаться наверху. Он не брезгает ничем вплоть до политических наветов на своего

противника: «Чинков, по его словам, действует точь-в-точь как капиталистический аферист... Даже в условиях капитализма его ждало бы банкротство и суд. В наших условиях Чинкову прежде всего придется ответить по партийной и служебной линии».

Чтобы противостоять такому противнику, требуется многое, и прежде всего — освоить тактику этой борьбы, борьбы особой, ни на что не похожей, овладевать которой учил коммунистов когда-то Ленин. Сила Чинкова в том, что он владеет искусством борьбы с робыкинскими в совершенстве, ничуть не хуже, чем тайнами своей золотоискательской профессии. Чего стоит описание поездки его в Москву к заместителю министра, которая практически и решила в конце концов спор: «И Робыкин, и Фурдечский изумились бы, если б увидели во Внукове выходящего из самолета Чинкова... Чинков шел весело и настороженно, как, допустим, может идти по следу раненого медведя верующий в удачу охотник. В руках Чинков нес лишь небольшой портфель...»

Не будем пересказывать все перипетии упорной борьбы, в которой Чинкову пришлось мобилизовать все свое упорство, хитрость, безжалостный, суровый расчет, немалое тактическое искусство, незаурядный талант организатора, авторитет руководителя, способность зажечь верой в золото «Территории», увлечь на подвиг весь такой разный, такой трудный, разнохарактерный коллектив. Чинков вырвал эту победу, преодолев сопротивление природы и сопротивление робыкинских.

Сосредоточим внимание на том, что мучает Чинкова и автора. А мучает их вопрос о смысле жизни и нравственности. Как Будде (Чинкову) сохранить в этой жизни, в этой борьбе верность себе? Отвечая ударом на удар, исхитряясь и ловча, чтобы помочь делу, советской власти, — как в этой борьбе сохранить нравственность?

Циник Гурин даже видит в Чинкове своего поля ягуду: «Есть цель. Есть ум. И абсолютно нет предрассудков, именуемых этикой». Сам Чинков с грустью говорит о себе, отвергая «глупую и невежественную кличку», прилипшую к нему: «Я, знаете, специально почитал жизнеописание Гаутамы, прозванного позднее Буддой. Мы с ним антиподы. Он был человеком высоких нравственных правил, а я, знаете, грешен. Нет заповеди, которую бы я не нарушил. Он проповедовал созерцание и невмешательство в суетные дела мира, а я вмешиваюсь

и суетлив. Он был святым, а меня сочтут ли кто хоть за элементарного праведника?»

Какая полярность позиций, если вспомнить, скажем, Ивана Сынькова из романа «Предел»! Один «святой» и претендует быть им; другой грешник и открыто заявляет об этом. Зато «святой», как мы убедились, и не стремится к вмешательству в «мирское», не выходит за пределы сугубо личных интересов, предпочитая общественному «вмешательству» контакты «со звездами»; «грешник» же считает своим долгом, смыслом бытия вмешательство в жизнь. Потому-то «мытарь» Чинков неизмеримо симпатичнее нам, чем «фарисей» Сыньков... За внешней иронией Чинкова над «высокими нравственными правилами» мы ощущаем фундамент подлинной нравственности, понимание того, что «стопроцентная добродетель пока достигнута только в легендах», но «если ты веруешь в грубую ярость твоей работы», стоит жить. По справедливому наблюдению И. Дедкова, эти слова прямо указывают на живую душу романа, на его истинный смысл и пафос. «И работа тут, — пишет Дедков, — ключевое слово, но не в будничном своем значении». Вспомните это же слово в ином контексте, в рассказе В. Шукшина «Дядя Ермолай»: «Или — не было никакого смысла, а была одна работа, работа... Работали да детей рожали».

Насколько обогатилось духовно, нравственно это слово для наших современников, какой огромный заключает оно смысл! Вот и герои О. Куваева с изумлением думают о той «силе, которая заставляет их рисковать, тревожиться, лезть на рожон... Силой этой называлась работа. Но что такое работа? Кто может дать этому краткое и всеобъемлющее определение? Страсть? Способ самоутверждения? Необходимость? Способность выжить? Игра? Твоя функция в обществе? И так далее, до бесконечности».

Таков внутренний фундамент духовности и нравственности Чинкова, таких людей, как Чинков. Их все больше и больше появляется в нашей литературе. Вспомним Ермасова из «Утоления жажды» Ю. Трифонова: «Если нет дела, которое любишь, которое больше тебя, больше твоих радостей, больше твоих несчастий, тогда нет смысла жить». Дело, о котором говорит Ермасов, которым поглощены герои романа «Территория», может быть только делом для людей. Дело «не во имя денег, так как они знали, что такое шальные деньги во время работы на «Территории», даже не во имя

долга, так как настоящий долг сидит в сущности человека, а не в словесных формулировках, не ради славы, а ради того непознанного, во имя чего зачинается и проходит индивидуальная жизнь человека». Во имя осмысленности бытия.

Этот путь к осмысленности, одухотворенности человеческого существования возможен лишь для тех, кто преодолел в себе эгоистическую замкнутость, кто устоял против гипноза приобретательства и безопасных уютных истин, кто открыл свою душу широким общественным интересам.

Общественная деятельность человека, его нравственная позиция в жизни, высоко развитое гражданское сознание, чувство хозяина своего предприятия или колхоза занимают центральное место в социалистической системе духовных ценностей. Ибо в приобщении к большому делу, в коллективном сознательном труде, в работе на благо людей, общества человек с наибольшей последовательностью раскрывается как личность, находит радость творческого существования, духовно обогащает себя.

### Два взгляда

Мы уже говорили выше, что, на наш взгляд, одухотворенность человеческой личности определяется прежде всего мерой ее причастности к неотложным заботам общества, объемом общественных интересов, богатством и разнообразием социальных связей и отношений с людьми. По мере того как человек становится развитой внутренне, социально активной и общественно сознательной личностью, у него пробуждается все более глубокий и полный общественный, то есть духовный интерес к действительности.

Вы помните, как определял Белинский в конце своей жизни духовность человека: «...чувство, разум, воля, в которых выражается его вечная, непреходящая, необходимая сущность».

Мы верим не в божественную, но общественную, социальную природу человека.

Разработанная К. Марксом философская концепция человека, его сущности как «совокупности всех общественных отношений» — теоретический исток, научный фундамент реального, практического решения проблемы ценностей.

В своем осмыслении природы человека Маркс преодолел ограниченность как натуралистического (вульгарно-материалисти-

ческого) понимания человека, которое сводило его лишь к биологической основе, так и идеалистического истолкования человека, которое также игнорировало социальную суть, объясняло духовную жизнь человека и человечества иррационально, спиритуалистически. Марксу удалось преодолеть обе крайности благодаря тому, что он раскрыл реальную диалектику биологической и социальной детерминации человека, осмыслил человека как порождение природы и общества, как не просто биологическое, но и социальное, родовое существо.

Именно общественная, творчески преобразующая мир природа человека и делает его человеком, качественно выделяет его из мира природы, делает существом духовным, то есть наделенным разумом и совестью, способным творить мир по законам добра, истины и красоты. Отсюда в нашем понимании и духовное богатство человеческой личности: «...действительное духовное богатство индивида всецело зависит от богатства его действительных отношений» (К. Маркс). Активных, трудовых, революционно преобразующих отношений с миром, обществом, с подобными себе. Отношений, в которых с наибольшей полнотой проявляется общественная, творческая, преобразовательная природа человека.

В соответствии с этим советская литература ищет решения проблемы человеческих ценностей не в звездных высях, но в труде и преобразовании Земли.

Защита и реальное обоснование советской литературой человеческих ценностей имеют сегодня мировое значение. Проблема ценностей и их судьбы в современном мире — ключевая для человечества. «Все прогрессы реакционны, если рухнет человек», — сказал поэт. Поэту вторит ученый: «История удостоверяет, что человек — существо разумное и общественное. Поэтому прогрессивным можно считать то в исторической деятельности человека, что отвечает этим началам в его природе и способствует все более полному их выявлению... Все же и этого недостаточно для определения прогрессивного. Разумность и общественность всего лишь свойства одного целого — человека, а это значит, что они подчинены какому-то обобщающему началу, характеризующему человека именно как цельность». Начало это человечество обозначало разными словами, но все они в разных языках восходят к одному и тому же корню, одному

и тому же смыслу и обозначают «человечность», «гуманизм».

Так понимает прогресс крупнейший советский историк Н. И. Конрад, чью работу «О смысле истории», опубликованную в книге «Запад и Восток», мы только что процитировали. Он полагает гуманизм высшим критерием человеческого прогресса.

По убеждению Конрада, человечество вступило в решающую фазу исторического развития, когда оно может или утратить свои человеческие качества, или сделать их реальной основой «золотого века» на земле, по словам Достоевского, на которые он ссылается, «мечта самая невероятная из всех, какие были, но за которую люди отдавали всю жизнь свою и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже умирать». Эта роковая для человечества черта предопределена тем могуществом, которого человек достиг. Это могущество знания, могущество разума.

Но разум и его развитие — это лишь одна из составных прогресса. «В настоящее время человек подошел к овладению самыми сокровенными, самыми великими силами природы, — пишет Конрад, — и это поставило его перед острым вопросом — вопросом о себе самом. Кто он, человек, овладевающий силами природы? Каковы его права и его обязанности по отношению и к природе и к самому себе? И есть ли предел этих прав? А если есть, то каков он? Если видеть в гуманизме то великое начало человеческой деятельности, которое вело человека до сих пор по пути прогресса, то остается только сказать: наша задача в этой области сейчас — во включении природы не просто в сферу человеческой жизни, но в сферу гуманизма, иначе говоря, в самой решительной гуманизации всей науки о природе. Без этого наша власть над силами природы станет нашим проклятием: она выхолостит из человека его человеческое начало».

Советский ученый осмысляет соотношение прогресса, научно-технической революции и гуманизма, нашу великую заботу и активную социальную ответственность, свойственную социализму, направленную на то, чтобы превратить могущество человеческого разума в безусловное благо, а не эсхатологическое зло.

Работа Н. И. Конрада приводит на память книгу другого крупнейшего историка и филолога, англичанина Ф. Р. Ливиса «Не уста-

нет мой меч. Эссе о плюрализме, сочувствии и социальной надежде» (1972), от начала до конца посвященную, казалось бы, той же теме. Старейший английский ученый (ему уже восемьдесят лет), представляющий консервативно-просветительскую, гуманистическую традицию, предельно обеспокоен судьбой человеческих ценностей в современном капиталистическом мире.

Вспоминая поездку в Соединенные Штаты Америки в 1943 году, он с гордостью за свое грустное пророчество говорит, что уже тогда увидел и описал признаки наступающего технократического общества: механизацию внутренней жизни человека, порождающую его специфическую инертность в понимании своей ответственности перед жизнью, собой и обществом, упадок в общественной жизни и культуре, «утрату социальной памяти» и нравственных целей. С тех пор эти разрушительные процессы углубились во много раз. Научно-технический прогресс, рост материального обеспечения, по мнению Ливиса, сопровождался и на его родине общим духовным обеднением человека, нарушением «связи времен», забвением традиций, американизацией жизни. Оказалось, что стремительно развивающиеся наука и техника не могут удовлетворить духовные нужды человека как личности.

Критик называет XX век «технократическо-бентамовским», имея в виду основоположника буржуазного прагматизма и утилитаризма Бентама, и утверждает, что современная технократическо-бентамовская цивилизация игнорирует творческие способности человека, порождает бездуховность и пустоту, которые он именуется «филистерством». В итоге человеку, живущему в этих условиях, не хватает творческих начал в жизни. Большинство промышленных рабочих не находят удовлетворения в работе и «живут» лишь во время досуга, копая для него деньги, но не знают, как его использовать, довольствуясь лишь самыми примитивными его формами. Цивилизация не обеспечила им духовности. «Цивилизованное варварство» — так определяет Ливис современное «просвещение».

Он обрушивается в книге на тех, кто, по его мнению, пытается утверждать научно-техническую культуру на «костях» гуманитарной. Ливис выступает против того, чтобы научно-технический и материальный прогресс абсолютизировался и расценивался как самодостаточный для бытия человека. Он настаивает: чем больше возрастают тем-

пы научно-технического развития, тем настоятельнее становится необходимость «совместного творческого усилия людей», в основе которого лежало бы утверждение полноценного творческого начала, противостоящего потоку быстротекущих перемен.

Отдавая должное науке и технике как прекрасному коллективному произведению человеческого ума, Ливис в то же время считает, что есть более высокое достижение человеческого творческого труда, вернее то, без чего триумфальное возведение здания науки было бы невозможно: мир человека, в который входят его язык и культура. Ливис подчеркивает, что для человека независимо от его профессии существует лишь одна — традиционная, гуманитарная и гуманистическая культура. Технические и естественные науки существуют для человека и важны для него, но они бесстрастны, как природа. Они не могут дать человеку критерии духовных, гуманистических ценностей. Таким образом, естественная наука и искусство, на взгляд Ливиса, — явления двух качественно разных систем. Мир науки — это естественный мир; основа искусства и традиционной культуры — это мир человека. Ливис убежден, что именно гуманитарная культура помогает человеку осознать и почувствовать свою человеческую индивидуальность. Она формирует его критерии подхода к миру, сознание того, что нужно в жизни ценить и что отвергать.

Положительная программа Ливиса в своей ограниченности типична для идеалиста-просветителя, продолжающего историко-культурные традиции XIX века. Об ограниченности подобного рода программ писал в свое время еще Плеханов: «Если «мнения» представляют собою наиболее глубокую причину общественного движения, то обстоятельства, от которых зависит дальнейшее развитие общества, приурочиваются главным образом к сознательной деятельности людей, а возможность практического влияния на эту деятельность обуславливается большею или меньшею способностью людей к логическому мышлению и усвоению новых истин, открываемых философией или наукой. Но эта способность сама зависит от обстоятельств. Таким образом, идеалист, признавший материалистическую истину о том, что характер, а также, конечно, и взгляды человека зависят от обстоятельств, попадает в заколдованный круг: взгляды зависят от обстоятельств, обстоятельства от взглядов». Раскрывая внутреннее противоречие такого ро-

да позиции, Плеханов делает вывод: «Из этого заколдованного круга никогда не вырвалась мысль «просветителя» в теории. На практике же противоречие разрешалось обыкновенно усиленным призывом ко всем мыслящим людям — независимо от того, при каких обстоятельствах такие люди жили и действовали».

Именно этим путем и идет Ливис.

Человечество, справедливо заявляет он, нуждается в том, чтобы ощущать свою жизнь полной смысла. Эта жажда смысла не удовлетворяется ни надеждами на мировой кубок для своей футбольной команды, ни открытием новых научных законов. Но глубокие духовные болезни современного общества Ливис объясняет причинами не социальными, но чисто гуманитарными: разрывом с культурной традицией, с прошлым, с духовным опытом, который веками накапливало человечество. Не углубляясь в социальные причины этой угрозы разрыва с «культурной традицией», этой экспансии бездуховности в современном буржуазном обществе, Ливис выдвигает чрезвычайно своеобразный путь спасения человеческих ценностей в современном мире. Спасти человечество призвана, на его взгляд, гуманитарная интеллигенция, и прежде всего университеты как подлинные творческие центры современной цивилизации, центры воспитания настоящей интеллигенции, гарантирующей сохранение и непрерывность культурной традиции. «Вот где, — пишет Ливис, — стоит вести творческую битву за наше живое творческое наследие, за продолжение глубоко гуманистической, творческой жизни; это битва, которую нельзя проиграть».

Рецепт этот уникален по своей наивности, особенно если учесть, сколь серьезному ученому он принадлежит. Всем сердцем не принимая «технократическо-бентамовской цивилизации», Ливис тем не менее не выдвигает даже мысли о социальном преобразовании. Тревожась о судьбе мира, он практически выключает «социум» из своей философской концепции, иллюзорно надеясь на «тихие» преобразования духовной жизни общества посредством университетов и усилий «гуманитариев». По сути дела, это даже и не преобразование, но всего лишь попытка «противостояния» разрушительным процессам буржуазной технократической цивилизации, попытка, выдающая в Ливисе растерянность человека, который не видит реального выхода из положения и чисто

риторически отказывается «сложить свой меч».

Насколько реальнее взгляд на мир его коллеги, советского ученого-марксиста Конрада, который в не меньшей степени заинтересован в сохранении и развитии гуманистических ценностей человека и общества, творческой потенции людей, но который видит качественно иной, подлинно результативный путь к тому. Его-то и отстаивает советская литература. Это путь социальных, социалистических общественных преобразований, создающих реальные условия для всестороннего творческого развития человеческой личности, для осмысленной и одухотворенной жизни человека как существа общественно активного, общественно ответственного, а потому высокотворческого и высоконравственного. Чувство социальной активности и ответственности человека, его причастности к историческому творчеству определяет и интерес человека к ценностям культуры, внутреннюю потребность в них.

Размышляя о социальных, реальных путях решения проблемы ценностей, Н. И. Конрад задается предположением, которым я и закончу свою статью:

«Не подойдет ли человеческое общество с ликвидацией эксплуатации человека человеком, с отказом от войны — тех источников зла, которые причинили и причиняют человечеству столько страданий, с гуманизацией всей науки о природе к такому состоянию, когда откроется возможность объединить развитие истории и движение порожденных мыслью этических категорий, а в их составе — важнейшей по своему общественному значению категории гуманизма? И не будет ли такое объединение достигаться все большим и большим превращением этических категорий вообще и категории гуманизма в первую очередь в нормы не только человеческого поведения, но и всей общественной государственной жизни? Вся прошлая история человечества, вся наша современная действительность взывают к этому. И мы живем сейчас надеждой, что так и будет».



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Владимир Огнев. Один из поколения.— Л. Теранопян. Антанина Праяускене принимает решение. — В. Перцов. Жизнь в литературе.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

Н. Мор. Память ветеранов. — Ксения Бродер. Призыв к духовности. — Валерия Алфеева. Гонимые века и зов мыса Горн.

## Литература и искусство

### ОДИН ИЗ ПОКОЛЕНИЯ

Михаил Луконин. Избранные произведения в двух томах. Том 1. Стихотворения и поэмы. 462 стр. Том 2. Поэмы, заметки о поэзии. 462 стр. М. «Художественная литература». 1973.

М. Лунонин. Пять книг. Стихи. М. «Молодая гвардия». 1974. 304 стр.

Михаил Луконин — один из поколения, которое мы называем военным. И сегодня, накануне тридцатилетнего юбилея нашей победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, рецензируя его книги, хочется проследить более внимательно судьбу этого поэта, во многом и знаменательную.

Кто был в армии, знает, что ничто так не ценилось там, как равенство, дух братства и взаимовыручки. И поколение поэтов, о котором я веду речь, прочно сохраняет этот дух. Человеческое благородство и спайка не позволяют им размежевываться в искусстве, выделяться и обособляться перед лицом критики. И критики, нередко «суммируя» качества разных индивидуальностей, стараются больше говорить о типологических чертах поколения, нежели о тех «слагаемых», за которыми стоит личный опыт, личность, характер, судьба...

Одно никак не противоречит другому. И я не собираюсь вырывать Михаила Луконина из «строения» военного поколения. И тем не менее...

Михаила Луконин с самого начала воспринимался мною как поэт трудной судь-

бы. Но совсем не в том смысле, что его недохвалила критика. Потому что шел он в поэзии едва ли не самым рискованным путем. О нем говорили: проза, угловатый стих, расшатанная строка, ритмическая неустойчивость.

Полемика новаторов и традиционалистов заняла годы и годы, а потом вышло, что самый последовательный из «традиционалистов», Твардовский, оказался среди самых больших новаторов, так как только в максимальном выражении главного в жизни и сказывается новаторство.

Мы убедились, что тот, кто боялся формы Маяковского, по сути дела, боялся смелости, индивидуальности, личности. Когда поэт разрушает духовные стереотипы, он выявляет свое отношение к действительности наиболее полно, наиболее лично, а значит — индивидуальность творческая реализуется в максимальной степени, пиши он чистыми ямбами, тактовиком или свободным стихом.

Я помню, что традицию Маяковского тогда понимали или тематически, слишком расширительно (концепция Ан. Тарасенкова), или зауженно, по принципу формаль-





«суфлерская будка» «истории» в стихотворении «Сталинградский театр». Так «пригнана» к идее «форма красноармейца» в стихотворении «Когда я пришел». Так высокой символикой оборачиваются просьбы друзей по палате: «Пиши... — Я не смогу! — Ты сможешь! — Слов не знаю... — Я дам слова! Ты только жизнь люби!» А любить жизнь — значит вводить ее в стихи, не боясь «прозы»...

Я сказал, что Луконин смело шел на риск «стыка» с патетикой. Тут надо подробнее рассмотреть саму луконинскую прозу. Лучше всего сделать это на примере сопоставления «переключек», сходных мест в стихах и прозе. Дневниковость, доподлинность переживания характерна вообще для творчества Луконина. Он предельно сориентирован на натуру. Вот почему опыт — основа основ в его творчестве. Все, что было с ним, все, что поразило, зажгло, ранило, что было замечено по пути, пережито, — все аукнется в стихе, даже занесенное в дневник повторится в поэме или стихотворении... У них одна база. С этой земли факта взлетают самолеты образов... Вот записанное в автобиографических заметках «Годы»: «Как об этом написать? Можно ли написать о том, как пожилой колхозник в линейной гимнастерке, боец-пехотинец, принес из деревни косу и, подготавливая сектор обстрела, впервые в жизни косил еще зеленую июльскую пшеницу? Было душно и угарно от горящего в Орле элеватора, но потом в окрестных селах мы пробовали хлеб из сгоревшего зерна, он был как мягкий уголь — нет, его невозможно описать!» Оказалось — можно. В поэме «Дорога к миру»:

Солнце выкатывается, как обод из горна.  
Мы растираем в жестких ладонях колосья,  
в рот бросаем потемневшие зерна,  
руки раскинули, как косари на покосе.  
Земля, где твоих косарей задержало?  
Поле, где же твоя косовица?  
Плуг лежит, перевернутый, ржавый,  
землей пропахла неубранная пшеница.

Потом мы увидим в Берлине не плуг, так косилку и этот сожженный магазин сельскохозяйственных машин... А до этого — под ударом молодого мстителя падает предатель и подымается пшеница, словно распрямляет плечи, согнутые горем родины... Тот же образ беды народной, поруганного хлеба и мира...

А вот еще одна запись в воспоминаниях о пройденных годах: «Десятого октября

1941 года около деревни Негино нас окружили немцы... Немецкие самолеты заходили вновь и вновь... Я уже задышался от гари, когда услышал невдалеке:

— Кто за мной, выходи — ждать нечего...

...Мы уходили. Из конопли, стремясь к лесу, вырвались на перепаханную поляну и поползли под огнем. Между нами чавкали мины, больно ударяя брызгами мерзлой грязи, перед лицом вставляли фонтанчики земли, выковырянные пулями. Краем глаза я видел за дорогой серые каски... Побежал, раскачиваясь, к лесу, упал, поднялся опять и бежал, пока не плюхнулся в ручеек перед самым лесом, перемахнул его полуплавом или полубегом и упал у сосны, чувствуя, как в левый сапог откуда-то сбоку стекает теплая кровь, и всем сердцем ощущая возвращение к жизни.

В поэме «Дорога к миру»:

— Вон идут! — говорит командир...  
приготовьтесь, мы пойдем в рукопашный...  
Лес вдаль — в снеговом пересвете...  
По земле резануло. Мины чавкнули разом,  
пулемет застучал, и траву зашатало...

— Ну, вперед! —

Я охватываю глазом  
лес, и поле, и небо, и все, что попало.  
Сотня метров!

Я плыву сквозь болото,  
нет, тону,

нет, плыву еще, в тину вливая.  
Сердце держит меня и зовет:

жить охотой...  
...Вот деревня. Вперед! Немец — вот он!  
Р-раз — в упор! — и в коноплю, перебежкой,  
огородами, по дворам, за ометы.

Жизнь подпрыгивает — то орлом, а то  
решкой.

— Эй, Сережа, скорей — в лес, к дороге! —  
Мы бежим...

— Хальт! — у самого уха я слышу.

Ха...

И сразу — огоньками на ощупь —  
пулемет полыхнул у меня под ногами...

Стенографически точно, с сохранением ритма, дыхания бегущих записана сцена и в первом и во втором случае. Налицо явная документированность события.

И тут мы начинаем понимать, что проза Луконина отделена от его стихов не вторичными своими признаками — рифмами, размером, способом записи в строчки или лесенкой, а именно патетической волной чувства, которому тесно в прозаической, более размеренной записи...

Ритм! Ритм Луконина подымает стихи над прозою. Разбивает фразу на единицы — резкие, несинхронные, раскачивает их,

словно стараясь, чтобы кровь, стучащая в гору, в том месте, где шея срывается с ключицей, стучала в такт сло-ву, сло-ву... Одно дело: «Краем глаза я видел за дорогой серые каски...» Совсем другое — это, как выстрел, прямое: «Немец — вот он!» Одно дело: «Мы уходили. Из конопли, стремясь к лесу, вырвались на перепаханную поляну и поползли под огнем». Совсем иное: «Р-раз — в упор! — и в коноплю, перебежкой, огородами, по дворам, за ометы. Жизнь подпрыгивает — то орлом, а то решкой...» Ритм подчиняет себе детали, они звучат, видятся иначе, вспышками, пульсируют, обострены, они заряжены дополнительной энергией.

Есть поэты, которые самым способом отбора деталей, их включения в напевную, размеренную конструкцию интонации преодолевают прозу поэзией, а это диктует и особый, только стиху присущий строй развития мысли. Твардовский пробовал:

А под нами лежал берег правый.—  
Снег укатанный, втопанный в грязь.—  
Вровень с кромкою льда.

Переправа

В шесть часов началась...

И потом отказался от прозаической точности увиденного в пользу вздоха-интонации: «Переправа, переправа!» А она-то и дала ход музыке стиха. У Твардовского-рассказчика, верного эпическому строю стиха (даже в лирике своей!), иначе и нельзя. Музыкальная структура речи подчиняет у Твардовского даже разговорную интонацию, словно бы обволакивая ее, втягивая в общую музыку периода, фразы, мотива.

Луконин здесь ближе к Маяковскому; использован и опыт Сельвинского: Луконин стенографирует речь, срывая перегородку между условностью высказывания и передачей реального впечатления от этого высказывания. Это как в кино. Мы не только слышим диалог, мы видим выражение лиц говорящих. Такая позиция чревата издержками. Илья Сельвинский как никто терпел поражения, но шел вперед. Своим путем идет здесь Луконин. Борис Слуцкий. Но у Слуцкого часто — открытый прием, условность хода — формула, модель. Луконин тащит жизнь в стих, не думая о тяжести ноши. Пробует напев, раздвигает его: во имя точности смысла, раздвигает строку, как это делал равный Тихонов, не боясь сбиться с ритма... Тут нужна смелость, внутренний слух — стройный и неуступчивый. Смотрите:

Там у тебя на крышу  
падает легкий снег.  
Там — среди елок — слышу  
твой неповторимый смех.

«Неповторимый» резко контрастирует своей замедленностью. А почему? Настолько чувство (стихи эти о дочери) сильно и неподдельно, что его как бы совестно «проговорить» в равном темпе, не придать ему особый лад, — в том-то и штука, что смех Настеньки для автора именно... «неповторим». И нужна смелость для опытного поэта не заменить это «обычное» слово каким-нибудь «необычным», сильнодействующим словом-образом, не поддаться искусству инверсии.

Так и рождается эта трудная неуступчивость стиля. Из мелочей, казалось бы. Из нежелания согнуть строку, чтоб не выделялась, округлить эпитет, сделать более эффектным ход сюжета. Мужество художника — вещь тонкая, не всегда заметная простым глазом. Хотя все дело-то именно в простоте! Ведь и строгость, угловатость, «мужественность» могут быть манерными, искусственными, как средство выделиться на фоне противоположном. Так трус любит носить усы и шпоры.

Читатель, я полагаю, всегда догадывается, с кем он имеет дело — с поэтом жизни или с поэтом книжным. Я уже писал и не стану повторяться: книжный поэт — не поэт культуры, ибо всякий настоящий поэт растет из действительности настоящего и действительности прошлого, то есть книга такой же источник его знаний о себе и мире, как и личный опыт. «Книжный» поэт (стихотворец, лучше сказать) — это личность, в которой профессионал убил живое чувство удивления и радости жить на земле.

«Я — поэт. Этим и интересен». Сказано, как всегда у Маяковского, категорично и недвусмысленно. Но, заостря мысль против обывателей и мешан, торопящихся сунуть нос в еще одну замочную скважину, он, конечно же, не имел в виду другой стороны этой проблемы. Поэт до тех пор интересен другим, пока он остается не только поэтом. Пока он сам живет, а не только наблюдает, пишет, оценивает, переплавляет впечатления, как завод, для которого руда — лишь средство вывить грамм радия...

В какой-то мере «руда» — это вся жизнь. А «радий» — это только выводы. Искусство, направленное на извлечение выводов, пере-

стает ощущать красоту «вечно зеленого древа»; искусство писать стихи способно стать величайшим проклятием для поэта, если инерция стихописания постепенно станет казаться автору самоцелью... «Цель» же художника — удесятеренная жажда прожить сто жизней!.. В трудные для него годы Луконина выручало качество, которое можно назвать упорством рабочего поиска.

Как-то Луконин вспомнил слова Твардовского: «С поэзией ничего не знаешь. Часто рубишь, рубишь — вроде должна быть находка — и нету. Бросаешь. А может быть, осталось-то всего две лопаты до открытия!» Эти слова напомнили мне аналогичное высказывание замечательного режиссера Ник. Акимова, сказанные им на вечере памяти Таирова в 1965 году: «Представьте, у учебного закончился блестящим открытием пятисотый опыт, нельзя же говорить, что 499 раз он ошибался?! Это была работа, и один опыт прошел за другим, а результат пришел в пятисотый раз. Если бы наши судьи искусства поняли эту механику!» Понять эту механику нужно. Да настоящая критика ее всегда и понимала, тут особых сложностей нет. Труднее проявить характер художнику — копать там, где, казалось бы, идет пустая порода. Именно там, не бросаясь из стороны в сторону. Упорство и воля бываю награждены во сто крат.

Так случилось и с Лукониным. Упорство, с которым он, не отступаясь от трудного поиска поэзии на пути жизни, «рубил» пласты жизненных впечатлений, а еще глубокий перелом в судьбе, который мы, читатели, почувствовали в стихах (вот где по-своему оправдалась формула Маяковского: «Я — поэт. Этим и интересен»), как бы утроили силу нового сплава реализма и пафетики луконинского стиха.

Под последней строкой поэмы «Признание в любви» две даты: 1952—1959... Сколько же тут вместились, в это коротенькое тире! Может быть, две эпохи жизни. И потому бродившее, открытое, то, что жило в памяти, и то новое, что стучалось уже в стихи, словно разлились, как в Волге сливаются потоки разных рек и речек, и пока не уйдут в широкий простор, все еще несут свой цвет, свой едва заметный оттенок...

С образа такого родничка, которому судьба стать потом Волгой, начинается эта поэма. И я вижу в ней и лирический мотив, поиск судьбы собственной, пробивавшийся

как ручеек сквозь «тони» многих заблуждений и искушений:

Нелегко ему.

Один он.

И бывает грустно.

Нелегко ему дорогу отыскать себе,  
без друзей пока еще,

без людей,

без русла.

Но течет.

растет

и крепнет:

он готов к борьбе!

Не в прямом смысле, конечно (сам поэт вряд ли оказывался «без друзей», «без людей»), но и русло-то ведь точится годами, друзья меняются, «и бывает грустно» тоже... Всякое бывает. Бывает, что «житейская лестница» тяжелей дается, чем штурм высоты, когда смерть играет с тобой в чет и нечет...

Возвращение в Быковы хутора и осознание истинного в себе — одного корня.

«У меня есть стихотворение «Быковы хутора», хваленное критикой,— говорил Михаил Луконин на съезде писателей Армении.— Я написал его, побывав в родной деревне в 1946-м — в тяжелом, неурожайном году, когда мои земляки-волжане испытывали громадные трудности, преодолевали их. Разве им было достаточно тогда моего песнопения о красоте Волги? Им нужно было «дельное» слово...» И этим дельным словом стала поэма о жажде, о земле, которая терпелива, о своем народе...

Для Волги Луконин свой. Он помнит, что первую песню услышал здесь, и с нее началась для него поэзия. Что первая дорога его была — Волга, когда везли его с сестренками после смерти отца в Быковы хутора. Что и в войну (об этом недавно в «Дружбе народов» вспоминал К. Симонов) просился в Сталинград в самые тяжелые дни окружения города немцами...

О «Признании в любви» много писали, но я не о том, не про общие оценки и признание в любви к поэме и поэту. Я хочу связать тему Волги, родины малой (той, что имеет имя свое; у Луконина — Быковы хутора) и лирического раскрепощения стиха, выхода к новому горизонту обобщения «прозы», когда в лучших кусках поэмы, а за нею в потоке хлынувших стихотворений — одно лучше другого! — стал ощутим тот высокий полет стиха, о котором, пожалуй, трудно было предполагать раньше.

А вдруг  
до нынешнего дня  
не знал себя как надо?  
А может, просто грянул срок,  
жизнь встретила со мною  
и опалила с первых строк  
своей взрывной волною!

Когда-то Луконин признавался, что диалог в поэме дается трудно — то «цвет стих, делает его прозой», то, «закованный» формой, «терзает художественную убедительность». Достаточно вспомнить главу из «Признания в любви» «Невеста», чтобы понять, как виртуозно и в то же время просто решена эта проблема. Песня пришла на помощь, отбив и оттенив куски диалога, а сам он строится теперь по принципу отбора главной речевой характеристики и характеристики. Герои — Денисов и Баженов — ведут речь хитро, с прицелом, обходя острые углы, ловча, но прорывается то тревога, то ненависть, то беспокойство...

В главе «Электрический бунт» ощущаются эпические традиции Маяковского — умение цепко и лаконично отмечать исторически характерное, в четком контуре ритмической схемы вмещающей разнообразный жизненный материал, будь то лозунг, цитата из «Царицынского вестника», крики толпы, реплики отцов города:

Вдруг полыхнуло:

— Караул!

Убили!

В бане Саномьянца.

— Что там?

— Беда...

— Р-р-разойдись!

— Р-р-разойдись! —

Городовой Бросалин

ведет сквозь толпу храпящих коней.

Сакен в карете дергает усами.

Лезет полицмейстер в паутине ремней.

— Что тут такое?

— Ваше величество!..

Ваше превосход... (захватило дух).

— Ну!

— Слушаюсь!..

Тут электричество  
солдатику побило в бане. Двух.

Отбор, отсеивание, угадывание ключевой детали не головной процесс. Лаконизм стихотворной речи не плод мастерства, приходящего с опытом писания стихов. Он скорее плод духовного накопления, которое, подобно перенасыщенному раствору, кристаллизует этот опыт по законам сосредоточения на главном деле жизни. В процессе творчества нужные слова приходят как бы сами собой... Что с того, что за ними огромная дорога скрытых «опытов», приме-

рок, прицеливания, робости сказать насущное вне традиционных правил... И вот когда «слова болят» — и чем сильнее болят! — происходит прорыв традиции, инерции стиля, инерции образного мышления. Так вырываются крылатые строки, эти «демоны глухонемые» Тютчева, это «молчите, проклятые книги! Я вас не писал никогда!» Блока, это неповторимое «не жалею, не зову, не плачу» Есенина... И, задним числом, мы можем анализировать и восхищаться этими образами, этими строчками, но никогда не «поймать» нам ту мгновенную молнию озарения словом, которую родил не случай, но счастливое совпадение скрытых импульсов, сложными и упорными путями стремившихся к исходу, подспудно зревших в душе поэта, чтобы вырваться Словом! «Потому что все сказки красивые скоро сказываются, долго делаются...» — как говорит героиня поэмы «Рабочий день», няня Бадина.

Сказки же, которые скоро делаются, недолговечны. Многословны. Потому еще, что неточны. Точность приходит со знанием. Луконин здесь не был исключением. Знание пришло с болью.

В 1943 году, на фронте, найдены были эти строки:

...чтоб замкнулось кольцо  
призывающих рук,  
как венок,  
или нет,—  
как спасательный круг.

Это выражало точное чувство: мы выстрадали славу, мир, который будет «спасательным кругом»... А вокруг бушевал огонь. В стихотворении «Пришедшим с войны» (1945) читаем:

Я вернулся к тебе,  
но кольцо твоих рук —  
не замок,  
не венок,  
не спасательный круг.

Мир пришел, пришли и «венки»... Чего же не хватает герою? Почему так резко, с обратным, как говорится, знаком поставлены теперь те же самые образы? А потому, что жизнь продолжалась, и то, что виделось пристанью, оказалось началом нового пути.. Так было в жизни. Так сказало в стихе. Это была новая точность. Она не отменила той точности войны, когда конец огня и смерти — мир — ожидался как спасение. Но тот, кто помнит те годы, тот помнит, что не одни венки славы надели на геро-

ев — венки клали и на могилы. И могил было много, много... И надо было быть сильнее, а не искать утешения, не спасаться, а спасать.

В поэме «Дорога к миру» есть строки, близкие только что цитировавшимся:

Мы идем не за помощью,  
а помочь нашим людям,  
чтоб утешить, а не искать утешений!

Пройдет ни мало ни много — восемнадцать лет, и напишется это:

А жизнь сверх меры —  
празднество и мука.  
Тогда толкнула пуля горячо,  
я над землею выгнулся упруго,  
не слыша ничего.  
А что еще?

Я думаю, поэт был счастлив, найдя эту интонацию вздоха: «А что еще?» В ней горькая гордость, усмешка знания, не молодая похвальба и не старческое уныние — просто мужественная зрелость ясности, когда кажется — все осветилось ровным ясным светом памяти, четко, как в кино или во сне (сны тоже в зрелости снятся другие — не размытые в тумане юношеских грез, а графические, беспощадно определенные...).

...я над землею выгнулся упруго...

Словно приготовился лететь туда, где говорят, летают души наши, в далекие времена называвшиеся иначе — ангелами... Да только нет, не улетел, «живу, живу, случайностью храним. Веду перерасчет всем старым мерам, и верам, и невериям своим». И названа новая жизнь, второе дыхание это очень хорошо и просто — «жизнью сверх меры»...

В этом одном из лучших своих стихотворений 60-х годов Луконин как бы подводит итог своей мерой по-своему общей для поколения теме памяти павших друзей, как когда-то Твардовский, с его за душу берущим «речь не о том, но все же, все же, все же...». Да, речь и тут не о том, что «он вам, живым, остался Неизвестным, но я-то видел этого бойца», а все же, все же...

...Они звучат во мне неслышным гимном,  
смотрю на вас,  
а думаю о них.

Голос этой памяти — и о себе самом, о наступившем вдруг высоком прозрении — осознании своего места там, в строю наступающих, вечно берущих высоту, о славе, которая не измеряется «венками» и даже

«спасательным кругом» личного счастья, о бессмертье подлинном и ложном, эфемерном, о суете и высшем счастье «покоя и воли»...

Ничем я не увенчан, не украшен —  
винтовка на брезентовом ремне.  
Не знаю, как оно —  
бессмертье ваше, —  
мне моего  
достаточно вполне.

Я боюсь, не решаюсь комментировать прекрасный финал этого стихотворения...

Живу сверх меры  
празднично и трудно  
и славлю жизнь на вечные года.  
И надо бы мне уходить оттуда,  
а я иду, иду, иду туда,  
туда, где смерть померилась со мною,  
где,  
как тогда,  
прислушаюсь к огню,  
последний раз  
спружиню над землею  
и всех своих, безвестных, догоню.

Кажется, последним усилием отрывается боец от земли, чтобы идти в свою последнюю атаку... Кажется еще, что «спружинить над землею» ему было бы легче теперь, чем тогда... После «перерасчета» старых «мер».

Итак, жизнь «сверх меры». На пределе. «Поверх барьеров», как сказано у другого поэта.

«Рассказывают, как правило, третьестепенное, а главное обходят из-за того, что сами плохо понимают свою жизнь», — говорил Луконин о земляках своих, заходивших ночью на огонек в поселковой гостинице для приезжающих. Поэзия тоже должна «понять свою жизнь». Жизнь стиха подобна жизни человека: что-то становится все время понятнее. И что-то теряется с молодостью. И хочется порой, чтоб вернулись дни густь зеленые, но полные надежды и слепого восторга.

Но вот бывают же периоды возвращения к этим состояниям восторга, ожидания полета и в немолодые годы. И у много пережившего человека. «Душевное ликование» рождалось бок о бок с осознанием «эмоционального завершения» дорогой ему темы Волги...

«Начало светать в моем родном крае, повеселели люди...» Помните, у Твардовского о Сибири? «Теплей вода, светлей места, — вот так, взамен твоей, придет иная красота, — и не поспоришь с ней...» Поэма «При-

знание в любви» и рождена этим приливом новых сил.

Но это лишь один источник поэмы. Второй — в совпадении лирической темы возрождения жизни, в пробуждении неких личных, может быть, глубоко интимных мелодий весны, которые все ширились в душе, росли и наконец вышли из берегов, слились с Волгой, ее эпической темой.. Без этой второй стихии поэзия не поднялась бы так высоко. И стало невозможно «рассказывать третьестепенное», «обходить главное», стало нельзя более «плохо понимать свою жизнь».

Познание себя и познание народа идет у настоящего художника синхронно. Убежден, что многие недоразумения, конфликты, разочарования, отсюда — от несовпадения «личной» темы и «общей» мысли. «Многое остается невысказанным и давит тяжело-весной немотой», — признавался в минуту грустной откровенности Луконин. Ведь поступок жизни у лирического поэта так или иначе взаимодействует с поступком слова, со стихом.

«Чувство родной земли» (а именно так определил пафос поэмы «Признание в любви» сам автор) должно было совпасть с моментом какого-то просветления... Я говорю, разумеется, о лирическом его герое. Герой поэта есть лучшее в нем, он проекция его дум и страстей, плод его мучительных усилий подняться над собой, стать вровень с веком. Опыт Некрасова, Блока, Есенина, да только ли их, свидетельствует об этом весьма красноречиво.

В двух измерениях рассматриваю я лирику Луконина 60—70-х годов. Читаю стихотворение «Канобили. 31 января 1965 года» из грузинского цикла «Корни гор», и слова о тишине в мире воспринимаются мною и как проявление нуткости советского поэта к опасностям атомного века, и как состояние любви, когда тишина слышнее...

Наверху вечерело,  
Горы были в тени.  
Я на цыпочках смело  
уходил в эти дни...

• • • • •  
— Тише, люди.—  
шепчу я,—  
не гремите войной.  
Неужели забыли,  
что такое война!  
На горе Канобили  
так нужна тишина.  
Там, открытое мною,  
сердце ярко горит.

Там звезда  
со звездой  
в тишине говорит.

Да, эту тишину услышать можно было не только после войны... И после сердечной бури... Читаю стихотворение «Крепость» и отмечаю строки: «...их не сила возводила, возносила их любовь...» А стихотворение «Возраст»? Видеть даль и не видеть то, что рядом, — это ли не начало «фальши», одинаково опасной и в социальном и в личном плане. Горе ближнего — горе нас всех. Вот почему неразделимы стихи «Хлебный год» о «речах», которые «поручены мне», о голосе народа (вспомним: «Я дам слова! Ты только жизнь люби!») и «Стихи по кругу», где заявлено как будто прямо противоположное:

Немыслимы в поэзии хористы,  
поодинокое  
дышим  
и поем.

Разве это только о «поэтовом труде» с его «кустарным» уединением? «На берега пустынных вод, в широкошумные дубравы»? Конечно же, нет.

Только понявший «свою жизнь» понимает сложность жизни вообще. Только взваливший на плечи ношу ответственности за многих собратьев способен отстоять отдельное «дыханье». И только переживший глубоко и страстно чувство любви способен ощутить сложность перехода от «тепла» к «холоду» в жизни вообще, в самой природе, как это сказалось внезапно в стихотворении «Падает снег, плещется...». Сложность отношений выражена через шаткость южной зимы, ее странность, неожиданность, через открытие в чужом — своего:

Хожу по горе-лестнице,  
впервые зимой в Грузии.  
Летние дни и месяцы  
мне горизонт узили.  
Впервые — тепло зимнее,  
впервые зима южная.  
Небо почти синее,  
солнце совсем выюжное.

...Грузия для многих русских поэтов была местом паломничества. Сюда влекло их разное. Но всех она одаряла теплом, озаряла поэзией, лечила раны... Луконин нашел в Грузии свою тему, ощутил в самом пейзаже свой подтекст. В «Предчувствии Сванетии» есть предчувствие высоты иной — высоты духа, высоты полета. Луконинский «перевал» — это прощание с прошлым, на-

чало нового подъема. Как клеток грузинской речи эти «р» и «л», переливающиеся одно в другое:

Как башлыки на горлах — облака.  
Приметами всего земного шара  
они для марсиан издалека —  
вершины —  
Ушба, Шхельда, Тетнульд, Шхара.  
На горлах гор  
трепещут облака...

Грузия для Луконина — это дыхание полной грудью. Он боялся: «...вдруг да не сойдется она с поэзией своей!» Он привык поверять одно другим (поэзию — жизнью) давно. И эта черта грузинской музыки, любовь к жизни, неутолимая, жадная, виноградной лозой обволакивающая древо познания, пьянящая весельем, стойкостью перед лицом бед, — как она нужна была Луконину, как пришлось в пору тому состоянию духа, с которым вступил он на свой жизненный перевал!

А вдруг  
до нынешнего дня  
не знал себя как надо?

Человек всегда, пока живет, не знает себя «как надо»... Поэт потому и пишет, что хочет узнать себя нового, а через себя — других, Время новое.

Главное же: глубже понимая «свою жизнь», поэт глубже постигает жизнь вообще. О новом качестве поэзии Луконина говорят такие его стихи, как «Годы», «Нет памяти у счастья. Просто нету...», «Из глины он тебя лепил...»; «В дороге», «Прощание», «Отступление», «Цирк», «На перевале», «Были поклонники...», «А жизнь сверх меры...», «Необходимость», «Раны»... Это отличные стихи. Высокая русская поэзия.

Мне кажется, что образная ткань поэзии больше говорит о жизненном опыте художника, нежели его прямые высказывания. Иногда образы просто опровергают мысль, которую настойчиво пытается провести стихотворец. Например, многие стихи о рабочем, городском труде в начале революции, в первые годы советской власти обнаруживали такую прочную, такую устойчивую связь с миром деревенской природы, что сам образ завода и заводского труда воспринимался через сравнение с привычными деталями той, недавно оставленной жизни... Красивое, образное, оваянное поэзией было там, среди родных перелесков, потому — от горна «веет... вербеной», «белый пламень —

спелый лен», «горн, как стог горящий сена», или, словно петух, «отряхивает с крыльев искристый, горячий пух» («Весенний завод» М. Герасимова). Для Луконина труд рабочего красив уже новой красотой, требует не «эстетизации», а простого понимания поэтической сущности профессии. В «Рабочем дне» поэт не боится такой сцены:

— Есть деталька  
с тремя пазами,  
гайка просто, а много чести.  
Вот сейчас —  
посмотрите сами —  
три канавки на перекрестье, —  
положил на ладошку Вали  
гайку Вова.  
— Ага, знакома!  
Закрепляет шатун на вале,  
называют ее коронной.  
Сталь хорошая,  
примесь хрома.  
В школе часто фрезеровали...  
— Как?  
— На фрезерном надо резать:  
взять в тиски —  
и фрезой вдоль паза,  
вынуть,  
снова под зубья фрезы  
гранью новой.  
И так три раза.

Это место из главы «Тетрадь мечтаний». Мечтанья и фреза... Да, в сознании молодого рабочего его труд, его творческая находка нового способа «резать, гайку не вынимая», наделяются качествами самой высокой поэзии. И не это странно, а то, что мы, иной раз разбирая подобные строки, называем их «производственными» и на этом основании говорим о «прозе», о заземленности стиха и т. п. А ведь дело не в этом. Рабочая тема в поэзии — исторически новая, у нее по сравнению с другими, «вечными», как мы говорим, темами всегонавсего детский возраст... Ей расти и расти. А ведь «растут» и вечные темы!

Виктор Шкловский как-то заметил: «Толстой, ведя дневники, всю жизнь задавал себе задачу, как бы сняв обычное представление о красивом, увидеть точно и ясно все то, что окружало его... Толстовские пейзажные записи красивы, но красивы они по-новому и именно тем, что в них введены прежде не эстетизированные моменты; они увидены как бы внезапно проснувшимся человеком». Эти сравнения и образы со страниц дневника не перенесены в художественную прозу Толстого. Но так бывало всегда, когда новое качество литературы еще только «стучится», еще не нашло законченной системы... Так, Пушкин (я писал об

этом в «Книге про стихи») оставил в черновиках «Медного всадника» открытие нового Петербурга (проситель, проститутки, часовые, снежная вьюга) — то, что потом будет Некрасовым, поздним Блоком! Именно это Пушкин и вычеркивал. Есть уже потребность в новом, но ему еще «рано». Для искусства рано. Так было и у Толстого. В дневниковых записях природа дана глазами мужика. «Рожь начинает колоситься трубкой...», «...тополи бледными сторонами листьев выворочены». Потом будет у Твардовского: «...хрипят простуженные кони»... В поэзию пришел сам народ, в сцене фронтового быта «простуженного» коня мог заметить только крестьянин... А «вывороченные» листья тополя — это уж, конечно, точность рационального плана, наблюдательность Заболоцкого, в прозе — может быть, Олеси или Катаева, по-своему — в стихах Вознесенского, иначе — Ваншенкина.

Долгий путь проходят примерки и опыты в изображении природы... Так надо ли удивляться, что, говоря о труде рабочего человека, Луконин еще был неуклюж, не находил поэтического решения, равного по силе воздействия изображению любви, природы?

Интересно, что у Гомера война сравнивалась с процессом взвешивания шерсти трудолюбивой поденщицей:

Но ничто не могло устроить Ахеян;  
 держались  
 Ровно они, как весы у жены, рукодельницы  
 честной,  
 Если, держа коромысло и чаши заботно  
 ровняя,  
 Весит волну, чтоб детям промыслить хоть  
 скудную плату.

Обратил внимание на это сравнение тот же В. Шкловский. Но меня тут занимает другое: война была исследована искусством больше, чем труд. Труд же входил в поэзию как сфера сравнений, как образ, который понятен каждому. И не воину. Таким образом, труд, процесс труда — сама жизнь — становятся основой образа в древнейшем искусстве. Можно не ожидать от Гомера, что он выскажется «в защиту мира», — высказались за это образы великого грека!

Сравните опыт героя луконинской поэмы «Дорога к миру» по одним деталям, образам, примерам сравнений, не по декларациям, сравните этот опыт с войной, какая стала испытанием для юных его героев... «Пули булькают сколо, как в картине «Чапаев»; «Рассвет протянул свои щупальца

выше. Я раскрываю глаза. Тишина, как на даче»; «Мы вернемся, учитель!.. Мы выдержим этот экзамен!»; «Украина, — я думал, — это белые хаты... и солома, скрученная на крышах, как в опере «Наталка Полтавка»...»; «Мы изучали географию в классе... Урал был рудой, Украина — пшеницей...»; «На отступе копошится кипящая масса. Ломятся, отступая друг друга, как мальчишки после уроков из класса»...

Вот он, опыт! Война мерится опытом школы, малым опытом юности, которая еще удивляется: родина, оказывается, не точки на карте, где все условно, как значок «полезные ископаемые», а

...здесь вот домик построен,  
 а тут журавль наклоняется над колодцем,  
 и гуси, переваливаясь, движутся строем,  
 у калитки девушка засмеется...

..... \* \* \* \* \*  
 О, как это здорово, Сема!

Это познание родины войной, познание жизни в лицо. Это удесятенное развитие духовных сил. Это сопричастность Истории — каждодневная, естественная, когда малое и великое — рядом. И великое становится естественным, нормой бытия! Вот еще откуда это сочетание наивности и патетики в стиле Луконина. Вот откуда его высокая нота, напор стиха, смелость плотной образности:

Уже стучатся в землю новые травы.  
 В отростках новые закипают деревья.  
 На остановке не имеем мы права  
 и продвигаемся по закону движенья.

Война — «закон движенья» — совпадала с целью благородной и гуманистической. История делалась здесь, сегодня, сейчас. Отсюда это:

Жадность моя во времени — непобедимал  
 Вместе бы —  
 день ушедший и приходящий!  
 Чтоб время сплавилось при мне воедино,  
 прошедшее с будущим — в настоящем.

Так мал ли опыт этот? Нет, конечно, ему позавидовал бы любой юный поэт иной эпохи. Ветер, который стал любимым образом Луконина, ветер шелестящий, рвущийся в бурю в прежних его поэмах и лирике прошлых лет, принял эстафету в «Признании в любви» — запевала-ветер начал тему совести, времени, непокоя... А то, что раньше было наивным, вернее нам, сегодняшним, кажется наивным, звалось иначе:



Подумай, мы сделали самое основное, мы совершили самое главное в жизни!

В словах этих из поэмы «Дорога к миру» — и удивление и гордость...

Да, «не в счет» эти годы «огненной крутоверти», «это Гитлер украл их» у юности, юность будет мериться с «мая сорок пятого»... Но в счет поэту это начало пути, в счет поэзии записана и финская кампания Луконина и первые стихи 1939—1940 годов, да, собственно говоря, — к тому я и веду речь — вся поэзия Михаила Луконина, выросшая на войне, хранит особую память жизни и смерти. А это ли не главная стихия поэзии вообще, если говорить о настоящем, стоящем деле поэзии?

Но и не только жизни и смерти. Жизни крупной в соизмерении с мелкой суетой. Меры этому поколению были заданы крупные. Дружба, советскость, стойкость, упорство, мужество на каждый день.

Я говорил о том, что образы поэта говорят за него внятно и непровержимо. Опыт войны, заданная войной мера вещей подняли стих Луконина над бытом. Но война не списывала впрок ошибок и уступок. И каждый, в том числе и Луконин, только в упорном рабочем поиске, в преодолении новых трудностей находил «свое»...

А чего не было никогда, так это уступчивости советам и рекомендациям сгладить стих, привести его к средней «норме» привычности. И если он писал:

Нам в колхозы свои,  
на заводы свои нам охота,  
мы к работе поедем...—

а потом, чеканя, формулируя образно:

Жажда трудной работы  
нам ладони сечет.  
Мы окопами землю изрыли,  
пора  
нам точить лемехи  
и водить трактора.  
Нам пора —  
звон оружия  
на звон топора,  
посвист пень —  
на шипенье пилы  
и пера,—

то в этом «самоповторении» было больше упорства выговорить главное для себя наиболее убедительно, нежели ввести стих в более «организованную» форму.

Луконин шел и идет по пути поиска, против ветра, а точнее — поветрия моды.

Его не смущает, что кто-то будет торжествовать: он все чаще пишет ямбом. Он не чурается интонаций, как бы напетых до него:

Там в одиночество так бежалось —  
не успевали.

Все равно получится по-лукоински. Как в Некрасовском тоне «Хлебного года» вдруг вырвавшееся энергичное:

Не речами сильны,  
а плечами;  
речи ваши —  
поручены мне,—

снова отошлет нас к стихотворению «Мои друзья»... Так, например, в стихотворении «Стихи дальнего следования» прямая переключка с Тихоновым обернется неповторимо лукоинским ходом «мужества разлуки».

У Тихонова:

Но ты, моя чудесная тревога,  
Взглянув на небо, скажешь иногда:  
Он видит ту же лунную дорогу  
И те же звезды словно изо льда!

У Луконина:

Ночь.  
Хожу по дальнему маршруту,  
небо наблюдая на ходу,  
думаю:  
«Ты, может, в ту минуту  
видишь ту же самую звезду»

И вдруг строки, завершающие стихотворение:

Голосит вдали земной предел.  
Я спешу, как все,  
я беспокоюсь:  
может, ты увидишь этот поезд,  
на который долго я глядел?

Луконин слишком непосредствен («я беспокоюсь»), слишком жизнелюбив — он нетерпеливо передает свое «послание» любимой в форме теплого, дышащего огнями поезда, а «земной предел» у него «голосит» (сравните у Тихонова: «Не будешь ты, заламывая руки...»).

Открытая эмоциональность Луконина всегда дает о себе знать в самом стихе, в напряжении образных смыслов. Его афористичность не боится прямого хода: «Не стреляйте в грудь мою, жить мне очень надо!» — это не Николай Глазков сказал, не Ксения Некрасова — Луконин. Это эхотех лет, когда о главном невозможно было

говорить вполголоса. «Да, раны зарастают. Но расгут». И это афоризмы, идущие от жизни, не от праздного ума, не от эффекта парадокса.

Когда детей в большой семье растят—  
им шьют с запасом,  
чтобы впрок носилось.

И нам —  
шинели длинные, до пят,  
и шрамы тоже  
выдали навыrost.

Хрестоматийные строки!

Точное, но частное как будто наблюдение о длинных шинелях той первой поры войны, а какое глубокое и печальное обобщение вырастает из него, как незаметно добавлено — «и шрамы тоже...». Но без наглядности этой черточки (шинели до пят), подробности одной из многих, не было бы того сильного заряда достоверности памяти, без которой и нет искусства...

Стал лучше видеть  
далеко,  
стал хуже видеть то,  
что близко.  
А это очень нелегко,  
и в этом слишком много риска.

Стихотворение «Возраст». Именно с возрастом понимаешь, как важно научиться видеть «близкое», как страшно привыкнуть проходить мимо него... И еще один афоризм Луконина: «Узнавший одиночество вдвоем, я славил одиночество со всеми»...

Их можно множить и множить, крылатые строки последних лет. Значит, формулы поэзии Луконина, снискавшие ему повсеместную популярность в первые послевоенные годы («...Лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой»; «Я вернулся к тебе, но кольцо твоих рук — не замок, не венок, не спасательный круг»), эти клише критики многих лет, эти цитаты, без которых не обошлась, наверное, ни одна статья о Луконине, — они не были счастливыми случайностями стили.

Поэтический афоризм — спрессованный образ, сгусток художественного самопознания художника. В афоризмах Луконина прочитывается личный опыт, опыт народного отношения к жизни. По движению афоризма вдумчивый исследователь творчества художника мог бы проследить некоторые важные линии нашего общего развития, по их логике — логику общественного сознания.

Впрочем, в таком внимании к «сливкам» поэзии есть и своя ущербность. Жизнь стиха органична. Дыхание образа шире узко понятого смысла, а потому и вывод — афоризм — появляется в поэзии не так уж часто. Разве вершина — это вся гора? Нет, в горе есть и массивное ее «тело», и склоны, и ущелья, и глубь скалистого дна, в которое стучится горячая лава из самого центра земли, всей земли, заметим про себя!..

Подчеркну: в творчестве Михаила Луконина жизнь играет роль этой магмы. Она глубокоим залеганием своим обеспечивает и неприметность огня под корою многолетних напластований тяжелых пород, и не избегность (вот наконец это слово!) могучих детонаций, когда приходит в движение душа, когда отзывается она на могучий гул народной жизни.

Луконин — опыт его творчества подтверждал это и раньше — не может писать, пока повод личного высказывания не соизмерим с поводом важным и значительным. Его Волга — символ слишком глубокий и просторный. И будущие завоевания луконинской музыки — на этом эпическом по сути, но всегда лирическом по поводам своим пути — с людьми, без одиночества, «в состоянии душевного ликования».

«Очень хочется на Волгу...» — этими словами закончил в 1972 году Луконин свои автобиографические заметки.

Владимир ОГНЕВ.



## АНТАНИНА ГРАЯУСКЕНЕ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ

М. С л у ц к и с. Отдых. Повесть. Перевод с литовского. «Дружба народов», 1974, № 6.

Драмагизм будней, духовность повседневного человеческого существования... Эти проблемы неизменно возникают в творчестве Слуцкиса последних лет. Будь то романы «Адамово яблоко», «Жажда» или рассказы из сборника «Девичье воскресенье». Те же проблемы занимают

писателя и в повести «Отдых». «Те же», если говорить о них в общем виде, очерчивать самым огрубленным контуром. Ведь за моментами сходства, близости у Слуцкиса всегда встают и существенные особенности, отличия. Так и на этот раз.

Производственный фон повести «Отдых» — обычная, ничем не примечательная контора. Треск арифмометра, дробь пишущей машинки, беспокойство о сметах и отчетах. Единственная «творческая личность» повести — муж Антанины Граяускене Фердинандас, барабанщик ресторанного оркестра. И хотя причастность Фердинандаса к миру искусства более чем условная, а его убежденность в том, что он «на творческой работе», может вызвать лишь снисходительную иронию, эта убежденность помогает ему держаться с апломбом и уклоняться от домашних обязанностей.

Повесть Слущкиса, как и другие его произведения, подчеркнута психологична, приближена к исповеди. Плоть ее стиля — в соединении внутреннего монолога Антанины с объективным, идущим от автора изображением. Причем грани между голосом самого писателя и его героини зыбки, размыты, интонации перетекают, переплавляются одна в другую, повествование от первого лица то и дело сменяется несобственно-прямой речью.

Слущкис не выписывает тщательно атмосферу и детали домашнего быта. Но мы тем не менее легко ощущаем тот чеканный ритм повседневности, что подчиняет себе героиню. Это ритм непрерывных, повторяющихся каждые сутки забот — ритм сутолоки, спешки, вечной боязни опоздать. Все действия героини «Отдыха» словно бы запрограммированы, предопределены заранее. На ее плечах, кроме Фердинандаса, еще трое детей. И у каждого свои интересы, свои прихоти, и каждый требует внимания, заботы. Антанина Граяускене настолько втянута в круговорот дел — семейных, служебных и прочих, — что уже не остается времени для себя, для того, чтобы разобраться в смысле своих же собственных усилий. Человек как бы сливается с обязанностями, отождествляется с ними. И они вытесняют из его жизни все остальное. Вот почему мир Антанины угрожающе сжимается, становится с каждым годом все более тесным: «Когда-то были друзья и подруги — у кого их нет в молодости? — постепенно оставалось все меньше, пока однажды не почувствовала себя забытой».

Казалось бы, семья, тепло родного очага должны были компенсировать эти потери, служить своеобразной наградой за самоотречение. Однако и дома ее ждала прежде всего и в первую очередь работа. По-

добно Залыгинской Мансуровой, Антанина занимала здесь место то ли хозяйки, то ли прислуги. Жила не для себя — для детей и мужа. И жизнь эта состояла опять-таки в выполнении всевозможных обязанностей.

Антанина тем ревностнее тащила свою нелегкую ношу, что все ее надежды на счастье были связаны с другими. Сначала с мужем, который собирался поступить в консерваторию и покончить с халтурой. Затем с подраставшими Витукасом и Виганте. Но Фердинандас вскоре охладел к своей мечте, довольствуясь тем, что есть, и не помышляя ни о чем другом. А дети — те жила своими интересами, своими стремлениями, все более отдаляясь от матери. И постепенно «обслуживание» лишилось высокого смысла, этакое ореола духовности. Осталась рутина раз и навсегда заведенного порядка: «Все тебе надоело, ничего не хочется, а похлебку бережешь, как зеницу ока...»

И не столько бесконечные обязанности тяготили теперь, сколько автоматизм существования, отсутствие взаимопонимания с близкими. Материальные результаты трудов Антанины воспринимались как бы отдельно от нее самой. Антанина — хозяйка, кухарка, прачка, добытчица совершенно заслонила собой образ Антанины-человека. Человека со своей сложной духовной организацией, своими представлениями о счастье, чувствами и желаниями.

Антанина ощутила себя как бы в вакууме, отделенной от остальных хотя и прозрачными, но непроницаемыми перегородками.

Слущкис, однако, не развертывает психологического исследования характеров Фердинандаса и его детей. Он пишет не роман со множеством действующих лиц, а повесть с одним центральным героем. И все прожектора писательского анализа наведены здесь на Антанину, на ее душу.

Лишь по первому впечатлению бунт Антанины вызван острой жалостью к себе, постаревшей и потускневшей раньше срока, утратившей вкус к жизни, уставшей от бесконечных забот. В более глубокой своей сущности это реакция на глухоту окружающих. Еще глубже — это попытка снова ощутить ценность собственной личности, восстановить полноту бытия, его духовность. И это главное.

В романе С. Залыгина «Южно-американский вариант» Ирина Викторовна Мансурова хотела обрести себя через любимого,

через любовь. Антанина Граяускене пробо-вала добиться того же, отрешившись от бремени обязанностей.

Повесть Слуцкиса как бы делится на две части. Первая рисует Антанину в кругу повседневных хлопот, разрывающейся между службой и домом. Вторая — выключенной из этого круга.

Атмосфера дома отдыха; чистые, хрустящие простыни; сосны с белками и скворечниками, неторопливые прогулки к беседке с минеральной водой.

При этом меняется не просто обстановка действия — сам ритм бытия, происходит переключение на какую-то иную жизненную волну. Часы больше никуда не подгоняли Антанину, словно на циферблате не было стрелок. Величие природы, ее непреходящая красота незримо вступали в спор с городской суетой. Перед лицом вечности выглядели ничтожными, жалкими вчерашние тревожения, страхи, обиды.

Движение и покой. Лихорадочная деятельность и уютное созерцание. Предельная собранность и изнеженная расслабленность. Слуцкис строит свою повесть на резких контрастах психологических состояний, на переходе от стресса к умиротворенности. Он дает своей героине возможность осуществить заветную мечту об острове тишины посреди бушующего житейского моря.

Итак, панацея от беды как будто найдена.

Идиллия скамеечек, фонтанчиков, шума сосен. Отрешение от мирской суеты.

Правда, идиллия эта недолговечна. Ее продолжительность определена сроком путевки. И звон молочных бутылок в сумках закончивших смену санитарок красноречиво напоминал об этом. Как и письма, приходившие из дома.

Противопоставления движения покою в творчестве Слуцкиса — и это мы видели, например, в «Жажде» — относительны, условны. Полюса у него смещаются, меняются местами. Вот и в повести «Отдых» Антанина временами думала о том, что, «может, спокойствие это и есть прежняя ее беготня с тяжелой сумкой в руках, её старания вручить детям дополнительную опору в жизни, а она не умела этим спокойствием дорожить?».

Покой в беспокойстве и беспокойство в покое — эти парадоксы наполнены у писателя важным жизненным содержанием. В повести Слуцкиса покой столь же кон-

фликтен, что и спешка. Но это конфликт особого рода, порожденный усилением емоционального, высвобождением скованной ранее душевной энергии. Прежде Антанина не успевала подумать о чем-либо, кроме ближайшего, неотложного дела; сейчас же ее делом стали размышления.

Вакуум, образовавшийся после того, как исчез привычный страх опоздать, не успеть, нельзя было заполнить механическим коллекционированием «приятных минут». Для душевного лада недостаточно было одной тишины, требовалась еще и ясность. В себе, в своем отношении к миру. Та, прежняя жизнь не исчезла, а лишь отодвинулась, скрылась с видимого горизонта. Но и оттуда, издалека, она посылала свои импульсы, настойчиво вопрошала героиню, допытывала ее. И поиск ясности, жажда более существенного духовного содержания взламывали защитную броню отрешенности.

Как и в прежних произведениях Слуцкиса, идиллия оказалась призрачной. Покой вызывал лишь новое беспокойство. Происходило, так сказать, отрицание отрицания.

Еще в поезде по дороге в дом отдыха Антанина с жадностью присматривалась к своей попутчице, чернобровой девушке с фиолетовыми губами и в фиолетовых сапожках, ехавшей к своему парню. Не к жениху, не к мужу, а именно к парню: «Говорит: приезжай, будем жить, если мамка не выгонит. У меня как раз свободное время, вот и еду поглядеть».

Мысли о попутчице постоянно перемежаются в сознании Антанины с мыслями о дочери. Та ведь тоже совершенно отбилась от рук, вышла из-под влияния и контроля матери.

Казалось бы, жизнь Виганте была распланирована на много лет вперед, расписана по дням и часам. Научиться играть на пианино, овладеть французским. Но дочь словно назло родителям ломала эти планы и графики. И «пианино стояло, как надгробный памятник тайным надеждам Антанины. У Виганте отличный слух, но она, видите ли, не хочет... И с французским языком не очень ладится, трудное произношение... Что же Виганте хочет? Новое пальто, и как можно шикарнее... И тонкое импортное белье, и модную женскую обувь, и хорошие подарки подруге ко дню рождения».

Сходство облика, пусть внешнего, попутчицы с обликом дочери пугало, настора-

живало. Конечно, Антанина отвергала самое предположение, что ее Виганте когда-нибудь сможет вот так же безрассудно помяться в неизвестность. Но чего же она желала для дочери? Повторения собственной судьбы? Нет, и этот вариант отныне не выглядел привлекательным: «А сама ты разве хочешь, чтобы Виганте жила, как ты, хоть и гордишься замужеством по любви?»

Случайная попутчица оставила Антанине свою загадку, свою тайну. Загадку, спрившую с ее представлениями о любви, о счастье. Но разве эти представления были столь уж непогрешимыми, разве не завели они в тупик ее самою?

И, осуждая девушку, героиня не менее строго осуждала себя. За поспешность в выводах, за то, что не сумела понять, разгадать человека. Да только ли соседку по купе? Ту же Виганте, например, хотя видела ее каждый день: «Действительно, может, я ее не поняла?»

Не только близкие были повинны в том холодке, который окутывал Антанину в ее собственном доме, но и она сама. Жалуясь на глухоту других, забывала о своей глухоте. Именно с жажды понимания начинается в повести процесс преодоления отчужденности, восстановления не формальных, а душевных, стало быть, истинно человеческих отношений с людьми.

В этом плане важную роль в концепции произведения играет встреча Антанины с Констанцией Кайрене. Я не могу сказать, что Констанция — особо удавшийся писателю образ. В ней много недоговоренного, непроященного; контуры характера размыты, расплывчаты. Причины страданий этой молодой женщины, неустroенности ее судьбы не в каких-то сложных общественных обстоятельствах, которые обычно любит и умеет исследовать Слуцкис, а в тяжелом заболевании — эпилепсии.

И потому введение новой героини в повесть не сопровождается введением острой, социально значимой проблематики. Назначение Констанции в «Отдыхе» преимущественно служебное. Она помогает Антанине полнее выразить себя, взгляды на жизнь.

Взгляд Антанины не случайно выхватывает Кайрене из пестрой толпы курортников. Поражала не просто редкостная красота этой женщины — поражала незащищенность, ранимость новой знакомой, тот страх, который она испытывала перед посторонними. В Констанции Антанина словно угадывала родственную душу, узнавала себя, но

себя не сегодняшнюю — вчерашнюю. И общая точка отсчета помогла определить величину пройденного пути, прибавку духовного опыта.

Как мы помним, героиня Слуцкиса отмахнулась в поезде от попутчицы, поленилась узнать «с кем разговаривала? Где она учится, работает?.. Не спросила даже, как ее звать». Всецело занятая собой, она оттолкнула тогда чужие страсти, прошла мимо них. Сейчас боль Констанции становилась и ее болью.

В этой смене нравственных позиций является у Слуцкиса самодвижение характера. Самодвижение очевидное и внутренне обновляющее. Та Антанина старалась сторониться от людей, эта — сблизиться с ними. Отрешение от мира и включенность в него. Пассивная созерцательность и деятельное участие.

В Констанции Кайрене воплощалось многое из того, что Антанина мечтала найти в своей дочери. Женственность, хороший вкус, образованность, свободное владение французским. И потому отношение к соседке по комнате проникнуто у нее почти материнским чувством. Чувством, которое и делало ее равнодушной, заставляло в равной мере и восхищаться Констанцией и не соглашаться с ней.

Образ Кайрене, ее философия символизируют в повести бессилие перед лицом судьбы, отказ от какого бы то ни было стремления изменить ее, отчаяние перед завтрашним днем. Это жизнь без порыва, без надежды на лучшее, жизнь в страхе перед правдой, перед реальностью: «С ложью кое-как еще перебиваешься, а с правдой... Лучше не говорить об этом!»

Спор Антанины с Констанцией имеет принципиальное значение. Ибо спор этот не только с подругой, но и с собой. С тем, что мучило вчера, с прежними представлениями и иллюзиями. Спор, как бы подводящий черту под прошлым. Ведь и сама Антанина, подобно Констанции, пробовала убежать от реальности, заслониться от нее отдыхом, забвением, безучастностью: «Давно ли сама так думала? Так жила? От одной лжи, от одной дымовой завесы кинулась в другую, не столь густую, позолоченную лучами курортного солнца. Дорвалась до отдыха, а правда одна и там и здесь...»

Признание неделимости правды знаменовало обретение большей трезвости во взгляде на действительность. Все в жизни конфликтно: и будни, и праздники, и отно-

шения между людьми, и даже сама красота. Нет в ней уголков спокойствия, благословенных островков, где можно переждать непогоду, укрыться от пронизывающих ветров времени.

Эти выводы героини порождены вовсе не примирением с обстоятельствами. Напротив, в концепции повести они наполнены активным, действенным, гуманистическим содержанием. Антанина учится видеть истинный порядок вещей для того, чтобы не предаваться иллюзиям и не строить воздушных замков. Она хочет не растворяться, как некогда, в потоке дел, а отыскать себя в нем, не плыть по течению, а прокладывать свой маршрут. И прокладывать его осознанно.

Движение повести Слуцкиса не есть движение по замкнутому кругу. Оно представляет собой незаметное, но последовательное восхождение по спирали. Антанина, уезжавшая из дома, и Антанина, стоящая на пороге возвращения в него, находятся на разных витках. Время, разделяющее их, переплывало в качественно иное духовное зрение, иные запросы, иной опыт: «Беспокойство за Констанцию, словно шлейф, тащило за собой старые ощущения, хотя теперь они не разбивали трезвого, подкрепленного иным опытом хода мыслей. О своих детях, например, думала с легкой грустью и уважением, словно то были не ее собственные, а незаметно выросшие дети соседей. Вернувшись, найдет их изменившимися. Она и хотела, и боялась этого, но уже не прежним слепым страхом. Удастся ли заново, не рабски к ним привыкнуть? И как рядом с ними — меняющимися и изменившимися — будет выглядеть Фердинандас?»

В этом слове «не рабски» весь гвоздь. Оно свидетельствует о мироощущении человека, осознавшего себя личностью. Личностью, причастной ко всему, что совершается вокруг нее, и несущей свою долю ответственности за происходящее. И в том уважении, с которым Антанина подумала о детях, тоже вставало признание их самостоятельности, неповторимости и желание построить отношения с ними на каких-то других началах.

Нет, Антанина не надеялась, что ее завтрашняя жизнь будет безоблачной («От меня же станут требовать больше»), но она вступала в круг новых забот более крепкой духом, более чуткой к себе и людям,

вооруженной волей к сознательному, а не слепому, автоматическому действию.

Тревожной ночью, когда Констанция забилась в очередном припадке, когда она в минуты просветления умоляла не связываться с нею, не мучиться из-за нее, Антанина как-то особенно отчетливо поняла, что уже не может оставить эту женщину, забыть о ней. Долг перед посторонним еще вчера человеком становился долгом перед собой, чужая судьба входила в собственную.

К прежним заботам Антанины Констанция прибавляла новые. Но вместе с ними приходило ощущение покоя — покоя в беспокойстве, сознание своей необходимости людям. Так что же, опять жизнь для других? Нет, и для себя самой. Ибо во всех этих делах — и сегодняшних и завтрашних — героиня выражала свою натуру, раскрывала свое сердце.

Повесть Слуцкиса вся сосредоточена на буднях, будничном, на быте. Но она отнюдь не камерна по выводам, по своему звучанию.

В критической практике мы порой склонны отмахиваться от такого рода историй, находя их второстепенными, малосущественными. Подумаешь, великое дело — быт! Но разве этот третируемый нами быт не составляет значительную часть нашей жизни, не поглощает большую часть наших усилий? Мне вспоминаются слова одного из героев романа С. Залыгина «Тропы Алтая»: «Вот человек переносит войны, болезни, жертвы, и все ради самой обыкновенной жизни, а когда она наступает — обыкновенная, — не умеет прожить ее. И получается, будто страдания в самом деле — это самое значительное для него».

Мне кажутся очень важными эти размышления.

Обыкновенная, будничная жизнь, в том числе и быт и сфера домашних, семейных отношений, дает художнику возможность выйти к значительным, актуальным проблемам времени, человеческого существования. Нужно только различать натуралистическое, бескрылое бытописание и подлинно художественное, освещенное высокой идеей исследование быта, углубляющее представление о человеке наших дней, о его мироощущении.

Именно к этим исследованиям и принадлежит повесть Миколаса Слуцкиса.

Л. ТЕРАКОПЯН.



## ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

**Вера Смирнова. Из разных лет. Статьи и воспоминания. М. «Советский писатель». 1974. 702 стр.**

«Из разных лет» — книга автобиографическая. Ее обширные разделы, включившие удивительно разнородные материалы, составляют как бы личную энциклопедию критика. «Энциклопедия» открывается статьями, посвященными книгам К. Федина «Писатель. Искусство. Время» и «Горький среди нас». Вера Смирнова с восхищением пишет об этих книгах. И хотя они, как известно, не обойдены вниманием критики, ей удается прибавить немало интересного к тому, что говорилось прежде.

Особенно, на мой взгляд, интересен спор с К. Фединым по поводу пьесы Булгакова о Пушкине «Последние дни», поставленной во МХАТе (этому посвящена статья в книге К. Федина «Писатель. Искусство. Время»). Спор этот имеет не частное, а принципиальное значение для познания всегда неведомых путей искусства.

«Федин считает, что драматург должен был вывести Пушкина на сцену, а он вывел его из пьесы», — пишет В. Смирнова. И приводит слова самого Федина: «Основная заготовка для спектакля сделана зрителем: он знает биографию русского поэта Пушкина. Если бы этого не было, спектакль был бы невозможен...»; театр «играет пушкиноведение», в то время как его задача «играть любовь, страсть, измену, предательство». «Конечно, — отвечает критик, — для того, чтобы посмотреть этот спектакль, надо уже знать Пушкина. Но разве не вправе был Булгаков считать, что советский зритель, зритель МХАТа, не может, не смеет не знать Пушкина». В отказе Булгакова от превращения театра в избу-читальню «буки-аз», Вера Смирнова видит только своеобразие решения художником своей задачи. «Последние дни» — это спектакль-воспоминание, в котором живет наше — у каждого свое — восприятие Пушкина, не нарушаемое внешним, грубым воплощением...»

В «Последних днях» гениально играл царского шпика Биткова, приставленного к Пушкину Бенкендорфом, Василий Осипович Топорков. В дни юбилея актера (1964) я вновь смотрел эту пьесу с его участием. Не будучи знаком с В. О. Топорковым, я написал ему подробное письмо, где признался, что испытал на спектакле такой ужас, как будто Пушкина убили вчера. В. О. Топорков

разыскал мой адрес и ответил мне тотчас же: «Сердечно благодарю Вас за теплое приветствие. Со всей искренностью завещаю Вас, что для меня это был самый ценный юбилейный подарок».

Позволяю себе цитировать письмо знаменитого артиста, конечно, не из хвастовства, а как одно из ценных подтверждений правоты Веры Смирновой в ее прочтении пьесы, ее трактовке спектакля. Помните те, кто видел Топоркова в этой роли, как восторженно Битков читает «Буря мглою небо кроет», а зритель видит, слышит живого Пушкина, тело которого провожает под разыгравшуюся метель несчастный шпик...

Вера Смирнова убедительна и в своем споре с К. С. Станиславским по поводу пьесы Булгакова о Мольере: «Станиславский хотел другой пьесы о Мольере и не мог понять, что Булгаков написал пьесу о несвободе таланта, о травле гения».

Мне хочется сказать особо и о ее статье «Михаил Булгаков — драматург». В этой статье Смирнова возвращается к его «Последним дням» и великолепно развертывает свои доводы в пользу Булгакова. Но поскольку об этом уже была речь, ограничусь некоторыми мыслями критика о драматурге, мыслями, которые показались мне замечательными. Вот они:

«...почему такое щемящее чувство неудовлетворенности остается после внимательного вхождения в строй его драматургии, в мир его образов, в его запоминающееся слово на театре? Кто он, этот своеобразный и прихотливый, такой воздействующий и такой русский талант?»

Я думаю, что он был писателем, необычайно остро чувствующим свое время и развившим его в необычайно острой, новой, современной форме. Но, сатирик по складу ума и дарования, он видел и в настоящем предрассудки, уродства и ошибки старого, уходящего и побивал их камнями. Он делал это во имя будущего, которое — он знал — несет победу и новую жизнь. Но говорить об этой новой жизни он не умел. И именно потому он не был вполне понят и принят своим временем.

Но Время, которое постепенно ставит все на свои места и возвращает нам то, что было отринуто когда-то, уже вернуло на сцены театров все лучшее, что создано талантлив-

вым советским драматургом Михаилом Булгаковым».

В разделе, посвященном драматургии, кроме Булгакова, мы встречаемся с К. С. Станиславским, Евгением Шварцем, с увлечением следим за тем, как анализирует критик спектакль «Ломоносов», поставленный в Московском Художественном театре, пьесу «Годы страстий» Арбузова, и понимаем, что Вера Смирнова «свой человек» для театра. А в конце книги узнаем, что она и начинала свой путь в искусстве как восторженная участница коллектива Всеволода Мейерхольда, ставившего «Маскарад» в незапамятные дни начала 1917 года, накануне Февральской революции. Кто сейчас может вспомнить, как это было?!

Но, пожалуй, самым неожиданным для меня оказался третий раздел книги, где читатель основательно знакомится с представителями узбекской советской литературы — Абдуллоё Каххаром, Аскадом Мухтаром... О последнем статья начинается так:

«Аскад Мухтар — мой земляк, он родился в Фергане, городе моего детства, моей юности, и мне радостно думать, что мы ходили с ним по одним улицам, прятались от солнца под одними деревьями, жили под одним небом...»

Живой зачин для критической статьи, не правда ли? И затем легко разворачивается разбор книги Мухтара «Время в моей судьбе», следует сказать, весьма требовательный по отношению к творчеству писателя-земляка. Высокий художественный критерий русской литературы, личные воспоминания детства и юности Туркестана — старой царской колонии — выгодно укрепляют позицию критика в его суждениях о любимых образах узбекской прозы и поэзии, как и других среднеазиатских республик. В. Смирнова может лучше понять и оценить небывалое, рожденное Октябрьской революцией в многонациональной советской литературе.

К сожалению, меньше всего из героев книги В. Смирновой я знаю писателей Узбекистана. Но вот искрометную «Птичку-невеличку» Каххара читал в свое время с удовольствием, а теперь, после разбора этой повести Верой Смирновой, смог уяснить и ее место в литературном ряду — от «аскиа-база», народных состязаний в остроумии, существовавших у узбеков с давних времен, до таких произведений мировой литературы, как «Укрощение строптивой» Шекспира, где разворачивается «поединок» между мужчиной и женщиной. Критик превосходит

но показывает, как обновляется древняя тема в «поединке» Каландарова — председателя колхоза, страстного хлебороба, с молодой девашкой Саидой, «птичкой-невеличкой», вступившей с Каландаровым в борьбу за него самого.

Известно, как велико преимущество критика, который оценивает работу художника, зная натуру, с какой написана картина. Когда Вера Смирнова, раскрывая тонкую красоту «Прощай, Гульсары!» Айтматова, в частности, высоко оценивает картину скачек, древнюю игру аламан-байга, судит с полным знанием дела, восхищаясь искусством художника, мы завидуем авторитетности ее суждения: «Я помню — в детстве и в ранней юности мне случилось несколько раз быть с отцом на тоях и видеть скачки с козлодраньем. В этих скачках мог принять участие всякий, у кого были конь и отвага... Вероятно, пока есть кони и смелые люди в Киргизии, будет жить и эта старая игра. Айтматов как художник отдал ей дань, изобразив ее лаконично и сильно...»

Говоря о «Белом пароходе» Ч. Айтматова, Вера Смирнова приводит цитату из Достоевского: «Меня всегда поражала мысль, как плохо знают большие детей... От детей ничего не надо утаивать под предлогом, что они маленькие и им рано знать. Какая грустная и несчастная мысль! Сами дети подмечают, что отцы считают их слишком маленькими, ничего не понимающими, тогда как они все понимают. Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет... Через детей душа лечится...» — это говорит устами своего героя Федор Михайлович Достоевский в самой лучшей из своих книг — в романе «Идиот». Вера Смирнова пишет о «Белом пароходе» с таким проникновением, с таким волнением именно потому, что ее героем является чудесный мальчик, а «через детей душа лечится».

Большой раздел книги критика посвящен детской литературе. О нем мы скажем специально, но тема детской литературы, как уже можно было заметить, просачивается и выбивается и в других разделах. В статьях о Борисе Житкове, Льве Квитко и Сергее Михалкове даны отличные, чрезвычайно важные в познавательном отношении характеристики писателей.

Много интересного и много нового для себя узнал я из статей «Белеет парус оди-



нокий» В. Катаева», «Алексей Толстой — детям», «Януш Корчак и его книги».

Повесть Валентина Катаева «Белеет па-рус...» названа Верой Смирновой класси-ческой советской детской книгой. Мне довелось присутствовать на первом чтении ее автором в 1936 году в тесном кругу ли-тераторов. Потом я писал о ней в обзоре литературы за тот год для горьковского альманаха «Год XIX» и не раз перечитывал просто так, когда она мне попадалась. Потом я встречал о ней много восторженных ста-тей. И вот оказалось, что кое-что из Катаева я пропустил, словно бы читал при плохом освещении или в очках не с той диоптрией. Это «кое-что» восполнила статья Веры Смирновой, впервые прочитанная мной в ее книге. Вот что Вера Смирнова пишет об изо-бразительном искусстве В. Катаева:

«Мы словно видим своими глазами, как «маленькая бирюзовая ящерица, выскочи-вшая из бурьяна погрет», на солнце бисер-ную спину, висела, схватившись лапкой за камень, и смотрела на мальчика прищурен-ными глазами». Яркость и чистота красок и детское восприятие мира сочетаются здесь, ибо кто же из взрослых скажет, что ящерица способна прищуриваться!»

Признаюсь, я это пропустил.

Вера Смирнова напоминает читателю ту сцену в повести, где мальчик на приемном экзамене в гимназию читает стихотворение Лермонтова. Петя читает «с выражением», с «величайшей готовностью», но экзамена-тор его прерывает, убеждаясь, что мальчик знает, и не разрешает читать до конца.

Вот что пишет Вера Смирнова по поводу этой сцены:

«Не могу не сказать здесь, что юмори-стическая картинка эта, нарисованная Ка-таевым, сохранила свою жизненность, к со-жалению, и в наше время. Не только на экзаменах, но и на уроках подчас учитель прерывает ученика на середине стихотво-рения и даже посреди стихотворной стро-ки. «Довольно, хватит, видно, что знаешь», — говорит учитель. Это обрывание ужасно, оно наносит неизгладимый вред ребенку. Те, кто ныне ратует за эстетическое воспи-тание в школе, должны постоянно объяс-нять учителям, что такая «проверка зна-ний» убивает поэтическое чувство, свой-ственное ребенку с малых лет, чувство сти-ха, чувство ритма, музыки слова, что стихи нельзя рубить на куски, как полено, что стихотворение, как всякое произведение искусства, воздействует своей цельностью,

что надо беречь, как драгоценность, эту цельность впечатления, что в тысячу раз полезней, чтобы ученик прочел, а класс прослушал все стихотворение целиком, чем если каждый для проверки скажет из него одну строчку».

Я позволил себе столь длинную выдержку из статьи Веры Смирновой, потому что хо-тел бы лишний раз предостеречь от неува-жения к искусству слова, возможного и в сегодняшней школе (оправдываемого, как правило, недостатком времени у учителя). Думаю, что это место в книге критика, да и вся она в целом должны убедить читате-ля, что критик, так подходящий к зада-чам искусства, критик, для которого дет-ская тема — авторская, делает великое дело. И с горечью упрекаю себя, почему не включился я в свое время в участие в этом деле, к чему меня призывали — через пе-чать — уважаемые деятели большой литера-туры для маленьких...

В статье «Алексей Толстой — детям» глав-ное место занимает, конечно, «Детство Ни-киты», по характеристике Веры Смирно-вой — «одна из лучших русских книг о дет-стве». Она напоминает, что у А. Н. Толстого был еще и мало кому известный детский рассказ «Как ни в чем не бывало», напи-санный вскоре после возвращения писателя из эмиграции (напечатан в 1925 году). Кри-тик, умело пересказывая его, передает свое отношение к произведению, показывает, что «в пику взрослым, которые не понимают детей», и появился этот рассказ.

Рецензируемую книгу завершают заметки «Из воспоминаний» — совершенно есте-ственное дополнение к статьям у автора со столь долговременным опытом литератур-ной работы, как у Веры Смирновой. Порт-ретные штрихи, черты характера Всеволода Мейерхольда, А. М. Горького, Садридинна Айни, К. Чуковского, Генриха Нейгауза и других намечены очень живо и верно. И эти воспоминания отлично ложатся в книгу кри-тика, потому что в статьях Веры Смирно-вой увлекательно развивается аналитиче-ская мысль, потому что написаны статьи хорошим русским языком и без всякой «академической» манерности. Уверен, что книга «Из разных лет» будет с удовольстви-ем прочитана всеми любителями критиче-ской прозы. А их становится все больше и больше за пределами кругов собственно ли-тературных. Видно, не прошла мимо наше-го читателя — высшего «судии» мысль о

роли и назначении критики, выраженная в известном партийном документе.

В книге «Из разных лет» сосредоточен громадный опыт исследования современной живой литературы вплоть до последних явлений ее. И хотя В. Смирнова не ставит вопросов теории, но помогает думать над ними всерьез по долгу совести.

В своих статьях критик обращается главным образом к позитивному опыту литературы, но иногда она прямо говорит и горькие вещи своим «товарищам по жизни», пользуясь выражением Степана Щипачева. И мы не дали бы полного представления о ее книге, если бы не сказали об этом. В разделе «Из критического дневника» мы встречаем два сравнительно недавних выступления: «Но зачем!» (1969) и «Личная жизнь инженера Мансуровой» (1973). Первое посвящено «Кубику» Валентина Катаева, второе — «Южно-американскому варианту» Сергея Залыгина. Писатели эти разных поколений — «хорошие и разные». И замыслы у них, как всегда, были очень серьезные. Но в литературном деле есть всегда риск. По-моему, писатели — это люди самой рискованной профессии, имею в виду честных и талантливых художников,

а не ремесленников и халтурщиков. А риск состоит в том, что при самом добросовестном труде и увлечении замыслом может получиться не совсем то или даже совсем не то, что общество ждет от писателя.

Невеселая задача критика, когда благое намерение автора не вызывает сомнения, а произведение задевает нравственное и эстетическое чувство. Но Вера Смирнова честно и доказательно высказывает свое отношение к этим произведениям — почему она их не принимает.

Многообразие интересов критика Веры Смирновой подчинено одной сверхзадаче, определяемой ее авторским интересом к литературе для маленьких: ведь «через детей душа лечится». И также лечится она через открытие души человека художником. Вера Смирнова пишет не только о книгах, не просто о книгах, но и о людях — их авторах, с которыми она дружила, спорила и вместе с которыми росла в искусстве. «Моя жизнь в искусстве» — так названа знаменитая книга. Мне кажется, что и книга Веры Смирновой «Из разных лет» принадлежит к числу тех, которые могли удостоиться права на такое название.

**В. ПЕРЦОВ.**



### Политика и наука

#### ПАМЯТЬ ВЕТЕРАНОВ

Они встречались с Лениным. Воспоминания ветеранов Советских Вооруженных Сил. М. Политиздат. 1974. 176 стр.

В кинофильме «Красная площадь» есть эпизод: В. И. Ленин принимает парад молодой Красной Армии и вместе с красноармейцами, командирами и комиссарами произносит слова присяги. Можно было бы предположить, что эти кадры — художественный вымысел. Но нет, перед нами реальный эпизод, только он произошел не на Красной площади, а на территории гранатного цеха бывшего завода Михельсона (теперь — имени Владимира Ильича). Об этом рассказал в недавно вышедшем сборнике воспоминаний ветеранов Советских Вооруженных Сил А. Д. Блохин, бывший военный комиссар и начальник гарнизона Замоскворецкого района Москвы.

Весной 1918 года ВЦИК утвердил «Формулу торжественного обещания»; ее давал каждый, кто вступал в ряды Рабоче-Кре-

стьянской Красной Армии. 11 мая воинские части, расположенные в Замоскворечье, были построены на бывшем заводе Михельсона. По просьбе коллеги райвоенкомата ее председатель И. В. Косиор пригласил Владимира Ильича присутствовать на праздничной церемонии. Ленин приехал.

«После поданной командиром 4-го Советского полка Рачицким команды «смирно!», — вспоминает А. Д. Блохин, — прозвучали начальные слова торжественного обещания:

— Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики, принимаю на себя звание воина Рабочей и Крестьянской армии...

И. В. Косиор зачитал полный текст социалистической клятвы, каждую фразу которой четко повторяли красноармейцы и

командиры. Вместе с ними эту клятву принял и Владимир Ильич».

Затем, поздравив бойцов, Ленин произнес речь о задачах вооруженных сил рабочих и крестьян.

Рецензируемая книга — работа коллективная. В каждом ее очерке — неповторимое авторское «я»: особый характер и темперамент, разная степень наблюдательности, пылкости. Но вместе они создают типическую фигуру участника Октябрьской революции, гражданской войны, человека с ружьем.

Гвардии полковник в отставке Э. И. Кусин встретил Февральскую революцию на Западном фронте унтер-офицером лейб-гвардии конного полка. Ко времени Октябрьской революции полк был твердо большевистским и, узнав, что контрреволюция угрожает Петрограду, единодушно решил грудью защитить колыбель советской власти. «В пути, — рассказывает автор, — мы видели, как разваливалась старая армия, как уходили солдаты по домам, захватывая вагоны, растаскивая имущество. В такой тяжелой обстановке наш полк выдержал испытание с честью. Спаянный большевистской дисциплиной, он не поддался стихии, остался в строю и продолжал двигаться в Петроград. А там — как скажет Ленин!»

В столицу конногвардейцы прибыли в начале 1918 года. Кусин — председатель полкового комитета и выборный командир полка — отправился в Смольный, представился тогдашнему наркомвоену Н. И. Подвойскому, главноверху Н. В. Крыленко и заявил, что полк ждет указаний.

Наркомвоен и главноверх вместе с Кусиным пошли к Председателю Совнаркома. Расспросив фронтовика, Ленин сказал, что в ближайшие дни появится декрет о создании на добровольных началах Рабоче-Крестьянской Красной Армии<sup>1</sup> и что конногвардейский полк сможет встать в ее ряды. «Передайте товарищам привет, — говорил на прощание Ленин. — Надеюсь, вы хорошо будете защищать добытую рабочими и крестьянами Советскую социалистическую республику, Советскую власть».

Не прошло и двух часов, как мотоциклист привез конногвардейцам приказ: полк утверждается в составе Красной Армии; прежнее наименование лейб-гвардейский заменяется новым: Первый конный полк

Рабоче-Крестьянской Красной Армии; командиром полка назначается Э. И. Кусин.

Автор добавляет несколько строк, которые, конечно же, могли быть развернуты в подробное повествование: первый красный конный полк храбро отражал атаки контрреволюционеров на Петроград, участвовал в подавлении антисоветского мятежа в Ярославле, бился с козачковскими полчищами. Но дальнейшая история полка, рассказ о его солдатах, командирах, политработниках по необходимости остались за пределами краткого очерка.

Авторы воспоминаний не занимали при жизни Ленина видных постов в Красной Армии (до нее — в Красной гвардии); воспоминания таких военных работников напечатаны раньше и хорошо известны<sup>2</sup>. Но и в рецензируемой книге выступают те, кто немало труда вложил в формирование Вооруженных Сил Страны Советов, те, кто видел, слышал Ленина и, претворяя в жизнь его идеи, крепили оборонную мощь первого в мире социалистического государства, самоотреченно боролся с контрреволюционерами и империалистами.

К сожалению, сборник лишен хотя бы краткого справочного аппарата, необходимого в массовых изданиях. Однако даже лаконичные сведения об авторах позволяют получить представление о поколениях, на плечи которого легла историческая миссия строительства Красной Армии.

Большинство авторов начинало военную службу в солдатской, красноармейской шинели. И достигло полковничьих, генеральских звезд: опытные, квалифицированные, политически стойкие советские офицеры!

В сборнике помещены воспоминания тридцати двух человек. Четверо — большевики-подпольщики, четверо стали членами партии в 1917 году, пятнадцать — в период гражданской войны (1918—1920), осталь-

<sup>2</sup> Упомянем некоторые: В. Антонов-Овсеенко. В революции. М. 1957; С. И. Арапов. Ленин вел нас к победе. М. 1962; М. Д. Вонч-Вруевич. Вся власть Советам. М. 1964; Н. И. Подвойский. О военной деятельности В. И. Ленина («Коммунист», 1957, № 1). См. также в третьей книге пятитомного издания «Воспоминания о В. И. Ленине» (М. 1969); В. П. Антонов-Саратовский. В годы гражданской войны; И. И. Вацетис. Две встречи с Лениным; К. Х. Данишевский. Встречи с Лениным в годы гражданской войны; С. С. Каменев. Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине; М. С. Кедров. Из Красной тетради об Ильиче.

<sup>1</sup> Декрет Совнаркома был принят 15 и опубликован 16 января 1918 года.

ные — в последующее время, в том числе и в годину Великой Отечественной войны. Отсюда явствует, что Красную Армию строили и взращивали не только коммунисты, но и беспартийные, увлеченные высокими, благородными идеалами великой пролетарской революции. И вот что чрезвычайно интересно: каждый мемуарист отобразил то влияние, которое оказал на его душу и разум В. И. Ленин.

В кратком введении к книге дважды Герой Советского Союза генерал армии П. И. Батов отмечает: авторы сборника делают тем, что сами видели и слышали, прочувствовали и продумали, пишут поразному, но все — искренне, правдиво, достоверно.

Полковник-инженер в отставке И. М. Цалькович впервые увидел и услышал Владимира Ильича в ночь с 3 на 4 апреля 1917 года. Студент Петроградского политехнического института, человек зыбких политических взглядов, Цалькович вместе с рабочими, солдатами, матросами пришел на площадь Финляндского вокзала. Речь В. И. Ленина, произнесенная с броневика, отмечает автор, «во многом определила мой дальнейший жизненный путь». Полторы недели спустя он слушал Ленина в Михайловском манеже, а еще через три дня, 18 апреля (по новому стилю — 1 мая), на Охте, на митинге рабочих пороховых заводов. Говорил Ленин «проникновенно, доходчиво», собравшиеся с восторгом восприняли призывы оратора скорее кончать ненавистную империалистическую войну, укреплять единство пролетариев всех стран, добиваться перехода власти в руки Советов. «У меня, как и у многих слушавших речи Владимира Ильича в апреле 1917 года, отпали всякие сомнения и неясности... Идеи великого Ленина глубоко проникли в мое сознание, и я решил вступить в партию большевиков. Борьба в ее рядах за коммунизм и поныне составляет цель моей жизни».

О незабываемом впечатлении от выступления Ленина рассказывает и Ф. И. Абрамов. Доверенное лицо батальонного солдатского комитета, он ездил в Петроград, к путиловцам за большевистской литературой и здесь, на заводе, славном революционными традициями, в мае 1917-го услышал речь Ленина о войне, о мире, о земле, о буржуазной сущности Временного правительства, о власти Советов, за которую надо бороться. «Многие вопросы, казавшиеся до этого смутными, теперь были предель-

но ясными». А. С. Гундоров, генерал-лейтенант в отставке, в семнадцатом году рабочий-обуховец, вспоминая выступления Владимира Ильича тех месяцев, пишет, что сразу после таких речей «стихийно собирались люди, делившиеся своими мыслями» по поводу услышанного из уст вождя большевиков, а члены РСДРП(б), «естественно, подключались к этим разговорам и становились активными пропагандистами ленинских идей».

Полковник в отставке П. А. Прищепчик присутствовал в конце 1920 года на объединенном заседании коммунистов—делегатов VIII Всероссийского съезда Советов, членов ВЦСПС и МГСПС, где выступил Ленин. Он говорил о роли и задачах профсоюзов. Напомним, что это было время острой борьбы с оппозиционерами, искажавшими назначение профсоюзов в государстве пролетарской диктатуры. «Говорил Владимир Ильич очень просто, искренне, убежденно. И эта убежденность передавалась всем слушателям, оскоряя их сильнее, чем приемы выступавших до этого ораторов, которые рассчитывали на внешний эффект». И дальше: «Владимир Ильич критиковал своих оппонентов остро, иногда с иронией, тонким юмором, но по-товарищески, без малейшего признака неуважения, без всякой попытки унижить, оскорбить... Его критика была строго обоснована, доказательна. Это подтверждала реакция критикуемых товарищей. На лицах тех из них, кто сидел в президиуме, можно было разглядеть улыбку, порой несколько виноватую».

О скромности Ленина, о его нежелании выпячивать свою личность, о его деликатности говорится на многих страницах сборника. Генерал-лейтенант в отставке Я. Д. Чанышев весной 1921 года был комиссаром стрелковой бригады, участвовавшей в подавлении басмаческих банд, и в составе делегации от коммунистов Туркестана прибыл в Москву на X съезд РКП(б). Разместили приехавших товарищей в III Доме Советов на Садово-Каретной. «Заходим в зал, где велась регистрация делегатов, и глазам своим не верим: за одним из столов сидит Владимир Ильич и заполняет анкету... Вот он встал, пристроился к концу очереди, ожидавшей выдачи мандатов. Когда подошел его черед, быстро расписался...»

Другой автор, полковник в отставке А. Б. Кадишев, был делегатом X Всероссийской конференции РКП(б), состоявшейся в

конце мая 1921 года. В его воспоминаниях есть такой примечательный эпизод:

«В конце партконференции делегаты попросили Владимира Ильича сфотографироваться вместе с ними. Он подошел к ряду кресел, где сидел и я, увидел свободное место и спросил:

— Здесь можно сесть?

От неожиданности я смутился...

— Вы с фронта? — обратился ко мне Ленин, заметив, видимо, мое смущение.

— Да, с Западного.

Владимир Ильич сел рядом и, тепло улыбаясь, сказал:

— Вы, пожалуйста, подвиньтесь вправо, а то, чего доброго, заслоню вас...»<sup>3</sup>.

Одно из достоинств мемуарных книг заключается в том, что они побуждают еще и еще раз обращаться к первоисточникам. Член партии с 1912 года, генерал-лейтенант в отставке Г. П. Софронов описывает приезд Владимира Ильича в Академию генерального штаба РККА. Произошло это 19 апреля 1919 года.

10 апреля Совнарком принимает декрет о мобилизации в Красную Армию рабочих и крестьян, родившихся в 1886—1890 годах; мобилизации подлежали граждане Петрограда, Москвы и ряда неземледельческих губерний. В тот же день Владимир Ильич пишет «Письмо петроградским рабочим о помощи Восточному фронту»; оно опубликовано 12-го. 11 апреля Ленин пишет «Тезисы ЦК РКП(б) в связи с положением на Восточном фронте». Тезисы начинаются с оценки суровой обстановки: «Победы Колчака на Восточном фронте создают чрезвычайно грозную опасность для Советской республики» — и содержат план мер, необходимых для того, чтобы добиться перелома в военных действиях и разбить Колчака. Назавтра «Тезисы...» появляются в печати: партия, рабочие, крестьяне должны знать правду. 11 апреля Ленин делает на заседании пленума ВЦСПС обширный доклад о задачах профсоюзов в связи с мобилизацией на Восточный фронт; доклад публикуется в «Известиях». А 19 апреля Владимир Ильич приехал в Военную академию, чтобы встретиться с ее командованием и слушателями, побеседовать с ними.

<sup>3</sup> Фотоснимок «В. И. Ленин среди делегатов X Всероссийской конференции РКП(б)» не раз воспроизводился в печати (см. например: Воспоминания о В. И. Ленине. М. 1969, т. 4, между страницами 208 и 209).

Легко представить себе, с каким предельным напряжением работал в то время Ленин. Здесь уместно сослаться на свидетельство Н. К. Крупской: «Надо было крепить Красную Армию, поддерживать в ней боевое настроение, продумывать планы на военном фронте, нужно было обеспечить снабжение хлебом Красной Армии, тыла, рабочих центров... И хоть ни на минуту не ослабевала у Ильича уверенность в победе, но работал он с утра до вечера, громадная забота не давала ему спать. Бывало, проснется ночью, встанет, начнет проверять по телефону, выполнено ли то или иное его распоряжение...»

В академии Владимир Ильич появился неожиданно и, пока собирали слушателей, поговорил с руководителями. Он сказал о кризисном положении на Восточном фронте, о том, что в нашей армии мало грамотных специалистов, что командиров частей и соединений, хотя и с трудом, мы находим среди членов партии или сочувствующих нам младших офицеров старой армии, но многие из них не в состоянии управлять войсками; особенно тяжело положение с работниками штабов. Дальше Ленин спросил: нельзя ли теперь же отобрать из числа слушателей двадцать или тридцать грамотных командиров и послать их в действующую армию?

Такая группа была досрочно выпущена из академии. В ее состав вошли и руководители парторганизации В. Н. Павлов, Г. П. Софронов. Оба впоследствии присутствовали на VIII конференции РКП(б). Увидев их, Ленин стал расспрашивать о накопленном опыте, о фронтовой жизни. Они рассказали, что воевали на Восточном фронте, начали с штабных должностей, потом были переведены на командные. Как вспоминает Софронов, Ленин с удовлетворением отметил: «Значит, поучились в академии, поработали в штабах и стали командирами. Это хорошая основа для службы в армии...»

И после гражданской войны Владимир Ильич внимательно следил за развитием и усилением Красной Армии, призванной, как он сказал в одном докладе, помочь «сохранить мир, который был нами куплен такой дорогой ценой».

Об этом Владимир Ильич напоминал и кремлевским курсантам, которых встречал на постах (или наблюдал за их занятиями на площадях в Кремле). Он даже, как свидетельствует бывший преподаватель пуле-

метных курсов П. С. Суранов, «часто про-  
верял учебные пособия...». Беседаю одна-  
жды со слушателем курсов М. М. Косых (за-  
кончил службу в Советской Армии гене-  
рал-лейтенантом авиации) и узнав, что тот  
успел повоевать за власть Советов, Ленин  
сказал: «Это очень хорошо. Теперь есть  
время и возможность получить военное об-  
разование и стать полноценным советским  
командиром. Нам очень и очень нужны  
свои образованные командиры».

У бывших кремлевских курсантов сло-  
жилась традиция: ежегодно 22 апреля, где  
бы кто ни служил, где бы кто ни жил, со-  
бираться в Москве на Красной площади.  
В выпуске 1923 года — выпуске краскомов,  
видевших Ленина, — было триста восемь

человек. Собрался выпуск в 1963 году, и,  
пишет полковник в отставке Н. В. Смир-  
нов, «нас оказалось немногим более пяти-  
десяти...». С тех пор до подготовки в пе-  
чать рецензируемого сборника прошло еще  
одно десятилетие.

Редеют ряды ветеранов. И потому так  
важно не упустить время, побудить их (а  
иным помочь) написать свои воспоминания  
и тем самым запечатлеть хотя бы наи-  
более яркие эпизоды из героического  
прошлого советского общества. Нет нужды  
доказывать, сколь велико значение мему-  
арной литературы в политическом и нрав-  
ственном воспитании новых поколений.

**Н. МОР.**



## ПРИЗЫВ К ДУХОВНОСТИ

**Евг. Богат. Вечный человек. М. «Молодая гвардия». 1973. 288 стр.**

**В** письме к автору книги один студент при-  
водит высказывание Артура Кларка о  
том, что чудеса техники, окружающей нас  
сегодня, покажутся допотопными и смеш-  
ными через пятьсот, а может быть, и через  
сто лет. «Эта мысль ошеломила меня, — пи-  
шет студент, — когда я вообразил, как наши  
сверхзвуковые самолеты, ультрамодные ав-  
томобили и даже космические корабли вы-  
зывают у прапраправнуков веселое удивле-  
ние вроде того, которое испытываем мы пе-  
ред моделью или изображением первого па-  
ровоза... И вот тогда-то я задал себе вопрос...  
Почему человеческое лицо не кажется нам  
забавным или нелепым через 500, и через  
1000, и через много тысяч лет? Лицо Эски-  
ла... Паскаля... Рафаэля... Пушкина?»

Евг. Богат не случайно начинает свой ди-  
алог с читателем именно этим письмом. О  
происходящей в наше время научно-техни-  
ческой революции, о проблеме «человек и  
прогресс» говорилось и писалось много и у  
нас и за рубежом. Но автор книги «Вечный  
человек» берет наименее разработанный ас-  
пект проблемы — нравственно-этический.  
Это и дает основание Александру Чаков-  
скому в предисловии к книге называть ра-  
боту Евг. Богата «более чем актуальной». Автор предисловия замечает, что одной и  
той же лопатой можно зарывать, прятать от  
людей драгоценный клад, и этой же лопатой  
в 30-х годах были вырыты котлованы вели-  
ких строек. Сегодня же вопрос о том, в ка-  
кие руки попадают великие достижения на-

учно-технической революции, которые мо-  
гут служить созиданию нового, но могут  
стать и грозным орудием уничтожения, при-  
обретает особую остроту. Проблема мораль-  
ной ответственности за мощные творческие  
силы, вызванные к жизни гением человека,  
становится в ряд самых злободневных.

Главный объект исследования Евг. Бога-  
та — человек как творческая личность, его  
взаимоотношения с другими людьми, с ок-  
ружающим миром. Писатель обращается к  
духовному опыту прошлого, оперирует ис-  
торическим, философским и литературным  
материалом, обильно вводя в ткань повест-  
ования малоизвестные факты, незаслужен-  
но забытые имена. Используемый автором  
богатый материал делает книгу интересной  
с познавательной точки зрения. Но главная  
ценность работы в том, что фактический ма-  
териал приводится не ради информации, а  
позволяет сделать объемнее и зримей автор-  
скую концепцию.

Рассказывая об ученом и писателе ита-  
льянского Возрождения Пико дела Мирандо-  
ла, который в трактате «О достоинстве че-  
ловека» провозглашал его «достопауным ва-  
ятедем самого себя» и видел высшее его  
счастье в том, чтобы «быть тем, чем он за-  
хочет», Евг. Богат размышляет о самовоспи-  
тании творческой личности, о том, что каж-  
дый должен ощутить нравственную ответст-  
венность перед жизнью и перед собой за  
собственный духовный мир. «Мы восхища-  
емся искусством художников, открывающих

духовность, человечность, красоту. Но разве не обязан любой из нас открыть это в себе самом: открыть и развить?» Именно это тяжкое бремя, которое человек добровольно взваливает на себя, и делает его жизнь богатой, приносит ему счастливые часы и мгновенья, недоступные людям потребительского склада, для которых смыслом существования стала погоня за «массовыми наслаждениями». Полемизируя с теми, кто жаждет лишь до внешних радостей бытия, автор утверждает: «Емкость жизни измеряется не калейдоскопичностью, обилием событий, а нравственным ее содержанием». Человек как творческая личность может оставить в мире не только какое-либо изобретение или открытие, но просто самого себя. Антигона Софокла «ничего не открыла и ничего не написала, но ее духовная судьба оказалась долговечней физической жизни, она осталась верна себе самой, несмотря ни на что».

Оставают в мире «самого себя» ищущие истину и стремящиеся к лучшей жизни герои Чехова, княжна Марья, для которой доброта была высшей целью жизни, категорическим императивом, Пьер Безухов и Андрей Болконский. А различие между Дмитрием и Иваном Карамазовыми в том, что у Дмитрия — при всей его душевной неустойчивости — оставалось живым духовное ядро личности, у Ивана же оно погибло. Таково неизбежное следствие измены человеческому в самом себе.

Нравственная преемственность поколений, история человеческого духа занимает в книге важное место.

Куда уходят века, которые не сохраняются на земле, подобно старинным замкам? Они никуда не уходят от нас, навсегда занимая свое место в памяти человечества. Даже от мрачного XVI века с его кострами инквизиции и лабораториями алхимиков осталось нам нечто бесконечно ценное — мысли Монтеня, картины Брейгеля, фаянс Бернарда Палисси. Вся история человеческого духа была историей этического величия человека. Об этом говорят биографии великих ученых прошлого, мучеников науки и мучеников веры. «Ян Гус стоял уже посреди костра, когда от него, перед тем как зажечь соломой, в последний раз потребовали отречения, пообещав сохранить жизнь. Он ответил: «Нет!» «Нет», — ответил и Томас Мор и Джордано Бруно... «Нет» — не миру, а бесчеловечным силам мира... С жизнью расстаться легче, чем с совестью».

После экскурсов в историю мы неизменно возвращаемся к современному человеку. «Дорога в двадцать тысяч лет создала не только новый ландшафт мира, но и новый ландшафт человеческой души. Она углубила его, усложнила безмерно, сообщила восприимчивость и емкость, которые позволяют ей вобрать в себя в тысячи раз больше, чем тысячи лет назад... В духовный мир человека вошли доблесть античных героев, любовь Абельяра и Элоизы, муки испепеляемых еретиков... Вошли в него мужество рабов Спартака, самоотверженность народовольцев, величие Ленина, верность долгу Карбышева и Мусы Джалиля».

Наравне с величайшими научными открытиями в историю человечества, в его духовный опыт полноправно вошла та минута, когда Мария Волконская опустилась на колени в сибирском руднике и поцеловала кандалы своего мужа-декабриста. И другая минута, когда пошла на казнь за свою родину русская девочка Таня.

Единая авторская концепция позволяет ставить рядом людей разных эпох и стран. Казалось бы, что общего между создателем французского фаянса Бернардом Палисси и советским рабочим Дмитрием Васильевичем Марачевым, Гансом Христианом Андерсеном и стариком лесоводом из Армении Кириллом Сергеевичем Дрепало? Но общее есть: этих людей объединяет духовная и нравственная высота, творческое отношение к жизни. Великий сказочник Андерсен учил детей понимать жизнь как чудо добра и красоты, его «большая фантазия вырастает из большого сердца». Большое сердце лейтшица Подольского завода Дмитрия Васильевича Марачева сделало его изобретателем и художником. А лесовод Кирилл Сергеевич Дрепало, всю жизнь отдавший созданию зеленого парка на высоте две тысячи сто метров над уровнем моря, решил, по существу, не только научную, но и важную этическую проблему.

«Стоит ли зажигать звезду, если хорошо известно, что она погаснет, не успев вспыхнуть?» Да, стоит, отвечает автор. Стоит, «потому что, погаснув, она возгорится снова, опять. Этого великого «опять» не понимает и никогда не поймет голый рационализм, строго, с арифметической точностью соотносящий затраченные усилия с ближайшими результатами».

Человеческое «я» не может существовать в мире без «ты». Евг. Богат выразил эту проблему формулой «я плюс человечество».

Великая задача, которая стоит перед человеком и составляет его нравственную сущность, — творчество жизни, участие в передаче мира. Такой подход к проблеме придает книге ярко выраженную социальную направленность. Не человек вообще, а человек социалистического общества с наибольшей полнотой вобрал в себя духовный опыт человечества, является его закономерным наследником. «Ощущение жизни как Чуда не должно быть пассивным. Из этого ощущения вырастает подлинно высокая этика. И ее вершина: этика революционеров... Желание видеть мир построенным «по законам красоты», в котором ничто не уродовало бы ни человека, ни жизнь», влечет за собой потребность в революционном действии. А потом рождается и само действие, обновляющее мир. Это этика великих революционеров — Ленина, Чернышевского, Дзержинского.

Лишенная нравственной основы, творческая сила гибнет или становится разрушительной, губит не только окружающий мир, но и самую себя. Эпоха современной научно-технической революции, повышая моральную ответственность человека за свои действия, делает эту мысль особенно важной. Стоит вспомнить хотя бы «миф XX века» — историю американского летчика Клода Изерли, того самого, который, осуществляя метеорологическую разведку перед уничтожением Хиросимы, отдал команду: начинать. Истерзанный муками совести, безмерностью зла, которое он нанес миру, он жестоко осудил себя и тех, кто его послал, и был объявлен сумасшедшим.

Размышления Евг. Богата не созерцательны, не пассивны. Он борется за созидание нового человека, утверждает моральные и духовные ценности нового общества. Книга содержит внутреннюю полемику с мещански-потребительским отношением к жизни представителей старого мира, их стремлением «не быть, а иметь», раскрывает бездуховность современного модернистского искусства Запада.

Значительное место уделяет Евг. Богат полемике с теми, кто считает, что с техническим прогрессом уходит из мира духовность. Автор утверждает оптимистический взгляд на будущее, когда «великие социальные изменения... и развитие научно-технической революции завершат нынешнюю гигантскую метаморфозу Земли и человечества рождением новой культуры, нового человека».

Гуманный пафос книги в утверждении, что духовная жизнь, духовное богатство, жизнь как творчество доступны не только избранным, но каждому. Заключая свое повествование, автор пишет: «Мне хотелось углубить в читателях веру в себя и любовь к жизни, помочь им лучше понять эпоху, ощутить великое будущее человечества и радость от сознания, что это будущее рождается сегодня при их участии».

Читатель вообще играет самостоятельную, активную роль в своеобразной работе Евг. Богата, которая представляет собой живой и непосредственный разговор, совместные размышления с теми, кто прислал свои письма автору после выхода в свет двух его книг — «Бессмертны ли злые волшебники» и «Удивление».

Оппоненты писателя — люди различных профессий: физик из новосибирского Академгородка и московская чертежница, доктор биологических наук и преподавательница литературы, студент-философ и девушка-стенографистка и даже шестнадцатилетний школьник. Содержательные, полные мысли письма молодых наших современников порой по яркости, глубине суждения не уступают авторскому тексту. Полный взаимопонимания разговор писателя с авторами писем идет «на равных», и невольно думаешь о том, сколь несправедливы многие упреки, которые склонны адресовать иногда старшие нашему молодому поколению.

Жанровые и стилистические особенности книги заслуживают особого внимания. Что это — философский трактат, исторические очерки или художественное произведение? Пожалуй, своеобразный синтез и того, и другого, и третьего. И синтез, на наш взгляд, удачный. Некоторые страницы книги овеяны подлинной поэтичностью — например, те, которые посвящены любовной лирике Петрарки и образу самого поэта-гуманиста.

Мысли свои автор облекает в форму, лаконически отточенную, подчас афористичную. Книга написана емко, густота фактов и мыслей отнюдь не приводит к скорописи, схемам. Пожалуй, лишь заключительные главы, в которых автор обращается к будущему и мыслит космическими категориями, грешат некоторой абстрактностью, реальность в них переплетается с фантастикой, символичность затрудняет чтение. Однако это лишь частное замечание.

Книга Евг. Богата рассчитана на интеллектуально подготовленного читателя. Но ведь такого читателя в наши дни мы вправе



считать массовым. Об этом говорят приведенные автором читательские письма. И поэтому думается, что книга окажет доброе влияние на формирование личности многих

наших молодых современников, даст богатую пищу для ума тысяч «юношей, обдумывающих житье».

Ксения БРОДЕР.



## ГОНКИ ВЕКА И ЗОВ МЫСА ГОРН

Анджей Урбанчик. В одиночку через океан. Перевод с польского. М. «Прогресс». 1974. 367 стр.

Человек тоскует о полноте бытия, но она осуществляется на редкие мгновения. Как инстинкт продолжения рода, неистребимо осознанное или неосознанное стремление к творческой реализации интеллектуальных, душевных сил, но часто дни заменяются на будничные заботы. Жажда познавать, открывать, вбирать в себя отражения мира бесконечна, а срок жизни краток. Человек хочет знать, на что способен сам, испытать предел и меру своих сил, но обыденность требует лишь ничтожной их доли. Не на этом ли разрыве между бесконечными стремлениями и ограниченностью наших возможностей основан жадный интерес к исключительным поступкам, к незаурядным судьбам? Через них человечество познает себя и потому благодарно первооткрывателям, первопроходцам, всем, кто совершает казавшееся немыслимым, кто жизнью своей утверждает, что невозможное — возможно.

О таких людях и рассказывает Анджей Урбанчик. Одни из них были вынесены океанской волной на гребень славы, другие не вернулись из плавания, но каждый оставил след не только на водных просторах земного шара, который «на три четверти состоит из океанов и поэтому представляет подходящее место для моряков»<sup>1</sup>, — оставил след в нескончаемой летописи самоутверждения человеческого духа.

Книгу можно назвать хроникой единоборства человека с океаном. Она начинается повествованием о датчанине Енсене, в 1876 году открывшем эру одиночных трансатлантических рейсов. Рассказывает о легендарном Джошуа Слокаме, который за три с лишним года пересек три океана на шлюпе «Спрей», много раз был на краю гибели — это не помешало ему написать позже, что счастливо текли его дни, куда бы ни плыло судно, — и завершил век триумфов и заката парусного флота первым в

истории одиночным плаванием вокруг света.

Урбанчик не привносит искусственного пафоса в события, исполненные пафоса истинного, — повествование напоминает записи в вахтенных журналах: сведения о типе судна, о курсах, пройденных милях, о силе штормов и причиненных ими бедствиях. Но за каждой из семидесяти главок — одна или несколько судеб, за каждой — новая даль и риск. В середине нашего века Вито Дюма, обогнув мыс Горн («Эверест» парусного мореплавания), прокладывает курс вокруг земного шара через «ревущие сороковые» — самый трудный в навигационном отношении. С 1960 года регулярными становятся трансатлантические гонки, в которых принимает участие все больше яхтсменов-одиночек. Победитель первой гонки Фрэнсис Чичестер через шесть лет совершает «рейс столетия» — кругосветное плавание на «Джипси-Мот IV» по пути знаменитых чайных клиперов за двести двадцать шесть дней — на полтора месяца быстрее Вито Дюма. Сокращаются сроки, труднее становятся условия переходов: Слокам на долгом своем пути посетил множество портов, Дюма ограничивает себя тремя заходами, Чичестер — одним. И наконец, «гонки века», участники которых должны были обогнуть земной шар совсем без заходов в порты, даже без права принять продовольствие или помощь от встречных судов, «великие гонки», названные Чичестером «морской драмой столетия»...

В целях, обретениях и утратах героев этих морских драм преломляются духовные и социальные проблемы века, повторяются земные драмы, может быть, только еще острее и откровенней, ибо все здесь происходит на зыбкой грани между жизнью и смертью.

...Наверное, стоит оговориться, что я читатель слишком заинтересованный. Впечатления от полутора лет плаваний в Атлан-

<sup>1</sup> Д ж о з е ф К о н р а д. Зеркало морей. М. 1958, стр. 48.

тике и Тихом океанах, в арктических морях оставили и во мне ответ чувства, о котором едва ли кто-нибудь мог сказать с большим правом, чем один из тех, для кого море стало призванием и судьбой. «В моей книге, откровенной, как предсмертная исповедь,— писал Джозеф Конрад,— я пытался раскрыть сущность моей ненасытной любви к морю. Возникшее таинственным образом — как всякая великая страсть, неисповедимой волей богов посланная нам, смертным,—чувство это росло, нерассуждающее, непобедимое, выдержав все испытания, устояв против разочарований, которые таит в себе каждый день трудной, утомительной жизни... Я говорю «великая», ибо мне она представляется такой. Пусть другие называют меня безумцем».

В океане дано было и мне ощутить смысл фразы, произносившейся еще на древней латыни: «Жить не так уж необходимо, но необходимо плавать по морям». В судьбах, заново открытых Урбанчиком, и в известных страницах морских хроник, ставших здесь частью единой летописи, для меня оживает созвучное, а это порождает и большую, чем для непосвященного, объемность зрения и силу восприятия.

Но, возможно, и услышав впервые об Алене Жербо — он третьим после Шлокама в одиночку прошел вокруг света,— читатель захочет разыскать изданные полвека назад книги французского моряка и узнает, как прекрасна жизнь, когда лежишь на палубе под тропическим солнцем, как не менее прекрасна она во время надвигающейся грозы: все смены состояний и настроений океана Жербо принимает как откровение, как дни счастья. И это несмотря на постоянную изнурительную работу с парусами, на муки жажды, ливни и ураганы.

Может, то, от чего уходил Жербо, было еще тяжелее? Что оставлял он на земле? «Слишком острая восприимчивость и разочарования детства заставили меня еще ребенком, идеально настроенным, углубиться в самого себя и жить своею собственной внутренней жизнью». Позже он скажет, что очень долго прожил в идеальном мире мечты и даже мелочи повседневности глубоко оскорбляли и задевали его. А он прошел военным летчиком через первую мировую войну. Один за другим погибли в воздухе самые близкие его друзья. Жербо не находит оправдания их смерти в послевоенных годах, и время не возме-

щает главных утрат, «не заполняет огромной пустоты» его жизни.

Сколько людей потерянных поколений, надломленных социальными катастрофами, искали веру в мире распавшихся абсолютов и обесцененных идеалов, но веры не было им дано, и они приспособлялись к существованию в системе фальсифицированных ценностей, отвоевывали в ней для себя оплаченную роль и деформировались, конформировались или саморазрушались от опустошенности. А Жербо уходит в океан. Он любит свой тендер «Файеркрест» «как живое существо, наделенное разумом и чувством». Тоскующий по красоте, он открывает мир, где красота безусловна, безмерна, обновляется ежедневно и ежечасно. Где подлинна опасность, но и покой полон. Где одиночество безнадежно, но не всегда более мучительно, чем одиночество среди людей, а тяжкий труд сменяется часами блаженного удовлетворения.

А после войны в Индокитае уходит в Атлантику француз Рене Лекомб, выбирая плавание «способом самовыражения, как другие выбирают музыку или живопись». И не все ли равно — океан или музыка, если любовь к ним оказывается способной привести в жизнь смысл, и цель, и оправдание и тем восстановить внутри себя разрушенный мир. Таково высшее вознаграждение, даруемое только тем, кто, принимая тот или иной путь со всеми его опасностями, лишениями, может сказать, как Жербо: «Едва прибыв на берег, я только и думаю, как бы скорее снова уйти».

И те, кто познал, как это вознаграждение близко к высшим ценностям и основам бытия, уже не будут обмануты стандартными формулами благополучия. Потому добровольно уходит от победы в «гонках века», от славы и денег Бернар Муатесье: «Мне незачем плыть в Плимут ради всего этого шума... Я вовсе не хочу сказать, что стал за это время лучше других. Я просто в некотором роде стал иным... Все приобрело несколько иные размеры, чем до отплытия. Когда погружаешься так глубоко в самого себя, когда так долго живешь пространством, входящим далеко-далеко, дальше звезд, возвращаешься уже не с теми глазами...» Сделав безумный, с точки зрения обыденности, поворот, продолжая плавание, но не к финишу, а к тихоокеанским островам, где хочет остаться навсегда, он знает, что отказывается от меньшего ради большего.

Совсем не принимает идеи «гонок века» известный мореплаватель-одиночка Алек Роуз: «Вторжение прессы, рекламы, бизнеса искажает самый дух плавания под парусом. Моряки превращаются в платных жокеев. Я не завидую тем, кто погонится за призами «Санди таймс»...» И слова его кажутся горьким предсказанием участи тридцатилетнего Дональда Кроухерста, бросившегося в отчаянную погоню за премией, которая спасла бы от разорения. Поняв, что ему не завершить рейса, он выбирает из двух гибельных ситуаций — банкротства и обмана — вторую. Дональд надеется продержаться в безлюдных районах Атлантики на своем тримаране нужный срок и, не обходя Земли, первым вернуться к финишу. Но разум не выдерживает унижающей, мучительной игры, не выносит длительного заточения во враждебном океане — в состоянии психического кризиса Кроухерст кончает самоубийством. Впрочем, «кто не познал одиночества в море, тот не вправе судить», как сказал Робин Нокс-Джонстон, единственный из участников, завершивший гонки после трехсоттринадцатидневного безостановочного плавания. Он честно завоевал премию в 12 тысяч долларов, из-за которой погиб Кроухерст, но, как и Муатесе, добровольно от нее отказался: он передал ее семье Кроухерста.

Уильям Уиллис, на плоту пересекший Тихий океан, тоже знал, как труден одинокий путь, знал, что, если человек испугается своего ничтожества, он станет звать на помощь и будет кричать, пока не сойдет с ума» в водной пустыне, равно способной поглотить и крик, и плач, и самого пловца. Зачем же сам Уиллис в семьдесят лет бросил вызов возрасту и океану, почему отправился в плавание один? «Все трудности путешествия как раз и заключаются в одиночестве со всеми из него вытекающими последствиями. Только когда человек один, когда он может рассчитывать лишь на себя и ему неоткуда ждать помощи, каждая частица его тела, мозга и души подвергается испытанию... — отвечает он. — Я отдаю себя на волю стихий, которые мне милы, я испытываю себя ужасным одиночеством и... непрестанной смертельной опасностью... Это не прихоть и не простое приключение. Пусть мое путешествие будет испытанием духа...»

Испытание духа, вызов, единоборство, на одной стороне которого — человек, в конеч-

ном счете всего лишь человек, как мы сами, столь же уязвимый телесно и духовно, со слабостями, болезнями, с часами страха, отчаяния, безнадежности, часами, которых не стыдятся и не скрывают самые мужественные из них; на другой стороне — слепые стихийные силы, несопоставимые с человеческими.

Но разве вся история не хроника борьбы с разрушительными силами одухотворенной и неодухотворенной стихии, времени, социального зла, борьбы, в наиболее напряженные или трагические моменты которой человек оказывается в том же великом противостоянии силам, безмерно превосходящим его собственные? И не оттого, что имеет предпочтительные шансы на победу, вступает он в единоборство — этот вызов диктуется ему собственной природой, и даже вызов обреченный может стать единственным способом утверждения чистоты и благородства его духа. Так в черной мгле средневековья человек продолжает верить, что Солнце, а не костер инквизиции остается центром Солнечной системы, даже если сам сгорает на костре. Так иногда уходит он к белым пятнам Земли, чтобы, как Нансен в Гренландии, «либо пройти, либо умереть». Так уходит он в немыслимые дали науки, космических пространств, в неведомые дали творчества.

Высочайшие взлеты разума и духа порождаются таким вызовом. Но только ли уделом исключительных судеб могут стать взлеты? Не сами ли избранники судьбы избирают себя, определяют свою высоту?

Наверное, все ухודившие в океан под парусом не так дорожили жизнью, чтобы бояться поставить ее на карту, и слишком дорожили ею, чтобы допустить превращение ее в бессодержательные, пресные будни. «Жизнь должна быть вызовом, — понял Чичестер. — В противном случае из нее испаряется соль».

И будет у каждого из них свое имя.

Слокам скажет: «Никому, за исключением людей, имеющих практический опыт, не дано понять, насколько прекрасно свободное плавание по океанам». В превосходной книге «Курс — одиночество» Вэл Хауэлз, участник трансатлантических гонок, напишет, что море вечно пленительно и после многих дней борьбы с ним он все еще испытывает огромное удовольствие от плавания, чувствуя себя частицей всего, что его окружает «Занимаясь таким делом, вы

живете полнокровно, и уже этим одним все оправдано», — ответил Чичестер на вопрос об истоках его чувства к морю. Алан Бомбар на шестьдесят пять дней останется за бортом по своей воле, чтобы дать надежду жертвам морских катастроф. А Джон Колдуэлл совершит отчаянное путешествие через океан, движимый любовью к «единственной в мире женщине» — жене, к которой он не мог добраться после войны иначе чем сквозь череду катастроф, мелей, ураганов, длинную череду дней на полузатопленной яхте, почти без пищи, почти без шансов на спасение...

Но к морю ли, к истине, к женщине, к человечеству — это всегда бескорыстная великая страсть, ставшая сущностью жизни. Во имя ее пройдя испытание смертельной опасностью, перенапряжением сил, одиночеством, устояв против ливней, холода, зноя, жажды, собственной слабости, бросив вызов непобедимой стихии и не проиграв единоборства, эти люди утверждают неисчерпаемые возможности человеческого духа, направленного единым стремлением. Они несут огромный нрав-

ственный заряд, помогают жить и верить в себя. Как просто выразил это капитан Вильерс в газетной статье, с помощью которой он надеялся отговорить Чичестера от его слишком опасного замысла: «Чичестер сделал достаточно... Мы нуждаемся в этом человеке, в его одухотворяющем влиянии... Мы не должны его потерять».

...«Зов мыса Горн» — так назвал Марсель Бардью книгу о восьми годах своего одиночного плавания. Тот же зов самого грозного мыса, мыса бурь, слышал Чичестер. Другие называют это зовом океана, зовом неведомого. Подняв парус, уходят они за привычный круг горизонта, а в разных странах, на суше, на море, люди с тревогой, любовью, надеждой следят за ними. Потому что среди всякого рода гонок века — погони за успехом любой ценой, за деньгами, борьбы за место в мире фальсифицированных идеалов и ценностей — нужно знать, что кто-то, как всегда, идет на вечный зов мыса Горн, идет, побеждая или погибая, но жизнью и смертью своей одухотворяя мир.

**Валерия АЛФЕЕВА.**



---

---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**ВЛАДИМИР МИРНЕВ. Скорый поезд. Рассказы и повести. М. «Современник». 1973. 336 стр.**

**ВЛАДИМИР МИРНЕВ. Крутой месяц. Повесть и рассказы. М. «Советский писатель». 1974. 304 стр.**

В книге «Скорый поезд» автора интересует прежде всего дело героев, так сказать, «узловые» моменты в жизни его персонажей — шоферов, железнодорожников; представление о душевном складе этих людей во многом идет от специфики их труда. Гораздо обстоятельней и детальной показан повседневный быт человека в книге «Крутой месяц». Но этим я вовсе не хочу сказать, что в этой книге ослаблены социальные, гражданственные мотивы: ее герои родинит мужество при столкновении с трудностями, нетерпимость к ханжеству, вера в светлые начала жизни, та вера, что добывается трудом собственной души. Подробное изображение обстоятельств необходимо автору для нахождения как можно более четких психологических мотивировок. Детально выписывая душевное состояние героев, он стремится к созданию единой эмоциональной атмосферы повествования.

Скромные сельские жители, колхозницы, библиотекари — вот круг персонажей «Крутого месяца». С глубокой озабоченностью говорит В. Мирнев в рассказе «Счастье» об обстоятельствах жизни старой матери, Евдокии Петровны. Кровными узами связана она с родной деревней Кутузовкой, но как ни свободно дышится ей в Кутузовке, матери приходится принять в конце концов нелегкое решение — она переедет в Казахстан, к сыну, который выдвинул на ответственную работу; быть в такую пору рядом с ним она почитает своим материнским долгом. Проникновенно передает автор раздумья Евдокии Петровны о любви человека к своей «малой» родине, своей деревне, к сложной работе времени, так властно преобразующего жизнь вокруг.

Героинями рассказов «Счастье», «Письмо», «Мариша» опять-таки выступают матери, многотерпеливые и глубокие душой, по-особому стойкие хранительницы основ народной нравственности, с готовностью выбирающие путь самоотречения. Рисуя этих людей, которые привычно и твердо заглушают голос собственных желаний во

имя счастья ближних, автор не пытается разжалобить читателя. Напротив, герои, вызывая чувство уважения, заставляют задуматься над тем, что, видимо, человек, щедро раздающий себя другим, в конечном счете намного богаче расчетливого «эконома», все прикидывающего, как бы ему не прогадать.

В. Мирнев хорошо знает жизнь современной деревни, чувствует динамику социальных перемен, происходящих в ней. Мы прослеживаем духовное становление молодого шофера Федора в повести «Дело в Облянде», который завоевывает читательское доверие своей честностью и прямоотой; достоверно раскрыт путь, приводящий Федора к мысли остаться работать в колхозе, куда он временно командирован. К сожалению, недостаточно определен, слабо мотивирован тот конфликт повести, когда квалифицированному шоферу... не находится работы в колхозе, — намеченный характер, сама коллизия открывали для писателя возможности куда более серьезные. Примелькавшуюся схему узнаешь в иных сельских жителях, особенно в образе бывшего председателя колхоза, с которым судьба сводит Федора.

Однако отдельные уступки «литературности» и схематизму, которыми грешит В. Мирнев, не могут заслонить от читателя главного — подлинной увлеченности молодого писателя жизненным материалом, его симпатий к человеку щедрой природы, большой преданности своему однажды избранному делу.

Иван Слепнев.



**ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ. Грибное место. Новые стихи. М. «Советский писатель». 1974. 94 стр.**

Жизнь как жизнь: умирают старики, рождаются дети, кто-то пишет диссертацию, кто-то ведет машину, кто-то покупает себе шубу. Обо всем этом рассказано обыденным языком, столь характерным для многих молодых интеллигентных москвичек. Выспренность или сентиментальность здесь недопустимы, преобладает тон добродушной иронии.

Лирическая героиня стихов целиком принадлежит своему времени, но при этом неизменно стремится увидеть себя, свою эпо-

ху «со стороны», осознать свое место в историческом потоке. Прояснить свои связи с другими поколениями. Это, пожалуй, самый сильный мотив в книге. Рядом с героиней — мать и дочь: «Два тяжких крыла, две мои половинки, — я и дочь, я и мать». Судьба старшего поколения, борьба, строительство социалистического отечества... Дорогой ценой завоевана та высокая культура, к которой молодой художник принадлежит. Тема поколений раскрывается в подробностях быта, в знакомой до мелочей жизни, и это придает поэтическому свидетельству особую интимность и вместе с тем достоверность.

Постоянный предмет поэтического внимания Т. Жирмунской — дети. Они «не позволяют» современной культуре «абстрагироваться», оторваться от земли. Их не запеленаешь в диссертации, не накормишь искусственными есмьями. Дети словно бы возвращают свежесть слову, понятиям... Подлинность человеческих ценностей! Ее Жирмунская ищет в каждом явлении — и тогда, когда говорит о непреложности факта, отраженного в архиве, и когда пишет о суровых приговорах медицины, о необходимости милосердия к больному; она стремится найти в кругу житейских подробностей ответы на большие вопросы. Одно из лучших стихотворений — «Молитва», где поэтесса желает долголетия старому человеку, занятому умственным трудом, чтоб не пресекались раздумья. Эти стихи воспринимаются как утверждение бесконечной ценности разумной, одухотворенной жизни.

В книжке есть и более, есть и менее удачные строки. Оторваться от «житейской прозы», по которой она совершает свой разбег, и подняться до высот поэзии Жирмунской, к сожалению, не всегда удается. Задача осмысления современности — великая задача, и естественно, что остается больше несделанного, чем сделанного. Но надо отдать должное поэтессе — она не избегает сложного, не ищет торных троп.

Л. Наппельбаум.



**ПЫЖОВА О. И.** *Призвание. М. «Искусство». 1974. 408 стр.*

В 1972 году за несколько месяцев до смерти Ольга Ивановна Пыжова показывала друзьям как самую дорогую для себя реликвию старый снимок — сцену из «Трактирщицы» К. Гольдони, где сама она была Мирандолиной, а кавалера Рипафратту играл К. С. Станиславский. Фотография эта глубоко символична: Мирандолина — вершинный взлет Пыжовой-актрисы, высшая точка ее более чем полувекового творческого пути, а самой памятной вехой на этом пути была для нее встреча со Станиславским. Не удивительно, что большую часть своей книги воспоминаний О. И. Пыжова сводит раздумьям именно об этом замечательном человеке, режиссере и педагоге и, конечно же, о его системе.

Отдавая должное профессиональным аспектам системы Станиславского, Пыжова заостряет внимание на ее нравственно-педагогической стороне. «Мы как-то забываем, — пишет она, — что Станиславский не изобретал специально свою систему, а хотел лишь одного — помочь актеру обречь себя от срывов, от опустошения».

В творческой биографии любого сколь-нибудь талантливого актера бывают минуты и даже часы взлетов, бывают роли, сыгранные блестяще, но бывают и мучительные падения, периоды апатии и даже отчаяния. Тут-то и необходима система, охраняющая самочувствие актера, помогающая всегда быть в форме, позволяющая в любой момент пробудить собственное подсознание — основу творческого взлета. Талантливая, вдохновенная игра — своего рода чудо, но, справедливо замечает Пыжова, «в искусстве чудеса не опровергают науку». Система Станиславского и была нацелена на то, чтобы помочь актеру в любой нужный момент вызывать это чудо искусства силой науки.

Партнерами Пыжовой по сцене были Качалов и Михаил Чехов, Книппер-Чехова и Астангов, Бабанова и Бирман, помимо Станиславского, с ней работали такие гиганты режиссуры, как Немирович-Данченко, Вахтангов и Мейерхольд (давший, к слову сказать, очень лестную характеристику Пыжовой при ее поступлении в Театр Революции), — емкие, выразительные портреты многих из них находим мы в этой книге. И все же фигура Станиславского не заслонилась ими — он всю жизнь оставался для Пыжовой учителем и образцом. Особую дань отдает она его удивительному бескорыстию в искусстве. Если «Станиславский помогал актеру искать образ, не теряя своего лица», сравнивает она манеры двух великих режиссеров, то, например, «Мейерхольд предлагал исполнителю выражать Мейерхольда».

По глубокому убеждению автора книги, система Станиславского — не только система работы над ролью: это и особая нравственная атмосфера, в которой протекает такая работа (скромность, деловитость, высочайшее уважение к собратям по искусству и к самому искусству), атмосфера, которая так поразила молодую Пыжову, когда она впервые переступила порог Художественного театра. Став режиссером, а позднее и педагогом (около сорока лет отдавала она работе в национальных студиях ГИТИСа и во ВГИКе), Ольга Ивановна и сама свято следовала этим столь ярко проявившимся в практике Станиславского принципам нравственного театра. «Среди моих учеников, — с гордостью заявляет она, — нет похожих на меня, я горжусь, что сумела обучить мастерству, не растворив их индивидуальностей в своей, что делаю все для проявления их собственной индивидуальности. Но я счастлива, что ученики становятся моими единомышленниками и понятие театр для нас общее. Мы и через много лет пойдем друг друга».

Первая (и, к великому сожалению, последняя) книга Ольги Ивановны Пыжовой, умная и искренняя, светится огромной любовью к своему искусству, служению которому она отдала более полувека. Книга, без сомнения, встретит равно заинтересованный и радушный прием у служителей и любителей театра. Всем будет приятно услышать этот добрый негромкий голос, повествующий обо всем живо, вcesпешно и обстоятельно.

С. Сивоконь.



**ВЛ. ПИМЕНОВ. Продолжение пути. Очерки и статьи о драматургии. М. «Советский писатель». 1974. 326 стр.**

Во вступлении к своей книге В. Ф. Пименов пишет: «Мне посчастливилось многие годы близко знать замечательных писателей, наших современников. С одними пришлось вместе работать, с другими сводила меня судьба на общей тропе любви к театру... В этой книге я хотел рассказать о тех, с кем встречался, беседовал и участвовал в жизни Союза писателей».

А встречался Вл. Пименов с такими действительно замечательными писателями, как Фадеев, Федин, Вс. Вишневский, Корнейчук, Лавренев, Кондрат Крапива, Аугуст Якобсон, и еще со многими художниками советской литературы.

Авторский замысел обозначен скромно — «рассказать о тех, с кем встречался». Однако книга получилась шире замысла. Очерки-воспоминания о друзьях дополнены статьями, в которых трактуются важные для нашей драматургии проблемы: современный герой, традиции и новаторство в драматургии, воспитание литературной молодежи, творческие связи писателя и театра.

В статье «Современность — душа драмы» Вл. Пименов, сетуя на некоторое отставание драматургии и театра от сегодняшних запросов зрителя, пишет о том, что мы еще редко встречаем на сцене образ современника, дела которого, нравственный облик которого вошли бы в сознание людей. Современный герой «только тогда завоевывает симпатию, когда будет не бесплотным духом, не догмой, не плакатным бодрячком, а обыкновенным человеком — и сильным и слабым, но никогда не поступающим своими взглядами, своей верой в торжество правды».

Эта мысль особенно дорога автору книги. К ней он возвращается и в статьях «Драматургия переднего края», «На вахте мира» и в «Заметках о драматургии».

Сценическую судьбу того или иного драматургического произведения автор ставит в прямую зависимость от идейно-художественного наполнения пьесы, от того, насколько глубоко удалось драматургу проникнуть в «тайники души современного человека, в сложный процесс психологиче-

ских переживаний». В «Заметках о драматургии» Вл. Пименов, анализируя пьесы молодых драматургов — русских и из братских республик, — рассказывает о творческих поисках писателей, связывает результаты этих поисков с тем, насколько глубоко удастся им раскрыть в своих пьесах характер героев нового мира — людей больших коммунистических идеалов, высокой культуры и отличных современных знаний. Размышления автора книги теоретического характера подкреплены конкретными наблюдениями, сделанными Вл. Пименовым за время его разносторонней работы с театральными коллективами и с драматургами.

В книге помещено тринадцать очерков о писателях — тринадцать портретов, судеб, характеров. С одними из них автор и до сих пор встречается, поддерживает дружеские и деловые отношения, другие остались в памяти, в сердце.

О Лавреневе Вл. Пименов говорит: «По-являлся Борис Андреевич, и вместе с ним в комнату входила сама интеллигентность, воспитанность, эрудиция, доброта, образцовая сдержанность, изящный юмор, сама история. Беседовать с ним было счастьем и честью». О творчестве Лавренева, о таких его шедеврах, как повесть «Сорок первый» или пьеса «Разлом», Вл. Пименов пишет с подлинным волнением. Он считает, что в остросюжетной литературе Лавренева билась ясная революционная идея, что в его произведениях нашли свое выражение темперамент гражданина, образность художника, идейность советского патриота.

Воспоминания о Б. А. Лавреневе, о других писателях представляют, по сути, маленькие монографии, где личность художника, его творчество и его время рассмотрены в неразрывной связи.

Доброе отношение к героям своих очерков дало право автору книги и на некоторые соображения критического характера. Так, в очерке о драматурге Юлии Чепуриной, который, как пишет Вл. Пименов, «один из немногих продолжает развивать народно-героическую линию нашего театра», есть и такие слова: «К сожалению, драматург сам не всегда умеет последовательно воплотить свой, несколько необычный для нашей сегодняшней сцены замысел. Отдав дань патетике в начале произведения (речь идет о пьесе «Снега». — Г. В.), он впоследствии сосредотачивается на традиционном диалоге, на традиционной семейной ссоре, на традиционном объяснении в любви и т. д.». Написано это не ради констатации отдельных неудач драматурга, а для того, чтобы познать самому и донести до читателя причины слабости пьесы.

Книга Вл. Пименова «Продолжение пути» вышла накануне его семидесятилетия. Она по-своему подытоживает путь, достойно пройденный автором в литературе и на театре.

Г. Воробьева.

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Избранные произведения в 3-х томах. Т. 1. 1897—сентябрь 1916 г. 843 стр. Цена 1 р. 53 к.

**С. Аленде.** История принадлежит нам. Речи и статьи. 1970—1973 гг. 382 стр. Цена 97 к.

**О. Браун.** Китайские записки. 1932—1939. Перевод с немецкого. 367 стр. Цена 1 р. 23 к.

**С. Ваупшасов.** На тревожных перекрестках. Записки чекиста. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. («О жизни и о себе») 511 стр. Цена 1 р. 46 к.

**К. Маркс и Ф. Энгельс.** О социалистической революции. 615 стр. Цена 1 р. 5 к.

**Материалы XXIV съезда КПСС.** 230 стр. Цена 64 к.

**Л. Трофимова.** Полоса признаний. («Страницы истории Советской Родины») 111 стр. Цена 18 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Б. Агапов.** Шесть загранич. Очерки. 407 стр. Цена 82 к.

**О. Гончар.** Бригантна. Повесть. Перевод с украинского И. Новосельцевой. 343 стр. Цена 61 к.

**Л. Иванов.** Край любимый. Очерки. 400 стр. Цена 77 к.

**И. Кычанов.** Невский лед. Повести. 399 стр. Цена 87 к.

**Л. Рахманов.** Повести разных лет. 560 стр. Цена 95 к.

**Ш. Рашидов.** Победители. Роман. Перевод с узбекского А. Удалова и Ю. Карасева. 350 стр. Цена 82 к.

**Ю. Рытхэу.** Под сенью волшебной горы. Путешествия и размышления.— Дорога в Ленинград. Повесть. 328 стр. Цена 53 к.

**Д. Стариков.** Перечитывая классиков. Наблюдения, размышления, полемика. 374 стр. Цена 1 р. 5 к.

**Б. Ямпольский.** Дорога испытаний. — Мальчик с Голубиной улицы.— Молодой человек. Повести. 718 стр. Цена 1 р. 23 к.

**А. Яшин.** Угощая рябиной. Книга прозы. 320 стр. Цена 99 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**А. Ахматова.** Избранное. Составление и послесловие Н. Ванникова. 590 стр. Цена 1 р. 66 к.

**В. Бэзман.** Море дождя и солнца. Стихотворения и поэмы. Переводы с эстонского. 174 стр. Цена 56 к.

**В. Канивец.** Ульяновы. Исторический роман. Перевод с украинского В. Турганова. 540 стр. Цена 1 р. 24 к.

**Л. Лазарев.** Военная проза Константина Симонова. 239 стр. Цена 70 к.

**Ю. Олеша.** Избранное. Предисловие В. Шкловского. 578 стр. Цена 1 р. 56 к.

**Л. Соболев.** Собрание сочинений. В 6-ти томах. Т. 6. Пьеса.— Киносценарии. 430 стр. Цена 1 р. 20 к.

**А. Сурков.** Избранные стихи. В 2-х томах. Т. 1. Стихотворения. 502 стр. Цена 1 р. 68 к. Т. 2. Стихотворения. Поэмы. Песни. Переводы. 502 стр. Цена 1 р. 90 к.

**А. Чаковский.** Собрание сочинений в 6-ти томах. Т. 1. Это было в Ленинграде. Повести. — У нас уже утро. Роман. Вступительная

статья И. Козлова. 608 стр. Цена 1 р. 45 к.

**К. Чапек.** Собрание сочинений. В 7-ми томах. Переводы с чешского. Составление С. Никольского. Вступительная статья Б. Сучкова. Т. 1. Рассказы. 678 стр. Цена 1 р. 30 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Ф. Бодсворт.** Чужак с острова Барра. Роман. Перевод с английского А. Голембы. 384 стр. Цена 1 р. 26 к.

**И. Варламова.** Две любви. Повесть и рассказы. 285 стр. Цена 41 к.

**А. Межиров.** Тишайший снегопад. Стихи. 222 стр. Цена 64 к.

**А. Недогонов.** Встречное дыхание. Стихи. 159 стр. Цена 16 к.

**Б. Примеров.** Талая заря. Стихи. 110 стр. Цена 32 к.

**В. Савельев.** Шаги. Стихи. 112 стр. Цена 34 к.

## «СОВРЕМЕННОК»

**З. Каткова.** Где ты, счастье мое? Роман. Перевод с марийского Н. Нефедова. 367 стр. Цена 98 к.

**Р. Коваленко.** Свой человек Зойка. Рассказы и повесть. 223 стр. Цена 58 к.

**Я. Козловский.** Созвездие Визнецов. Стихи. 143 стр. Цена 23 к.

**М. Никулин.** Жизнь впереди. Повести и рассказы. 480 стр. Цена 1 р. 6 к.

**С. Сарыг-оол.** Повесть о светлом мальчике. Перевод с тувинского М. Ганиной. 317 стр. Цена 75 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Ч. Айтматов.** Джамия. Повести. Предисловие А. Туркова. 142 стр. Цена 35 к.

**М. Басина.** Петербургская повесть. («По дорогим местам») 237 стр. Цена 1 р. 86 к.

**Б. Емельянов.** Китобой и его друзья. Рассказы. 111 стр. Цена 1 р. 23 к.

**В. Осипов.** Четвертая проблема. Публицистические очерки. 112 стр. Цена 31 к.

**К. Паустовский.** Разливы рек. Повести, рассказы и сказки. 590 стр. Цена 1 р. 20 к.

**И. Строгов.** Жар холодных чисел. Очерки. 176 стр. Цена 38 к.

**В. Сухомлинский.** Поющее перышко. Рассказы и сказки. 32 стр. Цена 36 к.

**К. Ушинский.** Для детей. Рассказы и сказки. Составление и предисловие В. Мурavyева. 159 стр. Цена 53 к.

**А. Шаров.** Волшебники приходят к людям. Книга о сказке и о сказочниках. 304 стр. Цена 1 р. 5 к.

**М. Шолохов.** Поднятая целина. Кн. 1—2. Роман. 640 стр. Цена 1 р. 50 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**С. Баттал.** Кто же восьмой? Повесть. Перевод с татарского Е. Имбович. 85 стр. Цена 15 к.

**Р. Белоусов.** Из родословной героев книг. 303 стр. Цена 81 к.

**В краю синих гор.** Лермонтовский Пятигорск. Автор-составитель П. Селегей. 36 стр. Цена 73 к.

**Для вас, ребята!** Репертуарный сборник. Составитель Р. Сеф. 112 стр. Цена 25 к.



**ВОЕНИЗАТ**

**Война. Океан. Человек.** О морально-политической и психологической подготовке советских военных моряков. 232 стр. Цена 47 к.

**В. Лавриненков.** Возвращение в небо. («Военные мемуары») 240 стр. Цена 75 к.

**А. Плотников.** Молчаливое море. 162 стр. Цена 52 к.

**Сухопутные войска капиталистических государств.** 592 стр. Цена 1 р. 71 к.

**Г. Чечельницкий.** Летчики на войне. Военно-исторический очерк о боевом пути 15-й воздушной армии. 1942—1945. 272 стр. Цена 57 к.

**«ИСКУССТВО»**

**В. Веригина.** Воспоминания. Автор вступительной статьи С. Цимбал. 247 стр. Цена 1 р. 37 к.

**В. Владимиров и П. Финн.** Заблудшие (Белый корабль). Киносценарий. Послесловие В. Беляева. 112 стр. Цена 29 к.

**В. Муриан.** Реальное и идеальное в современном киногерое. 144 стр. Цена 55 к.

**В. Порудоминский.** И. Н. Крамской. («Жизнь в искусстве») 248 стр. Цена 1 р. 65 к.

**Эстетика и жизнь.** Выпуск 3. Сборник статей. 518 стр. Цена 2 р. 28 к.

**«ПРОГРЕСС»**

**А. Бумахди.** Деревня лилий. Роман. Перевод с французского Н. Световидовой. 315 стр. Цена 57 к.

**Ш. Грау.** Кондор улетает. Роман. Перевод с английского И. Гуровой и К. Чугунова. 352 стр. Цена 1 р. 9 к.

**В. Мюллер.** Я нашел подлинную родину. Записки немецкого генерала. Перевод с немецкого. Изд. 2-е. 324 стр. Цена 1 р. 22 к.

**Я. Прашек.** Польша — СССР. Экономика, сотрудничество. Перевод с польского. 244 стр. Цена 40 к.

**А. Собыль.** Первая республика. 1792—1804. Перевод с французского. 392 стр. Цена 1 р. 2 к.

**К. Шлезингер.** Михаэль. Роман. Перевод с немецкого Э. Львовой. 189 стр. Цена 50 к.

**«МЫСЛЬ»**

**А. Банников.** По заповедникам Советского Союза. Изд. 2-е, дополненное и переработанное. («Рассказы о природе») 237 стр. Цена 1 р. 4 к.

**Критика буржуазной фальсификации национальной политики КПСС.** 238 стр. Цена 77 к.

**Ю. Семенов.** Происхождение брака и семьи. 309 стр. Цена 1 р. 18 к.

**Т. Уминьский.** Животные и континенты. Популярная зоогеография. Перевод с польского. («Рассказы о природе») 191 стр. Цена 78 к.

**«НАУКА»**

**М. Андроникова.** От прототипа к образу. К проблеме портрета в литературе и кино. 200 стр. Цена 1 р.

**И. Брагинский.** Проблемы востоковедения. Актуальные вопросы восточного литературоведения. 494 стр. Цена 2 р. 78 к.

**Б. Бухштаб.** А. А. Фет. Очерк жизни и творчества. 135 стр. Цена 48 к.

**И. Грабарь.** Письма. 1891—1917. Редакторы-составители Л. Андреева и Т. Каждан. 472 стр. Цена 2 р. 91 к.

**Ю. Данилин.** Очерк французской политической поэзии XIX в. 207 стр. Цена 69 к.

**Историко-литературный процесс.** Проблемы и методы изучения. Сборник статей. 274 стр. Цена 1 р. 46 к.

**Историко-филологические исследования.** Сборник статей памяти академика Н. И. Конрада. 456 стр. Цена 3 р. 40 к.

**Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки.** Азиатские эскимосы, чукчи, керекчи, коряки и ительмены. Составление и предисловие Г. Меновщикова. 646 стр. Цена 2 р. 58 к.

**«ЭКОНОМИКА»**

**А. Белянова.** О темпах экономического развития СССР. По материалам дискуссий 20-х гг. 174 стр. Цена 57 к.

**Долгосрочные программы капитальных вложений.** Экономические проблемы и модели. 270 стр. Цена 1 р. 9 к.

**И. Загоруйко и А. Юденнов.** Крах плана «Ольденбург». О срыве экономических планов фашистской Германии на оккупированной территории СССР. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. 383 стр. Цена 1 р. 33 к.

**МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА**

**Н. Блинов.** Судьбы.— Люди под палубой. Повести. Мурманск. Книжное издательство. 384 стр. Цена 79 к.

**Е. Бунов.** Дерево жизни. Стихи. Переводы с молдавского. Кишинев. «Карта молдовеняскэ». 223 стр. Цена 78 к.

**Западноевропейская лирика.** Сборник. Переводы. Составление и вступительная статья Н. Я. Рыковой. Лениздат, 568 стр. Цена 1 р. 22 к.

**А. Лебеденко.** Шелестят паруса кораблей. Роман. Лениздат. 304 стр. Цена 47 к.

**А. С. Полтавцев.** Философское мировоззрение Л. Н. Толстого. Харьков. Издательство Харьковского университета. 152 стр. Цена 53 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д 1/2. Тел. 299-81-77  
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»  
Почтовый адрес: 103806. Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 19.XII 1974 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 19/II 1975 г.  
Формат бумаги 70x108/16. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
А 02232. Тираж 175.000 экз. Зак. 4278.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл. 5, в ордене Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 0903.

Цена 70 коп.

70636